

Чжан Юэжань

Кокон

Бедное дитя! Лучшим подарком тебе будет капелька невзгод.

张悦然

茧

© 张悦然, 2016

© Алина Перлова, перевод, 2020

© Андрей Бондаренко, оформление, 2021

© «Фантом Пресс», издание, 2021

Ли Цзяци

После возвращения в Наньюань я две недели выходила только в ближайший супермаркет. Нет, еще в аптеку – купила таблетки от бессонницы. А так все время сидела подле умирающего – в этом громадном доме. Но утром он впал в забытие и не просыпался, как я ни звала. Небо затянуло тучами, давление в комнате упало. Я стояла у кровати и чувствовала, как тени смерти кружат под потолком, словно стая летучих мышей с черными крыльями. Наконец этот день настал. Я вышла из комнаты.

Достала из чемодана толстую вязаную кофту. Отопление здесь всегда работало плохо, а может, просто дом слишком большой. Я долго пыталась ужить с холодом, сочившимся из-под штукатурки, но сегодня терпеть стало невозможно. Не включая свет, зашла в ванную. От холодного синеватого света люминесцентной лампы-трубки стало бы еще зябче. Я умылась над раковиной, размышляя о том, что случится завтра. Завтра, когда он умрет, я заменю все лампы в этом доме. Труба под раковиной протекала, и вода лилась на пол, в темноте она омывала мои ноги, теплая, словно кровь. Я все стояла у раковины и не могла найти в себе силы, чтобы закрыть кран.

Я спустилась на кухню, поджарила два яйца, вставила хлеб в тостер. Села за стол, медленно позавтракала, а потом достала из кладовки лестницу и пошла по комнатам снимать шторы с окон. Вернулась в гостиную на первом этаже и едва ее узнала. Я стояла в дверях и, щурясь, смотрела на большое голое окно гостиной. Солнечные лучи высвечивали даже мелкие пылинки, оглаживали запертую в комнате тайну.

После обеда я снова поднялась в спальню, чтобы посмотреть на него. Тело, придавленное толстым пуховым одеялом, будто немного усохло. Было все так же пасмурно, смерть кружила под потолком, не решаясь спуститься. Я почувствовала, как грудь сжало удушье, как стучит кровь в висках, накинула пальто и выбежала из дома.

Я бесцельно бродила по кампусу медуниверситета. Прошла мимо заброшенной школы, мимо галереи за библиотекой, мимо опустевших трибун на спортплощадке, но и там не вспомнила о тебе. Пока не оказалась у западного сектора Наньюаня. Старые дома снесли, на их месте стояли новенькие высотки со сверкающими металлическими дверями. Я двинулась мимо, дальше на запад, и с удивлением увидела, что твой дом по-прежнему на месте – со всех сторон окруженный башнями, он одиноко жался к ограде.

Я понимала, что вряд ли найду тебя там, ведь прошло столько лет. Но все равно вошла в подъезд и позвонила в квартиру 102. Из-за двери ответили: заходи. Помедлив, я открыла дверь и вошла. Внутри было темно, на плите, должно быть, что-то варилось – по комнате плыл густой пар. В кресле, закрыв глаза, сидел мужчина – похоже, спал. Сквозь сумрак, клубы пара и минувшие годы я все равно узнала тебя. Тихо позвала: Чэн Гун. Ты медленно открыл глаза, словно все это время ждал меня, устал от ожидания, вот и задремал. На секунду мне даже померещилось, что мы договаривались о встрече, просто у меня это стерлось из памяти. Но на самом деле ты меня не узнал, а когда я назвалась, радости не выказал. Я с трудом подыскивала слова, которые принято говорить после разлуки, вспомнила старых друзей, спросила про заброшенную школу. Скоро все слова, лежавшие на поверхности, были сказаны и мы увязли в молчании. Я не смогла придумать предлог, чтобы посидеть еще немного, поднялась и попрощалась.

Ты проводил меня до порога. Увидимся – всего хорошего, я вышла в подъезд, и дверь за мной закрылась. В полной тишине было слышно, как с железной притолоки слетела пыль. Я стояла в подъезде, не решаясь выйти наружу. Боялась, что как только окажусь под уличным светом, нас с тобой снова разведет в разные стороны. В подъезд ворвалось ледяное дуновение, дверь скрипнула, будто кто-то вздохнул в темноте. Спутанные мысли ожили под сквозняком, словно разгорелись

тлеющие уголья. Я начала понимать, зачем я здесь, собралась с духом и снова нажала на звонок. Я пригласила тебя зайти вечером в белый особнячок. Не дожидаясь ответа, развернулась и вышла на улицу.

Тропинкой вдоль озера я медленно возвратилась назад. Когда снова зашла в эту комнату, на душе было уже спокойно, я впервые достала из шкафа диск с фильмом и вставила его в плеер. Потом заварила чай, принесла два стула и села ждать тебя. Небо за окном постепенно темнело, человек на кровати что-то пробормотал – наверное, сон унес его далеко. Дышал он очень старательно, комнату заполнял бордовый воздух из его прогнивших легких. Почти исчезнувшее солнце вдруг блеснуло, и тусклое небо просветлело, как сознание умирающего перед смертью, – казалось, вот-вот оно явит какое-нибудь знамение. Окно распахнулось от ветра, я встала закрыть и только тут увидела, что идет снег. Внезапно я осознала, что ты не придешь. Но продолжала ждать.

Я смутно понимала, что именно так все и должно было случиться. Стемнело, снег повалил гуще. Я стояла у окна, всматриваясь в дорогу, проходящую чуть в стороне. Но вместо дороги лежала безбрежная белая гладь. Я впиалась глазами в эту белизну, чудилось – еще немного, и ослепну. Наконец замаячила черная точка, словно росток, проклюнувшийся сквозь землю, – она разрывала белизну и становилась все больше. Это был ты.

Ни о чем не спрашивая, ты поднялся за мной, зашел в спальню. Ты будто все знал заранее, даже не удивился, увидев его в постели. Только шагнул поближе и посмотрел на его лицо так, словно пытался взвесить эту жизнь, подвести ей итог. Но задача была не из простых, и в конце концов ты запутался в расчетах и оцепенело смотрел на него, пока я не принесла тебе стул.

Да, ты увидел – мой дедушка умирает. Знаю, мне следовало позвонить в больницу, придет “скорая”, его увезут, и нынче же ночью соберется консилиум, дабы сделать все возможное, чтобы реанимировать больного. Наверное, они сумеют продлить ему жизнь – на несколько дней, но не больше. А потом начнут готовить похороны – церемонию прощания с академиком Ли Цзишэном. И я, единственная родственница умершего, присутствующая на похоронах, провожу его в последний путь. Люди со слезами будут вспоминать его жизнь, двигаться мелкими шажками к гробу, огибать его, незнакомцы станут рассказывать мне, каким великим, мудрым и уважаемым человеком был мой дедушка... На похороны придет губернатор (или мэр), участливо пожмет мне руку, выразит соболезнования. Объективы камер, как верные псы, станут следовать за ним, ловить благостное выражение на моем лице. Всё сделают за меня, мне останется лишь заготовить достаточно слез для похорон.

И, скорее всего, мне удастся заплакать. Не по умершему, а по всему тому, что уйдет вместе с ним. Вот только я не смогу заставить себя позвонить в больницу. Один звонок – и его смерть превратится в торжественное мероприятие, не имеющее ко мне никакого отношения. Его окружают медсестры, врачи, ученики и коллеги, явятся с визитом какие-нибудь начальники, а еще пресса... Целая толпа втиснется в последний отрезок его жизни, дабы придать близящейся смерти должный размах. Великой жизни полагается грандиозная смерть. Тонет огромный корабль. Зная, что не должна мешать торжественному уходу великого человека, я все равно вцепилась в оставшееся ему время и не думаю ослаблять хватку. За все эти годы я ничего у него не просила, ни заботы, ни любви, ни славы... Ничего мне было не надо. И сейчас мне нужна только его смерть, я хочу получить ее в свое полное распоряжение. Я жду этой минуты, жду, когда несуществующий голос объявит мне, что все кончено.

Днем, глядя на тебя, я чувствовала, как что-то мешает, стоит между нами, – наверное, тебе давно известна эта тайна. Может, за долгие годы она успела растаять и просочиться в самую суть жизни. Но я уверена, что она все еще существует, пусть и в другой форме, и что ты тоже не научился жить так, словно ее нет. Давай поговорим о ней? В первый и последний раз, и оставим все, что с ней связано, в сегодняшнем вечере.

Как густо валит снег. Крупные хлопья ложатся на землю, будто Бог бросает вниз письма, что писали ему люди. Рвет на клочки и бросает.

Чэн Гун

Я здесь ненадолго. Пережду метель и пойду на вокзал. Сегодня ночью я уезжаю, путь неблизкий. На самом деле я должен был выехать еще днем: когда ты пришла, я ждал доставщика воды. Явись он раньше, мы бы с тобой, наверное, не встретились.

Днем я собрал чемодан, зашел на кухню выпить воды, увидел, что в кулере пусто, и позвонил в службу доставки. Прошло полчаса, паренек с водой так и не объявился. Вообще я не собирался его ждать, но в прошлый раз у меня не нашлось наличных, и я остался должен ему, вот и решил, что надо вернуть долг. Перед отъездом лучше завершить все дела. На улице было пасмурно, пить хотелось все сильнее, я достал из шкафа старый чайник, налил в него воды, поставил на плиту. Голубое пламя с шипением лизало дно чайника, он что-то шелестел в ответ, а я опустился в кресло и неожиданно заснул, мне даже приснился сон. Во сне мы с Большим Бинем и Цзыфэном снова были подростками, сломя голову неслись по ночному переулку. Похоже, мы выпили, нам было весело, прыщи на наших лицах пламенели. Мы бежали и бежали по переулку, а потом оказались на проспекте. Там мерцали неоновые огни и целая толпа таких же молодых ребят с пивными банками в руках двигалась в сторону площади. Мы запрыгнули в красный джип, припаркованный у обочины, двигатель взревел, и мы, свистя и улюлюкая, высунулись из окон. В облаке веселого праздничного угара джип летел вперед.

Сквозь сон я услышал стук, решил, что это паренек с водой, крикнул: “Заходи”. Дверь была не заперта, так что он мог войти и поставить бутылку. Я сидел с закрытыми глазами, вспоминая недавний сон. Он напоминал последние кадры какого-то фильма: исчезающая вдаль машина, узкие улицы, крошечные дома, затихающие возгласы, смех. Занавес, темнота. Они будто всё забрали с собой, и я тихо сидел в темноте, похожий на пустую чашку. Потом я почувствовал, что по комнате гуляет холодный ветер, значит, входная дверь осталась открытой. Но шагов я не слышал, в квартире висела тишина.

Я открыл глаза. Ты стояла у порога. Не знаю, сколько ты там простояла, может быть, ты даже видела, как я хохотал во сне. И как я огорчился, очнувшись, – видела меня в минуту наибольшей слабости. Ты тихо позвала: Чэн Гун, голос прозвучал хрипло, как у человека, который слишком долго молчал. Собирался снег, небо заволочло тучами, в комнате было темно. На плите шумно бурлил чайник. Я пристально смотрел на тебя, убеждаясь, что понятия не имею, кто ты такая. Но в сумрачном свете мне вдруг показалось, что эта незнакомая женщина, стоящая в дверях, почему-то тесно связана с моей судьбой. От этого чувства спину обдало холодом. Я напрягал память, кадры из прошлого щелкали, сменялись перед глазами. А потом ты сказала, что ты – Ли Цзяци.

Белый пар наплывал на твоё лицо, взбитая ветром завивка, подрагивающие колени, едва прикрытые лапами пальто, – все это убеждало меня, что ты существуешь, что ты не продолжение недавнего сна. С нашей последней встречи прошло восемнадцать лет, неудивительно, что я тебя не узнал. Без косметики твоё лицо выглядело бледным и припухшим, но в целом наши ожидания оправдались – ты превратилась в настоящую красавицу. Маленькое лицо сердечком портила лишь серая тревожная тень – верная примета столичного жителя. Ты спросила: наверное, ты представлял меня иначе? Вместо ответа я улыбнулся. Честно говоря, я никогда не думал, какой ты станешь. Все, что было с тобой связано, я мысленно отправил в архив, запечатав сургучом. Это может прозвучать немного обидно, но я и правда не ждал новой встречи с тобой.

Я прошел на кухню, выключил плиту. Вода успела наполовину выкипеть, комнату затянуло белым туманом. Ты напряженно села, глядя, как я разливаю чай. Спросила:

– Все по-старому, живешь с тетей и бабушкой?

Я сказал, что бабушка умерла, живу с тетей.

– Она так и не вышла замуж?

– Нет.

Разговор не клеился. Мы вязли в молчании, я чувствовал, как что-то тяжело давит на грудь, и хотел одного – поскорее закончить нашу встречу. Наверное, ты это заметила, но все равно старательно отыскивала новые темы для разговора. Чай остыл, туман в комнате рассеялся, наконец ты встала и попрощалась. Я с облегчением закрыл за тобой дверь, но тут снова раздался звонок. Теперь ты пригласила меня зайти вечером в белый особнячок. Я хотел отказаться, но ты уже ушла.

Я и не думал соглашаться. Мне казалось, что ни тебе, ни мне не нужна эта встреча, неважно почему. Я сидел в кресле и курил одну сигарету за другой, за окном темнело, и вдруг в дверь постучали. За порогом стоял паренек с бутылкой на плече, оказалось, он отвозил воду в западный пригород. Лицо под испачканной серой шапкой выглядело растерянным.

– Я заблудился.

Проводив его, я надел пальто, взял чемодан и спустился на улицу. Было уже темно, в воздухе кружил снег. Я вышел из Наньюаня и целую вечность простоял у обочины, надеясь поймать такси, но машин не было. Наконец вдаль показалось такси, но водитель замахал рукой и крикнул, что едет в гараж. Я уже не на шутку замерз, переминался с ноги на ногу, согревал руки дыханием. В ресторанчике у меня за спиной хлопнула дверь: хозяйка побежала в соседний магазин за сигаретами для гостя. Увидела меня и радостно поздоровалась. Прошлым летом я часто приходил в ее ресторанчик выпить.

– Уезжаете? – спросила хозяйка.

Я кивнул.

– Торопитесь? Переждали бы снег, а то машину сейчас не поймать.

И я пошел за ней. За дальним столиком сидел средних лет мужчина, хозяйка подала ему сигареты, он сорвал с пачки целлофановую обертку и закурил. Я сел за столик у окна, попросил тарелку лувэй. Хозяйка была родом из Чаочжоу, сюда приехала за мужем, потом муж сбежал с любовницей, а она осталась.

– Есть пиво лаосское, недавно завезли, хотите попробовать?

Я согласился, хотя пить совсем не хотелось. Я знал, что алкоголь расслабляет волю.

Я пил и закусывал сушеным доуфу. Пиво было легким, со вкусом лета. Хозяйка увлеченно беседовала с мужчиной, они обсудили и статую Мацзу, и рецепты доуфу с начинкой из свиного фарша.

– Вода здесь плохая, – сокрушалась хозяйка. – Доуфу получается невкусный.

Потом мужчина расплатился и ушел. Кроме меня, посетителей не осталось, наступила тишина.

– Как там астма у вашей знакомой? – вдруг спросила хозяйка. – Недавно один посетитель рассказывал, что в их семье из поколения в поколение передается рецепт снадобья от астмы, так я попросила записать. – Она принялась рыться в ящике под прилавком. – Да где же он?

– Бросьте, не ищите.

– Вот, нашла! Вспомнила про вас и припрятала.

- Спасибо. - Я взял рецепт, сунул его в карман.

Она вернулась к прилавку, зажгла сигарету и пробормотала:

- Как валит снег...

Я отвернулся к окну. По черному ночному небу метались снежинки. Землю уже замело. На следы в снегу падал новый снег, превращая их в едва заметные вмятины.

- Давно бы уехала отсюда на юг, если б не снег, - сказала хозяйка. - Вы любите снег?

- Люблю.

Больше мы не говорили, молча смотрели на метель за окном. Я вглядывался в светящуюся полосу между фонарем и землей, тучи снежинок ожесточенно крутились в ней и опадали на землю, словно души, барахтающиеся в океане сансары.

Вспомнилось, что тем давним вечером тоже был снегопад, уроки закончились, и я отправился на встречу с тобой. Перед отъездом ты пришла с мамой в школу, чтобы оформить перевод. Возле учительской встретила Большого Биня и передала через него, чтобы я пришел после уроков к дому твоего дедушки.

Я понимал, что потом увидеться будет непросто, что это последняя возможность все тебе рассказать. Но шагал я все медленнее, а потом и вовсе остановился напротив магазинчика "Канкан" - помнишь, раньше мы часто туда заглядывали. Там я развернулся и пошел домой. Я слышал, тем вечером ты долго меня ждала во дворе и только перед самым ужином мама увела тебя домой. Извини, что заставил ждать напрасно. Не знаю, что на меня нашло. Может, я чувствовал свое бессилие и хотел решить хотя бы, как закончить нашу дружбу. С того вечера все, связанное с тобой, я мысленно отправлял в архив.

Большой Бинь раздобыл ваш новый адрес и накануне твоего дня рождения, навалившись на парту, подписал открытку, но я отказался ставить на ней свое имя. Потом он еще расстраивался, что ты ничего не ответила и не поздравила его с днем рождения. От тебя не было новостей. Ты начисто исчезла из нашей жизни, именно так, как я и хотел. Думаю, тем самым ты пыталась сказать, что одобряешь мое решение: раз мы не можем вернуть прошлое, поддерживать отношения нет никакого смысла. Когда-то мы были так близки и верили, что нашу дружбу невозможно разрушить, но на деле она оказалась очень хрупкой. Потому что с самого начала эта дружба была ошибкой - как дерево, выросшее посреди дороги. Рано или поздно его пришлось бы срубить.

Допив третью бутылку, я встал и застегнул пальто.

- Пора? - спросила хозяйка.

Я протянул ей деньги.

- Пройдите дальше, до большого перекрестка, может, там будут машины. - Она проворно отсчитала сдачу, сунула мне. - Счастливого пути!

Хозяйка распахнула дверь, в ресторанчик ворвался ветер вперемешку со снегом.

Я шагнул было на улицу, но вдруг замер в дверях. Застыл на месте с пылающим от алкоголя лицом. Наконец услышал, как спрашиваю хозяйку:

- Можно ненадолго оставить у вас чемодан? Вспомнил кое о чем.

- Конечно! Все равно в такую метель мне домой не добраться. Можете хоть ночью его забрать. - Она улыбнулась. - А я-то все гляжу, вы весь вечер сидите как на иголках. Ступайте скорей!

Я поблагодарил ее и вышел в метель.

По пути к тебе я прошел мимо магазинчика “Канкан”. На его месте теперь, правда, бистро “Дундун”. Стоянку для велосипедов снесли, крутой подъем в гору сровняли, да и дедушка твой переехал из западного сектора в белый особняк. Но снег скрыл все перемены, и я чувствовал, будто вернулся в тот вечер, когда мне было одиннадцать: ты уезжаешь, я иду проститься. Только теперь я не остановился напротив магазинчика. Наконец-то я проделал тот путь, что не смог пройти однажды.

Ли Цзяци

С приходом ночи мир здесь погружается в такую тишину, не слышно ни звука. Днем получше: дети играют в Центральном парке, гоняются друг за другом по замерзшему пруду и громко визжат. А в солнечную погоду можно увидеть даже девушек в свадебных платьях – скинув пальто, они трясутся от холода, позируя на фоне особняка. Наверное, все дело в зиме: у моря дует холодный ветер, теплые края далеко, вот и приходится искать красивый фон в кампусе медуниверситета. Особнячок невестам подходит как нельзя лучше: белоснежные стены, полукруглый, словно парящий в воздухе, балкон, арочные окна, украшенные орнаментом, – этого довольно, чтобы состряпать декорацию для их второсортного счастья. Хотя счастье по самой природе своей – фикция, а раз так, не все ли равно, какого оно сорта.

Белый особнячок. Так мы ласково его прозвали. В то время белоснежные особняки вроде этого были редкостью. В нашем грязном промышленном городе всему надлежало быть серым. Серые дома, серое небо, серый воздух. Серый был цветом фона, на котором проходило наше детство, и мы понимали, что белый особнячок здесь случайный гость. Притаившийся в одном из тупиков Центрального парка, издали он походил на пышное облако, спрятанное среди густых деревьев. А мне всегда казалось, что это попавший в беду слоненок, заколдованный злым волшебником и обреченный стоять здесь вечно. Больше всего особнячок мне нравился летом: в окружении разросшихся фикусов, качавших встревоженными тенями по белым стенам, он напоминал резиденцию времен колонии, и в липком горячем воздухе слышалось дыхание распада. Пару раз, возвращаясь с купания, мы с тобой встречали стайку младшеклассниц, которые играли на ступенях особнячка в семью, – накрыв головы белыми тюлевыми салфетками с подлокотников кресел, они воображали себя принцессами в свадебных нарядах. А мы, словно колдуны, явившиеся испортить праздник, хохоча и гримасничая, проходили мимо.

Но, знаешь, той ночью, когда мы с тобой пробрались в особнячок, я тайне решила, что однажды сыграю здесь свадьбу. Сколько нам было лет? Десять, одиннадцать? Тогда в нем еще размещался профсоюзный клуб, и как-то раз в субботу, пока сторож отошел, мы с тобой прошмыгнули внутрь – посмотреть, как взрослые танцуют бальные танцы. Там мы увидели красивую учительницу музыки. Все в ней было так необычно: туфли на каблучке, длинная широкая юбка, мужская ладонь на талии. Площадка для танцев тонула в сумраке, в воздухе сражались запахи пота и духов, прожекторы крутились как заведенные, и это не блики скакали по стенам, а наши заполненные сердца. Потом мы вышли из танцевального зала и отправились бродить по дому. Прошли через двухъярусный холл, по деревянной лестнице поднялись на второй этаж и в конце коридора заметили маленькое круглое окошко. Навалившись животами на подоконник, мы выглянули наружу. В сыром вечернем небе висела закутанная в туман луна, вдруг туман рассеялся – луна оказалась идеально полной. Мы осторожно отступили назад, шагнули влево, переступили правее и наконец нашли нужную точку. Теперь луна была ровно посередине окошка. Круг, безупречно вписанный в круг. Мы с тобой стояли, соприкасаясь плечами, и, не мигая, смотрели в окно. В ту минуту мы словно очутились в самом центре мира. Но скоро туман опять заволок луну, будто испугавшись, что приоткрыл людям какую-то страшную тайну. Мир вокруг снова стал непонятным, не дающимся в руки. Мы медленно спустились по лестнице, мне было немного грустно, я думала о чем-то смутном и неуловимом, о счастье, о будущем, о вечности. Когда мы уходили, я решила пообещать что-то этому дому и загадала, что обязательно сыграю здесь свадьбу. Тебе я ничего не сказала, хотя в тот миг была уверена, что женихом будешь ты.

Ты всегда говорил мне, что этот особнячок построили немцы. В начале пятого класса тебя очень заинтересовал рассказ учителя истории о том, как Германия оккупировала бухту Цзяочжоу. Готический собор за воротами Дунмэнь, старомодное здание вокзала и этот пленительный белый особнячок... Ты повсюду искал следы, оставленные в городе немцами. Думал, что все эти здания были построены по приказу Гитлера, мечтал найти свастики, вырезанные в потайных

местах особняка. Еще ты по секрету говорил мне, что даже слегка восхищаешься Гитлером – по крайней мере, тот прожил необычную жизнь. Ты боялся заурядности, боялся, что твоя жизнь окажется камушком, беззвучно упавшим в речную воду.

Только много лет спустя я узнала, что особнячок построили в пятидесятых годах двадцатого века, тогда в наш медицинский университет назначили ректором какого-то очень именитого работника просвещения и специально для него выстроили этот дом. Но ректор мягко отказался, посчитав такой подарок слишком роскошным. Правда, это не помогло: в годы “культурной революции” особнячок ему все равно припомнили. “Оторвался от коллектива”, “использовал положение в личных целях”. Обвинения сыпались одно за другим, а особнячок превратился в площадку борьбы с классовым врагом. Бывшего ректора много дней держали здесь взаперти, и как-то ночью в одной из комнат на втором этаже – может быть, даже в этой – он перерезал себе артерию припрятанной бритвой. Доведенный несправедливостью до самоубийства ректор едва ли мог представить, что спустя годы этот дом превратится в декорацию счастья на свадебных снимках. А я уж точно не представляла, что однажды буду здесь жить. Теперь, если захочу, смогу хоть каждый день играть здесь свадьбу. Наверное, сейчас я подобралась к своей детской мечте ближе всего, осталось только найти мужчину, который согласится на мне жениться.

В прошлом году я едва не вышла замуж, его звали Тан Хуэй, он учился на три курса старше. Мы познакомились слишком рано, но и слишком поздно: главные события в моей жизни к тому времени уже произошли. Он знал это, но все равно решил попробовать. Он был очень хороший, как ангел, посланный во спасение, он тянул меня вверх – к сожалению, у него так ничего и не получилось. После нашего расставания я жила то у одних друзей, то у других; бестолковое было время. Но летом Пэйсюань вернулась из Штатов, и я на два месяца переехала к ней.

Ты ведь помнишь мою двоюродную сестру, прекрасную Пэйсюань, которая поднимала школьное знамя? Все это время она жила в Америке, в прошлом году защитила степень по медицине, сейчас преподает в Университете штата Огайо. Летом она вернулась в Китай и предложила встретиться. От нее же я узнала, что дедушка теперь живет в белом особнячке. Пэйсюань жаловалась: ничего хорошего в этом нет, особнячок слишком заметный, он превратился в одну из достопримечательностей кампуса, как пруд или Центральный парк. Вокруг вечно гуляют люди и, проходя мимо, обязательно заглядывают в окно. А некоторые даже в дверь стучат, спрашивают, можно ли сфотографироваться с академиком.

– Дедушка теперь как редкое животное, запертое в клетке, – злилась Пэйсюань.

Каждый год она приезжает сюда на лето и покупает что-нибудь в дом. Так на кухне появились кофеварка и электрогриль, без них ей и дня не протянуть. Но осенью, когда Пэйсюань уезжает, все покупки отправляются в кухонный шкаф: дедушка привык обходиться только железным чайником и котелком. Несмотря на кардинальные различия в образе жизни, ладят они друг с другом неплохо, время, проведенное с дедушкой, Пэйсюань называет “тихими летними денечками”, думаю, это что-то вроде синонима к слову “скука”.

С тех пор как я перевелась в другую школу и уехала из Наньюаня, мы больше не виделись с Пэйсюань. Но исправно обменивались контактами, в основном связь поддерживалась ее усилиями. Вскоре после отъезда в Штаты Пэйсюань прислала мне письмо со своим американским адресом, и с тех пор время от времени от нее приходили письма, иногда к письму прилагался новый адрес. Потом, когда я поступила в университет в Пекине, она узнала у моей мамы телефон общежития и позвонила; обменявшись парой дежурных реплик, мы продиктовали друг другу свои электронные адреса. Иногда она писала мне, сообщая важные новости из своей жизни: поступила в магистратуру, осталась учиться в аспирантуре. В конце каждого письма Пэйсюань прибавляла одну и ту же фразу: “Надеюсь, ты найдешь время, чтобы навестить дедушку с бабушкой”. Я ни разу ей не ответила, только

после выпуска из университета написала, что остаюсь работать в Пекине.

Для Пэйсюань поддерживать связь со мной было своего рода долгом: я – дедушкина родственница, а значит, она обязана помешать мне окончательно порвать с этой семьей. Единственный осмысленный разговор у нас случился пять лет назад, когда она позвонила ночью из Америки и, горько рыдая, сказала, что бабушка умерла. Она говорила, что приедет на похороны, и очень просила меня тоже поскорее приезжать. Но я не поехала. Потом от нее снова приходили письма, она рассказывала, что окончила аспирантуру, получила место на какой-то кафедре, в конце письма была та же самая приписка, только без слова “бабушка”. А нынешним летом Пэйсюань написала мне, что вернулась в Китай и на какое-то время остановится в Пекине.

Мы встретились в кофейне в центре города. У Пэйсюань была отличная фигура завсегдатая тренажерного зала, кожа по-прежнему белая, даже неестественно белая. Но я не ожидала, что ее шрам будет так заметен. Я еще ни разу не видела ее со шрамом. Говорили, она залезла куда-то и неудачно упала, но это даже представить себе невозможно. Падения всегда были по моей части, это я вечно ходила со сбитыми коленками и синяками на руках, а Пэйсюань никогда не залезала в опасные места. Помнишь, как она приходила меня искать? Чтобы избавиться от нее, достаточно было вскарабкаться на стену у Башни мертвецов.

Выпуклый шрам тянулся от правого уголка рта наискосок вниз, до края нижней челюсти, в нем было сантиметров пять, не меньше. Когда Пэйсюань молчала, шрам как будто спал и не слишком бросался в глаза, но стоило ей заговорить, и он просыпался, начинал шевелиться вместе с губами, словно под тонкую кожу моей сестры забралась сколопендра. Мне было немного жаль Пэйсюань. С самого детства она ставила себе цель и шла вперед, не сворачивая с намеченного пути. Возможно, появление этого шрама было единственным незапланированным событием за всю ее жизнь.

Пэйсюань сказала, что какой-то телеканал готовится снимать документальный фильм про нашего дедушку. Она приехала в Китай, чтобы помочь съемочной группе в сборе материала, найти людей, которые знают дедушку, взять у них интервью. Она хотела, чтобы я, как вторая внучка, тоже приняла участие в съемках.

– Просто расскажи, как жила в детстве у дедушки, это несложно.

– Я ничего не помню.

– Так не бывает, напряги память...

– Не получается.

– Я понимаю, это все из-за твоего папы. Но не один дедушка виноват в их конфликте...

– Это здесь ни при чем.

– Конечно, он не идеальный человек, но...

– Давай не будем, – сказала я. – Мне пора, ты еще посидишь?

Вздыхнув, Пэйсюань махнула официанту, чтобы принес счет.

Но она и не думала сдаваться – спустя пару дней снова позвонила мне, предлагая встретиться. У меня только что закончился очередной роман, нужно было срочно куда-то съезжать. Я сказала Пэйсюань, что ищу жилье и не смогу найти время для встречи. Тогда она предложила пожить у нее. Из-за съемок ей нужно было на два месяца задержаться в Пекине, и она сняла квартиру гостиничного типа. Я согласилась. У меня и правда никак не получалось найти подходящее жилье. И еще в глубине души я надеялась, что мы сможем как следует поговорить. Я хотела

рассказать Пэйсюань все, что знаю. Следующим же вечером я перебралась в ее квартиру.

– Это все твои вещи? – Обняв себя за плечи, она смотрела на два чемодана, которые я поставила у порога.

– Один неполный.

– Цыганской жизнью живешь?

– Почти, разве что не гадаю.

Я давно привыкла жить на чемоданах. Превосходно умею уничтожать следы своего пребывания в очередной квартире. Выбирая что-нибудь в дом, я всегда смотрю, какой объем займет покупка, для меня это не менее важно, чем цена. Из ряда вещей с одинаковыми характеристиками я всегда выберу ту, что меньше. И фен, и плойка, и утюг, и колонки у меня в мини-версии, я даже готова мириться с примитивным функционалом и розовым цветом, в который их выкрасили, чтобы угодить девочкам, не наигравшимся в Барби. Все духи у меня в пробниках по пять миллилитров. И я стараюсь выбирать вещи, которые можно использовать по нескольким назначениям: складной штопор со встроенной открывашкой для пивных бутылок и консервным ножом. Зарядное устройство, которое можно подключать к телефону, ноутбуку и фотоаппарату. Крем для лица и тела. Как женщины на диете, скрупулезно считающие калории, я подсчитываю каждый квадратный миллиметр своих вещей, сокращая занимаемое пространство до абсолютного минимума, как будто живу в чем-то утянутом ремнем желудке.

Конечно, Пэйсюань не смогла бы этого понять, я слышала, что в Америке она одна занимает огромный дом, да еще и с садом. Родители ее живут отдельно, в Калифорнии, у ее отца всегда было слабое здоровье, а два года назад его парализовало после инсульта. Наверное, это значит, что он уже никогда не сможет повидаться с бабушкой.

На второй день после моего переезда Пэйсюань снова вспомнила о съемках:

– Просто скажи пару слов на камеру, и все. Разве это так сложно для тебя?

Кажется, я начала понимать. Неважно, что я буду говорить, главное – появиться в кадре. Скорее всего, так хотел режиссер: чтобы показать другую сторону бабушкиной жизни, нужно взять интервью у членов семьи. Но бабушка и папа уже умерли, дядя и тетя не могли приехать на съемки, так что из всей семьи остались только мы с Пэйсюань. Пэйсюань наверняка утаила от режиссера, что я уже много лет не поддерживаю с бабушкой отношений, ведь это обращало бабушку в печальную фигуру и рушило его идеальный образ.

– Хватит в фильме и одной внучки, – ответила я. – Зачем там столько родственников? Многие великие люди вообще не оставили потомства.

Пэйсюань потрясенно уставилась на меня. Помолчав, сказала:

– На самом деле из нас двоих бабушка всегда больше любил тебя.

Я рассмеялась:

– Какая ерунда! Они с папой друг друга терпеть не могли.

– Да, с твоим папой они не ладили, но тебя он любит больше. Знаешь почему? Ты похожа на его мать. Особенно лоб и глаза, это бабушка мне рассказала.

– Мы можем больше не касаться этой темы?

Следующие несколько дней она и правда не вспоминала о бабушке. Но я быстро поняла, что он все равно постоянно стоит между нами. Жизнь Пэйсюань была испещрена его следами. Порой мне даже мерещилось, будто я снова вернулась в

детство, в те три года, что мы провели с ней в дедушкином доме. Взяв в руки чашку, я видела свое имя на кусочке пластыря, приклеенном к ручке, а на чашке, стоявшей на другом конце стола, было написано имя Пэйсюань. Раньше в дедушкином доме такой способ практиковался, чтобы мы не взяли по ошибке чужую посуду, выпить из чужой чашки было страшным событием, они жили в постоянном страхе, что кто-нибудь в семье болен гепатитом, и отсекали заразе все мыслимые пути. Помню, однажды я тайком попила из чашки Пэйсюань, чтобы заразить ее простудой. Но практика показала, что могущество чашек сильно преувеличено.

На кафельную стену кухни-студии в съемной квартире Пэйсюань повесила несколько крючков для полотенец и рядом с каждым крючком наклеила кусочек пластыря с надписями: “для посуды”, “для стола”, “для рук”. Глядя на рядок полотенец с четко очерченными должностными обязанностями, я смутно чувствовала, что снова стою на кухне в дедушкином доме. Хуже всего было то, что она расклеивала повсюду не стикеры и не наклейки, а узенькие полоски пластыря, густо пахнущие лекарством. Раньше у всех сотрудников больницы дома лежали запасы такого пластыря – наверное, и у твоей бабушки тоже. Но мало кто использовал их так обстоятельно, как мы. Целлофановая пленка, в которую заворачивали пульт, с двух сторон была оклеена пластырем, пластырь был и на антенне радиоприемника, две полоски пластыря скрепляли треснувший пенал, еще Пэйсюань научила меня, что пластырь можно порезать на мелкие кусочки и заклеивать ими помарки в домашних тетрадях. Потом в продаже появились корректоры, но она все равно не расставалась со своими обрезками. Я тогда ненавидела эти пластыри, ненавидела их больничный запах, а еще меня бесило, что и пульт, и пенал, и приемник, обмотанные пластырем, превращались в перевязанных бинтами пациентов.

Еще Пэйсюань унаследовала от дедушки почти фашистскую самодисциплину, которую называла “необходимыми ограничениями”. Утром, проснувшись, она тут же вскакивала с постели. Пообещав себе, что посмотрит телевизор тридцать минут, никогда не оставалась перед экраном дольше, и даже если фильм шел к концу, она безжалостно его выключала. Как-то мы разговорились после ужина, а потом она вспомнила, что пора подавать фрукты. Посмотрела на часы, было уже полдевятого, время фруктов прошло ровно в восемь, и Пэйсюань объявила, что есть не будет. В довершение всего оказалось, она носит брекеты, точнее, элайнеры, которые нужно снимать перед едой.

– Тебе же в детстве исправили зубы? – спросила я.

В те годы у Пэйсюань стояли проволочные брекеты, и при разговоре ее рот посверкивал металлом.

– Снова появилась щель, надо еще немного поносить, – объяснила Пэйсюань. – Никакой успех не дается раз и навсегда.

Я этой щели не видела, зубы Пэйсюань были ровные, как костяшки мацзяна. Она рассказала, что иногда машинально давит на зубы кончиком языка, а элайнеры помогут избавиться от этой дурной привычки. Оказывается, и у нее тоже есть дурные привычки, она тоже делает что-то машинально. На моей памяти Пэйсюань даже спала, не теряя бдительности. Она подошла ко мне вплотную, попросила открыть рот.

– Тебе тоже надо поставить элайнеры.

– Нет уж. Если даже спать придется с пластиком во рту, во мне ничего живого не останется.

Как-то раз она вернулась из магазина с двумя бутылками красного вина. Сказала, что вечером можно будет немного выпить. Я обрадовалась: наконец у нас нашлось общее увлечение. Пэйсюань досуха протерла бокалы, поставила их рядышком на столе, налила в каждый вина, ровно три сантиметра от дна, и заткнула бутылку. Я

сразу поняла, что у нас с ней разные представления о том, что такое “немного выпить”. Наливая вино, она не сводила глаз с бокала, словно на нем нарисована шкала, а у нее в руках пузырек с сиропом от кашля. Когда Пэйсюань заснула, я достала початую бутылку, вытащила пробку и допила вино в одиночку.

Проснувшись ближе к обеду. Голова побаливала, я вышла в общую комнату, Пэйсюань сидела за компьютером, отвечала на письма.

– Ты, наверное, не помнишь, что было вчера? – спросила она, не отрываясь от монитора.

– Я напилась?

– Я встала ночью, а ты лежишь на полу. Бокал разбился, весь пол в стекле.

– Извини, я не умею пить. – Растирая виски, я заметила у себя на руке большой синяк.

– Еще как умеешь. Ты допила початую бутылку и открыла вторую, в ней тоже ни капли не осталось.

– Да? – Мне смутно вспоминалась вчерашняя ночь, как я с бутылкой в руке брожу по квартире в поисках штопора.

Беспокойно глядя на меня, Пэйсюань спросила:

– У тебя тоже появилась склонность к злоупотреблению алкоголем?

Тоже. Этим своим “тоже” она вынуждала меня вспомнить о папе.

– Наверное, – ответила я.

– Почему? – Она все смотрела на меня. – Почему ты не пытаешься бросить? Можно пройти лечение, в США есть специальные центры, в Китае тоже должны быть.

– Мне нравится пить, так я меньше себя ненавижу.

Я не сказала, что эта привычка – часть скудного наследства, доставшегося мне от папы. Опынев, я всегда чувствую, что он где-то рядом.

– Не ожидала, что ты так изменишься. – Она покачала головой. Страдание было не к лицу Пэйсюань, шрам на ее щеке кривился. А что будет, если она зарыдает или рассмеется, – “сколопендра” выскочит из-под кожи? Наконец я поняла, почему у моей сестры всегда такое бесстрастное лицо. Это выражение подходит ей лучше других, с ним шрам остается в покое.

Больше она не приносила домой вина. Иногда по вечерам я ходила выпить с друзьями. Заметив, что я укладываю волосы или крашусь, собираясь на выход, Пэйсюань очень сердилась. Ее раздражение было сложной природы: она походила то на мать, которая не может справиться с выходками дочери, то на маленькую девочку, обиженно наблюдающую за тем, как мама наряжается на свидание. Сама она никогда не красилась и почти не ходила на вечеринки. Пэйсюань часто жаловалась, что американцы тратят уйму времени на бессмысленные сборища, потому они и глупеют день ото дня. Наверное, посмотрев, как я живу, она поняла, что Китай недалеко ушел от Америки – люди во всем мире неудержимо глупеют.

Перед выходом я стояла у зеркала, примеряя одежду, снимала одно платье, надевала другое, раздумывала, в каком пойти. Отвернувшись от монитора, Пэйсюань наблюдала за мной. Я не спрашивала ее мнения, но она все равно говорила, что эти наряды никуда не годятся.

– Главное в одежде – материал, вещь должна быть удобной.

Как-то раз меня позвали на собеседование в редакцию модного журнала, и по

указке Пэйсюань я вместо платья и туфель на каблуках надела ее строгий черный костюм и кожаные туфли на плоской подошве. Она сказала, что работающей женщине на официальные мероприятия уместнее приходить в брюках. Собеседование кончилось отказом, главный редактор наверняка решил, что я не имею ни малейшего представления о моде.

Умываясь, я всегда видела в зеркале белье, развешанное над ванной. Наши лифчики висели рядком, прижавшись друг к другу и безуспешно пытаясь изобразить дружбу. Мои – сплошь бордовые или нежно-розовые, с чашечками в виде узких полумесяцев, обшитых дешевым кружевом или атласом, между чашечек – маленький бантик, а на нем бусинка, которая не переживет и двух стирок. А у Пэйсюань все лифчики белые, из практичного, впитывающего пот хлопка, и модель одинаковая, максимально закрытая, на материал производитель не скупился – сбоку ткань доходила почти до подмышек. Я подозревала, что Пэйсюань просто пришла в магазин и смела с полки все закрытые лифчики своего размера.

Однажды, переодеваясь, я услышала за спиной ее угрюмый голос:

– Какой нарядный лифчик, это чтобы перед мужчинами красоваться?

– Почему перед мужчинами? Ты сама разве в зеркало не смотришь?

Она и правда не смотрелась в зеркало. Наверное, дело было в шраме, из-за него Пэйсюань не хотела видеть свое отражение. Жизнь без зеркал превращала ее в диковатую несформировавшуюся девочку. Иногда на ее лице даже проступало детское выражение, только счастливого блеска в глазах уже не было. Помню, как на утренней линейке по понедельникам Пэйсюань со знаменем в руках шагала к флагштоку, на солнце ее белая кожа почти слепила, от стройного силуэта веяло чем-то волнующе девичьим, и я была уверена, что все мальчики школы должны немедленно в нее влюбиться.

Однажды вечером мы впервые заговорили на довольно интимную тему. Обычно между двоюродными сестрами такие разговоры в порядке вещей, но у меня все равно было чувство, что я обидела Пэйсюань своим вопросом.

Я спросила, если ли у нее друг. Она сказала: нет.

– А сексуальный партнер?

– Мне это не нужно. – Она покраснела. – У меня насыщенная жизнь.

Пэйсюань рассказала, что еще не встретила своего мужчину. Она верила, что где-то в мире есть мужчина, с которым они идеально друг другу подходят, – он из хорошей семьи, прекрасно образован, у него престижная работа, а еще он вечно будет любить только ее. Пэйсюань терпеливо ждала этого мужчину.

– А ты? – смущенно спросила она.

– Ты своего мужчину еще не встретила, а мой уже ушел. Сейчас мне кажется, что все они похожи, ни один не лучше и не хуже других. Так что нет разницы, кто из них рядом.

– У тебя очень нездоровая жизненная позиция.

– У меня нет никакой позиции. Просто живу как живется.

Следующие две недели Пэйсюань пропадала на совещаниях со съемочной группой, они готовились записывать собранный материал. Я просыпалась ближе к полудню, ее уже не было дома. Я готовила себе завтрак, потом садилась к компьютеру, писала статью, искала вакансии, рассылала резюме. Пэйсюань возвращалась домой после ужина, к тому времени я уже собиралась уходить. Было лето, и почти каждый день кто-нибудь из друзей звал меня в бар выпить, а я никогда не

отказывала. Домой я приходила глубокой ночью, Пэйсюань уже спала. Мы жили в одной квартире, но почти не виделись, и это было хорошо. Раньше, когда я жила у кого-нибудь в гостях и замечала, что не могу поладить с хозяином, то перестраивала свои биологические часы, чтобы как можно реже с ним встречаться.

А потом случился тот дождливый вечер. Было уже за полночь, промокшая до костей, я прибежала домой и увидела, что Пэйсюань еще не спит. Посреди комнаты стоял чемодан, она укладывала в него аккуратные стопочки одежды. Сердце у меня упало: неужели съемки закончились? Я даже немного огорчилась, пришла мысль, что теперь снова придется искать жилье, а следом накатила усталость. Но Пэйсюань объяснила, что уедет всего на пару дней, они собираются снимать в Юньнани и Мьянме.

– Юньнань? У вас видовой фильм или документальный?

– Ты же знаешь, дедушка служил в экспедиционных войсках. В годы войны с Японией Университет Цилу перевезли в Чэнду, там дедушка вступил в армию и вместе со своей частью побывал в Юньнани и Мьянме. Есть даже общая фотография, где бойцы роты сняты вместе с генералом Сунь Лижэнем, я нашла на ней дедушку!

Конечно же, я ничего про это не знала, я даже не знала, кто такой генерал Сунь Лижэнь.

Пэйсюань взяла со стола книгу. Это был том про экспедиционные войска, я давно заметила его, как-то раз открыла, полистала немного и вернула на место. Бережно держа в руках книгу, Пэйсюань быстро нашла нужную страницу и показала мне фотографию, а на ней солдата, стоявшего крайним справа. Молодой боец на зернистом снимке, сделанном в другой стране и в другую эпоху, мог оказаться кем угодно. Я заметила, что правый уголок у страницы загнут, совсем немного, чтобы не замять фотографию и не закрыть фигуру солдата.

– Он служил в медсанчасти, спасал раненых. И когда Англия прислала войска в подкрепление, дедушка помогал переводить для их офицеров... – Рассказывая, Пэйсюань листала страницы.

– Хватит, я все равно не буду сниматься.

– Ты думаешь, я рассказываю, чтобы уговорить тебя на съемки? – холодно спросила Пэйсюань. Она захлопнула книгу и положила себе на колени. – Я просто решила, что ты должна знать. Дедушка – слава и гордость нашей семьи, признаешь ты это или нет. Я хотела поделиться с тобой этой славой. Прими ее, и она насытит тебя, придаст тебе сил.

Насытит? Как Святой Дух – христиан? Боюсь, Пэйсюань хотела поделиться со мной не славой, а верой. Ее чувства к дедушке были своего рода религией. Поэтому, даже понимая, что все усилия напрасны, она продолжала неутомимо пичкать меня “историями славы”, как христианин, принявший обет проповедовать Евангелие. Под взывающим взглядом Пэйсюань я чувствовала себя заблудшей овцой.

Покачивая головой, я тихо сказала:

– Пэйсюань, на самом деле заблуждаюсь не я, а ты.

Мы сидели рядом, с горечью глядя друг на друга, мне было жаль ее, а ей меня. Глупейшая сцена.

Я вдруг вспомнила, как однажды вечером мы с тобой вскарабкались на стену у Башни мертвецов, а Пэйсюань пришла забрать меня домой. Я отказывалась слезать со стены, да еще в красках описывала ей трупы, лежавшие у Башни. Пэйсюань побледнела, ее пробрала дрожь. Наконец она пошла прочь, но вдруг обернулась к нам и отчеканила:

- Ли Цзяци, тебя ждет кошмарная жизнь. - Голос у нее был странный, как будто это говорит не Пэйсюань, а оракул.

- Это тебя ждет кошмарная жизнь, - злобно ответила я.

И вот через много лет оба проклятия сбылись. Моя жизнь и правда была кошмаром. А у Пэйсюань разве нет?

Она всегда жила для бабушки и семьи. Бабушка и семья, словно поставленные в детстве брекеты, туго стягивали ее, придавая нужную форму. Чтобы не дать шанса ни одной щелочке, она продолжала носить их, даже повзрослев. Вся ее свобода была задавлена в наглухо сомкнутых щелях между зубами.

- Пэйсюань, - с трудом нарушив молчание, проговорила я, - ты понимаешь, до чего смешна твоя так называемая семейная гордость?

- Не надо. - Она резко встала. - Не можешь понять, так хотя бы не очерняй ее. Договорились? - Ее шрам дрожал.

Я отвела взгляд, раздумывая, как лучше продолжить разговор, но Пэйсюань уже убежала в свою комнату и захлопнула дверь.

Я сидела на диване в облаке опасной тишины. Представляла, как в следующую секунду брошусь к ее комнате и распахну дверь со словами: "Пэйсюань, дай я тебе кое-что расскажу".

Наверное, она почувствует, что этот рассказ ее изнасилует. Но мы с моей тенью закроем выход, и она не сможет сбежать. Пэйсюань съезжится, испуганно глядя на меня, а я развяжу мешок, и правда, как злобная собака, выскочит наружу, с бешеным лаем бросится на нее, разорвет доспехи из славы и гордости, вынет ее сердце и влажным языком слижет с него белоснежную глазурь веры. Пара минут - и Пэйсюань лишится самого дорогого в жизни. Она будет полностью уничтожена. А я спокойно досмотрю представление до конца, а потом скажу себе, что моей вины здесь нет. Пэйсюань изнасиловала не я, а правда. Я только помогла правде развязать скрывавший ее мешок.

Но так ли это? Я задумалась. Узнав правду, своими глазами увидев, скольких людей она покалечила, я уже ни на что не могла повлиять, мне оставалось лишь нести ее в себе. Теперь же я вдруг осознала, что в моих руках есть некая власть. Власть решить, как распорядиться этой правдой. Я могла позволить ей разрушить жизнь Пэйсюань - само собой, я бы не придавала этому значения, просто выложила все, что знаю, оправдывая свой поступок справедливостью. Еще я могла убедить себя, что открыть Пэйсюань глаза - мой долг. Справедливость и долг - как это благородно, жаль только, ни то ни другое нельзя почувствовать.

Сердце мое вдруг ослабело, размякло. Я хотела одного - стать немного милосердней. Семейная гордость, в которую верит Пэйсюань, - выдумка, но питает ее эта выдумка по-настоящему. В религии Пэйсюань нет ни добра, ни красоты, но Пэйсюань верит в обратное, и эта вера очищает ее сердце, дарует ей и добро, и красоту.

Я думала, что проявить милосердие к подруге и даже к незнакомой женщине мне было бы намного проще, чем к Пэйсюань. Милосердие дано нам с рождения, но с возрастом мы постепенно ожесточаемся и теряем его. Я вспомнила детство: мы с тобой обожали разгадывать чужие тайны, но когда, потратив уйму сил, наконец убедились, что Цзыфэн не родной сын своих родителей, решили об этом молчать. Мы напоминали друг другу, что при нем надо держать язык за зубами, нельзя и намеком показать, будто нам что-то известно. Однажды я по забывчивости разговорила с Цзыфэном о группах крови у разных членов семьи, и после ты сердито меня отчитал, сказал, что я недобрая. Я даже расплакалась. Я так боялась оказаться недоброй.

Я сидела на диване, пристально глядя в окно со своего двенадцатого этажа. За

окном бушевал ливень, молнии яркими лучами прочерчивали небо. Сноп света ворвался в комнату, схватил меня в охапку, ласково погладил по голове. Вряд ли ты сможешь представить, а мне не под силу описать, как остро я затосковала по тебе в ту минуту, когда решила навечно оставить эту тайну связанной в мешке.

Пэйсюань пришлось задержаться в Мьянме дольше, чем планировалось. Потом она позвонила и сказала, что ее вызывают по срочному делу в университет, она купила билет из Гонконга и в Пекин уже не вернется. Квартира оплачена за месяц вперед, так что я могу пока не съезжать.

– Желаю тебе поскорее найти работу. И бросить пить. – Пэйсюань звонила с мьянманской границы, из-за ветра ее голос напоминал летящего в небе голубя.

– И ты себя береги. – Я повесила трубку.

Отъезд Пэйсюань немного меня встряхнул. Теперь я реже ходила по барам, почти перестала напиваться, нашла работу в книжном магазине и сняла крошечную квартирку напололам с подругой. Осенью ко мне на пару дней приехала мама. Плита на кухне сломалась, и мы сидели в тесной комнатке, ели что-то покупное. Опустив голову, мама молча копалась в рисе. Было ясно, что теперь она окончательно во мне разочарована. Мама всегда хотела, чтобы я поскорее вышла замуж, купила квартиру и перевезла ее к себе в столицу. Все эти годы она жила у своей сестры и устала ютиться под чужой крышей. Однажды ночью, вскоре после своего возвращения в Цзинань, она позвонила мне и спросила: интересно, как там твой дедушка? Я удивилась: за все годы она ни разу о нем не вспоминала. Помолчав, мама добавила: особнячок, в котором живет дедушка, – подарок медуниверситета. Он ведь за ним и останется, даже после смерти? Ты все-таки родная внучка, приехала бы, поухаживала за дедушкой, он очень обрадуется. Как знать, может, и особнячок тебе оставит. Я сказала, что не приеду, велела ей выбросить это из головы. Но мама стала как одержимая, звонила почти каждый день. Мало-помалу я забыла, зачем ей нужно вернуть меня в Цзинань, слышала только, как голос в трубке повторяет: возвращайся, возвращайся. Мне стали вспоминаться разные истории из детства, я поняла, что очень скучаю по тому времени, когда жила в Наньюане. И неделю назад снова увидела тот же сон: я сижу в качающемся вагоне, к ногам подкатывается красная матрешка, я беру ее в руки. У самого уха раздается резкий женский голос: открой ее. Я развинчиваю матрешкин живот, внутри вижу точно такую же матрешку, но поменьше; я открываю и ее, там оказывается еще одна, еще меньше. Я развинчиваю их одну за другой, быстрее и быстрее, пот заливают мне глаза, кажется, это никогда не кончится. Половинки матрешек со стуком перекатываются по полу, женский голос повторяет: открой ее, открой! Когда я проснулась, вся подушка была в поту. Этот сон снова пришел за мной, каждое его появление – это зов. Я поняла, что должна вернуться. Что, наверное, дедушка скоро умрет.

Я приехала, никого не предупредив. Был вечер, в Центральном парке не работал ни один фонарь, меня окружали черные тени деревьев, лысые ветки качались на ветру. Луна осветила обрывистую тропинку, неровная галька под ногами тускло мерцала. Я не помнила, чтобы раньше пруд украшали эти насыпные горы, они асимметрично вздымались ввысь, словно ночь выставила свои зубы. С другого берега особнячок казался одиноким островом посреди пруда.

Звонок не работал, но дверь оказалась не заперта, я повернула ручку и шагнула внутрь. Шум и голоса привели меня в дальнюю комнату на первом этаже, вокруг стола толпились парни и девушки, за столом двое играли в пальцы, еще несколько человек, тряся головами, пели песню на непонятном диалекте, одна парочка обнималась. Пол был завален пустыми бутылками, а на электрической плитке посреди стола шумно кипело чили-масло.

С трудом разобравшись, кто я такая, одна из девушек выскочила в коридор и забарабанила в закрытую дверь напротив. Дверь открылась не сразу.

Наконец оттуда вышла Сяо Мэй – сиделка, которая ухаживала за моим дедушкой.

Она успела одеться, а вот мужчина за ее спиной еще нет, у него возникли неприятности с ремнем, и, стоя спиной к двери, он возился с пряжкой. Гости в панике разбежались, Сяо Мэй осталась одна – кусать губы и яростно оттирать стол. Само собой, она была недовольна: она ни разу меня не видела и даже не знала, что у дедушки есть еще одна внучка. По иронии судьбы этот огромный дом, олицетворение пожизненной славы, превратился в райский уголок для сиделки и ее дружков. Жаль, дедушка умрет, но так об этом и не узнает. Полгода назад он заболел воспалением легких и с тех пор лежит в спальне, прикованный к постели. К нему никто не приходит – дедушка терпеть не мог отвлекаться на гостей и несколько лет назад оборвал все связи с внешним миром.

Через два дня после приезда я рассчитала Сяо Мэй. Потому что она, в отличие от меня, чувствовала себя здесь настоящей хозяйкой. Перед уходом Сяо Мэй подошла к дедушке проститься, даже заплакала – наверное, она и правда была к нему привязана. Во всяком случае, ее чувства к нему были уж точно глубже моих. И дедушка к ней привык, но, ослабев под конец жизни, был вынужден на кого-то опереться и выбрал для этого меня.

Мы не виделись с ним много лет, он не узнал меня, но когда я назвалась, сразу мне поверил. И не возражал, чтобы я уволила Сяо Мэй. Все потому, что мы родственники. Кровное родство – то же самое насилие, оно намертво связывает людей, которые ничего друг к другу не чувствуют.

Цзяци, Цзяци. Иногда он ни с того ни с сего зовет меня по имени, как будто боится его забыть. Первые дни после приезда я подолгу сидела в этой комнате. Смотрела на него, думала о разговоре, который нам предстоит. О трагедии, развернувшейся в нашей семье, о том, как он стал тем, кем стал, и как я стала нынешней собой. Я повторяла речь, которую приготовила для него, репетировала холод в голосе, оттачивала каждое слово, чтобы оно сделалось острым, как очиненный карандаш. Моя речь должна была пронзить его, нанести смертельный удар.

Но мы так и не поговорили. А смертельный удар ему нанес обычный сквозняк. Сяо Мэй ушла, а спустя несколько дней дедушка простудился, поднялась температура. Я два дня давала ему лекарства, и температура спала, но сознание так до конца и не прояснилось. Он не может сфокусировать взгляд, не слышит, что я говорю. Болезнь подоспела вовремя, словно желая защитить его, избавить от позора и боли. Он оказался отрезан от мира, накрыт стеклянным колпаком болезни, но сохранил и волю, и рассудок. Он ни разу не испачкал простыни, всегда ждет, пока я подложу судно. Чтобы испытать его волю, однажды я больше десяти часов не подходила к его постели, но он все равно дождался. Наверное, это профессиональное качество, выработанное за десятилетия, проведенные у операционного стола.

Со временем я почти перестала заходить в эту комнату, появлялась, только чтобы покормить его и подложить судно. Не хотелось встречаться с ним взглядом. Правда, вместо меня его мутные зрачки видят один силуэт с размытыми контурами. Он тоже опускает веки, отводит глаза. Мы как будто оба боимся, что, глядя друг на друга, случайно увидим и того, кто стоит между нами. Обтирая его, я всегда смотрю на теплые смятые простыни за его плечом. Он такой худой, что кожа, скручиваясь, тянется за полотенцем, и кажется, что я протираю кости, одну за другой. Он отворачивается, смотрит в пол. Наверное, для него это унижительно. Когда-то он был полубогом, вершил судьбы сотен людей, а теперь его тянут за руку, чтобы протереть подмышку. Правда, надо сказать, для старика он довольно чистый, от него нормально пахнет. Наверняка это тоже следствие сильной воли – он не позволяет себе смердеть. Даже сейчас он не махнул на себя рукой.

За все время сюда пришли только двое детей. Это было позавчера, они перелезли через ограду и тихонько забежали во двор. Я сидела на диване и читала. В кабинете нашлось немного классики в роскошных изданиях, которые покупают для украшения книжных шкафов, – по-моему, их даже ни разу не открывали. Я взяла с полки “Грозовой перевал”. История налетела на меня и ударила в самое сердце. Потом я ненароком подняла голову и увидела, как двое детей, прижавшись к окну,

заглядывают в комнату. Мальчик и девочка, обоим лет по десять. Мальчик был ни капли не похож на тебя, а девочка – на меня, но вместе они почему-то очень напоминали прежних нас. Я побежала к двери, распахнула ее и даже на секунду оторопела, увидев их у порога.

Мальчик сказал, что учитель словесности задал им сочинение на тему “Человек, которого все уважают”. Они оба из семей сотрудников медуниверситета и с малых лет слышали о моем дедушке, вот и решили написать о нем, а пришли, чтобы взять у него интервью. Я в интервью отказала, объяснив, что академик нездоров, тогда девочка подмигнула мне и заявила: значит, мы возьмем интервью у вас. Вы его внучка, хорошо его знаете, расскажите нам какую-нибудь историю про академика. Я ответила, что на самом деле ничего о нем не знаю. Дети не поверили, пристали ко мне с расспросами, тогда я посоветовала им самим что-нибудь сочинить. Они устали на меня, выпучив глаза. А если учитель придет и спросит, скажете, что все правда, вы же сами это предложили? Да, так и скажу. И они, довольные, ушли. Человек, которого все уважают, должен быть окружен целым сонмом трогательных историй, неважно, правдивы они или нет.

Наверное, когда дедушка получил звание академика, это наделало немало шуму и в университете, и в прикрепленной к нему школе. К сожалению, я тогда уже перевелась в другую школу, там никто не знал, что известнейший в Китае специалист по болезням сердца, репортаж о котором занял целых две полосы в вечерней газете, – мой дедушка. Как будто некая тайная сила оторвала меня от него, помешав причаститься к его славе. Иногда я задумываюсь: какой бы я стала, если бы не уехала, если бы продолжала жить в его лучах?

Позавчера вечером я сидела в гостиной на первом этаже и смотрела телевизор. Показывали документальный репортаж, корреспондент разыскал ветеранов экспедиционных войск, оставшихся в Мьянме. Кто-то из них зарабатывал уроками китайского языка, другие держали мелочные лавки. Камера скользила по пожилым лицам. На чужой земле они даже старели осторожно, ни одна морщина не смела размашисто прорезать лицо. Здоровье у всех было отменным, только половина из ветеранов уже много лет как оглохла, а другая половина впала в маразм. Казалось, старики давным-давно запечатали себе глаза и уши и жили в собственном мире – так чужбина была хоть немного похожа на родину. После войны с японцами они решили остаться в Мьянме, потому что в Китае им пришлось бы идти еще и на гражданскую войну, смотреть, как свои убивают своих. Тогда их жизни и сошли с намеченного курса. Перестав шагать в ногу с великой эпохой, они зажили в благоденствии, за которое платили брошенностью. Если пешка отказывается ходить, в ней нет никакого толка.

Корреспондент разговаривал с внучкой одного из ветеранов. Она унаследовала семейное дело, держит мелочную лавку. Я завороченно смотрела на ее смуглое лицо, ведь я тоже могла быть ею, останься дедушка за границей. Наверное, местные китайцы помогли бы ему открыть частную клинику, он трудился бы в поте лица, потом его дело продолжил бы папа, а там и я. Я бы выросла, закрутила роман с каким-нибудь мьянманцем, мы бежали бы под дождем на площадь послушать выступление Аун Сан Су Чжи, а узнав из телевизора о свободе, дарованной прессе, обнялись бы и радостно завизжали. Эта никогда не принадлежавшая мне жизнь семенем одуванчика залетела в чужую страну и дала торопливый цветок. Но, избавившись от пут корня, она может стать по-своему неповторимой. Во всяком случае, такая жизнь чище. Все древние страны покрыты толстым слоем пыли, и отъезд – способ от нее очиститься. Замешанная на боли свобода, которую я так желала.

К сожалению, у дедушки не хватило смелости остаться за границей. И тощая мьянманская земля никогда уже не примет в себя его честлюбивое сердце. Хотя Пэйсюань вовсе не считает дедушку честлюбивым. В документальном фильме она говорит: дедушка однажды сказал мне, что на самом деле всегда плыл по течению. В годы учебы прилежно сидел над книгами, став врачом, старательно лечил больных. Когда пришла пора служить, он пошел в армию, а когда нужно было вступить в партию, вступил в партию. Он просто успевал шагать в ногу с эпохой.

Времена стремительно менялись – не успел опомниться, а под ногами уже пустота и ты летишь в пропасть. На самом деле научиться плыть по течению сложнее всего. Как разведчик, который терпеливо ищет нужную радиоволну, ты должен обладать острым слухом и спокойным сердцем, настраивая себя на волну с эпохой.

Сейчас на экране тот самый фильм, что она прислала. Я поставила его на повтор, пока ждала тебя, и смотрела урывками, то и дело отвлекаясь. При случае скажу Пэйсюань, что мне очень понравилась часть про экспедиционные войска. Мне нравится первая половина дедушкиной жизни, я люблю представлять, что за судьба была бы у нашей семьи, остановись он в одном из тех мест.

15'37"

“ДОБРОЕ СЕРДЦЕ И ДОБРЫЕ РУКИ – ЗНАКОМСТВО С АКАДЕМИКОМ ЛИ ЦЗИШЭНОМ”

За столом у окна сидит пожилая женщина в бордовой рубашке.

Титр:

ЦЗЯН АЙЛАНЬ, СТАРШАЯ ДОЧЬ ЧЭНЬ ШУЧЖЭНЬ.

Женщина открывает овальную жестяную коробку, достает из нее сложенное вчетверо письмо. Расправляет его, кладет на стол. Края письма обтрепались, две строчки чернил размыты. На экране иероглиф за иероглифом появляется текст письма:

Шучжэнь, здравствуй.

Наш медотряд разбил лагерь на склоне горы. Горы в этих местах опасные, после дождя даже шагу ступить невозможно. Душит жара, но все равно приходится кутаться в одежду, защищаться от пиявок, которых здесь великое множество. Днем я провел ампутацию, до конца жизни ее не забуду. Пациент – господин Вуд, лучший врач в медотряде, в Англии он пользовал аристократов и членов королевской семьи. Последние два месяца я был его помощником и переводчиком, но он еще ни разу не доверил мне скальпель, полагался только на себя, никому другому оперировать не позволял. Позавчера мы попали под авиаудар, погибло десять человек, господин Вуд был ранен. Весь день он пролежал без сознания, а очнувшись, спросил: “Правую руку уже не спасти?” Я покачал головой. Его глаза покраснели. Перед операцией он велел мне поддержать его за правую руку, а потом сказал: “Я передал тебе свой талант”. Операция прошла успешно, он пока не очнулся от наркоза. Я ушел из лагеря побыть в одиночестве; вдалеке снова раздаются сигналы тревоги. Шучжэнь, за эти дни я еще глубже почувствовал, как изменчива бывает судьба. Жизнь ничтожна, в ней нет и капли достоинства, а война – всего лишь игрушка в руках генералов. Какой смысл в победе, если ее цена – гибель стольких людей? Но я часто вспоминаю тебя, и это не дает мне пасть духом. Я обязательно вернусь к тебе, чего бы это ни стоило.

Цзишэн

Смена кадра. Пожилая женщина складывает письмо, возвращает его в жестяную коробку.

Титр:

ЭТО ПИСЬМО ЛИ ЦЗИШЭН ОТПРАВИЛ ЧЭНЬ ШУЧЖЭНЬ ИЗ МЬЯНМЫ В 1943 ГОДУ. ОНО ОКАЗАЛОСЬ ЕДИНСТВЕННЫМ, ПОСЛЕ ОНИ ПОТЕРЯЛИ ДРУГ ДРУГА ИЗ ВИДУ ДО САМОГО КОНЦА ВОЙНЫ. КОГДА ЛИ ЦЗИШЭН ВЕРНУЛСЯ С ФРОНТА, ЧЭНЬ ШУЧЖЭНЬ УЖЕ ДВА ГОДА БЫЛА ЗАМУЖЕМ. В 2008 ГОДУ ЧЭНЬ ШУЧЖЭНЬ, ЛЕЖА НА СМЕРТНОМ ОДРЕ, ПОЖЕЛАЛА УВИДЕТЬСЯ С ЛИ ЦЗИШЭНОМ, НО ОН БЫЛ НА КОНФЕРЕНЦИИ В США И НЕ СМОГ ПРИЕХАТЬ.

Чэн Гун

Тетя не знает, что я уезжаю. Наверное, лежит сейчас на кровати и чутко ловит звуки за дверью. Последние два года она страдает неврастением и засыпает всегда дольше, чем спит. Если я поздно возвращаюсь домой, она лежит в темноте без сна и прислушивается, а засыпает, только услышав щелчок замка и мои шаги. Она думает, что сегодня все будет как обычно, что я просто ушел выпить. Тетя не против моих попок, и даже если я прихожу домой пьяным, ей все равно. Для нее наверняка не секрет, что в последний год у меня появилась небольшая алкогольная зависимость. Но как знать, может, этого она и хотела. У мужчины, который каждый вечер напивается, вряд ли есть шансы понравиться девушкам. К тому же у алкоголиков снижаются половые потребности, постепенно они вообще утрачивают способность любить. Я должен поскорее состариться, лучше, если я успею состариться одновременно с тетей и мы вместе покинем этот мир. Так нужно для моего же блага – тетя беспокоится, что после ее смерти я стану очень одинок.

Но сегодня она меня не дожждется. Всю ночь пролежит без сна, может быть, только на рассвете заставит себя ненадолго вздремнуть, но скоро снова проснется. Она включит ночник, посмотрит на будильник, встанет с кровати, проверит дверной замок, потом попытается до меня дозвониться – будет расхаживать по комнате, слушая длинные гудки. И в какой-то момент вдруг поймет, что я не вернусь. Стоя посреди квартиры, освещенной первыми утренними лучами, тетя поглядит по сторонам, и я могу представить, какой ужас ее охватит. Знакомые предметы покажутся чужими – я знаю это чувство.

Я впервые по-настоящему уезжаю из Цзинаня, перебираюсь в другие края. Много лет назад тетя слышала от гадателя, что должна всю жизнь провести там, где родилась, дальняя дорога обернется для нее несчастьем. Она любит повторять, что наши “восемь знаков” очень похожи и мне тоже нельзя уезжать далеко от дома. Эти годы мы с тетей делили одну жизнь на двоих, и я действительно стал все больше походить на нее. Постепенно ее страх перед дальней дорогой передался и мне. Какая-то странная убежденность держала меня на месте, я словно чего-то ждал. Тогда мне очень хотелось рассказать об этом чувстве Сяо Кэ, но я даже себе не мог объяснить, чего же на самом деле дожидаюсь.

Сяо Кэ тоже молчала и без остановки расчесывала комариный укус на руке. Был август, ржавый вентилятор шелестел, вздувая занавески, а Сяо Кэ, раздевшись по пояс, ходила кругами по комнате и с силой расчесывала руку. На месте укуса выступила кровь, но она этого не замечала. Рана затягивалась коркой, которую она снова сдирала, и скоро расчесанный укус превратился в лунку, которая с каждым днем разрасталась. Она не зажила до самого ухода Сяо Кэ.

Мы познакомились семь лет назад. Я тогда работал в рекламном агентстве. Вообще-то я мог уехать учиться в другой город, но решил остаться здесь и всегда немного жалел о своем решении. Характер у бабушки с годами еще больше испортился, в конце она стала просто невыносима. Поэтому мне очень хотелось отсюда уехать, и Сяо Кэ тоже. Она, как и я, жила с семьей, отец ее был отставной военный, настоящий садист, она от него натерпелась. Чтобы Сяо Кэ хранила целомудрие, он не разрешал ей встречаться с парнями. Но уже на втором свидании она легла со мной в постель. Поначалу мы встречались в гостинице неподалеку от ее дома, каждый раз оставались там не больше часа. Конечно, я чувствовал себя свободнее, но все равно вынужден был скрывать существование Сяо Кэ от бабушки и тети.

Бабушка всегда боялась, что я влюблюсь, уйду из дома и забуду о ней. На первом курсе института у меня случился роман, и бабушка места себе не находила – постоянно искала повод для ссоры, потом пошла к той девушке и стала ей угрожать. Я разозлился и съехал. Через несколько месяцев девушка ушла от меня к одному из своих воздыхателей и я вернулся с чемоданом домой. Бабушка ничего не сказала. А тетя была сама забота: каждый день готовила мои любимые блюда,

на выходных пошла со мной в горы. Стоя на ветреной вершине, тетя призналась: когда ты ушел и бросил меня с бабушкой, я едва не умерла от страха. С тех пор я больше не заводил серьезных отношений. Казалось, ни одна девушка этого не стоит.

Но Сяо Кэ стала исключением. Мы часто заговаривали о том, как “сбежим”. Как, никому не сказав, уедем в другой город и начнем там новую жизнь. Эти разговоры всегда напоминали мне, как мы с тобой в детстве мечтали о далеких краях. Помнишь, ты хотела поехать в Пекин, потому что там жил твой папа? А я собирался отправиться на поиски мамы в Шэньчжэнь, а может быть, в Гуанчжоу, я не знал, где она. Мы планировали, что сначала поедem в Пекин к твоему папе, а потом отправимся искать мою маму. Мы будем долго ехать на поезде, засыпать и просыпаться в громящем вагоне, прильнув к окну, смотреть на пролетающие мимо деревья, обжигаясь, есть из одной миски лапшу быстрого приготовления. Ты обещала, что будешь стирать мне носки, я сказал, что во время стоянок буду спускаться на платформу и покупать тебе батат, а еще пообещал, что разрешу тебе есть мороженое, даже если денег останется совсем немного. Эти фантазии приводили нас в неизменный восторг, как игра, которая никогда не надоедает. Много лет спустя я снова взялся играть в нее, на этот раз с Сяо Кэ. Но теперь наши планы были реалистичней. Мы собирались поехать в Шанхай – в Шанхае много возможностей, заработаем денег, откроем свое дело. Мы обсуждали это на каждой встрече и, окрыленные, договаривались завтра же тронуться в путь, но через час снова расходились по домам.

А потом, в мае, бабушка попала в больницу. Много дней лежала с температурой, резко похудела, в итоге обследование показало рак печени в терминальной стадии. Доктор выписал ее домой, дал ей не больше трех месяцев. Бабушка была уже немного не в себе, думала, что мы с тетей хотим ее погубить, и ни в какую не соглашалась уходить из больницы. Стационар при университетской больнице всегда битком набит пациентами, но бабушка все-таки вытребовала себе койку в старом корпусе, где раньше лежал мой дедушка, упирая на то, что он когда-то был начальником больницы, а тетя по сей день там работает. Старый корпус к тому времени почти превратился в дом престарелых, в палатах лежали одни старики, дожидавшиеся смерти, а о жестокости сестер слагались легенды, так что бабушка вдоволь хлебнула горя. К тому же, остерегаясь нас с тетей, она и сберкнижку, и украшения держала при себе, боялась, что их похитят, и ни одной ночи не спала спокойно.

– Дома ничего не трогайте. Я уже скоро поправлюсь, через пару дней возвращаюсь, – говорила бабушка. А мы видели, как она день ото дня угасает.

В конце мая Сяо Кэ ни с того ни с сего явилась к моему дому с чемоданом. Она сказала, что окончательно рассорилась с отцом, уволилась с работы (она работала в фитнес-клубе недалеко от дома) и решила, что к родителям больше не вернется.

Я временно поселил ее наверху. Наверное, увидев сегодня мой дом, ты очень удивилась, ведь все старые постройки в западном секторе снесли, только дом номер восемь, в котором жила моя бабушка, остался на месте. Его тоже должны были снести, но бабушка наотрез отказалась переезжать, требуя у руководства университета компенсацию в двойном размере. Все соседи уже съехали, в доме остались только мы, из университетского отдела по вопросам сноса ветхого жилья что ни день приходили сотрудники, пытались переубедить бабушку, но все было напрасно. Они знали, что бабушка – человек несговорчивый, чуть только тронь ее – начинает скандалить, а скандалит она страшно, и решили пока наш дом не сносить. Наверное, они думали, что бабушка и пары лет не протянет. Кто же знал, что она проживет так долго, в университете уже два ректора сменилось, а бабушке все было нипочем. Когда соседи съехали, она взломала замки в дверях и заявила, что теперь все квартиры в доме ее. По ее заданию мы с тетей купили и расставили по квартирам несколько дешевых панцирных кроватей и пластиковую мебель, и бабушка стала сдавать жилье приезжим, которые работали на рынке электроники недалеко от Наньюаня. Она превратилась в настоящую домовладелицу, целыми днями ходила по этажам, собирая арендную плату, – в общем, жила полной

жизнью. Так продолжалось лет семь или восемь, а потом рынок куда-то перевели, квартирантов стало меньше, а в конце вообще никого не осталось. В целом доме теперь жили только мы одни, трещины на стенах росли, проводка барахлила, и мы часто сидели без света. Окна на верхних этажах побились, и ставни качались на ветру, как будто в доме хозяйничает привидение.

Я поселил Сяо Кэ на третьем этаже, в квартире с окнами на восток. Мы распахнули ставни, убрали со стен паутину. Сяо Кэ включила мой приемник и подметала, мурлыча песенку. Я же сначала поливал пол из шланга, а потом подкрался к Сяо Кэ сзади и окатил ее водой. Она отобрала у меня шланг, и мы, насквозь мокрые, гонялись друг за другом по пустой квартире. А потом свалились на матрас, обернутый пластиковой пленкой, и занимались любовью. После секса на лице Сяо Кэ всегда выступали красные пятнышки, мелкая-мелкая сыпь. Ее эти пятнышки огорчали, а мне, наоборот, казались очень красивыми.

Скоро я поссорился с начальником и недолго думая уволился из агентства. Появилась целая прорва времени, я мог навещать Сяо Кэ и утром, и днем, и вечером. Если тетя работала в ночную смену, я уходил спать наверх. Иногда шел покормить бабушку или купить бутылку соевого соуса для тети и заодно успевал заглянуть к Сяо Кэ, занести ей коробочку покупного жареного риса. Наступило лето. Мы натянули полог от комаров, и матрас превратился в плот, на котором мы коротали и дни и ночи – ели, смотрели кино, играли. И занимались любовью. Без конца занимались любовью, пока не обессилевали. Ни она, ни я не говорили об этом вслух, но мы оба ждали.

Все эти годы мы с тетей не могли переехать в другую квартиру, выбросить что-то из мебели, изменить замшелый уклад, которым жила наша семья, – во всем нужно было следовать бабушкиной воле, а значит, оставлять все по-старому. Мы ждали, что однажды бабушки не станет и у нас начнется новая жизнь. И вот к строю ожидающих присоединилась Сяо Кэ. Она ждала, когда я получу свободу и смогу уехать с ней. Но теперь мы ждали молча и об отъезде не заговаривали.

Днем мы лежали голышом на полу, пили пиво, поджаривая пупки на солнце. Я напивался до бесчувствия, пока ноги и руки не становились ватными, а потом забирался на Сяо Кэ и входил в нее, в ее бездонную сердцевину. Вязкая влага все прибывала, она облизывала наши раскаленные границы, и по телу разбегались судороги. Я ложился на Сяо Кэ, закрывал глаза и весь погружался в ее плоть. Предельно мягкая плоть распахивалась мне навстречу через узкое тазовое кольцо, дрожала и сокращалась. Я был не в силах остановиться, я уже ничего не чувствовал, но не мог кончить. Эрекция долго не проходила. Одинокая обескураживающая твердость, последний аккорд безумной молодости.

В конце июня бабушка попала в отделение интенсивной терапии. Мы застали ее в сознании, она потребовала убрать кислородную маску и спросила тетю:

– Скажи, твой отец ждет меня там?

Тетя растерялась и ответила, что не знает. Помолчав, бабушка покачала головой:

– Надоело быть одной.

Через два дня бабушка умерла. Когда зазвонил телефон, я спал в обнимку с Сяо Кэ. Поговорив с тетей, лег обратно и крепко обнял Сяо Кэ. Она открыла глаза, спросила, что случилось. Я попросил не шевелиться, полежать со мной еще немного. Свобода оказалась на вкус не такой, как представлялось, и я чувствовал только легкую дурноту.

На похороны никто не пришел. В Наньюане бабушка пользовалась плохой славой, соседи даже на глаза ей попадаться боялись, а уж о дружбе и речи не шло. Когда мы возвращались домой, начался дождь. Мы с тетей выскочили из автобуса и, прикрывая урну, побежали к козырьку у почтового отделения. Стояли там, а дождь и не думал стихать, лил все сильнее. Вдруг тетя заплакала и сказала: Чэн Гун, я

ведь теперь сирота, не губи меня.

Мы похоронили бабушкин прах в горах недалеко от города. Она лежит там совсем одна, без родственников. Сначала мы хотели отвезти урну в ее родную деревню, но тетя помнила только, что это где-то в шаньдунском уезде Цаосянь, а названия деревни не знала. В семнадцать лет бабушка ушла из дома и больше туда не возвращалась. Когда мы ехали обратно, тетя сказала: вот похоронили бабушку, теперь у нас тоже есть родовое кладбище. Значит, мы по-настоящему пустили корни в этом городе.

После смерти великого диктатора людей охватывает страшная пустота. Соппротивление было задачей всей жизни, больше они ничего не умеют. А теперь свобода свалилась на них, точно какой-то сложный измерительный прибор, они вертят этот прибор в руках и не понимают, куда его приспособить. Всю следующую неделю мы с тетей жили, осторожно следуя старым правилам. Она как обычно ходила на работу, я днем поднимался к Сяо Кэ, ближе к вечеру спускался за продуктами, потом мы с тетей садились по разные стороны старого квадратного стола и ужинали. Лампочка над головой по-прежнему барахлила и постоянно моргала, как злобещий глаз. И еду тетя продолжала пережаривать, как будто готовит для бабушки. Засаленная пластиковая скатерть хранила запах бабушкиной слюны и постоянно напоминала, как бабушка сидела между нами, обглаживая свиные ребра. В воскресенье я повел тетю в магазин, мы купили кулер для воды и соковыжималку, о которой она давно мечтала. Вот и все, это и была наша долгожданная новая жизнь.

И с Сяо Кэ мы тоже жили по-старому. Правда, она начала стрелять у меня сигареты, а еще постоянно перекладывала в чемодане жалкие стопочки своей одежды. Потом как-то раз пошла и набила татуировку. Маленькую птичку на ладони. Объяснила, что это голубь мира, символ молитвы за мир во всем мире. А потом хмыкнула и сказала, что просто хотела татуировку, но не могла придумать какую. Голубь мира очень подходил ее характеру. Она с детства насмотрелась ссор между родителями и не выносила раздоров, никогда ни о чем не спорила. Я не слышал от Сяо Кэ ни одного попрека. Только чувствовал ее увесистое молчание, которое с каждым днем становилось тяжелее.

Я сам не знал, почему так и не трогаюсь с места. Может, чувствовал за собой какой-то долг, вот и решил помочь тете с переездом. Университет держал для нас квартиру в многоэтажке, чтобы мы могли переехать туда сразу, как только решимся. Мы с тетей посмотрели ту квартиру, она была на двенадцатом этаже, светлая, с большим балконом. Начали готовиться к переезду, на выходных устроили генеральную уборку. Бабушка любила копить мусор и ничего не разрешала выбрасывать. Лысая метелка для пыли, щербатый гребешок, пустая банка из-под крема... Мы сложили все это в картонные коробки, а коробки составили друг на друга у стены. Я хотел взять напрокат велосипед с кузовом и отвезти коробки на мусорную станцию, но дождь зарядил на два дня, и я отложил это дело на потом. Когда же раздобыл велосипед и начал носить коробки, тетя вдруг заявила: "Вот умру, тогда и выбросишь все вместе. Все равно мне недолго осталось".

Не обращая на нее внимания, я понес мусор вниз. Но она подбежала к двери и загородила мне выход:

– Я никуда не поеду, останусь здесь. А ты уезжай, если хочешь.

– Давно хочу. – Я бросил коробку на пол и вышел за дверь.

К Сяо Кэ я не пошел, вместо этого спустился в ресторанчик, съел там миску лапши, а потом допоздна шатался по улицам. Я решил, что утром поговорю с тетей, попытаюсь убедить ее переехать в новую квартиру, а после скажу, что друг устроил меня в одну шанхайскую фирму и я хочу там поработать. Вернулся домой и увидел, что во всех комнатах горит свет. Тетя ждала меня в гостиной, на столе стоял давно остывший ужин. Сама она к еде не притронулась. Я хотел уйти к себе в

комнату, но она окликнула меня, сказала, что надо поговорить. А когда я сел, замолчала.

– Сама не знаю, что со мной такое... – Она заплакала. – После смерти бабушки ночами я не сплю, в голове беспрестанно крутятся разные истории из прошлого, как в кино, сначала я смотрю на них из зрительного зала, потом сама поднимаюсь на сцену... Знаешь, у меня странное чувство, – тетя потупилась и закачала головой, – что дедушка все еще жив...

– В вегетативном состоянии невозможно прожить сорок два года. – Я очень удивился, что с ходу сказал про сорок два года, как будто все время вел про себя счет. На самом деле мы уже очень давно не заговаривали про дедушку. Двадцать лет назад он пропал – однажды ночью его похитили из палаты, и с тех пор о нем ничего не известно.

– Но вдруг случилось чудо? И бабушка перед смертью о том же спрашивала. Она что-то знала. Перед смертью людям открывается больше, чем обычно.

– Это всего лишь домыслы.

– Неправда, – ответила тетя. – Когда мы хоронили бабушку, я узнала, что свидетельство о смерти выдается только родственникам, а без свидетельства не кремируют. Если он умер, что делать с телом? Закопать? Выбросить? И то и другое незаконно, остается один выход. – Тетя посмотрела на меня: – Подбросить его обратно.

– А похищение разве законно? Кто станет подбрасывать труп, рискуя попасться?

– Соседей у нас в доме не осталось, если ночью принести его к порогу, никто не увидит.

– И ты каждый день ждешь, что поутру откроешь двери, а дедушка лежит на пороге?

– Я не жду, а вот бабушка ждала, – ответила тетя. – Я теперь понимаю, почему она так упиралась и отказывалась переезжать. Все из-за него.

– Да ладно, она мечтала, чтобы он поскорее умер.

– Иногда человек и сам не знает, чего хочет. Я думала, что мечтаю отсюда переехать, поселиться в квартире побольше, чтобы у меня была нормальная комната, а теперь... Не знаю, я просто чувствую, что должна оставаться здесь, что история с дедушкой еще не окончена... – Она снова заплакала.

– Хватит, – отрезал я.

В какой-то степени она была права. Со смертью бабушки наше ожидание не прекратилось. Потому что мы теперь ждали другого. Может, возвращения дедушки, я сам не знаю. Но мне тоже не верилось, что его история подошла к концу. Не потому что в ней остались нераскрытые загадки – я знал все, что должен был, но чувствовал некую незавершенность и никак не мог от нее отделаться.

Мы молчали. Тетя тихо всхлипывала. Я пододвинул к себе тарелку с жареным арахисом, брал его горстями и ел.

С тех пор тетя стала бояться одиночества. Просила меня быть рядом и говорить с ней, даже пока готовила. А вечером тем более не хотела меня отпускать. Я сидел рядом с ней на диване, смотрел скучные сериалы, ел арбуз. А она постоянно потела и все время вязала какую-то толстую кофту. Ее тревога утихала, только если руки были чем-то заняты. Я не сразу понял, что у тети наступил климакс, он утилизировал все лишние желания в ее теле. Так в старую печку перед списанием забрасывают весь оставшийся уголь, и она обжигает жаром. Климакс у тети начался сразу после бабушкиной смерти, как будто место старухи в нашей семье

не могло оставаться вакантным. Тетя унаследовала бабушкин строптивый характер, подозрительность и обостренное чувство собственности. И еще желание оставаться в этом старом доме. Возрасту бесполезно сопротивляться, но мне все равно кажется, что климакс обошелся с тетей слишком жестоко. Потому что она, скорее всего, была девственницей. Получается, всю жизнь ее кровь проливалась зря.

Сяо Кэ больше не спрашивала, уеду ли я вместе с ней. С некоторых пор она знала ответ, но все равно ждала от меня каких-то слов. Ходила кругами по комнате и, не замечая крови, расчесывала укусы на руке. Я сидел в углу, пил пиво и думал: вот захмелею еще немного, может, тогда получится все ей рассказать. Но так и не смог заставить себя начать. Я долго молчал об этом, и история успела покрыться ржавчиной. На улице шел ливень, квартира наполнялась запахом разлуки. Стоя у окна, Сяо Кэ вдруг высунулась наружу, как голубь, который хочет вылететь из этого безлюдного дома.

В последний на моей памяти раз, когда мы занимались любовью, она крепко вцепилась в меня, вонзила ногти прямо в кожу. Полог упал и обвил наши тела. Сяо Кэ закрыла им лицо и стала похожа на невесту.

– Женишься на мне? – серьезно спросила она.

– Ага.

Она рассмеялась, будто услышала самый уморительный на свете анекдот, и хохотала, пока не потекли слезы.

Сяо Кэ не попрощалась со мной. О ее уходе я узнал от тети. Утром та пошла выбрасывать мусор и увидела, как какая-то девушка спускается по лестнице.

– Я искала знакомого, но он уже съехал, – объяснила она тете и покатила чемодан дальше.

Ли Цзяци

Чувствуешь, как тут холодно? От вина должно стать теплее, постепенно согреемся. Я рада, что ты тоже любишь выпить. Не стовариваясь, мы выбрали одинаковое хобби – значит ли это, что мы всегда оставались на одной волне? Правда, я не особо умею пить, наверняка быстро опьянею. Но не бойся, я не стану городить вздор. Скорее, наоборот, вино прочистит мне голову. У тебя такое бывало? Выпьешь, и воспоминания становятся четче, в голове будто загорается лампочка, освещая все темные, покрытые пылью углы.

Иногда я задумываюсь: как получилось, что из одной семьи мы с Пэйсюань вышли такими разными? На самом деле эта разница проявилась еще в наших отцах. Дядя (отец Пэйсюань) с детства боготворил дедушку и советовался с ним во всех важных делах. Дедушка говорил, что никогда не навязывает детям свою волю, только высказывает мнение. Но мнения его были столь же авторитетны, что и рецепты, которые он выписывал больным. А мой папа ни во что не ставил дедушкин авторитет и всегда противился его воле. В нашей семье он был отступником.

С самого раннего детства я чувствовала противостояние между папой и дедушкой. Если они садились вместе за стол, воздух делался тугим и плотным, будто вот-вот взорвется. Между собой они почти не говорили, в крайнем случае общались через бабушку. Бабушка, сказав что-нибудь папе, часто добавляла: это мнение отца. А папа, обращаясь к бабушке, порой начинал фразу словами: “Передай ему...” – то есть дедушке. Тогда я думала, что они не ладят, потому что папа женился на маме. Это действительно было одной из причин, но позже я поняла, что папа женился на маме как раз для того, чтобы поссориться с дедушкой.

Когда мои родители только познакомились, мама была деревенской девушкой с румянцем во всю щеку, а ее семья поколениями жила в деревушке под названием Шибали – Восемнадцатая верста. Если бы не “перевоспитание”, мои родители никогда бы не встретились. Иными словами, я родилась благодаря лозунгу “Образованная молодежь едет в деревню”. Когда своим появлением на свет ты обязан какому-то лозунгу, трудно отделаться от ощущения случайности собственной жизни. Наверное, я должна радоваться, ведь куда больше детей в нашей стране из-за очередного лозунга вообще не смогли родиться.

В деревне с “обширным полем деятельности, где каждый может найти себе применение” мой папа “применения” себе так и не нашел и закрутил роман с моей мамой. К тому времени он уже плохо ладил с дедушкой, поэтому решил порвать с семьей и навсегда остаться в деревне. У маминого отца было большое хозяйство, хватало и работников, и земли, так что от лишнего рта они бы не обеднели, а лишние руки им не требовались. К тому же мама считалась в деревне первой красавицей. Она была хороша тихой захолустной красотой, словно сладкая студеная вода из журчащего в горах родника. И папа одно время был ей очарован. Он любил красивых женщин, хотя я долго не желала это признать, мне казалось, что любовь к красавицам – черта поверхностного человека. А еще мама была хорошей работницей, умела ходить и за свиньями, и за курами. Жаль, она не могла увезти эти достоинства с собой в город – вместе с ней из деревни уехала только ее красота. Красота, в отличие от деревенской прописки, универсальна. И благодаря этой универсальной красоте люди быстро забывали о мамином сельском происхождении, о том, что она не училась в школе и почти не умеет ни читать, ни писать. А еще красота помогала не замечать ее несообразности и одиночества. Когда я поняла, что мама одинока, она уже двадцать лет жила в городе и от ее красоты давно ничего не осталось.

Папа обещал, что в город больше не вернется, но это было сказано в сердцах. Очень скоро ему, как и остальной городской молодежи, стала невыносима суровая и унылая сельская жизнь. Когда в городе начали набирать рабочих, папа вернулся. А после заявил дедушке, что женится на моей маме. Только тут семья и узнала о мамином существовании.

Дедушка был решительно против этого брака, он хотел, чтобы папа женился на дочери его сослуживца, профессора Линь. Барышня Линь занималась музыкой, прекрасно играла на скрипке, а еще обожала моего папу, даже приносила контрамарки, чтобы пригласить его на концерт, который давал их оркестр. Правда, мама потом рассказывала, что ее соперница была полной, низенькой, смуглой и носила очки с толстыми стеклами. В детстве я любила взвешивать плюсы и минусы брака с барышней Линь: я была бы смуглой и низкорослой, с малых лет носила бы очки, зато научилась бы играть на скрипке, и на новогодних утренниках, где каждый должен исполнить какой-нибудь номер, мне больше не пришлось бы ставить очередную несмешную сценку с тобой и Большим Бинем. Я бы вышла на середину затихшего класса, прикладывала скрипку к плечу и играла бы невыразимо печальную мелодию из "Влюбленных-бабочек".

Дедушка говорил, что папа обязательно пожалеет, если женится на маме. Но папа велел дедушке не беспокоиться: если пожалею, сам разберусь. И однажды снежным утром родители пошли и расписались. Так они стали мужем и женой. Не было ни свадьбы, ни брачных покоев, ни подарков семье невесты. Жили молодожены в доме папиного друга. Убогая клетушка в десять квадратных метров стала для мамы первой городской квартирой. Спустя неделю бабушка и дядя приехали на рейсовом автобусе из деревни в Цзинань, привезли пару живых куриц и мешок новогоднего печенья – хотели познакомиться со сватами, но папа их не пустил. В итоге родственники так ни разу и не увиделись.

После заключения брака мои родители какое-то время все-таки жили счастливо. Папа дорожил этой маленькой семьей, ведь им пришлось преодолеть столько препятствий, чтобы пожениться. А маме больше не нужно было ходить за свиньями и курами, жать пшеницу под палящим солнцем, и незнакомая городская жизнь была ей в диковинку. Папа научил ее кататься на своем стареньком велосипеде "Цзиньши" с 28-дюймовыми колесами, и однажды в воскресенье она неуверенно выкатилась на улицу, доехала до универмага и купила первый в своей жизни тюбик крема для лица. К тому времени мама уже лишилась яркого румянца, но, судя по фотографиям, все равно оставалась красавицей. Потом папа нашел ей работу нянечкой в детском саду при жилкомитете. Маме эта работа нравилась, она целыми днями пела, танцевала, играла с малышами, а когда они засыпали, потихоньку складывала остатки еды в судок и приносила домой на ужин.

Папа тогда работал шофером в продовольственном управлении. Утром он на велосипеде уезжал в бригаду, переодевался в спецодежду, натягивал белые трикотажные перчатки, заводил свой грузовик "Цзефан" и колесил по городу с кузовом, груженным мукой и рисом. Днем в свободную минутку он иногда заезжал на работу к маме и брал ее прокатиться по городу. В 1976 году такие грузовики считались еще редкостью, во всем Цзинане их было не больше двадцати. Наверное, когда мама стояла в переулке, высматривая папин грузовик, а потом запрыгивала в кабину под восхищенными взглядами прохожих, то верила, что нет на свете женщины счастливее. Иногда папа работал допоздна, не успевал отогнать грузовик в бригаду и возвращался на нем домой. Тогда мама, не помня себя от радости, хватала веник с мешком, неслась на улицу и при тусклом свете фонаря собирала в мешок тонюсенький слой риса, просыпавшегося на доски в кузове. Потом прибегала домой и, подкидывая увесистый мешок, сообщала папе, что этого риса им хватит на целую неделю. Папа улыбался – наверное, в такие минуты она казалась ему очень милой. В ту пору он еще восхищался ее бережливостью.

Все это мама рассказала мне после того, как папа потребовал развод. Тогда она на несколько дней погрузилась в воспоминания и вдруг перестала быть той грубой и неотесанной деревенщиной, какой была обычно, горе возвысило ее над собственным разумом и превратило в женщину, которая знает, что такое настоящая любовь. Мама редко нравилась мне так, как в те дни, впервые я хотела слушать ее рассказы. Мне нравились все люди, понимавшие что-нибудь про любовь.

В первый год папиной женитьбы они с дедушкой совсем не общались. Но как-то раз в гости к папе пожаловал дядя и сказал, что дедушка хочет увидеться. Папа

неохотно согласился. Дома дедушка сказал ему, что с этого года правительство восстановило единый экзамен для поступления в высшие учебные заведения и папе обязательно нужно его сдать. Но папа ответил, что доволен своей нынешней жизнью и не нуждается в чужих указаниях. Так, не успев обменяться и парой слов, они снова рассорились. Но чтобы убедить папу, бабушка в первый и последний раз пришла на поклон к маме. Потом мама всю жизнь жалела, что согласилась с бабушкой и помогла им уговорить папу сдать экзамены. Ей не хватило ума представить, как сильно способен изменить человека университет.

Трудно сказать, какую роль сыграли мамины уговоры, но в конце концов папа все-таки сдал экзамены. Наверное, он и сам этого хотел, но чуть было не отказался, просто чтобы пойти наперекор дедушке. Правда, он подал документы не на медицинский факультет, как того хотел дедушка, а на отделение китайской словесности. Сначала он думал поехать учиться в Пекин, но остался в Цзинане. Ведь в Пекине у него не было жилья, чтобы поселить маму, да и как бы он нашел ей работу? Тогда мама уже превратилась в гирию на его ногах.

Папа всю неделю жил в общежитии, домой возвращался только на выходные. С понедельника по субботу он читал Толстого, обсуждал поэзию и философию с товарищами и преподавателями, ходил на кинопоказы, которые устраивали в университетском актовом зале, а в воскресенье привозил домой сумку грязной одежды, шел в рисовую лавку, тащил оттуда пятьдесят цзиней муки, складывал угольные брикеты под навес от дождя, чистил забитый дымоход в печке. Дома часто отключался свет, и папа должен был выходить на улицу и менять предохранители, а мама продолжала лепить пельмени в темноте. Она не знала, как еще показать ему свою любовь, и каждое воскресенье принималась лепить пельмени. Такой была типичная папина неделя: за исполненным романтики туловищем тянулся прозаичный хвост.

В то время папины стихи печатались в журналах, их тайком декламировали друг другу однокурсники. Когда он шел по кампусу, его всегда провожало несколько тихих взглядов. Ребенком я однажды нашла старый журнал с папиными стихами. Стихи были непонятные, но очень красивые и романтические. В них чувствовалась любовь, но она была точно не к маме. По крайней мере, я не могла связать эти стихи с мамой. Потом папа и еще несколько студентов основали поэтическое общество, и он стал первым его председателем. Они часто собирались вместе, читали стихи, обсуждали их, по выходным он почти перестал возвращаться домой. Его поэтическое общество пользовалось большим влиянием, в дальнейшем все его основатели стали известными поэтами. Кроме папы. Хотя говорили, что он был там самым талантливым.

Почему папа бросил писать стихи? Загадка. Много лет спустя я познакомилась с папиным однокурсником, его звали Инь Чжэн. По словам Инь Чжэна, после выпуска они с папой остались в университете преподавать и учиться в магистратуре. И на первом курсе магистратуры папа вдруг перестал писать. Стихи больше не получались, он будто утратил этот дар. Папа стал сам не свой, не спал ночами, для него это было черное время. И в тот же год в его жизни произошла еще одна важная перемена – родилась я. Но никто не знает, есть ли между этими событиями тайная связь.

Тогда папа к маме уже совершенно охладел. Наша семья переехала в преподавательское общежитие, у родителей наконец-то появился свой угол, но папа редко бывал дома, предпочитая коротать время у себя в кабинете. Может быть, он винил маму в том, что разучился писать, а может, просто хотел пережить этот трудный период в одиночку.

У одного из отцовских товарищей судьба складывалась похоже: он женился на деревенской девушке, когда был в селе на перевоспитании, потом вернулся в город и поступил в университет. Вскоре после выпуска он развелся и ушел к бывшей однокурснице. Папа разводиться не стал, и у него не было романов с девушками из университета, хотя я слышала, что он тогда много кому нравился. Думаю, в браке его удерживали не чувства к маме, а желание поступать наперекор дедушке.

И все же папа прилагал некоторые усилия, чтобы сократить пропасть, растущую между ним и мамой. Устроил ее в вечернюю школу, чтобы она сдала специальный экзамен для лиц на самообучении. Мама много лет с перебоями посещала вечернюю школу, но ни одного экзамена сдать так и не смогла. Только после моего рождения она бросила учебу и наконец-то вздохнула свободно. Но теперь мама решила, что я – ее спасение, талисман, который принесет ей счастье. Какая досадная ошибка. Когда я пошла в начальную школу, мама иногда брала полистать мои новенькие учебники и говорила, что даже спустя столько лет все равно видит кошмары про экзамены. А еще про аборты. Пока папа учился в университете, она сделала два аборта, чтобы он мог спокойно закончить курс. Я ей очень сочувствовала, мне казалось, что любой из тех детей был бы лучше меня. Может быть, в двух оплодотворенных яйцеклетках, которые из нее выскребли, оставалась еще хоть капля папиной любви.

С самого раннего детства я понимала, что папа маму не любит. Что они живут вместе просто потому, что женаты. Я догадывалась, что брак – это нечто вроде нашей школьной формы: сидит плохо, а все равно надо носить. Подрастая, я научилась оценивать маму папиными глазами, узнавать деревенские приметы, которые из нее было не вытравить, – порой мама забывала почистить зубы, умывшись, никогда не вытирала лицо полотенцем, плохо разбиралась в посуде и могла налить лимонад в пиалу, а тушеное мясо вывалить в тазик для умывания. Ей не нравилось зажигать свет, ей вообще не нужно было столько света, сколько обычно жгут в городе. И ела она тоже по-другому: иногда сметала еду, даже не отходя от плиты, тут же споласкивала чашку, и вид у нее был такой, будто она сбросила с плеч тяжкое бремя. Еще маму отличала чрезмерная бережливость. Она складывала в мешок сеточки, в каких продают яблоки, чтобы потом мыть ими посуду или чистить плитку, или собирала воду, в которой мыла кастрюли и сковородки, и ополаскивала ей унитаз. Я знала, что папу от этого воротит, хотя он давно ничего не говорил. Жизнь кишела бытовыми мелочами, они полчищем термитов обглаживали остатки папиных чувств к маме. К тому времени, как я родилась, никаких чувств уже не осталось.

В моих детских воспоминаниях дома всегда царит тишина. Разговаривают только неодушевленные предметы: телевизор, стиральная машина, газовая плита. Потом дома появится телефон, и я буду постоянно ждать, что кто-нибудь позвонит папе, – тогда я услышу его голос, а может быть, даже смех. Я восхищалась людьми на том конце провода, они могли развеселить папу, а ни я, ни мама этого не умели. Ты вряд ли поверишь, но в детстве моим любимым сериалом были “Проблемы роста”. Я завидовала детям из сериала, но не из-за игрушек или большой верной собаки, не из-за бесконечных вечеринок, не из-за того, что каждые каникулы они проводили на островах, нежась в темных очках у лазурного океана. Я завидовала одному: что у их родителей есть столько тем для разговоров. Когда их мама шла к раковине вымыть посуду, папа вставал рядом и заводил с ней беседу. Сначала они разговаривали, а потом целовались. Поцелуй длился долго, в самый раз, чтобы у меня успели закапать слезы. Я твердила себе, что это понарошку, что только в кино муж может так долго говорить с женой.

Казалось, между моими родителями никогда и не возникало полноценного диалога. Правда, мама очень любила поговорить, но папа мгновенно пресекал все ее попытки завязать беседу.

– Ты не понимаешь.

– Сколько можно вопросов.

– Оставь меня хоть ненадолго в покое!

Эти три фразы он говорил ей чаще всего. В ответ мама только криво улыбалась и вставала задернуть занавески или же, вздохнув, брала маникюрные щипчики и принималась стричь ногти. Я ни разу не видела, чтобы она обиделась или рассердилась. Мамино достоинство пряталось в таком укромном месте, которое ей и самой было уже не отыскать. Она вечно ходила с равнодушным видом,

убивавшим всякое к ней сочувствие. Мне никогда не было ее жалко.

Мало того, я ее ненавидела. Мне казалось, что все мои несчастья из-за нее. Что папа не любит меня, потому что не любит ее. И я всеми силами старалась отмежеваться от мамы, придиралась к ее грубоватым ухваткам, исправляла ошибки в ее речи, высмеивала ее деревенские вкусы. Так я хотела завоевать папину любовь, но мало чего добилась. Папа никогда не обнимал меня и тем более не целовал. Иногда по утрам я замечала щетину на его щеках и представляла, каково это – прижаться к ней лицом. Папа никогда не пытался ни рассмешить меня, ни огорчить, между нами была пустота. Мы с ним ни разу не играли. Наверное, ему и в голову не приходило, что мне нужны игры, как в свое время это не приходило в голову его отцу. И он, и бабушка относились к детям так, будто это взрослые, в их словаре вообще не было понятия “детство”.

Иногда папа уезжал в командировки, но ни разу не брал нас с собой. Если мы куда и ездили вместе, то только в мамину родную деревню. Он не водил меня ни в парк аттракционов, ни в кино. Однажды всей семьей мы пошли на праздник Юаньсяо, но я была слишком низенькой, чтобы рассмотреть разноцветные фонарики, вместо них я видела только спешащие куда-то ноги. Папа не поднял меня повыше, как это делали другие отцы, не дал потрогать подвешенные к фонарикам цветные ленты с шарадами или достать из вертушки палочку с засахаренными фруктами. Он не знал, как зовут моих друзей, не знал, что я хорошо пишу сочинения и терпеть не могу решать задачки про цыплят и кроликов в клетке.

Казалось, он верил, будто я существую в иной среде, как рыба в аквариуме, хозяин которого даже не удосуживается взглянуть за стекло. Наверное, я была для него чем-то вроде предмета интерьера. Редкие разговоры между нами случались, только когда я просила у него мелочь на карманные расходы. Мне нравилось просить у него мелочь, он был гораздо щедрее мамы. И маме это нравилось, так ей не нужно было лишний раз залезать в хозяйственные деньги. Я всегда подробно расписывала ему, что куплю: блокнот в твердой обложке с замком-сердечком из состаренной меди, обложка бывает двух цветов – синего и голубого, как небо днем и ночью, я куплю тот, что с синей обложкой, потому что больше люблю ночь. Набор акварельных карандашей тридцати шести цветов: сбрызнешь рисунок водой, и краски расплываются абстрактными пятнами, такими карандашами лучше всего рисовать облака или туман в лесу. Коробку конфет с ликерной начинкой – поделюсь с подружкой из класса, в прошлый раз она меня угощала. Расписывая ему свои будущие покупки, я чувствовала, что показываю какую-то часть себя, – может быть, папа полюбит меня, если узнает чуть лучше? В итоге я купила блокнот с голубой обложкой, синие уже разобрали. Он много дней пролежал на столе в гостиной, папа мог заметить его всякий раз, когда брал со стола газету, но он ни разу не поднял на меня глаза, не спросил: почему же ты не купила синий?

Да, ты скажешь, что взрослые всегда пропускают детскую болтовню мимо ушей, никто бы не запомнил, какого цвета я хочу блокнот, ведь это просто мелочь. Но забудь о такой мелочи мама, я бы нисколько не расстроилась. А к папе я относилась иначе, моя любовь к нему была такой чуткой и нежной, а ее постоянно ранили.

Папа и мама в нашей семье будто принадлежали к двум разным сословиям, он царил наверху и обладал высочайшей властью, его любовь было невозможно вытребовать, она казалась милостью. Я же необычайно жаждала этой любви.

Я знала, что его любимое время суток – ночь, короткие часы, пока мы с мамой спим. Это время было только его. Однажды я стала ночью в туалет и увидела папу на диване перед телевизором, рядом стояла банка пива. Он лежал на диване, закинув ноги на подлокотник, щеки горели румянцем. В комнате висел пар: папа только что принял ванну, переоделся в белую пижаму и походил на моллюска – на моллюска, который наконец-то выполз из своего глухого панциря. Он увидел меня в дверях и тихо сказал: иди спать. Без панциря его голос казался влажным и очень нежным.

Папа редко брал нас с мамой на посиделки с сослуживцами и однокашниками. Хотя мамины выходы в свет всегда вызывали восторг у его друзей: вместе мои родители удивительно соответствовали старинному образу “таланта и красавицы”, идеальной влюбленной пары, и, разумеется, люди считали, что они очень счастливы. Но папе не хотелось притворяться и разыгрывать перед публикой семейное счастье. Кроме тех случаев, когда мы шли в гости к бабушке.

В детстве перед каждым Новым годом мама вела меня в магазин, чтобы купить новый наряд, в котором я пойду к бабушке встречать праздник. Как-то раз мне приглянулся болотного цвета свитер с большим карманом на животе, но мама сказала, что на прошлый Новый год я уже надевала зеленый свитер и они могут подумать, что это тот самый, старый.

В канун праздника я начинала наряжаться еще с обеда. Новая одежда, новые туфельки, на макушке новый ободок для волос, а на затылке – новая заколка. Больше всего мне запомнилась заколка с блестящим атласным бантом, напоминавшим бабочку; с толстых бабочкиных крыльев свисало множество бусинок, и когда я шла, бусинки покачивались, как у принцессы из дворца. Любимая моя заколка была красная в темно-зеленую клетку, но мама не разрешала надевать ее на праздники: заколка казалась ей недостаточно большой. Вместо нее она повязывала мне на затылок бант величиной с пятерню, как будто с огромным бантом я буду выглядеть счастливее.

Нарядившись, мы вставали перед зеркалом, и мама, не скрывая удовольствия, говорила:

– Теперь-то они лопнут от злости.

– Почему? – спрашивала я.

– Им глаза режет, что мы живем хорошо. Они думают, раз папа на мне женился, то вся жизнь у него насмарку.

Иными словами, следовало продемонстрировать, что живем мы просто замечательно. Папа не говорил прямо, однако я чувствовала, что он поддерживает эту идею. Но как должна выглядеть замечательная жизнь? По дороге к бабушке я всегда очень робела, не знала, как себя вести, но стоило мне переступить порог их дома, и все получалось само собой. Я смахивала с маминой кофты следы муки от пельменей, тащила папу на балкон, чтобы вместе полюбоваться салютом, а в полночь, когда на улице гремели петарды, зажимала уши и прятала голову у него на груди. Мама просила папу помочь ей закатать рукава или снимала с пальца кольцо и велела ему подержать, пока она моет посуду, мимоходом объясняя тете и бабушке, что это кольцо – последний его подарок. Папа мало участвовал в семейном спектакле, только молча подыгрывал нам с мамой. Впрочем, когда мы садились за стол, он брал своими палочками кусочки с общего блюда и подкладывал на мамину тарелку, и для бабушки это было равноценно оскорблению: в их доме на каждом блюде с едой обязательно лежали общие палочки.

Я знала, что все это постановка. Я всего лишь играла в спектакле, но при этом чувствовала себя по-настоящему счастливой. Как бывает счастлив артист, перевоплощающийся на сцене. Я стала с нетерпением ждать Нового года, представлять, как мы наденем костюмы, выйдем на сцену и исполним свой номер на праздничном концерте.

В ту новогоднюю ночь, когда мне исполнилось семь, мы всей семьей сели за стол, и бабушка вдруг спросила, как дела у мамы с работой.

– Я велел ей уволиться, – ответил папа. – Нянечек в детском саду не хватает, им приходится и за детьми смотреть, и порядок поддерживать, она очень устает.

Я впервые услышала, как папа врет. Мама не увольнялась с работы, ее сократили, потому что детский сад нанял новых воспитательниц из педучилища. Тогда дядя с

тетей еще не эмигрировали, тетя тоже преподавала в медуниверситете и сказала, что может спросить у знакомых, подыскать для мамы местечко, например, в отделе материально-технического обеспечения. Папа покачал головой и сказал, что там работа только для мужчин.

– Есть и для женщин, – ответила тетя. – В столовой или в студенческом общежитии.

– Не надо, – сказал папа. – Пусть сидит дома, отдыхает.

Мы доели пельмени, бабушка достала два красных конверта и вручила нам с Пэйсюань. Взрослые остались перед телевизором смотреть новогодний концерт, а мы пошли в другую комнату проверять конверты. От новеньких банкнот шел сладковатый аромат, который так и хотелось вдыхать. По нарисованным на них лицам еще не прошла ни одна складка, они выглядели чистыми и безгрешными. Мы пересчитали розовые купюры, и оказалось, что у меня их пять, а у Пэйсюань всего три. Намного меньше, бабушка едва ли могла так ошибиться. Я побежала к папе.

Потемнев лицом, он взглянул на бабушку. Та положила недочищенное яблоко на стол и принялась торопливо объяснять, что добавила в мой конверт немного денег, ведь мама сейчас не работает. В комнате наступила тишина, которую нарушали только волны хохота и аплодисментов из телевизора. Скосив глаза, я посмотрела на экран, два человека в суньятсеновках разыгрывали юмористическую сценку. Один, не переводя дух, залпом перечислял названия всевозможных блюд. Мне снова захотелось есть.

Я опомнилась от громкого стука, испуганно оглянулась – папа тяжело опустил чашку на стол.

– Ты что надумал? – уставился на него дедушка.

Папа смотрел на дедушку в упор. Я впервые видела, чтобы их глаза встретились. Обычно они старались отвести взгляд подальше друг от друга. Папа вырвал у меня из рук конверт, швырнул его на стол и холодно улыбнулся:

– Большое спасибо за заботу, но семью прокормить я еще в состоянии. – Он встал и скомандовал нам с мамой: – Одевайтесь, идем.

Мы спустились на улицу и пошли в другой конец микрорайона: чтобы велосипеды не украли, родители оставили их на стоянке. Небо смотрело на нас угрюмо, снега не было, но холод пробирал до костей. Я шла за родителями и, подрагивая, застегивала пуговицы пальто. Было почти двенадцать. С балконов уже летели огненные языки фейерверков. У дороги кто-то зажег свернутую спиралью ленту из петард и, заткнув уши, отбежал в сторону. Мы перешли затянутую дымом дорогу, над головами у нас разрывались гроздьи фейерверков, окрашивая небо то зеленым, то красным. Старик, охранявший стоянку, сидел, засунув руки в рукава ватной куртки, и слушал новогодний концерт по радио. Та сценка давно закончилась, теперь ведущая с дрожью в голосе поздравляла бойцов, защищающих рубежи нашей родины.

– Даже концерт не досмотрели? – спросил нас сторож.

Мама промычала что-то в ответ. Папа оседлал свой велосипед, мама усадила меня к нему на багажник, запрыгнула на второй велосипед, и, раскатывая по асфальту красные обертки от петард, мы выехали на улицу.

Тогда окрестности Наньюаня оставались еще очень пустынными, жилым был только этот микрорайон, выстроенный для сотрудников университета, и на улицах мы не встретили ни души. Задрав голову, я могла смутно различить огни салюта, они были уже далеко, словно на другом небе. Два велосипеда катили по пустой безмолвной дороге, папа ехал быстро, и маме приходилось со всей мочи крутить педали, чтобы не отстать. Ветер дул прямо в лицо, мама повернулась к папе и сказала: “Зачем они так с нами!” В ее плаксивом голосе слышался вызов. Папа

ничего не ответил. А я вдруг громко зарыдала. Родители решили, что я заплакала в ответ на мамины слова, сокрушаясь из-за оскорбления, которое нанесли нашей семье.

Я и правда сокрушалась. Я винила себя. Если б я рассказала про деньги не сразу, а чуть позже, все вышло бы не так скверно. Чуть позже, самую малость, нужно было просто дождаться двенадцати. Ведь важная часть спектакля осталась не сыграна. Когда часы пробили полночь и петарды затрещали во всю мощь, я должна была зажать уши и спрятать голову у папы на груди. Понимаешь, это была единственная минута за весь вечер, когда я забывала о том, что играю.

Чэн Гун

Ты, наверное, помнишь, какими пустынными были окрестности Наньюаня во времена нашего детства. Медуниверситет тогда считался восточной окраиной города, дальше стояла только электростанция, а за ней уже начинались пшеничные поля и деревня. Деревенские приходили к кампусу торговать яблоками и земляным орехом. А один мужчина приносил в столовую мешочек домашних яиц, чтобы выменять их у отца Большого Биня, который там работал, на пару ведер помоев. Тогда в округе не было ни высоток, ни тем более рынка электроники. Только две пузатые дымовые трубы электростанции, их тогда еще не загораживали высотки, и казалось, что трубы совсем рядом. В солнечные дни они выпускали косые струи дыма, а когда город накрывало пыльной бурей, ливнем или метелью, трубы превращались в жуткие ноги шагающего к нам инопланетянина. Эта картина всегда вызывала у меня ассоциации с концом света.

Тогда университет занимал мало места, напротив единственного кампуса был выстроен микрорайон для сотрудников, который мы вслед за взрослыми называли Наньюанем. И моя бабушка, и твой дед жили в Наньюане, только он в восточном секторе, а она в западном, секторы разделялись столовой, стоянкой для велосипедов и маленькой рощицей. По утрам мы с тобой встречались в этой роще и вместе шли в школу. Школа для детей сотрудников находилась в юго-западном углу Наньюаня, и я жил к ней ближе всех.

Папа отправил меня в Наньюань, когда мне было шесть, спустя два года тебя привезла сюда твоя мама. Ты была недовольна переездом и первое время ходила очень угрюмой. Не интересовалась, где находится почта или книжный магазин, отказывалась говорить с хозяйкой местной лавочки и называть ей свое имя, а когда мы всем классом поехали на загородную прогулку, ты спряталась за искусственной горкой, только чтобы не попасть на общую фотографию. Ты говорила нам, что приехала сюда ненадолго и скоро папа тебя заберет. Глядя на тебя, я вспоминал, каким сам был два года назад. И вместе с тобой я снова стал фантазировать, представлять, что меня увезут отсюда со дня на день. Вся разница в том, что ты уехала из Наньюаня три года спустя, а я прожил здесь еще почти двадцать пять лет. Когда я пришел работать в “Фармацевтику Уфу”, Большой Бинь, представляя меня сотрудникам, упомянул, что мы с ним оба выросли в Наньюане. Я поправил его, сказав, что приехал в Наньюань, когда мне исполнилось шесть. Большой Бинь усмехнулся: какая разница? Решил, я придираюсь к мелочам. Ему не понять, как важны для меня те шесть лет. Пусть вся память о них сотрется, я буду хранить даже пустое место, которое от нее останется. Кажется, я никогда не рассказывал тебе о той жизни. Почему-то все самое важное я от тебя утаил.

Если верить гадателю, отсчет судьбы у меня начинается с шести лет, а через каждые десять лет после отсчета судьба делает крутой поворот. Старики говорят, что до отсчета жизнь человека – перышко, улетит с любым ветерком. По-настоящему она начинается только после отсчета судьбы, это все равно что дереву пустить корни в землю. А я бы и дальше жил без корней. По мне, так этот “отсчет” больше похож на взнуздывание коня: судьба хватает вожжи, и отныне человек вынужден идти вперед по выбранной ею тропе. Я всегда с грустью вспоминаю первые шесть лет своей жизни – тогда судьба меня еще не отыскала.

Кроме Сяо Гуна, у мамы никого больше нет. И у Сяо Гуна никого нет, кроме мамы. Когда я был маленьким, мама часто повторяла эти слова, потом прижимала меня к груди, нежно гладила завиток у меня на затылке и спрашивала: *Ведь правда?* Дождавшись моего кивка, она облегченно вздыхала. Конечно, правда – считал я, тут и спрашивать нечего. Но мама не уставала повторять вопрос снова и снова.

Тогда я понятия не имел, что живу в огороженном мамой замкнутом, узком пространстве, мне казалось, что мир и правда такой маленький. Я не ходил в детский сад, никогда не играл на улице, у мамы не было друзей, она не навещала родных, даже с соседями не общалась, только здоровалась, если встречала их во

дворе. Людей, которых я знал в лицо, можно было пересчитать по пальцам. Больше всего времени мы с мамой проводили дома, никуда не выходя. Наша квартира состояла из двух крошечных комнаток – тридцать квадратных метров, забитых вещами. Маме нравилось покупать что-нибудь в дом, и хотя жизнь у нее была тяжелая, с этой маленькой радостью она не хотела расстаться. Музыкальная шкатулка с игрушечной каруселью, кукла под зонтиком (их достала бывшая мамина одноклассница, которая работала на импортной оптовой базе), бракованная ваза для цветов, купленная по дешевке на распродаже у стекольного завода, старый немой радиоприемник, найденный на блошином рынке... Как выющая гнездо ласточка, мама что ни день приносила в клювике новую покупку. Дома эти безделушки стояли на самых видных местах, а нужные вещи вроде ботинок, зонтика или таза для умывания мама ссылала подальше за их невзрачность. Задыхаясь, они толпились под кроватью, иногда задирали простыни, чтобы высунуть голову и глотнуть немного воздуха. Время не проникало в запаянную консервную банку нашей квартиры, и дни текли необычайно медленно.

Кроме безделушек для дома, мама любила покупать одежду. Правда, многие ее обновки тоже становились безделушками для дома – мама ни разу их не надевала. Но они были великолепны: пальто с изысканным воротником, юбка с необычным подолом, шерстяная кофта, совсем не колючая, такая мягкая, что мне хотелось зарыться в нее лицом. Один розовый свитер, слишком яркий и потому ни разу не надетый, мама отдала мне, и я подкладывал его под голову вместо подушки. Я обожал вдыхать его необычный запах, сладкий аромат подгнивших яблок. У меня тоже были красивые наряды, пусть и не так много, как у мамы. Жилеточка с пряжкой на спине, драповое пальто в крупную красно-черную клетку, а еще белый свитер с вышитым на груди якорьком. К сожалению, ни одна вещь как следует на мне не сидела, почти все оказывались велики, но мама говорила, что пройдет пара лет, и они станут впору. Мы редко выходили из дома, но мама наряжала меня на каждую прогулку. Помню, однажды мы встретили во дворе тетюшку Мэйчжэнь, соседку с нижнего этажа. Смерив нас завистливым взглядом, она потянулась пощупать воротник маминого бежевого пальто из драпа: “Ты смотри... Тоже заграничные родственники прислали?” Мама только улыбнулась. Я задрал голову и уставился на нее: ни разу не слышал, чтоб у нас за границей были какие-то родственники.

Днем я чаще всего даже не помнил, что у меня есть еще и папа. Домой он приходил всегда ночью, волоча за собой облако перегара, казалось, из алых прожилок в его глазах вот-вот брызнет кровь. Папа нигде не работал, но был вечно занят – говорил, что занимается перевозками, и целыми днями болтался где-то без дела. Много пил и играл – вероятно, карты и алкоголь помогали ему выпустить лишнюю энергию. А если и этот способ отказывал, он бил маму.

С самого раннего детства я постоянно видел, как он избивает маму, а еще видел, что она давно к этому привыкла. Маме хотелось одного: чтобы я успел заснуть до того, как все начнется. Если же я не спал или просыпался от шума, она надеялась, что я притворюсь спящим, не буду плакать или кричать, тогда все быстрее закончится. Я так и делал – смирно лежал в темноте, стараясь не шевелиться и не дышать. В награду или в утешение, когда расправа завершалась, мама возвращалась в мою постель и давала подержаться за грудь, пока я засыпал. В налитых лунным светом сумерках маленькие конусы ее груди напоминали белоснежный алтарь. Я припадал к нему, и все кошмары обходили меня стороной.

Но иногда она не возвращалась. В промежутках между снами я вылезал из постели и подходил к двери в другую комнату. Мама с папой лежали на большой кровати. И бурая папина лапа скрывала под собой мой алтарь.

Проснувшись утром, мама возвращалась в нашу комнату, садилась у изголовья кровати и, обхватив себя за плечи, бездумно смотрела в одну точку. Я разглядывал волдыри, вздувшиеся на ее руках от затушенных окурков, осторожно к ним прикасался, с наслаждением скользя кончиками пальцев по глянцевым бугоркам. Я пересчитывал синяки на ее теле, один за другим, как облака перед дождем. Новый синяк, старый синяк, они никогда не проходили до конца. Потом я вырос и

узнал, что не все женщины могут похвастаться такой кожей – тонкой, почти прозрачной, открывающей глазу темно-голубые прожилки, до того нежной, что ткни ее пальцем – порвется. Мне нравилось смотреть на истерзанную маму, в такие минуты она была необыкновенно красива. И я думал, что она тоже должна нравиться себе после побоев, что для них она и рождена.

У мамы за границей действительно были родственники, но об этом я тоже узнал не скоро. Ее дед по отцовской линии в 1949 году бежал на Тайвань, а оттуда в Америку. Правда, насколько мне известно, с ней он связи не поддерживал. Мамин отец был единственным ребенком в семье, мать растила его одна. Вскоре после маминого рождения ее бабушка и отец умерли от болезни, а следом умерла и мать, погибла от голода в один из “трех горьких годов”. Девочку взяла на воспитание семья двоюродного дяди, сына младшего брата бежавшего на Тайвань дедушки. Во время “культурной революции” дядину семью целыми днями таскали на митинги из-за родственных связей за границей. И мама росла в постоянном страхе, что однажды они не выдержат и прогонят ее из дома.

Тень страха навсегда осталась в ее глазах, как след убегающего животного в отложениях мелового периода. Ее красота и страх питали друг друга, и, наверное, впервые увидев маму у входа в выставочный павильон, где она работала консультантом, папа почувствовал в ней нечто такое, что ему захотелось безжалостно истребить. А мама слишком долго жила под чужой крышей и мечтала поскорее обзавестись собственной семьей, потому и стала встречаться с этим мужчиной, который так нахально за ней увивался. Она быстро поняла, что он мерзавец, но была уже беременна. И чтобы не доставлять приемной семье новых хлопот, решила выйти за него. Много лет спустя я повел свою девушку в аптеку за таблетками для экстренной контрацепции и вдруг понял, что если бы такие таблетки придумали раньше, мама вообще не стала бы моей мамой.

Папа с детства был мерзавцем. Не окончив начальную школу, спутался с компанией хунвэйбинов и творил всевозможные зверства. Лихие времена прошли, но папу было уже не остановить, он без всякого повода лез в драку, ни дня не работал, а когда деньги заканчивались, искал, кого бы еще обобрать. Он пырлял людей ножом, сворачивал им носы, но и самому, конечно, доставалось: левую ногу ему сломали, он немного на нее припадал, и от одной его ковыляющей походки на душе становилось тревожно. Папа вырос в Наньюане, здесь все его знали, завидев, прятались, а за глаза называли Бедовым Чэном. Уверен, когда ты приехала в Наньюань, тебе сразу о нем рассказали.

Хоть я и не видел папу в деле, думаю, дрался-то он неважно, просто не умел сдерживать свой гнев. В нем кипела жгучая ненависть, которую было некуда направить, и папа срывал зло на первом встречном. Однажды летом мы втроем в кои-то веки выбрались из дома, поехали в Наньюань отмечать бабушкин день рождения. Душным безветренным вечером мы стояли на остановке и ждали автобус. В толпе оказалась одна очень красивая женщина, она была немного моложе мамы, одета в белое платье с большими оборками на воротнике, сзади вырез спускался чуть ниже, открывая шею. Папа стоял с сигаретой в зубах и тарасился на эту женщину. Наконец пробормотал:

– Потаскуха!

Он подошел к ней сзади, встал на цыпочки и прищурился, будто пытается рассмотреть иероглифы на маршрутной табличке. Потом, словно между делом, поднял руку и затушил окурки о воротник ее платья. Женщина смотрела на дорогу, откуда должен был приехать автобус, и ничего не заметила, люди вокруг тоже. Только мы с мамой следили глазами за тем, как огонь пожирает оборку на воротнике, заглатывая нитку за ниткой. Мама крепко сжала мою руку, словно боялась, что я закричу. До чего же долго тянулась та минута и каких усилий нам стоило удержаться на месте! Огонь отгрыз кусочек оборки, оставив на его месте черные отпечатки своих зубов. Подошел автобус, женщина шагнула в салон. Мама выпустила мою руку.

Думаю, эта бессмысленная ненависть сидела в его генах. Потому что, оказавшись в Наньюане, я узнал, что моя бабушка здесь даже известней папы. Все помнили, как она заявила в больницу при университете и стала последними словами бранить неизвестно чем насолившую ей молоденькую медсестру, доведя ее до выкидыша. И едва ли соседи забыли, как она каждый день приходила к порогу старшей медсестры – с плевательницей, полной мусора, поскольку старшая посмела вступить за свою подчиненную. Правда, люди говорили, что бабушка не всегда была такой злобной, характер ее стал портиться после “культурной революции”, когда дедушку изувечили и превратили в “растение”. Но еще они говорили, что до своего превращения дедушка тоже отличался крутым нравом, он тогда был заместителем директора больницы и спуска никому не давал. Так что я до сих пор не знаю, в генах ли дело.

Мама бабушке не нравилась. Вообще-то ей ни одна женщина не смогла бы угодить. Всех людей на свете, за исключением членов семьи, бабушка считала злодеями и врагами. Разумеется, маму своим вниманием она тоже не обошла. Заставляла часами стоять коленями на стиральной доске, охаживала скалкой. Но мама давно к такому привыкла.

По контрасту с бабушкой и папой тетя казалась единственным нормальным человеком в семье. Нраву она была трусливого и робкого, с детства была приучена к роли покорной жертвы, и когда мама взяла на себя часть ее ноши, тетя вздохнула свободнее. Между ними даже завязалась короткая дружба, но держалась эта дружба в основном на тете. Она находила разные способы угодить маме: доставала ей рецепты на лекарства, делилась талонами в баню для сотрудников университета. Тетя благоговела перед мамой из-за ее утонченных манер и изысканной речи, к тому же мама была и очень красивой женщиной. Такая красота похожа на драгоценное ожерелье, и пусть оно никогда не станет твоим, все равно хочется рассмотреть его поближе, представить на себе. Следом неизбежно приходит уныние, и порой, не выдержав, тетя нашептывала бабушке гадости про маму, чем быстро разрушила их дружбу.

Правда, отдалились они друг от друга вовсе не из-за тетиной тяги к подстрекательствам, а из-за меня. С тех пор как я стал что-то понимать, мама намеренно избегала папиных родственников, не позволяя им вторгаться в нашу жизнь. Она мечтала со всех сторон окружить меня красотой. Вскоре после моего рождения тетя пришла к нам в гости и застала маму на балконе – мы с ней грелись на солнышке, а из магнитофона рядом лилась симфоническая музыка. Мама приложила палец к губам, жестом велев тете не шуметь, пока я слушаю симфонию. Смотри, как ему нравится Бетховен, сказала мама. Такой малыш, разве он понимает, ответила тетя. Ей это показалось забавным. Он все понимает, я и сама иногда удивляюсь, улыбнулась мама. Она ставила мне симфоническую музыку, рассказывала сказки, развешивала по стенам репродукции Ван Гога и Шагала. Тогда у нее были грандиозные планы, мама задалась целью вырастить из меня необыкновенного человека. Но ее рвение таяло по мере того, как я подрастал. Беспощадная рутина стирала мамино терпение в порошок.

Я и правда не помню, когда мы с ней впервые пришли в продовольственный магазин “Тайкан”. Как ни допытывался папа, все было бесполезно, может, не дави он на меня так сильно, я бы и вспомнил. Помню только, что мы всегда отправлялись туда после обеда. Мама брала меня за руку, мы пересекали дорогу и заходили в “Тайкан” купить сладостей к чаю. Тот мужчина работал там продавцом, каждый день он имел дело с пирожными и конфетами, поэтому от него сладко пахло, и слова его были липкими, как леденцы. Я забыл его имя, а может, никогда и не знал. Для меня он был просто лакричным дядюшкой. Когда мы с мамой приходили в магазин, лакричный дядюшка обязательно насыпал мне в карман целую горсть лакричных леденцов в разноцветных фантиках из воценой бумаги.

– Зачем так много, пары штукек хватит, – весело улыбалась мама. – Иначе мне будет совестно к вам заглядывать.

Спустя пару дней мама снова взяла меня в магазин. Карман мой опять наполнился

леденцами. После обеда в магазине было пусто, мама облокотилась на прилавок и болтала о чем-то с лакричным дядюшкой. Прилавок был высокий, выше моей макушки, я стоял под ним и грыз леденцы, а мятые фантики разглаживал и складывал из них человечков. Вдруг я услышал тонкий мамин плач, такой пронзительный, что даже тень у ее ног задрожала. Я потянулся взять маму за руку, но ее руки были уже заняты.

На прощанье лакричный дядюшка снова насыпал мне леденцов. Так много, что я долго не мог их доест, даже спать ложился с леденцом во рту, и все мои сны пахли прохладной лакрицей.

Однажды утром, проснувшись после лакричного сна, я увидел, что в комнате пусто – мама исчезла. Она ушла второпях, ничего с собой не взяла, но казалось, что все ушло вместе с ней. Мне остались только два гнилых зуба, испорченных леденцами.

Не знаю, почему мама не взяла меня с собой. Может, я чем-то ее разочаровал и она решила меня бросить. Но я еще очень долго не верил, что это всерьез. Я думал, что мама обязательно за мной приедет, вот только устроится на новом месте. Мне не хотелось переезжать к бабушке, я предпочел бы дожидаться маму дома. Но папа и не собирался спрашивать мое мнение. Он хотел одного – скинуть меня на кого-нибудь и забыть о моем существовании.

Весенним вечером я стоял у двери и смотрел, как папа, не церемонясь, заталкивает все мое имущество в два плетеных нейлоновых мешка. Небо постепенно гасло, темнота заполняла опустевшую комнату, и белые стены, лишившиеся рамок и фотографий, уже не так бросались в глаза. Я сел на корточки и незаметно вытащил из груды старья, которую папа собирался отвезти на свалку, жестяную лягушку на пружинке и несколько стеклянных шариков. Папа привязал к багажнику мешки с моими вещами, и мы отправились к бабушке: он сел на велосипед, мне велел бежать следом. Сначала он ехал медленно, но в рыночной толчее потерял терпение и налег на педали. Я бежал за ним со всех ног, чуть не опрокинул прилавок с фруктами, налетел на какую-то девочку, выбил вертушку у нее из рук. Стеклянные шарики выскочили из кармана и покатались по земле. А я из последних сил бежал, потому что теперь и папа в любую секунду мог исчезнуть.

Бабушкина квартира тоже состояла из двух маленьких комнаток. Я тогда решил, что все люди на свете живут в квартирах из двух маленьких комнат. У бабушки почти не было нормальной мебели, ее заменяли разнокалиберные сундуки и коробки, и от этого квартира походила на склад. Я огляделся по сторонам, ища глазами какую-нибудь красивую безделушку вроде вазочки или фото в рамке, но обнаружил только квадратные настенные часы, по низу циферблата шла красная надпись: “90 лет со дня основания Медицинского университета”. Потом я понял, что бабушка большая поклонница таких красных надписей, они были повсюду – и на алюминиевых кружках, и на тазах, и на термосе. Только годовщины стояли разные, где-то отмечалось основание университета, где-то – создание партии.

Подошло время ужинать, на столе появилось несколько черных мисок. В комнате было всего три стула, и для меня тетя принесла табурет от швейной машинки. Бабушка жаловалась, что четвертый стул разломал папа, обещал купить взамен новый, да так и не купил. Потом она стала перечислять все не исполненные папой обещания: забыл купить пирожки, божился, что вставит ей золотые зубы, – она перечисляла и перечисляла, вспомнила все до последнего. Говоря, бабушка почти не шевелила языком, слова выкатывались прямо из ее гортани, не успевая принять нужную форму. Этим диковинным клекотом бабушка напоминала какую-то птицу вроде турача. А папа невозмутимо жевал, точно вообще не понимает ее язык.

Табуретка подо мной была низенькая, приходилось сидеть очень прямо и вытягивать шею, но мои палочки все равно не знали, в какую миску им опуститься. Все три миски казались одинаковыми, и мясо, и баклажаны, и кабачки плавали в одинаково коричневой соевой гуще. Пампушки столько раз разогревали на пару, что тесто, набравшись воды, размякло и висело уродливыми лохмотьями. Взяв пампушку, я украдкой поднял глаза на бабушку и тетю. Понадеялся, что они

выбросят эти лохмотья, но они их съели. А бабушка даже отщипнула кусочек и макнула в соевую гущу. Папа вообще заглатывал пампушки целиком, вместе с бахромой. Они втроем были похожи на настоящую семью, я понял, что помощи ждать бесполезно, оторвал кусочек пампушки и положил в рот. Он растаял на языке, словно ломтик сала, меня замутило и едва не вырвало.

Папа ушел сразу после ужина. Бабушка кричала ему в спину, что он должен каждый месяц исправно платить за мое содержание. Я собрал со стола грязную посуду, отнес на кухню и встал у раковины; тетя подавала чистые чашки, а я сухой тряпкой усердно вытирал капельки воды. Я догадывался, что тетю задобрить проще, чем бабушку. Она домыла посуду, отчистила плиту, расставила все по местам, и тогда я пошел вслед за ней в комнату.

Свет в комнате был такой тусклый, что казалось, будто в воздухе не хватает кислорода. Над столом висела единственная лампа, ее зеленый пыльный плафон отбрасывал огромную тень, напоминавшую крыло летучей мыши. Черно-белый телевизор громко и неразборчиво гудел, бабушка лежала на диване у окна. Это был очень старый диван, плетенный из бамбукового стебля, стебли во многих местах сломались и торчали наружу пеньками. В центре дивана была продавлена вмятина, куда идеально помещалось плоское бабушкино тельце. Казалось, она лежит в гнезде, свитом на макушке дерева. Я подумал, что бабушка спит, только было выдохнул, как она резко села, прищурилась и оглядела меня с головы до ног. А потом из сморщенного лица раздался турачий клекот:

– Живо снимай с него одежду!

Не успел я ничего сообразить, как тетя поймала меня за руку. Одернула мою полосатую кофту и начала расстегивать пуговики.

– Да чего ты возишься, рви! – скомандовала бабушка.

Тетя рванула борта кофты, и пуговики посыпались на пол. Потом ухватилась за ворот и стянула ее с меня через голову.

– И штаны! Штаны тоже снимай! – орала бабушка.

Присев на корточки, тетя обхватила меня одной рукой, а другой принялась стаскивать вельветовые брюки.

– А ты мамкины одежды за сокровище считаешь? Ха-ха! – Бабушка встала и, сложив руки на груди, плюнула на пол. – Все с мертвых детей снято! С трупиков сгнивших, в которых опарыши копались! А теперь личинки и на тебя переползли, в уши тебе залезли!

– Неправда! – закричал я.

– Бабушка тебя не обманывает. – Тетя подняла с пола кофту, вывернула ее наизнанку и показала мне шов с ярлычком, густо исписанным английскими буквами. – Это ношенная одежда, твоя мама покупала ее на рынке Хайю, там продается разный мусор, который привозят контейнерами из-за границы.

Перепуганный, я стоял посреди комнаты, послушно переставляя ноги, чтобы тетя вынула их из скатанных у щиколоток штанин. Закончив, она подняла брюки, держа их двумя пальцами за края:

– Смотри, какой цвет яркий, сразу видно, что их стирали-то всего пару раз. С мертвого сняли, иначе кто бы стал выбрасывать такую хорошую вещь?

– Хватит трясти этой поганью! – Бабушка злобно ткнула тетю в плечо. – Живо перебери его мешки, снеси мертвяцкую одежду во двор и сожги!

Я смотрел, как тетя достает из мешка мой свитер с вышитым на груди якорьком, ветровку с капюшоном, кепку... Она вынимала вещи по одной, словно давая мне в

последний раз на них посмотреть. По комнате плыл такой знакомый запах, теперь я не знал, кому он принадлежал – маме или тем мертвым детям. Всю одежду тетя запихала в пустую коробку и ушла с ней во двор.

– Где еще встретишь такую злодейку, чтоб родного сына с мертвецов одевала...

Бабушка зловонно зевнула, потянулась и ушла в свою комнату.

Я остался стоять в одной майке и подштанниках. Постоял немного, а потом громко заплакал. Я рыдал, сам не зная, почему плачу – потому что у меня отобрали любимую одежду, потому что я испугался личинок с мертвых детей, которые заползли мне в уши, или потому что мама меня обманула. Я догадался, что сладковатый запах гниющих яблок с того розового свитера, что я подкладывал под голову вместо подушки, был запахом духов какой-то мертвой женщины. Прекрасные некогда воспоминания теперь вызывали ужас. И мама, ближе которой никого не было, превратилась в незнакомку. Я понял, что больше никогда не смогу любить ее так, как раньше.

Устав плакать, я заснул, привалившись к табурету от швейной машинки. Не знаю, сколько прошло времени, но проснулся я от тетиных шагов. Она взяла два стула, приставила их к своей односпальной кровати, потом вытащила из сундука в изголовье белое стеганое одеяло и постелила его сверху.

– Вставай, будешь спать со мной. – Тетя подняла меня с пола. – Майку с подштанниками тоже надо сменить. Так бабушка сказала...

Тетя сняла со спинки кровати зеленую пижамную кофту:

– Надень пока. В ней поспишь, а завтра куплю тебе две смены нового белья.

Я не двинулся с места. Тогда тетя опустилась на корточки и стала меня переодевать. Снимая подштанники, она нечаянно стянула с меня и трусы. Мой крохотный пенис выскочил на свет лампы, и тетино лицо мгновенно залилось краской. Испугавшись, что я замечу ее смущение, тетя быстро натянула на меня пижамную кофту.

Кофта была женская, и на мне она превратилась в платье до пят. Тетя нырнула в длиннющие рукава и выудила оттуда мои руки.

– Готово. – Закатав мне рукава, она уселась на кровать и оглядела меня. Я отвернулся. – Вот, это тебе. – Тетя достала из кармана конфету и вложила ее мне в руку.

Гладкая и прохладная вошенная бумага приятно скользила в ладони. Опустив голову, я увидел, что это один из леденцов лакричного дядюшки.

– Когда жгла одежду, нашла у тебя в кармане штанов, – объяснила тетя. – Тут всего одна конфетка, если хочешь, я потом еще куплю.

– Не надо. – Я крепко сжал леденец в кулаке и втянул кулак обратно в рукав.

Перед сном тетя распустила волосы, выключила свет и улеглась на кровати рядом со мной. Наверное, было слишком темно, к тому же я грустил по маме, а может, тетины характерные острые скулы и выпуклый лоб спрятались за волосами, но когда я взглянул на нее, она показалась мне немного похожей на маму. Я с трудом переборол желание потянуться руками к ее груди. Скоро она тихонько захрапела.

В темноте я развернул шуршащий фантик и положил в рот последний леденец.

Будь у меня другой выбор, я бы ни за что не перенес на тетю привязанность к маме. Ты хоть и видела мою тетю, но, скорее всего, совершенно не помнишь, как она выглядит. Она с детства носила короткую стрижку и никогда не поднимала глаза на собеседника, словно жена-подросток, которой крепко достается в доме

будущего мужа. В детстве тете помешали вырасти два обстоятельства: голод и страх. Из-за голода она осталась маленькой и худенькой, кое-как преодолела метр пятьдесят. А страх вынуждал ее все время сутулиться, вжимать голову в плечи, стараясь казаться еще меньше. Тетя моя вовсе не уродина, у нее приятные черты лица, вот только росла она осторожно, стараясь не выделяться, не привлекать к себе внимания. Для нее внимание было равноценно огромной опасности, она бы хотела, чтобы люди ее вовсе не замечали. В компании тете неизменно удавалось сделать так, что все быстро забывали о ее существовании.

Однажды она подарила мне набор акварельных карандашей. В благодарность я решил нарисовать ее портрет. Густо залившись краской, тетя кое-как просидела под моим взглядом пятнадцать минут. Наверное, до меня ее никто так внимательно не рассматривал, я был первым.

Я попал в бабушкин дом весной, пропустив набор в детский сад. Бабушке было лень хлопотать и устраивать меня туда посреди года, поэтому она решила, что я посижу дома до осени, а там пойду в школу. В Наньюане жило много детей, но все они ходили в сад, так что друзей у меня не было, и я с весны до самой осени играл один. Скоро папа сошелся с какой-то вдовой и почти перестал появляться в Наньюане, деньги тоже задерживал. Вспоминая об этом, бабушка очень сердилась и срывала зло на мне: гонялась за мной с метлой, кричала, что завтра же выставит меня из дома. На самом деле от меня была пусть небольшая, но польза – я пропалявал ее грядки, поливал люффу и кабачки. Бабушка выращивала овощи на заднем дворе, но весной всегда начинала скучать по диким растениям и травам, истекала слюной, мечтая о пельменях с пастушьей сумкой или яйцах, обжаренных с цветками софоры. По утрам она вешала мне на спину корзину и отправляла рвать бутоны софоры или выкапывать какие-нибудь корешки. Еще я собирал тополиные сережки – такие штуковины, похожие на волосатых гусениц, – бабушка мелко крошила мой улов, смешивала с фаршем и лепила пирожки баоцзы. На местном диалекте тополиные сережки зовут “напрасными хлопотами”, так люди смеются над тополем – пустоцвет, не завязывает плодов, только зря старается. Ребенком я не понимал, что значит это название, но, повторяя его вслед за взрослыми, чувствовал легкую грусть. Стоя под высоким тополем, я взмахивал бамбуковой палкой, задираю голову и смотрел, как сверху одна за другой сыплются напрасно распутившиеся тополиные сережки.

Я слонялся повсюду с корзиной за спиной. Тогда Наньюань казался мне огромным, чтобы пройти из конца в конец, нужна была целая вечность. Но времени у меня хватало, при желании я мог целый день болтаться на улице, бабушка точно не стала бы меня искать. Радиус моих прогулок постоянно увеличивался, скоро я стал выходить и за пределы Наньюаня, заглядывал в университетский кампус, в больницу, в магазинчик у ворот – в общем, обошел все доступные места в округе.

Однажды я вышел из Наньюаня и сам не заметил, как очутился на одной из соседних улиц. Там стояла церковь, которую я прежде ни разу не видел. Выглядела церковь очень внушительно: бурые каменные стены, вонзающийся в небо крест. Ворота были открыты, изнутри доносилось пение. Я прошел через церковный двор, остановился у дверей и заглянул внутрь. Все люди в церкви стояли, священник что-то говорил, а они повторяли за ним, как младшеклассники. Некоторые женщины даже плакали, причем все громче и громче, слезы они не вытирали, и никто не подходил к ним, чтобы утешить. Когда служба закончилась, женщины мигом пришли в себя, заговорили, заулыбались, будто вовсе и не плакали. А потом одна за другой потянулись из церкви. Три пожилые дамы, сидевшие в первом ряду, заметили меня у входа.

– И-и! Чей же это мальчик? Первый раз его вижу, – оглядев меня, сказала женщина пониже. Я был одет в мешковатую футболку, всю в дырочках, ворот так растянулся, что открывал не только шею, но и плечо. Лицо у меня было перепачканное, а за спиной болталась здоровая корзина.

– Один, без взрослых? Где же ты живешь? – спросила высокая женщина.

Они засыпали меня вопросами и в конце концов выяснили, кто мои папа и бабушка.

– Ах, это мальчик из семьи Лао Чэна... Неудивительно. – Низкорослая женщина впилась глазами в мои пластиковые сандалии, тут и там перехваченные пластырем.

Третья женщина, с пучком серебристых волос на затылке, все это время молчала, потом зашла в церковь и вынесла пригоршню конфет.

– Вот, держи-ка. – Она выглядела немного моложе моей бабушки, большие глаза прятались в мягких складочках морщин.

– А я что говорю! У Хуэйюнь самое доброе сердце, нам бы у нее поучиться! – сказала низенькая женщина высокой.

– Это верно, но бабушка его мне не по душе... – тихо пробормотала высокая.

Я не потянулся взять угощение. После лакричного дядюшки я стал настороженно относиться к сладостям от незнакомцев. Тогда женщина по имени Хуэйюнь поймала мою чумающую ладонь и вложила в нее подарок.

– В следующее воскресенье приходи сюда снова. Договорились? – улыбнулась она.

Не поблагодарив, я зажал конфеты в кулаке и побежал прочь.

На другой день я пошел с тетей за пампушками в столовую Наньюаня и у входа столкнулся с этой женщиной. Я понял, что она тоже из местных. Думал, она подойдет и заговорит со мной, но женщина сделала вид, что мы незнакомы, и с бесстрастным лицом прошла мимо. Я немного расстроился. Потом, не скоро, я узнал, что это твоя бабушка. К тому времени ее отношение ко мне уже переменилось, но я был по-прежнему ей благодарен.

В воскресенье я снова отправился в церковь. После службы женщина вышла на улицу и улыбнулась мне, как в прошлый раз. Но конфет не вынесла, а поспешно простилась со священником и сразу ушла. Я поклонился немного по церковному двору, тоже хотел уйти, но меня задержал священник.

– Как тебя зовут, мальчик?

– Чэн Гун.

– Чэнгун, “успех”? Ха-ха, славное имя! – Он оглядел меня, прищурив маленькие глазки. – А знаешь, что такое настоящий успех?

Я помотал головой и зашагал к воротам.

– Стать добродетельным человеком. – Он остановил меня, положив руку на плечо. – Помнишь, что я говорил сегодня на проповеди?

Я снова помотал головой.

– В следующий раз постарайся запомнить, тебе это пригодится. Хорошо? – Он погладил меня по голове. – Не уходи, я сейчас вернусь.

Я стоял посреди двора, залитого ярким полуденным солнцем, и смотрел, как он идет из церкви с пакетом в руках, а потом достает оттуда пару синих пластиковых сандалий.

– Примерь-ка.

Сандалии были новые, даже с ярлычком. Недоверчиво глядя на священника, я медленно разулся и примерил обновку.

– В самый раз! – сказал он. – Носи на здоровье, а старые сандалии выброси, ремешки у них рваные, неровен час, упадешь. – Он снова погладил меня по голове. – Если тебе еще что-нибудь понадобится, ты мне скажи. Договорились? – Увидев, что я киваю, он тоже удовлетворенно кивнул. – Но я бы хотел, чтобы ты приходил сюда каждую неделю, так ты сможешь стать добродетельным человеком.

Я шагнул домой в новеньких сандалиях, гадая про себя: церковь – это что, пещера с сокровищами? Откуда там столько богатств? Не успел я и глазом моргнуть, а священник вынес детские сандалии моего размера. Может, он умеет колдовать? Недаром целыми днями толкует про этого Бога под названием Творец Небесный, может, Бог и правда наделил его магической силой? Дома я рассказал обо всем тете. Тетя была уверена, что священник еще в прошлый раз заметил мои рваные сандалии, но я помнил, что тогда он на меня вообще не смотрел. Однако тетю этот вопрос не интересовал, ее больше заботило, почему священник велел мне приходить каждое воскресенье. Я поняла, сказала тетя, он хочет взять тебя в ученики, он видит, что ты необычный ребенок. Я спросил, зачем ему брать меня в ученики. Чтобы ты стал священником! Я сказал, что хочу быть не священником, а летчиком. Знаю, ответила тетя, но ты уж не расстраивай человека. Подумав, добавила: попроси у него две новые кофты, а то старые порвались. На тебе вся одежда горит. Да, и еще радиоуправляемую машинку, ты ведь хотел машинку? Будет вместо подарка на день рождения. Я сказал, что уже передумал, хочу на день рождения велосипед. Тетя покрутила меня за ухо: ишь какой, губа не дура!

В воскресенье я снова пришел в церковь. Дождался, пока все разойдутся, и сказал священнику, что в следующем месяце у меня день рождения, я хотел бы получить новую майку и велосипед. На этот раз он не наколдовал мне подарков, даже ничего не пообещал, просто велел приходить через неделю. Я кое-как дождался воскресенья, с утра пораньше прибежал в церковь и выждал почти всю службу, привалившись к скамье в последнем ряду, а когда проснулся, служба уже закончилась. Договорив с окружившими его прихожанами, священник скрылся в глубине храма. А потом выкатил оттуда маленький велосипед. Алая рама ярко переливалась в мрачном свете церковного зала. Никто и никогда еще не исполнял моих желаний, в ту секунду я был по-настоящему тронут, даже решил, что соглашусь быть священником, если ему так надо.

На руле велосипеда висел пакет, священник вынул из него белую рубашку и футболку в сине-белую полоску. Он приложил их ко мне, а потом спрятал обратно в пакет.

– Давай договоримся, – сказал он с улыбкой, – что на каждый твой день рождения я буду исполнять одно желание. Говори мне заранее, что загадаешь.

– Хорошо. – Опустив голову, я поглаживал серебристый руль.

На прощанье священник снова наказал мне чаще бывать в церкви, чтобы стать добродетельным человеком.

Я выкатил на улицу верхом на велосипеде, щеки обдувало свежим ветерком, педали крутились все быстрее, казалось, они вот-вот вылетят из-под сандалий. До сих пор помню свою радость. В моих воспоминаниях тот день стал чертой, после которой я по-настоящему поселился в Наньюане. Доброта постороннего человека расположила меня к этому месту. Я был уверен, что священник не каждому оказывает такие милости, тетя права: я необычный ребенок. Я все еще не хотел становиться священником, но надежда, которую он на меня возлагал, оказалась очень важна. Мамин уход породил во мне подавленность и глубокое самоотрицание, а теперь вера в себя стала понемногу возвращаться.

Утром накануне дня рождения у меня выпал первый молочный зуб. Положив его на ладонь, я всматривался в проеденные кариесом бурые крапины, во рту плескалось что-то кислое, а сквозь него пробивался давно утраченный вкус лакрицы. Но скоро он исчез. Коротко вспыхнул, будто только затем, чтобы

попрощаться. Тетя сказала, что верхний зуб нужно закопать в землю, а нижний забросить повыше, тогда новые зубы вырастут ровными. Я встал посреди двора у бабушкиного дома, подпрыгнул так высоко, как только мог, и забросил зуб на крышу пристроенного к дому сарая. Правда, тетя не предупредила меня, что где зубы бросишь, там и корни пустишь. И я остался в том доме на двадцать с лишним лет.

Ли Цзяци

С раннего детства у меня было предчувствие, что однажды папа уйдет. Я даже придумала ему наиболее удобный путь отступления – влюбиться в кого-нибудь из студентов. Кроме преподавания на факультете китайской словесности, папа еще курировал группы и, разумеется, должен был интересоваться жизнью студентов, беседовать по душам с длинноволосыми девушками, прижимающими к груди любимый томик стихов. “Беседовать по душам” – люблю это слегка устаревшее выражение, от него так и веет восьмидесятыми, тогда наши души прятались еще не очень глубоко, их можно было выманить на свет беседами.

Папа не приводил студентов к нам домой и не приглашал маму на университетские посиделки. Поэтому я никогда не видела девушек, которые у него учились. Все сведения о них я черпала из выпускных альбомов, которые папа приносил домой. Иными словами, я могла посмотреть на этих девушек только после выпуска. Правда, девушки и тогда не думали прощаться с папой, писали ему: “Наша повесть еще не кончена”, “Вы всегда будете моей гаванью”, и, встречая в альбоме такие фразы, я неизменно принимала их за признания в любви. Щурясь от послеполуденного солнца, я придирчиво разглядывала девушек на мелких снимках (эта любит закатом, обхватив руками колени; другая сидит на траве, держа в руках широкополую шляпу), словно выбирала себе будущую мачеху.

Почему-то я пребывала в абсолютной уверенности, что все эти девушки лучше мамы. Не из-за молодости и красоты – красотой с ней мало кто мог сравниться, просто они не были деревенскими. Мне не приходило в голову, что студентки тоже могли приехать в Цзинань из деревни. Если так, у мамы опыта городской жизни даже больше. Вот только ни одна из тех девушек не была похожа на деревенскую. Они умели сказать: “Наша повесть еще не кончена” или “Вы всегда будете моей гаванью”, моей маме такое никогда и в голову не пришло бы.

Но студентка, которой предстояло увести папу из семьи, так и не объявилась. В 1990 году он уволился из университета и решил ехать в Пекин, пробовать себя в бизнесе. Накануне папиного отъезда я впервые встретила с его студентами.

Тем вечером к нам домой их пришло человек семь или восемь. Папа еще не вернулся – друзья устроили ему проводы в ресторанчике неподалеку. Студенты разом заполнили нашу тесную гостиную. Они сидели очень серьезные, стянув губы, и никто даже не притронулся к арбузу, который мама поставила на стол.

– Матушка, извините, пожалуйста, что мы вас потревожили, просто нам очень нужно повидаться с учителем... – сказала одна студентка. Глаза у нее опухли, как после долгих слез.

– Матушка, – подхватил другой студент, – вы даже не представляете, сколько добра сделал нам учитель...

Мама растерянно смотрела на него и молча улыбалась, не зная, что ответить.

– Прошлым летом, – продолжал студент, – он один поддержал нас, когда мы поехали в Пекин. А когда мы вернулись, в университете нас решили наказать, и он вступился за нас, единственный из всех преподавателей. А им только повод дай, и он так пострадал из-за нас.

Мама ничего не знала о той истории. Но сейчас это было уже неважно. Ее больше беспокоил “Пекин”, о котором говорили студенты.

– А что он сейчас в Пекин едет, это не опасно?

Студенты уверяли, что никакой опасности нет, но мама все равно не могла успокоиться. Для нее “Пекин” был одним из тех слов, которые появляются только в новостях по телевизору вместе с другими, еще более громадными словами, “государство” и “мир”. Там проходят встречи с главами иностранных держав,

Азиатские игры и парад на День основания КНР – в мамином понимании Пекин был местом, где свершаются великие дела, она не представляла, как там вообще можно жить. Она хотела послушать об этом городе еще немного и спросила студентов, такой ли Пекин, как показывают в телевизоре? Повсюду широкие дороги, а на площади всегда толпы людей? Студенты и сами-то были в столице всего однажды, но держались так, будто прожили там полжизни. Они рассказали маме о десяти смутных днях, что провели в Пекине. Расставание с грезами стало для них своего рода смертью.

Притворяясь, будто не слушаю, я стояла за маминой спиной, прокручивая руку пластмассовой куклы. Круг, еще круг – точно вращаю ручку патефона. Студенты увлеклись воспоминаниями, рука крутилась все быстрее, вдруг она выскочила из рукава, пролетела через комнату и приземлилась у ног одного из студентов. Рассказ прервался на полуслове. Все уставились на меня, будто только сейчас узнали о моем существовании. Студент подобрал пластмассовую руку, я покраснела до ушей и нерешительно подошла к нему. Он взял у меня куклу, приложил руку к пустому гнезду и с силой вставил ее на место.

– Вот, больше не ломай, – сказал он, возвращая мне куклу.

После этого маленького инцидента все погрузилось в молчание. Воздух в гостиной залубенел. Напряжения не хватало, и свет в лампочках подрагивал. Вжж... вжж...

Папа вернулся домой пьяным. Окутанный алыми клубами винных паров, он напоминал раскаленный уголек, с треском поедающий сам себя. Он пришел расстроенным из-за окончания вечера, но мигом развеселился, стоило ему увидеть в гостиной студентов. Это было то особое пустое веселье, известное только пьяным. Когда человеку весело просто от того, что вокруг много людей. Мама принесла ему стул. Он долго качался на нетвердых ногах, но усадить себя так и не смог. Я немного беспокоилась за папу, боялась, что он разочарует студентов, но они смотрели на него с благоговением. И еще как будто с жалостью, словно хорошо понимают его боль. Я им завидовала: студенты так много знали о папе, что походили на его настоящую семью, не то что мы с мамой.

– Сколько раз повторять, я увольняюсь не из-за вас! – Папа размахивал указательным пальцем. – Я просто увидел все как есть. – Он покачал головой. – Ни капли смысла.

Студенты молчали. Одна девушка тихонько заплакала.

– Не плачь, Сяо Цзянь. Не надо плакать. – Папин голос звучал очень нежно.

Наконец он опустил на стоявший сзади стул, посидел немного в задумчивости и вдруг рассмеялся.

– Пора нам оставить свои надежды.

В моих воспоминаниях именно этой фразой и завершился печальный и торжественный вечер прощания со студентами. Но на самом деле вечер шел своим чередом, просто мама увела меня спать.

Я не понимала, о чем они говорили, но почему-то запомнила каждое слово. Много лет спустя Сюй Ячэнь очень удивился, когда я смогла с начала и до конца пересказать ему все, что слышала тем вечером о пекинских событиях. Какие-то подробности он и сам уже забыл или помнил неверно. Дослушав меня, Сюй Ячэнь заключил, что некоторые вещи откладываются в памяти помимо нашей воли.

Сюй Ячэнь – тот самый студент, починивший мою куклу. Я встретила его четыре года назад, когда работала в редакции модного журнала. На том благотворительном аукционе все было как обычно: толпа успешных бизнесменов, знаменитых красавиц и представителей новой аристократии. Выставка богатства. Наперебой повышая цены, публика скупала украшения из коллекций знаменитостей, баснословно дорогие вина и картины модных художников.

Вырученные деньги должны были пойти на строительство начальной школы для детей рабочих-мигрантов из сельской местности. Любовь бесценна, из раза в раз повторял ведущий, но на аукционе каждой порции любви назначалась своя цена. Сюй Ячэнь, к примеру, выложил кучу денег за работу одного знаменитого скульптора. Когда ведущий попросил его подняться на сцену и сказать несколько слов, он любовно оглядел своими маленькими глазками детей в первом ряду, будущих учеников новой школы, и сказал:

– От нас нужна лишь толика усилий, чтобы изменить всю жизнь этих ребятшек.

В зале раздались бурные аплодисменты. Не знаю, что меня покорило в его словах, но детей стало жалко. Как мало значат эти жизни, если их может изменить всего лишь толика чьих-то усилий.

Сюй Ячэнь был одет в серую рубашку, верхняя пуговка едва держалась в петле, и воротничок сжимался тугим кольцом прямо под круглой головой, напоминая руки душителя, требующего вернуть долг. Я заставила себя запомнить ничем не примечательное лицо Сюй Ячэня, чтобы потом отыскать его в толпе, когда все будут расходиться. Он был владельцем сети ресторанов, которая вызвала настоящий переполох на рынке, к тому же недавно всплыла новость, будто он рассорился с соучредителем, газеты только о нем и писали. Главный редактор дал мне задание встретиться с Сюй Ячэнем и взять у него интервью для рубрики “Новая городская аристократия”. После окончания торгов я стала медленно пробираться к нему с бокалом шампанского в руках, дождалась, пока его собеседники разойдутся, подошла и попросила об интервью. Он охотно согласился. Выполнив задачу, я посчитала невежливым сразу отступить и завязала светскую беседу. Сюй Ячэнь спросил, откуда я родом, я назвала Цзинань, он ответил, что учился в Цзинане. Университет, факультет, курс – все сошлось. Я спросила, знал ли он Ли Муюаня. Он ответил, что это его учитель. Я сказала, что Ли Муюань – мой отец.

– Сестренка! Дочка учителя! – патетично воскликнул Сюй Ячэнь.

Рука у меня дрогнула, и шампанское едва не выплеснулось из бокала. Слово “сестренка” показалось мне таким трогательным, я почувствовала себя одной из папиных студенток.

Сюй Ячэнь сказал, что мы уже встречались, но я тогда была маленькой стеснительной девочкой. Я не могла узнать в нем ни одного из папиных студентов, пока он вдруг не вспомнил про куклу, он сказал, что починил моей кукле оторвавшуюся руку. Я очень удивилась, мне казалось, что тот паренек и стоящий передо мной мужчина просто не могут быть одним человеком.

– Вы были совсем маленькой, вряд ли меня запомнили, – сказал он.

Но я ответила, что отлично помню, как он выглядел.

– Значит, я постарел. И потолстел, – грустно улыбнулся Сюй Ячэнь.

По-моему, дело было не в этом. Вероятно, я просто не представляла, что тот студент однажды превратится в удачливого ресторатора. Не знаю, в кого он, по моему мнению, должен был превратиться, но, во всяком случае, в кого-то не столь успешного. Скорее всего, прощальный вечер показался мне до того печальным, что я решила, будто эта печаль станет лейтмотивом всей жизни папиных студентов.

К нам подошел кто-то из организаторов аукциона и попросил Сюй Ячэня сфотографироваться со скульптурой. Скульптура изображала девочку лет десяти. Одета в розовое платье девочка слегка согнула колени и вся подалась вперед, запрокинув голову и прикрыв глаза, как будто вдыхает пьянящий аромат какого-то невидимого цветка. Скульптура называлась “Мечта”. По просьбе фотографа Сюй Ячэнь обнял “Мечту” и расплылся в лучезарной улыбке.

Спустя пару дней мы встретились для интервью, а после него он отвез меня

поужинать. Ресторан находился на шестьдесят пятом этаже, при взгляде через огромное окно казалось, что уличные фонари горят где-то на другом конце жизни. До земли было так же далеко, как до 1990 года. Прошлые мы не вспоминали. Он говорил о красном вине, о поездках, о художественных коллекциях – как говорил бы с любой малознакомой девушкой. Мы весело поболтали, но я была уверена, что на следующий день этот разговор полностью выветрится из памяти. После ужина он повез меня домой, мы ехали по проспекту Чанъянь через широкую площадь, и темно-красные стены в ночи казались ржавыми. В машине было тихо, слышалось только шуршание кондиционера, Сюй Ячэнь посмотрел на меня и предложил заехать к нему домой, выпить вина. Сказал, что у него есть коллекция хорошего красного вина. Я согласилась.

Он недавно развелся и жил один в большом загородном доме. Мы сели в саду и открыли вино. Был июньский вечер, воздух после дождя казался свежим и прохладным. По щекам скользил мягкий ветерок, разгонявший хмель. На второй бутылке Сюй Ячэнь заговорил о моем папе. Опустив лицо, я уперлась взглядом в край бокала, боясь пропустить хоть слово.

Сюй Ячэнь сказал, что они узнали о папиной смерти только через несколько лет после выпуска. Собрались группой и устроили памятный вечер в его честь, плакали все до одного. Сюй Ячэнь вспоминал, что те горькие слезы стали концом его юности.

– И не только юности. Кажется, закончилась целая эпоха, – сказал он.

– Закончилась целая эпоха. – Я еле слышно повторила эту фразу, цепко ухватившись за нее, как будто теперь мне наконец открылся торжественный смысл папиной смерти.

Тем вечером мы не были сильно пьяны. Просто дошли до той стадии, на которой я могла без смущения остаться на ночь.

Занимаясь любовью, мы оба словно искали что-то друг в друге. Следы лопнувших идеалов, следы той поры, когда люди были честны и великодушны, следы ушедшей эпохи. Мы были нужны друг другу, чтобы вернуться в то время и место, где встретились впервые. Я хотела вернуться туда, чтобы разгадать все загадки, а он – чтобы вспомнить все забытое.

– Сестренка, – шепнул он, когда наши тела сплелись, напомнив, что между нами всегда есть третий.

– Папа, – тихо позвала я этого третьего, прочно обосновавшегося в пустоте.

Мы не спали всю ночь. Лежали на кровати, вспоминая тот вечер 1990 года. Я помнила его намного отчетливее, могла пересказать все, о чем тогда говорили.

– Ты спросил, кто знает, сколько лампочек-магнолий украшает каждый фонарь на проспекте Чанъянь. И сказал: двенадцать. Долгими ночами на площади ты пересчитывал эти лампочки одну за другой, одну за другой. – Я слышала, как произношу слова, но хриплый шершавый голос казался чужим, словно играла записанная много лет назад кассета. Резко прояснившись, память обратилась в мощный прожектор, под лучом которого Сюй Ячэнь выглядел болезненным и слабым. Он сказал, что видит прежнего себя. Не помнит, а видит. Потому что тот, прежний Сюй Ячэнь, все еще там. В ушедшей эпохе. А потом добавил, что знает: он – калека.

– Какая-то часть меня погибла вместе с эпохой.

Я лежала с закрытыми глазами, но чувствовала скорый рассвет, потому что темнота, давившая на веки, становилась легче.

Утром, одевшись, он снова стал целым и невредимым. Провел меня по дому, продемонстрировал гарнитур из желтого палисандра, показал новый винный

погреб и даже открыл глухо запертую комнату на втором этаже, чтобы я полюбовалась коллекцией, собранной на аукционах. Окна в просторной комнате даже днем были плотно зашторены: дорогим фотоработам вредит яркий свет. Отрезанная от солнца комната пахла тюрьмой. А картины на стенах казались клетками, в которых томятся девушки, летние пейзажи и спелые яблоки. Все помещение было заставлено скульптурами разных размеров, как могильный склеп – погребальными статуэтками. Наверное, в последнее время Сюй Ячэнь слишком увлекся покупками, ему было даже недосуг их распаковать, многие картины так и висели, замотанные в пленку. В дальнем углу я увидела скульптуру, которую он привез с последнего аукциона. Девочку под названием “Мечта”. Она тоже была завернута в пленку, а сверху перехвачена скотчем, крепко стягивавшим ее улыбку.

Сюй Ячэнь был очень доволен своей жизнью. Как и многие успешные люди, он верил, что неудачи только помогли ему вылепить нынешнего себя.

– Хорошо, что из-за тех событий меня не приняли в партию, – сказал он. – Иначе с моим-то характером прямая дорога в чиновники. Целыми днями трястись от страха ради мелкой взятки. Ни капли смысла.

Ни капли смысла. Папины слова. Правда, под “смыслом” они с Сюй Ячэнем, скорее всего, понимали разное. Но восемнадцать лет назад мой папа выразился именно так. Если бы он был жив, если бы дела его шли хорошо, к этому времени он тоже стал бы состоятельным предпринимателем. Поблагодарил бы он пекинские события, если бы взглянул сейчас на все, чего добился? Наверное, он давно забыл бы тот прощальный вечер? Видимо, тому вечеру суждено было стереться из памяти всех его участников.

У меня оставался еще один вопрос к Сюй Ячэню, но я упустила подходящий момент, теперь спрашивать было поздно. Я хотела спросить: если бы папа был жив, какая-то его часть тоже погибла бы вместе с эпохой? Или она погибла еще раньше, а потом просто пережила бы вторую смерть?

Прошло так много лет, но Сюй Ячэнь по-прежнему боготворил моего папу. Изменились лишь черты, которые он боготворил. Нынешний Сюй Ячэнь восхищался его “мудрым и дальновидным решением” уйти из университета в коммерцию. Называл папу одним из первых бизнесменов в Республике. Но мне казалось, что папа просто удалился в самоизгнание. Многие преподаватели факультета его недолюбливали, это я узнала от Сюй Ячэня. Наказав папу за поддержку студентов, они придумывали новые способы расправы, даже запретили ему вести занятия. Тогда папа потерял всякую веру. И его слова “увидел все как есть”, “ни капли смысла” были вызваны войной и интригами на факультете. Он написал заявление, а что делать после ухода из университета, представлял себе смутно. Вспомнил о двоюродном брате, который вел бизнес в Пекине, и тоже решил пойти в предприниматели. Но на самом деле бизнес никогда не вызывал у него большого интереса.

Когда я встретила Сюй Ячэня, был 2008 год. Тан Хуэй только что вернулся в Пекин. Мы начали встречаться еще в университете (он учился на три курса старше) и к тому времени были вместе уже много лет. После выпуска он поехал в Шанхай поступать в аспирантуру, а я решила остаться в Пекине. Не знаю, что хорошего я нашла в этом нескладном городе, – возможно, я не могла оторваться от Пекина из-за папы. Те несколько лет мы с Тан Хуэем почти не виделись, но чувства наши оставались на удивление прочными. Временами я изменяла ему, но больше от скуки. Тан Хуэй ничего не знал, он верил в нашу любовь, как верят в математическую аксиому. Защитив диссертацию, он наконец вернулся в Пекин и устроился преподавать в университете. Все эти годы я снимала жилье в складчину с друзьями, постоянно переезжала с места на место, поэтому первым делом Тан Хуэй решил покончить с моими скитаниями и арендовал нам квартиру. Я вышла на середину пустой светлой комнаты, он крепко обнял меня сзади и сказал:

– Наш первый дом.

Любовь Тан Хуэя казалась такой же мягкой, как его ладони, мне было в ней спокойно и уютно.

Мы переехали в новую квартиру. Измерили окна и заказали зеленые фланелевые шторы, их еще не успели пошить; гардения и фрезия на подоконнике пока не расцвели, и вино из зеленых слив Цзяншао было еще не готово. Я купила небольшую духовку и сковороду для тамагояки, распечатала толстую стопку рецептов из интернета. Впереди расстилалась тихая семейная жизнь, отремонтированные стены едва заметно пахли краской, и этот химический запах давал ощущение простора. Огромное пустое пространство ждало, чтобы мы заполнили его дымом своего очага.

К счастью, той ночью Тан Хуэй был в командировке в Шанхае. Не знаю, почему я решила взять интервью у Сюй Ячэня, пока Тан Хуэй в командировке, может, с самого начала подспудно чувствовала, что между нами что-то будет. Пусть так, я все равно могла закончить эту историю и выбросить ее из головы. Ночь была такой длинной, мы успели сказать друг другу все, что должны были, и утром следовало поставить точку. Собираясь домой, я твердо решила так и поступить, – печально обняла Сюй Ячэня на прощанье, зная, что мы никогда больше не увидимся. Заднее сиденье в такси было залито солнечным светом, а мое сердце разрывалось от отчаяния. Я никогда больше не увижу Сюй Ячэня, значит, никогда уже не подойду к папе так близко. Машина увозила меня прочь, и я почти видела, как медленно ползет вниз рулонная дверь, закрывающая от меня прошлое.

И следующей ночью мне впервые приснился тот странный сон. Во сне мне лет восемь или девять, волосы собраны в растрепанную косичку, – там я такая же, как когда мы с тобой познакомились. Я сижу в раскачивающемся поезде. В вагоне пусто, полумрак, пол застелен потрепанным ковром со старомодным узором. Вдруг к ногам подкатывается красная матрешка. Я беру ее в руки. Деревянная матрешка сверху донизу покрыта блестящей алой краской, на ее лице блуждает сальная улыбка. При этом матрешка грузная, выглядит величаво, и глаза у нее ясные, как у бодхисатвы.

Я слышу резкий женский голос:

– Открой ее!

Развинчиваю матрешкин живот, внутри вижу еще одну матрешку, поменьше. Я открываю и ее, там оказывается еще одна, еще меньше. Я без остановки кручу матрешек, на лбу выступает испарина. Одну за другой, одну за другой, кажется, они никогда не кончатся.

– Открой ее, открой!

Женский голос эхом возвращается от стен вагона. Половинки матрешек с дробным стуком перекатываются по полу.

Я просыпаюсь в луже ледяного пота. Тан Хуэй мягко гладит меня по спине: “Это всего-навсего плохой сон”.

Я прижимаюсь к его груди. Я еще не знаю, в чем смысл этого сна, но чувствую, что так просто все не кончится. И правда, спустя неделю мне снова позвонил Сюй Ячэнь.

– Хочу с тобой увидеться, – прошептал он в трубку.

В тот же день он встретил меня на машине и повез в загородный ресторан. Был ясный летний вечер, в воздухе пахло травой. Машина ехала по широкой трассе, слева и справа раскинулись пышные пшеничные поля, багряное солнце неторопливо уходило за горизонт, по радио звучала песня “Детство” Ло Даю. Я и правда почувствовала себя ребенком, которого отпустили на каникулы, и вдруг очень развеселилась.

Ресторан окружали высокие деревья, цикады пели у самого уха. На уличных столиках горели миниатюрные белые свечки, а в пруду плавали пурпурные кувшинки.

– Мы с тобой знакомы целых восемнадцать лет, – сказал Сюй Ячэнь. – Согласись, трудно в это поверить. В последнее время я часто думал о тебе. Ты помогла мне многое вспомнить, с тобой я чувствую себя удивительно настоящим.

Я подняла бокал:

– За все настоящее.

Воля моя таяла в вине, мало-помалу исчезающем из бутылки. Я забыла данное себе обещание и снова поехала домой к Сюй Ячэню. Там мы занимались любовью, а потом, вдребезги пьяные, заснули. Благо около полуночи я проснулась от жажды. Телефон на тумбочке иступленно мигал. Я соскочила с кровати, сунула ноги в туфли, попрощалась с Сюй Ячэнем и выбежала на улицу.

Тан Хуэю я нескладно наврала – дескать, мы с коллегами решили выпить после работы.

– Мы договорились, что теперь будем собираться почаще, – сказала я, заранее готовя предлог для всех будущих отлучек.

– Похоже, пора мне учиться пить, не то опозорюсь перед твоими друзьями, – сказал Тан Хуэй.

– Тебе они не понравятся. Скучные люди.

На выходных Сюй Ячэнь снова позвонил. Укладывая волосы, я вдруг поняла, что не узнаю себя в зеркале. И комната в отражении тоже показалась незнакомой – может быть, из-за новых штор, их цвет был не такой, как я хотела, слишком яркий, агрессивно-зеленый. Скользя взглядом по правому краю зеркала, я вдруг увидела, что из серого угла комнаты за мной следит пара глаз.

– Папа! – Я обернулась.

Он сидел в углу, одетый в коричневый вязаный жилет, который носил много лет назад, волосы сально блестели. На кожаном ботинке покачивался зеленый солнечный зайчик. Папа смотрел на меня без всякого выражения и молчал.

– Я не знаю, что делать, папа, – сказала я. – Я просто хочу быть ближе к тебе.

Зеленый солнечный зайчик, искрясь, утонул в моих слезах. Пятно света расплылось перед глазами, и папа исчез.

Пусть это был всего лишь мираж, но его появление отпускало мою вину. Что может быть важнее, чем оказаться ближе к папе?

Мы стали видеться с Сюй Ячэнем почти каждую неделю. Порядок был один и тот же: вечером он встречал меня на машине, вез ужинать, потом мы ехали к нему, пили вино, занимались любовью и вспоминали прошлое. По-настоящему меня интересовал только последний пункт из этого списка, все остальные можно было и сократить. Но Сюй Ячэнь ценил хорошую кухню и каждый раз придирчиво выбирал новое место, мы ужинали на крыше, утопающей в бугенвиллеях, ходили в старый китайский дворик, засаженный пятнистым бамбуком сянфэй, дегустировали блюда, приготовленные заграничным мишленовским поваром, пробовали смелые эксперименты молекулярной кухни.

– Буду заботиться о тебе вместо учителя, – со всей серьезностью сказал он однажды, глядя в меню.

Но, проводя время в роскошных ресторанах, наслаждаясь дорогими блюдами, я не могла отделаться от чувства вины. Глядя, как Сюй Ячэнь сидит напротив в

хорошем костюме и покачивает бокал с вином, порой я впадала в ярость. Почему мы так радостны и беззаботны? Это неправильно. Фоном наших встреч должна быть скорбь. Как тем вечером 1990 года. Мы должны закрыться в зашторенной комнате, мучительно любить друг друга и мучительно оплакивать прошлое. Только мучение оправдывает нашу похоть и облагораживает мое предательство.

Я сдерживала ярость и сосредоточенно доедала все, что мне принесли. Наконец официант забрал мою тарелку.

– Не хочу десерт, – сказала я. – Давай уже поедем к тебе?

Он лукаво улыбнулся:

– Спешить некуда. Допей сначала вино.

Дома я сразу потащила его на второй этаж, спотыкаясь, влетела в спальню, сорвала с него рубашку, расстегнула ремень. Под светом луны его рыхлое тело напоминало груды развалин.

– Так сильно хочется? – тихо спросил он.

– Угу, – ответила я. Правда, я хотела вовсе не того, что он собирался мне дать.

Я была груба и истерична. Выжала свое мучение до последней капли. Принесла в жертву его богатство, превратила его в голь, в босяка.

– Ты разбойница, – слабо пробормотал Сюй Ячэнь.

Вожделение схлынуло, омыв наши тела. На мгновение с какого-то ракурса он и в самом деле показался мне немного похожим на того студента. Пылкое угловатое лицо с тенью разочарования, которая меня так пленяла. Я едва не потянулась, чтобы обнять его. Хотелось удержать эту любовь хоть на минуту, и я попросила:

– Расскажи еще что-нибудь из тех времен.

Из тех времен. Мы с ним часто повторяли эти слова, хотя и вкладывали в них несколько разный смысл. Для него “те времена” были студенческой порой, а мои “те времена” – три года, когда он учился у папы.

– Что рассказать? – спросил Сюй Ячэнь.

– Что хочешь.

Он закрыл глаза и стал вспоминать. Смутно припомнил, как однажды расстался с девушкой и стал пить запоем, да еще подрался с ее новым парнем. Тогда мой папа вызвал Сюй Ячэня на разговор. Но вместо того, чтобы стыдить и упрекать, изложил свои взгляды на любовь.

– Что он говорил? – спросила я.

В темноте я стояла на коленях в кровати и ждала, но слышала только храп.

Сюй Ячэнь уже не мог глубоко погружаться в воспоминания, для него это было тяжелее, чем пробежать марафон. Ему нужна была лишь малая доза прошлого, чтобы приправить слишком пресную и благополучную жизнь. На самом деле ему нравилось даже не вспоминать, а возвращаться из прошлого в настоящее. К свету от хрустальной люстры в стиле барокко. К теплу из камина, купленного на аукционе “Сотбис”. К поцелуям Фортуны под пуховыми одеялами из египетского хлопка плотностью не менее ста восьмидесяти нитей.

Я понимала, что мне давно пора бросить его. Но не бросала. Не знаю, чего я ждала.

Может быть, ждала, когда Тан Хуэй все узнает. Той пятницей разразился

кошмарный ливень. В самый разгар непогоды Тан Хуэй позвонил мне, но я не ответила. По новостям сообщали, что многие дороги оказались затоплены, и Тан Хуэй, всерьез разволновавшись, стал звонить моим сослуживцам.

Я вернулась домой около полуночи. Дождь немного успокоился. Окно в гостиной было открыто настежь, и на полу красовалась огромная лужа, в которой мокли обвисшие шторы. Тан Хуэй сидел на диване, подперев щеку ладонью. Потом обернулся и стал смотреть, как я снимаю туфли на каблуке.

– Посиделки с коллегами? – хрипло спросил он.

– Да.

Он мягко покачал головой:

– Нет.

– Что – нет? – спросила я, снимая сережки.

– Не было никаких посиделок.

Я подняла голову и посмотрела на него.

– Судя по всему, раз в неделю ты уходила на какую-то очень важную встречу, – сказал Тан Хуэй. – Хотелось бы послушать твои объяснения.

Он выжидающе смотрел на меня, словно уговаривая дополнить ту ложь чем-нибудь убедительным. Но я прикусила губу и молчала.

Он горько улыбнулся:

– Выходит, у нас и правда проблемы.

Дождь перестал. В комнату сочилась влажная прохлада. Мы с Тан Хуэем сидели на разных концах дивана.

– Он был папиным студентом. Я почувствовала между нами родство, невольно захотелось сблизиться...

– У твоего папы было столько студентов! С каждым по очереди будешь сблизяться?!

Тан Хуэй вскочил и ушел, хлопнув дверью.

Я еще долго просидела, уставившись в одну точку, в постель легла не раньше трех. Но не спала, а плавала в такой тонкой дреме, что мне и присниться ничего не могло. Так что не знаю, сон это был или явь. Но я снова увидела матрешку, ее выкрашенное в алый цвет лицо. Матрешка со стуком перекатывалась по полу. Резкий женский голос повторял: "Открой ее, открой!"

Я проснулась и почувствовала на себе взгляд Тан Хуэя. Не знаю, когда он вернулся.

– Тан Хуэй, – тихо сказала я, – мне кажется, я многого не знаю о папе. Я хочу выяснить...

– Ли Цзяци, твой папа умер почти двадцать лет назад! – прокричал он.

Я спрыгнула с кровати и босиком прошла в гостиную за сигаретами. Лужа на полу сохраняла прежнюю форму и напоминала труп. Я ненадолго остановилась перед зеркалом, впиалась глазами в правый его край. Я знала, он там.

Когда вернулась в спальню, Тан Хуэй уже успокоился. Свет в настольной лампе был приглушен, и казалось, что в лицо Тан Хуэю плеснули вчерашней заварки. Вид

у него был убитый. Я отвернулась от света и закурила.

– Что собираешься делать? – спросил Тан Хуэй.

– Найду людей, которые занимались бизнесом вместе с папой. Может быть, они знают...

– Милая, я спрашиваю о нас. Что нам делать? – Он смотрел мне в глаза. – Значит, ты не собираешься порвать с этим папиным студентом, так?

– Не знаю... Мне нравится в нем только часть, малая часть, но она связывает меня с папой...

Тан Хуэй притянул меня к себе, обхватил ладонями мое лицо:

– Давай оставим эти странные идеи.

Он говорил, что впереди нас ждет так много всего. Мы ни разу не ездили путешествовать. Этот Новый год можно отметить где-нибудь на острове в Таиланде, а следующим летом поехать в Париж... Через два года мы купим домик за городом, там будет маленький участок, на котором мы посадим мои любимые смоковницы, летом в их тени можно будет жарить мясо, мы заведем лабрадора... Он усердно чертил перспективы нашей будущей жизни, но видел только мое растерянное лицо. Опустошенный, Тан Хуэй откинулся на спинку кровати.

– Я всегда знал, что главный наш враг – твой папа.

Через два дня я уехала из квартиры, источавшей легкий аромат свежей краски. Было пасмурное утро. Заспанный Сюй Ячэнь открыл дверь и увидел за порогом меня с чемоданом за спиной. По его лицу скользнуло удивление, но он тут же раскинул руки и крепко меня обнял. Я хотела пожить некоторое время с Сюй Ячэнем, просто чтобы исчерпать ту привязанность, которая у меня к нему оставалась.

Сюй Ячэнь дал мне ключи от дома, познакомил с шофером и домработницей. Домработница, Сяо Хуэй, служила у него много лет и выглядела уже совершенно по-городскому. Она вежливо улыбнулась мне и незаметно меня оглядела, словно вычисляя, сколько продержится в доме очередная хозяйка. Скоро она поняла, что я немного отличаюсь от своих предшественниц. Вместо того чтобы оккупировать каждую полочку в ванной, тюбики с лосьонами для кожи по-прежнему хранились у меня в косметичке, одежда не перекочевала в шкаф, а лежала стопкой в углу, Сяо Хуэй едва ли слышала от меня хоть одно замечание по хозяйству, я ни разу не заставила ее что-нибудь переделать. И за все время не завела в доме ни единого нового правила.

Проснувшись, сначала я какое-то время вспоминала, где нахожусь. Иногда бродила по просторным комнатам, размышляя, что это и есть та самая роскошная жизнь, о которой я мечтала в детстве. Но ее наступление казалось таким ненастоящим, эта жизнь держалась на следах старой дружбы и напоминала наследство, доставшееся мне от папы. И даже будучи наследницей, я все равно не чувствовала себя ее полноправной хозяйкой. Между нами всегда оставалась какая-то пленка, мешавшая нырнуть в нее с головой.

Я приступила к поиску людей, которые занимались бизнесом вместе с папой. Сюй Ячэнь меня очень выручил, нашел несколько человек через своих знакомых. С каждым из них я созвонилась и встретила, взяла у них контакты других людей, знавших папу. Дни проходили как в тумане, работать совершенно не хотелось. Однажды я не пришла на интервью, о котором сама же договорилась; знаменитость, которой я назначила встречу, рвала и метала от злости, ее агент звонил нам в редакцию и страшно ругался. Чтобы замять конфликт, главный редактор попросил меня уволиться. Я не стала устраиваться на новую работу, решила, что пока займусь поисками папиных знакомых.

Сюй Ячэнь почти каждый вечер проводил на приемах и банкетах, а если банкетов не было, ужинал с друзьями. Он был любитель веселых сборищ и нуждался в большой компании. А собрать такую компанию для него не составляло труда. Вокруг каждого богача вертится уйма людей, готовых по первому зову явиться, чтобы пить с ним, говорить с ним, сидеть с ним до самого рассвета, умирая от скуки. На его пирушки и так приходили целые толпы, но Сюй Ячэнь обязательно звал туда и меня.

– Моя сестренка, дочка учителя, – говорил он друзьям, словно родство с учителем – самая оригинальная черта его новой девушки.

– Классическая история любви, – заметил один из друзей.

– Братец Ячэнь не забывает старую дружбу, – сказал другой. Все дружно закивали.

Алкоголь наделен волшебной силой, с ним все слова звучат искренне, а скучные минуты начинают ярко переливаться. Кажется, ничего больше нет и не будет, кроме этой ночи. Все сказанные слова трогают за душу, каждое должно запомниться навсегда. Увесистое ощущение значимости собственного существования вселяет в человека силы и прогоняет усталость. От захмелевшего Сюй Ячэня веяло распадом, он широко улыбался и раскачивал головой, точь-в-точь как папа. Возможно, это была всего лишь моя пьяная галлюцинация, но чтобы видеть ее чаще, я стала много пить. Кажется, этот ген давно прятался в моей крови, а теперь его внезапно разбудили, и после каждого ужина с Сюй Ячэнем я возвращалась домой навеселе.

Особенно мне нравилась дорога домой, когда остатки веселья с шипением догорали в ночном воздухе.

Мы с Сюй Ячэнем ехали на заднем сиденье машины и, сплетясь руками, яростно и беззвучно целовались. В замкнутом тесном пространстве витал запах табу, и мы вкушали радость тайной любви, поглядывая на молчаливый затылок шофера. Алкоголь превращал наши языки в пару змей. Машина проезжала по широкому проспекту Чанъань, каждый фонарь которого украшало двенадцать лампочек-магнолий. И лампочки эти были глазами, и все они смотрели на нас.

Правда, я всегда держала себя в руках и не напивалась до полного беспамятства. Я не знала, какой стану, если вконец опьянею, а интуиция подсказывала, что лучше не пробовать. Но все запреты в мире существуют, чтобы у человека был соблазн их нарушить. И я наконец напилась, торжественно напилась до полного беспамятства, и это случилось на встрече выпускников, которую устроил Сюй Ячэнь.

Мое появление пробудило в нем ностальгию по университетским годам, и он решил устроить встречу однокурсников. Конечно же, я очень ее ждала, туда должно было прийти столько папиных студентов. Сюй Ячэнь собирался представить меня не сразу, а дожидаться, пока все немного захмелеют, и тогда уже взять меня за руку, вывести на сцену и объявить залу, что я – дочка учителя. Но я успела напиться еще раньше. Не дожидаясь, пока он возьмет меня за руку, я выскочила на сцену и отобрала микрофон у выступающего.

Никто меня не спаивал, я набралась сама. Мне просто хотелось скорее спрятаться в алкоголе, изолировать себя от остальных. Потому что настроение, царившее тем вечером в зале, оказалось совсем не таким, как я ждала. Люди жаловались на цены на недвижимость, делились друг с другом вариантами инвестиций, сравнивали страны, подходящие для эмиграции. Несколько женщин собрались в кружок и обсуждали воспитание детей и достижения современной косметологии. К Сюй Ячэню все время подходили какие-то люди, пили с ним, обнимали, говорили лстивыми голосами. А он улыбался и с наслаждением слушал. Это была самая обычная пирушка, ничем не отличавшаяся от тех, что он закатывал каждый вечер. Никто не вспоминал о прошлом, никто не заговаривал о моем папе. Никто. Я вливалa в себя бокал за бокалом, слушала, как люди вокруг превозносят успехи Сюй Ячэня. Но все равно, клянусь, я не собиралась лезть на сцену. Помню, что мне

стало жарко и захотелось выйти на улицу подышать. Почти добравшись до двери, я поняла, что перебрала с алкоголем, что пора уезжать, развернулась и пошла обратно за сумкой. Когда я проходила мимо сцены, кто-то взял слово: давайте поблагодарим Ячэня, что он снова собрал нас вместе, желаю процветания его бизнесу, чтобы мы могли встречаться каждый год, а следующую встречу предлагаю провести на Санья... Лицо у человека перекошилось, а может быть, пол в зале накренился, но все стало как-то неправильно, нужно было это остановить. Я поднялась на сцену и вырвала у него микрофон. На этом мои воспоминания обрываются, я совсем не помню, что говорила. И разумеется, не помню, в котором часу встреча закончилась и как я оттуда уехала. Проснувшись, я обнаружила себя в гостевой спальне в доме Сюй Ячэня. Шторы были открыты, еще не рассвело, темнота мастичной пломбой запечатывала окно. Я зашла в комнату Сюй Ячэня, села на край кровати. Он лежал ко мне спиной, но я знала, что он не спит.

– Я перебрала с алкоголем. – Проговорив это, я немного подумала и добавила: – Извини.

Он повернулся на спину, уставился в потолок.

– Довольно же ты со мной натерпелась.

– Я выпила лишнего и, наверное, сказала что-то не то...

– Это уже ни в какие ворота! – проревел он. – На глазах у целой толпы сказала, что я – вульгарный мещанин, типичный нувориш, пустая бездушная оболочка...

– Я так сказала?

– Какая невоспитанность! Тебя родители элементарной вежливости не научили? Конечно, не научили, я и забыл – твой папа слишком рано умер. – Сюй Ячэнь обернулся и взглянул на меня: – Если б он видел, как ты себя ведешь, головы бы не смог поднять от стыда. Ты его опозорила. Говорила, что на самом деле у меня нет ничего за душой. Надо же! Это у тебя ничего нет. Не обижайся, но я приютил тебя просто из жалости.

Я взглянула на него:

– Вроде благотворительности, которой ты занимаешься?

– Да, как помощь детям из горных районов. Вот только я ни разу не видел, чтобы дети из горных районов были такими наглыми и неблагодарными.

В темноте мы пристально смотрели друг на друга. Наконец он устало закрыл глаза и жалобно проговорил:

– Завтра тебе надо уехать.

Я проспала почти до обеда. Почему-то перед уходом я смогла отлично выспаться, не видела ни единого сна. Проснувшись, собрала чемодан, потом поднялась на второй этаж, открыла ключом комнату, где хранилась коллекция, подошла к той замотанной в пленку скульптуре, вытащила из кармана канцелярский нож и стала резать скреплявший пленку скотч. Хлопнула дверь, в комнату вошла Сюй Хуэй.

– Так и знала, что ты здесь! – провизжала она. – Попалась!

– Что?

– Сама знаешь. Решила прихватить себе что-нибудь перед уходом...

Я посмотрела на нее и снова взялась за скотч.

– Ты что надумала? – крикнула Сюй Хуэй.

Я разрежала скотч, и пленка упала на пол. Скульптура открылась сумраку комнаты.

Девочка по-прежнему тянулась вперед, подняв голову и закрыв глаза, на ее лице играла застывшая улыбка, словно она впервые вдыхает запах этого нового места. Я выронила нож и вышла из комнаты.

Чэн Гун

Я умею долго не пьянеть, но, в общем, это неважно; начав пить, всегда хочется переступить границу умеренности и дойти до настоящего опьянения. Это как табу, существующее для того, чтобы его нарушали. Бесконечная радость и бесконечная печаль, которые приходят с опьянением, бесценны, и при случае я хотел бы пережить их вместе с тобой.

Мы немного выпили, теперь наконец можно начать рассказ о дедушке. С возрастом те события все дальше и все меньше хочется о них говорить. Как будто память выделила для них отдельный остров, что виден издалека, но доступ к нему отрезан. Если хочешь туда попасть, придется с головой нырнуть в холодную воду, задержать дыхание и плыть.

Только в шестилетнем возрасте я узнал, что на свете есть еще и дедушка. Однажды тетя взяла меня с собой на работу в больницу при университете. Когда мы подошли к главному входу, она спросила, помню ли я эти места, и добавила, что когда-то я здесь родился. Подумав, я покачал головой и виновато ответил, что совсем не помню, как рождался. Тетя расхохоталась и сказала, что я и потом здесь бывал, навещал дедушку. Оказалось, он живет в больнице, тетя показала мне одно из окон на третьем этаже стационара и спросила, помню ли я дедушку. Дедушку я не помнил, но мне стало очень любопытно, и я упросил тетю отвести меня к нему.

Мы поднялись на третий этаж. Прошли по длинному коридору, двери в палаты были распахнуты, в одной я увидел человека с гипсовой ногой, задранной к потолку, а рядом тощего мужчину, голова его была густо обмотана бинтами, из-за которых он походил на огромную ватную палочку. В палатах лежало по четыре, иногда по шесть больных, и в каждой обязательно голосил какой-нибудь ребенок и охал старик. И еще кто-нибудь из родственников во все горло бранился с медсестрой.

Дедушкина палата была в конце коридора, поодаль от остальных. На притолоке – темно-красные цифры: “317”. Цифры были намалеваны от руки и казались меньше номеров на других палатах – ясно, что они появились здесь позже. Потом я узнал, что сначала в той комнате размещалась сестринская, но из-за дедушки ее пришлось переделать в больничную палату.

За закрытой дверью царил удивительная тишина. Тетя завела меня внутрь. Места в палате было мало, но она все равно казалась пустой, потому что там стояла всего одна кровать. Лежавший на ней человек и был моим дедушкой. Я подошел и внимательно оглядел его: белое плоское лицо лепешкой, на нем блестят маленькие глазки-изюминки. Зрачки иногда перекатываются, но взгляд не отрывается от потолка, скользит из одного угла в другой. За все время дедушка ни разу не посмотрел на нас с тетей.

– Дедушка, – из вежливости позвал я. Пропустив это слово между языком и небом, я ощутил, какое оно легкое – засохший бобовый стручок, полый внутри.

В прошлый раз я звал дедушку, едва научившись говорить. Тетя сказала, что они брали меня в больницу, когда я был совсем маленьким, мама подвела меня к кровати, указала на лежавшего там человека и сказала: это дедушка. Я радостно залопотал: “Де-душ-ка!” – словно мне в руки попала новая игрушка. “Замолчи! – оборвал меня папа. – Он все равно не слышит, зови не зови!” Я поднял глаза на папу, перевел их на человека в кровати и послушно закрыл рот.

Тетя сказала, что дедушка превратился в растение.

– Такие люди не могут ни говорить, ни двигаться, все время остаются в одном и том же положении. – Тетя указала на подоконник, где стоял горшок с умирающей орхидеей. – Вот как этот цветок.

На другой день я тайком прибежал в больницу, взял кувшин с водой, залез к

дедушке на кровать и полил его с ног до головы. А потом встал у кровати и не сводил с него глаз – мне не терпелось узнать, какие на дедушке распустятся цветы. Кончилось тем, что пришла медсестра и, лопааясь от злости, сменила дедушке промокшие простыни.

Потом она засунула ему в рот длинную трубку, по которой текла темно-коричневая жидкость. Я стоял в сторонке, хлопая глазами, – оказывается, вот как дедушка всасывает питательные вещества.

Теперь я почти каждый день навещал дедушку в больнице. Я стоял у кровати и глядел на него, а он на меня. Я моргал, он тоже моргал. Как-то раз я подмигнул дедушке левым глазом, ждал, что он подмигнет в ответ, но дедушка просто моргнул. Тогда я подмигнул правым глазом, но на этот раз он уставился на меня, вообще не мигая. Я снова и снова показывал дедушке, как надо подмигивать, но он так и не смог повторить. Ровно в три часа дня в палату приходила медсестра, дедушку требовалось кормить всего раз в сутки. Медсестра прогоняла меня и закрывала дверь на щеколду. Потом я понял: она не хотела, чтобы я смотрел, как дедушке опорожняют кишечник. Но как дедушка ходит в туалет? Я все детство бился над этой загадкой.

Для меня дедушка был чем-то вроде растения, оставшегося на попечении у чужих людей, и я считал своим долгом регулярно его навещать. Еще я надеялся, что смогу обучить дедушку разным командам, чтобы он моргал, поднимал брови или улыбался. После двух недель дрессировки мы совершенно не сдвинулись с места, и я эту идею забросил.

А потом вся моя любовь переключилась на ежа. Как-то раз я пошел за пампушками для бабушки и по дороге встретил ежа. Я подкрался на цыпочках и накрыл его матерчатым мешком для пампушек, схватил мешок в руки и понесся домой. Бабушка не разрешила держать ежа в квартире, пришлось устроить ему домик на заднем дворе. Я нашел треснутый чан, в котором раньше солили овощи, посадил туда ежа, а сверху положил кусок шифера. Каждый день я носил ему помидорные шкурки и стебли от огурцов, надевал перчатки и бережно его гладил. С появлением ежа я на время позабыл о дедушке. Но однажды в воскресенье тетя повела меня в гости к какой-то своей подруге с работы, по дороге разразился ливень, и я сразу вспомнил о еже. Когда прибежал домой, дождевая вода переливалась через края чана, а внутри со вздувшимся брюхом плавал мой еж, и иголки его размякли.

Много дней я горевал по ежу, а оправившись, снова вспомнил о дедушке. Оказалось, ни бабушка, ни тетя не навещают его в больнице и дома о нем не говорят. Они как будто начисто забыли о его существовании. Наверное, горше всего растениям от того, что о них вечно забывают. А если и медсестры забудут о дедушке? От этой мысли мне стало не по себе, я почувствовал угрызения совести. Вдруг он взял и тихонько умер? После гибели ежа я стал понимать, что жизнь не бесконечна. Однажды я наконец не вытерпел и поделился своей тревогой с бабушкой и тетей.

– Пусть умирает. Все равно больше ничего он сделать не в состоянии, – закатила глаза бабушка.

– Медсестры всегда рядом, они не забудут его покормить, – сказала тетя.

Потом тетя все-таки поддалась на мои уговоры и разрешила, чтобы я каждый день после обеда приходил к ней в больницу. Бабушке я пообещал, что со всеми ее поручениями буду управляться с утра. Так ко мне вернулась старая привычка навещать дедушку. Если я пропадал из виду, тетя знала, что искать надо в триста семнадцатой палате.

– А ты почтительный ребенок. Обо мне потом будешь так же заботиться? – спросила однажды тетя.

Я подумал немного и кивнул.

Она принесла в палату старое шерстяное одеяло и постелила его на полу. Теперь у меня появилось место для дневного сна. В палате было всего одно узенькое оконце, с наступлением лета его густо оплетал девичий виноград, поэтому внутри всегда стоял полумрак. Из-за постоянной сырости штукатурка отслаивалась, и ее лохмотья походили на огромных мотыльков, прикипших к посиневшим от холода стенам. Железная кровать тоже линяла, белая краска на ней трескалась и лупилась.

Долгие часы я просиживал на одеяле под окном, возился с набором полинявших кубиков, единственной игрушкой, которую мне купили, раскрашивал фломастерами черно-белые комиксы на сюжет "Путешествия на Запад", выщипывал катышки из одеяла, наблюдал за муравьями, спешившими вдоль стены с хлебными крошками над головой. Выпрашивал у тети кусок марли, раскрашивал его красным карандашом и повязывал на голову, чтобы напугать медсестру, когда она придет кормить дедушку. А если было совсем нечем заняться, я ложился животом на подоконник и считал черные головы, проплывающие через ворота больницы. Потом начинал клевать носом, перебирался на одеяло и засыпал.

На том красном одеяле из скатавшейся шерсти, пропитанном потом, слюной и мочой, я видел много необыкновенных снов. Чтобы войти в эти сны, нужно было стать очень тонким, тоньше карандаша. А потом ползти вперед по длинной узкой трубке, гибкой и эластичной, как тот резиновый зонд, через который сестра кормила дедушку питательным раствором. Трубка туго оборачивалась вокруг моего тела, и я понемногу продвигался вперед, отталкиваясь от стенок. Оказавшись на том конце, я чувствовал себя так, будто заново родился, и ни за что не хотел возвращаться назад.

В тех снах я попадал всегда в одно и то же место, где наяву никогда не бывал. Широкие поля, ветхие низенькие домишки, а дороги только грунтовые. Вокруг меня целая толпа людей, солнце стоит высоко и так палит, что кожа становится фиолетовой, блестит и лоснится. Один человек забрался повыше и неразборчиво кричит в громкоговоритель, а я со всеми вместе скандирую что-то в ответ. Потом люди расходятся и дружно берутся за работу.

Я своими глазами видел, как на поле вырос гигантский пшеничный колос, он тянулся ввысь, пока не проколол облака. А еще видел, как люди разбили на куски медные замки и пилы, побросали их в большой котел и стали варить, а потом эти обломки расплавились, загустели и превратились в кусок серебристой стали. Я тоже хотел вырастить такой колос, а потом залезть по нему на небо.

Но во сне у меня нашлось занятие поважнее. Там я учусь стрелять из ружья, а учит меня дедушка. Правда, он совсем не похож на дедушку с больничной кровати. Он молодой – наверное, папин ровесник, загорелый, дочерна, очень худой, с блестящими глазами. Походка у него бравая, все шаги как будто измерены. Я стою, зажатый в толпе, и слушаю человека с громкоговорителем. Но вот появляется дедушка, берет меня за руку и уводит. Хотя он и не похож на дедушку из больницы, я все равно его узнаю. Мне никто не подсказывал, я просто знаю, что это он, и, чтобы не запутаться, про себя называю его дедушкой из сна. Дедушка из сна молчаливый, никогда со мной не заговаривает. Просто ведет к краю поля и бросает мне ружье, чтобы я стрелял в чучело, охраняющее посевы. Наверное, он думает, что меня не надо учить, что я умею это с рождения. Но скоро выясняется, что я даже не знаю, с какой стороны подойти к этому ружью. Тогда он учит меня держать оружие. Много снов подряд я оказываюсь посреди летнего поля и стою под солнечными лучами, сжимая в руках ружье. Солнце так палит, что я не могу открыть глаза, кажется, волосы горят на голове и я вот-вот упаду в обморок. Так проходит больше десяти дней, наконец я научился крепко держать ружье. Еще как научился – оно лежит в моих руках совершенно неподвижно. Тогда дедушка показывает, как правильно стрелять. Опускает плечи, плавно вскидывает ружье, целится и нажимает на спусковой крючок. Пуля со свистом вылетает из дула и попадает ровно в середину головы того соломенного чучела. Еще один выстрел,

теперь в сердце. Дедушкины пули бьют без промаха, движения у него сноровистые и ловкие. Зажав уши, я зачарованно смотрю, как он стреляет. Но потом приходит моя очередь, а я еще немного боюсь звука выстрела, и руки дрожат. Дедушка все равно заставляет меня тренироваться, и даже кровавые мозоли на ладонях не повод отдохнуть.

Когда я все же смог попасть в чучело, дедушка ведет меня стрелять диких уток. В этом деле главное – терпение. Он по-прежнему не объясняет ничего словами, только показывает. Мы лежим в густой траве на берегу пруда, дедушка не мигая смотрит перед собой, дыхание у него медленное и ровное. Вот ему на щеку сел комар, насосался крови и улетел. Потом в моих воспоминаниях эти кадры станут черно-белыми, как старый немой фильм. Я начинаю клевать носом, веки у меня тяжелеют, и вдруг раздается грохот выстрела. Тяжелая мощная птица описывает в небе алую дугу и падает в заросли, расплескивая вокруг белые перья. Я восхищенно хлопаю в ладоши, вскакиваю и со всех ног бегу за птицей. Но когда приходит моя очередь стрелять, я понимаю, до чего же это трудно. Никак не могу успокоить дыхание, от волнения все время хочется пошевелиться, в конце концов я дергаюсь и пугаю птицу. Дедушка очень сердится и отвешивает мне затрещину. Я тру горящую щеку, падаю ничком и снова начинаю целиться. Во сне я как будто не знаю, что такое обида и злость, я хочу одного – научиться как следует стрелять из ружья, а больше ни о чем не думаю. Погружаясь в бесконечные однообразные тренировки, я чувствую себя сильнее и верю, что когда-нибудь стану настоящим мужчиной.

Из-за сосредоточенных тренировок у меня уходит все больше времени на дневной сон. Часто я просыпался только в три часа дня, когда медсестра стаскивала меня с одеяла, чтобы покормить дедушку.

– Зачем опять окно закрыл? – спрашивала медсестра. – Сколько раз тебе говорить, если не проветривать, появятся пролежни!

Сжав губы, я молча хлопал глазами. Я не закрывал окно, ни разу. Это было настоящее чудо. Но по сравнению с чудесами, творившимися у меня во сне, оно казалось ерундой. После ухода медсестры мне хотелось вернуться обратно в сон, я долго лежал на одеяле, но заснуть никак не получалось. Приходилось тренироваться самому, я вставал у окна и целился в голубей пальцами. Бах-бах-бах, бормотал я голубям. Ага, вот вы и убиты.

После смены тетя заходила за мной в палату, и мы шли домой. Как-то раз она спросила, во что я сегодня играл. Я очень хотел рассказать ей свой сон, меня так и подмывало похвастаться, что я научился стрелять. Но, подумав, я все-таки промолчал. Пусть дедушка из сна не запрещал мне рассказывать о тренировках, я все равно чувствовал, что это должен быть наш с ним секрет. А за ужином бабушка и тетя заметили, что я умудрился нагулять себе удивительный аппетит.

Наступил последний день летних каникул, а я так и не подбил ни одной птицы. Дедушка из сна страшно рассердился, снова хотел меня ударить, но я сказал, что завтра начинаются занятия в школе и я больше не смогу к нему приходить. Дедушку это очень огорчило, он отошел к меже и молча закурил. Мне тоже было немного грустно, ведь у дедушки из сна не было других родственников и после моего ухода он останется совсем один. В утешение я пообещал, что буду приходить по выходным. Это дедушку не смягчило, он так и стоял, отвернувшись, тогда я взял его за руку и подцепил дедушкин мизинец своим.

С сентября я пошел в начальную школу. Одинокие дни закончились, у меня наконец-то появилась компания. Но очень скоро я понял, что школа не для меня. Уроки тянулись слишком долго, а когда учитель отворачивался написать что-нибудь на доске, в классе становилось так тихо, что мне хотелось заорать. После обеда, на уроке физкультуры, все выстраивались под бледным небом и вяло повторяли движения из радиогимнастики. Я очень скучал по знойному солнцу и по дедушке из сна.

Кое-как дождавшись выходных, я прибежал в больницу и радостно толкнул дверь в палату. На моем одеяле, скрестив ноги, сидел какой-то мужчина и копался в судке с едой. Это был папа. Когда дверь распахнулась, он резко вскочил на ноги, потом увидел меня, и к его лицу прилила кровь.

– Вот гаденыш, здорово меня напугал! – Папа подошел и отвесил мне два крепких подзатыльника. – А ты почтительный сын, услышал, что папка здесь, так мигом прибежал повидаться.

Я растянул рот в улыбке.

Папа влез в долги с большими процентами. Скрываясь от коллекторов, он должен был через каждые пару дней менять укрытие. Когда сил прятаться почти не осталось, его вдруг осенило. Дедушкина палата! Коллекторы ни за что не подумают искать его там, и от дома недалеко – тетя сможет носить еду.

– В трудную минуту старикан подал мне знак. – Папа ткнул пальцем в дедушку. – Все-таки с отцом лучше, чем без отца.

Я сморгнул. Мне-то так не казалось.

На моей памяти папа постоянно прятался от коллекторов, как будто это и было его настоящей работой. Года в три я своими глазами увидел, как страшны бывают коллекторы. Двое здоровенных мужиков вломились в нашу квартиру, обыскали каждый закуток, но не нашли ни папы, ни чего-нибудь ценного. Тогда один из них схватил стул и грохнул им по телевизору. Там как раз шел мультфильм “Приключения крота”, экран резко погас, а посередине образовалась большая дыра. Коллекторы убралась, громыхнув дверь, в квартире снова стало тихо. Я долго не сводил глаз с черной дыры на экране, но крот оттуда так и не вылез.

Папа оккупировал триста семнадцатую палату. Принес из дома радиоприемник и не выключал его с утра до вечера, лежал на подстилке, слушал сказки пиншу или матчи по радио. Если от скуки становилось невмоготу, дожидался темноты и шел на улицу, там прибавлялся к какой-нибудь компании с мацзяном, играл с ними несколько партий. Правила больницы запрещали родственникам пациентов оставаться на ночь, медсестра пыталась выгнать папу, но он напускал на себя грозный вид и притворялся, что ничего не слышит. Потом она навела справки о нашей семье и больше папу не трогала, а на его ночевки в палате смотрела сквозь пальцы.

Каждый вечер я должен был носить папе еду. Он вырывал у меня из рук судок, садился на подстилку у стены и с чавканьем ел. Я стоял в стороне, ждал, пока он закончит, потом выкидывал объедки, закрывал испачканный жиром судок и совал его обратно в авоську. Папа ел быстро, управлялся с ужином минут за десять, но мне это время казалось вечностью. Я не мог оторвать глаз от шерстяного одеяла, на котором он сидел. Волшебное одеяло, показавшее мне столько удивительных снов, теперь было забрызгано каплями супа и жира, а с краю на нем появилась дыра от сигареты. Погибло мое одеяло.

Должно быть, дедушка из сна сейчас расхаживает по меже, беспокойно курит. А мое ружье валяется рядом, уже и заржавело, наверное.

Я стал ненавидеть походы в больницу. Однажды, относя папе еду, я так размахнулся авоськой, что она порвалась, судок выпал, и пирожки баоцзы покатались по больничному коридору. Пол недавно помыли с антисептиком, он еще блестел от воды. Я поднял пирожок, понюхал – от него слабо пахло какой-то химией. Я сложил баоцзы обратно в судок. Ночью мне приснилось, как папа съел те пирожки, а потом у него изо рта, носа, глаз и ушей хлынула кровь и скоро он умер. А я стоял рядом и спокойно раздумывал, куда лучше спрятать труп.

К зиме папа наконец вернул долг. Но деньги он получил вымогательством у хозяина какого-то ресторанчика, потом тот человек написал на него заявление в полицию, и папе дали шесть лет. Папа был частым гостем полицейского участка, и

мы знали, что рано или поздно его по-настоящему посадят. Теперь он наконец оказался за решеткой, и мы вздохнули с облегчением: большая удача, что сел не за убийство или поджог.

В самый холодный день зимы мы с бабушкой и тетей поехали в пригородную тюрьму на свидание с папой. В небе кружили снежинки, мы везли с собой два темно-синих свитера, которые тетя связала ему английской резинкой. Папа был чисто выбрит, и я впервые видел его с такой короткой стрижкой, если он опускал голову, под волосами проглядывала синеватая кожа, а еще шрам в цунь длиной. Выглядел папа бодрым и на удивление спокойным. Бабушка проявила небывалую доброту, велела папе не тревожиться: Чэн Гун поживет у меня, все расходы я подсчитаю, как выйдешь, сразу мне и отдашь. Шесть лет мигом пролетят. Когда бабушка сказала про шесть лет, папа болезненно дернулся. Тетя поспешила добавить, что так долго ждать не придется, наверняка освободят досрочно. Яцзюань ко мне ни разу не приходила, мрачно сказал папа. Передайте ей, чтоб ждала. Яцзюань была той самой вдовой, как я слышал, красотой она не блистала, да и зубы росли торчком, не знаю, что он в ней нашел. Но папа очень любил эту Яцзюань и, освободившись из тюрьмы, поехал за ней в Ханчжоу. Она с подругой открыла там фирму по производству одежды, у них была своя небольшая фабрика, и папа стал заведовать складами. Видимо, Яцзюань не любила папиных родственников и не разрешала ему с нами общаться, поэтому он ограничивался звонками и небольшими денежными переводами на Новый год. Папа так и не возместил бабушке расходы за мое содержание, ей это, конечно, не нравилось, зато теперь она вздохнула с облегчением и могла больше не тревожиться за его жизнь.

После папиного исчезновения в триста семнадцатую палату вернулась тишина. Теперь я снова мог навещать дедушку, но вместо этого увлекся шахматами сянци и каждый день бегал в небольшой хутун неподалеку от Наньюаня наблюдать за игрой. Там был один старик, настоящий мастер сянци, в игре ему не было равных. Я пытался попасть к нему в милость, носил за ним складной стул, наливал чай. Втайне я мечтал, что однажды старик научит меня своему мастерству, как дедушка из сна. Но он не обращал на меня внимания, а если я что-то спрашивал, ответы цедил в час по чайной ложке, и все какие-то туманные истины, ни слова об игре в сянци. Но я все равно влюбился в его совершенномудрый облик и твердо решил стать учеником старика, ловил на лету каждое его слово, а дома усердно обдумывал все, что услышал. На выходных в хутуне народу собиралось еще больше, и, пообедав, я со всех ног бежал смотреть за игрой, позабыл и про дедушку, и про триста семнадцатую палату. Зимой игроки перебрались из хутуна в ближайший ресторанчик, дым там стоял коромыслом. Но вдруг старик пропал. Потом от кого-то из его знакомых я услышал, будто он заболел раком и лег в больницу. Спустя еще несколько дней мне сказали, что старик, должно быть, умер – его дочь видели с траурной повязкой на рукаве. Люди и дальше собирались в ресторанчике, чтобы поиграть в сянци, но играли они из рук вон плохо, сидели над доской, а ходить боялись, да еще просили совета у зрителей. Я плюнул и больше туда не ходил.

Зима почти миновала. Я наконец-то вспомнил о дедушке из сна. Наверняка он окончательно во мне разочаровался. Мне было стыдно снова являться ему на глаза, и я долго не заходил в триста семнадцатую палату. Но дедушка из сна и не думал сдаваться. Скоро я понял, что раз в несколько лет он находит способ “воскреснуть” и вернуться в мою жизнь.

Рассказ об очередном его воскрешении надо начать с моей школьной жизни. Наверное, впервые оказавшись в начальной школе Наньюаня, ты тоже удивилась ее убогости. Двухэтажное здание и рядок одноэтажных коробок – вот и вся школа. Дворик такой маленький, что даже не нашлось места для баскетбольной стойки, поэтому кольцо попросту прибили к стене, и оно кое-как исполняло роль единственного спортивного сооружения на всю школу. Ученики были детьми работников мединиверситета, а педсостав формировался в основном из родственников сотрудников больницы. Взять, к примеру, учителя Ян, нашу классную руководительницу, – ее перевели в Наньюань вместе с мужем и за неимением

более подходящей должности поставили работать учительницей младших классов. Многие учителя еще вчера жили в селе и плохо говорили на путунхуа, а мы читали тексты из учебника, подражая их выговору, и радовались, что выучили новый язык. Некоторые преподаватели устраивались в школу, потому что туда ходили их дети, такие ученики оказывались на особом положении, им позволялось больше других.

Школа была убогая, зато там у меня впервые появилась компания. Одинокая жизнь закончилась, я был счастлив, что теперь каждый день провожу среди одноклассников. Правда, они любили поважничать и не обращали на меня внимания, к тому же вечно поднимали шум по пустякам – увидят ящерицу на стене и визжат. Но я все равно мечтал им понравиться. Скоро я понял, что у меня это никак не выходит, что бы я ни делал. Родители моих одноклассников жили в Наньюане, а работали либо в университете, либо в больнице, поэтому всем было отлично известно, у кого какая семья. Конечно же, они слышали про моего папу. Семья одного мальчика раньше жила по соседству с бабушкой, и его отец когда-то одолжил денег моему. Потом папы и след простыл, а его отец побоялся требовать долг у моей бабушки и сделал вид, что забыл. Зато мальчик, встречая меня на переменах в коридоре, каждый раз орал, чтобы я вернул ему деньги. А маме одной девочки из класса крепко досталось от моей бабушки. Она работала в управлении капитального строительства при медуниверситете, а бабушка решила соорудить во дворе пристройку в полтора этажа высотой, которая загородила окна жильцов сверху, совершенно лишив их солнечного света. Мама моей одноклассницы от имени администрации университета пришла к бабушке и велела ей убрать пристройку, бабушка затаила злобу и с тех пор постоянно ей досаждала. Выливала помой в корзину ее велосипеда, бросала ей во двор бутылки из-под газировки, так что вся земля была усеяна битым стеклом. Мама той девочки целыми днями дрожала от страха, проплакала себе все глаза. Кончилось тем, что год спустя они переехали в другой дом, только тут моя бабушка утомилась. После уроков та девочка вставала в кружок с другими детьми, они тихо о чем-то шептались и резко замолкали, стоило мне подойти. Скоро все одноклассники стали меня обходить стороной. Если я заговаривал с ними, отвечали односложно и сразу исчезали. Даже учителя теперь смотрели на меня иначе, более заботливо, словно боялись, как бы я чего не натворил.

Я оказался в полной изоляции. На игровых занятиях сидел один, после школы в одиночестве шел домой. Во время весеннего выезда на природу дети собрались в круг и затеяли игру, а я стоял в стороне и ел булку. На общем снимке я оказался крайним в заднем ряду, а мой сосед повернулся ко мне спиной и отодвинулся как можно дальше. Я возненавидел школу, и если там намечалось какое-то коллективное мероприятие, врал тете, что у меня болит живот, и просил написать записку. Скоро тетя почуяла неладное и догадалась, в чем дело. Она рассказала мне несколько историй из своего детства, как ребята в школе объявили бойкот одной девочке из-за ее родителей. Тогда я впервые услышал имя Ван Лухань. Тетя сказала только, что папа той девочки оказался убийцей, а от нее отвернулась вся школа, никто больше не хотел с ней дружить. Тетя говорила: ты должен постараться влиться в коллектив, одиночкам приходится несладко; я много таких историй перевидала, с годами изгой чувствуют себя только ущербнее и потом всю жизнь не могут избавиться от этого клейма. Я сказал ей, что постараюсь, но делать ничего не стал.

А потом все изменилось благодаря школьному сочинению. Учительница задала нам написать рассказ о ком-нибудь из членов семьи. Мое сочинение оказалось лучшим, и она велела прочесть его перед классом.

“Мой дедушка – живой труп”. Услышав такое начало, одноклассники разом подняли головы от тетрадок. В том сочинении я изобразил дедушку героем, во время Корейской войны он оказался на передовой, отчаянно бился с врагом, был ранен, защищая товарища, и превратился в растение. Фронтовые друзья его не бросили, увезли моего дедушку с поля боя и доставили домой. Когда я дочитал, в классе воцарилась тишина. После уроков две девочки из класса подошли ко мне и сказали: как ты хорошо написал. На самостоятельном занятии сосед по парте

тронул меня за руку и спросил, из какого оружия враг подстрелил моего дедушку и превратил в растение.

– Из длинного ружья. – Я показал руками. – Пуля, которую достали у него из головы, сохранилась до сих пор, бабушка держит ее под замком в деревянной шкатулке и никого к ней не подпускает. Иначе я бы принес вам показать.

Мой сосед по парте едва не расплакался.

Следующие несколько дней после уроков ко мне подходил кто-нибудь из класса и просил еще раз рассказать историю о дедушке. Мне не нравилось повторять одно и то же, и я импровизировал, в каждом новом исполнении история немного менялась. Главные расхождения были в том, от чего дедушка превратился в растение. То в него стреляли из винтовки, то кололи штыком, то его давил грузовик противника, а было и такое, что враг столкнул дедушку со стены... В конце каждой версии этой истории злодеи разными невообразимыми способами снова и снова превращали дедушку в растение. Эти рассказы и самого меня очень трогали, я верил, что каждое слово в них – чистая правда, что так все и было.

Одним моросливым днем я повел несколько человек из класса в больницу на “экскурсию” к дедушке. Посторонним вход в палату был запрещен, но каждый вечер медсестры и охранники с первого этажа вместе уходили на ужин, мы воспользовались их отлучкой и пробежали в больницу. Чтобы сделать атмосферу более торжественной, я заранее купил партийное знамя и накрыл им дедушку. Одноклассники столпились вокруг больничной кровати с таким видом, будто посещают мавзолей вождя. Дедушка спокойно лежал под их пристальным взглядом, продолжая смотреть в потолок. По тому месту, в которое он уперся глазами, медленно проползла ящерица.

С тех пор одноклассники стали со мной дружить. Как будто история с дедушкой помогла им простить вину моих бабушки и папы. На переменках меня даже звали вместе погулять, а на уроках физкультуры бросали мне волейбольный мяч.

Но это славное время длилось недолго. Скоро мой обман раскрылся. Как-то утром я зашел в класс и ко мне с загадочной улыбкой подскочила одноклассница:

– Мой дедушка говорит, что твой дедушка не участвовал ни в какой Корейской войне... Его избили во время борьбы и критики во имя “культурной революции”, тогда он потерял сознание и превратился в растение...

– Врешь!

– Дедушка говорит, что его за дело критиковали...

– Ты все врешь! – Я зажал уши и выбежал из класса.

После уроков двое одноклассников догнали меня, заступили дорогу и стали кривляться, они растягивали глаза и высовывали языки, изображая живой труп.

– Мой дедушка – живой труп! – с серьезным видом говорили они, передразнивая мой голос. – Но он герой. Он отважно бил врага на Корейской войне... – На этих словах мальчики согнулись пополам от смеха.

С того дня “дедушка-растение” превратился для моих одноклассников в анекдот. Чтобы не вспоминать об этом происшествии, я долгое время обходил стороной стационарный корпус, когда заглядывал к тете на работу. И поклялся себе, что больше не ступлю на порог триста семнадцатой палаты. Я и в самом деле затаил обиду на дедушку. Он мог бы превратиться в растение, доблестно сражаясь на фронте. Но я не стал выяснять у тети, что же все-таки случилось с дедушкой во время этой самой “великой культурной революции”. Неважно, все равно никакой он не герой. Я даже решил, что дедушка никчемный, наверняка он был слабак и ничегошеньки не умел, раз позволил людям превратить себя в такое нелепое существо.

Ли Цзяци

Ты говорил сейчас про отсчет судьбы, что в жизни каждого человека наступает время, когда судьба набрасывает на него узду. Наверное, у меня это случилось в восемь лет. Той осенью папа уехал из Цзинаня в Пекин. И с тех пор у меня больше не было семьи.

На самом деле папа ничего не смыслил в бизнесе, просто понадеялся на помощь двоюродного брата, с которым был едва знаком. Младшая сестра бабушки еще в молодости уехала в Пекин, там вышла замуж и родила детей. Этот двоюродный брат был ее старшим сыном, в нашем семействе он всегда выглядел чужеродно. Плохо учился, нигде не работал, только болтался целыми днями в компании таких же бездельников, а промышлял перекупкой. Для моего дедушки слова “перекупка” и “жульничество” были синонимами, поэтому нетрудно представить, какое потрясение ему принесла новость о том, что папа тоже занялся перекупкой. В глазах дедушки это было непростительным падением.

“Жулик”, “барыга”, “челнок” – я терпеть не могла, когда они так называли папу. Про себя каждый раз поправляла: нет, он бизнесмен, то есть купец. В 1990 году оба эти слова звучали еще по-книжному благородно. На самом деле я ни разу не встречала ни бизнесменов, ни купцов, а люди, торговавшие возле школы рисовыми палочками и наклейками с героями мультфильмов, не считались, это были простые лоточники. Слово “купец” я знала из сказок, там героинями часто становились дочери купцов, они жили в роскоши, почти как принцессы, и хотя красота и наивность приносили таким девушкам некоторые неприятности, в конце всегда появлялся красивый и отважный мужчина, который спасал героиню от опасности. Всех этих девушек ждала прекрасная судьба, которую не могли омрачить никакие напасти, как если бы их отцы загодя подкупили Бога своими деньгами. И я очень радовалась, что тоже стала “дочерью купца”, будто это переносило меня в другую, прекрасную жизнь.

Из Пекина папа звонил нам раз в неделю. В воскресенье вечером мы с мамой отправлялись в магазинчик рядом с домом ждать его звонка. Сам он тоже пользовался общим телефоном, поэтому мы договаривались, что он позвонит в шесть. Но папа не отличался пунктуальностью и всегда немного опаздывал. Нам было неудобно стоять в магазине просто так, поэтому мама покупала какую-нибудь мелочь вроде пастилок или медальонов из боярышника. Мне больше нравились медальоны, их хватало надолго. Завернутые в бумажный конвертик, они напоминали стопку монет по пять фэней. Я бережно держала такую монетку на языке, высасывая из нее сладкий краситель, пока она не начинала крошиться. Я старалась растянуть удовольствие, словно у меня в руках монеты, которые нужно бережно тратить. И каждый раз загадывала, на каком по счету медальоне зазвонит телефон. Однажды я потратила все “монетки”, но он так и не зазвонил. Мы с мамой прождали в магазине до самого закрытия и на ноющих ногах отправились домой. Но даже если бы он позвонил, я бы просто повторила то же самое, что и каждый раз: “Папа, как твои дела? У меня все хорошо, не беспокойся, я буду слушаться маму”.

Дул холодный ветер, мы медленно возвращались домой. Язык у меня онемел от сладкого, задние зубы ныли. Несказанные слова разрастались внутри, вспучивая сердце. Нетвердой походкой к нам подошел пьяный, сощурившись, оглядел мою маму, раскинул руки и загородил ей дорогу. Мама заметалась, кое-как оттолкнула пьяного, схватила меня за руку и понеслась вперед. Бежали мы долго, потом наконец встали отдышаться под фонарем. Я смотрела на маму с ненавистью, как будто она чем-то предала моего папу.

Когда я выросла, такие медальоны из боярышника почти исчезли. И я забыла, как стояла той зимой в магазине и рассасывала их в ожидании телефонного звонка. А вспомнила благодаря одной незнакомой женщине. Летом прошлого года я договорилась встретиться с другом, он опаздывал, мобильник у меня разрядился, и я подошла к придорожной телефонной будке. Под пластиковым козырьком стояла

женщина. На ней было синтетическое платье с высокими плечиками, какие носили много лет назад, седые волосы висели по плечам, взгляд блуждал. Она сняла трубку, раскрыла ладонь, осторожно вытащила медальон из розовой обертки, бросила его в щель для монет и набрала 119.

– Горим, – тихо сказала она, затем повесила трубку и скрылась в сумерках, сжимая в руке розовый пакетик.

С уходом зимы воскресные телефонные звонки сошли на нет. Потому что папа начал ездить в командировки в Россию, а на поезде дорога до Москвы занимала целую неделю. Мы могли созвониться, только когда он возвращался в Пекин. Весной мама тоже уехала в Пекин: папе нужен был помощник. Меня отправили жить к бабушке. Это придумала бабушка, так она хотела наладить отношения между бабушкой и папой, к тому же у бабушки жила и Пэйсюань, а она могла хорошо на меня повлиять. Воочию увидев папино падение, бабушка считала, что мне крайне необходим хороший пример для подражания. Папа не хотел быть обязанным своим родителям, но другого выхода не оставалось, на каждую поездку в Москву уходило по две недели, они при всем желании не могли взять меня с собой. В итоге он согласился, но с условием, что будет ежемесячно перечислять бабушке плату за мое содержание.

Я не хотела переезжать к бабушке. Я была согласна даже на школу-интернат, откуда домой отпускают раз в две недели, лишь бы они взяли меня с собой в Пекин. Но моего мнения никто не спрашивал, да я и не помню, чтобы сама высказывалась против. Не уверена, что у меня было такое право. Скорее всего, начни я спорить, мама сказала бы: это нужно для твоего же будущего. Очень странные слова. Я хотела, чтобы они сделали мою жизнь счастливее в настоящем. Связь с родителями теснее всего в детстве, ребенком я не могла сама распоряжаться своей судьбой, все решения принимали они. И если родители были не в силах сделать меня счастливее на подвластном им отрезке, о каком будущем могла идти речь?

Оформив перевод в новую школу, мама собрала мой чемодан и перевезла меня к бабушке. Она обещала, что это временно, что они устроятся в Пекине и обязательно заберут меня к себе.

Ты был прав, я совершенно не хотела приспособливаться к среде. Я знала, что скоро снова уеду, поэтому ничего не ждала и не требовала от новой жизни. Я даже не хотела завести здесь друзей. Играла с вами только для того, чтобы насолить Пэйсюань и бабушке с бабушкой. Иногда в самый разгар веселья я вдруг оглядывала вас, удивляясь, как вообще могла с вами подружиться. Часто я без малейшего повода начинала визжать, заходилась долгим пронзительным криком. Наверное, мне хотелось отгородиться от вас, закрыть себя в этом крике и побыть немного одной. За те два года я стала совершенно неуправляемой, росла буйным сорняком, но теперь, оглядываясь назад, вижу, что это было самое счастливое время в моей жизни. Однако каким было то счастье, совсем не помню. Память всегда кроит прошлое так, как ей угодно, а моей памяти больше по душе страдания.

Они рассказывали, что папа заработал большие деньги. Я знала только, что ему приходится часто ездить в Москву, возить много товара. Его поезд проезжает мимо Байкала и Енисея и через шесть дней и шесть ночей прибывает в Москву.

– Он потерялся в жизни, – говорил за ужином дедушка.

– Подожди, вот помыкается немного и образумится, – отвечала бабушка.

– Разве мало он мыкался? Все без толку.

На моей памяти за тот год папа возвращался домой лишь однажды. Бизнес рос и требовал больше оборотных средств, так что папа решил продать квартиру, в которой мы жили до этого. В тот раз он приехал без мамы, оформил документы и

вывез все вещи и мебель на склад к какому-то своему приятелю. Альбомы с семейными фотографиями, журналы, в которых были напечатаны его стихи, все мои старые дневники и игрушки. Через два года, зимой, на том складе случился большой пожар и наши вещи сгорели. Все свидетели тех лет, что мы прожили вместе с папой, были уничтожены огнем, все до одного.

В благодарность за заботу обо мне папа подарил дедушке с бабушкой видеомэгнитофон, который ему привезли из-за границы. Это был его первый подарок родителям за долгие годы. Правда, держался он по-прежнему холодно, поставил коробку на пол и сказал: это вам. Дедушка ушел в свою комнату, даже не взглянув на подарок. Папа посидел с минуту и стал прощаться, бабушка пыталась оставить его на ужин, но он отказался наотрез, сказал, что уже условился поужинать с приятелем. Я знала, что это неправда. За столом я не могла отделаться от мысли, что папа сейчас сидит в какой-нибудь уличной забегаловке и в одиночестве ест лапшу.

Тем вечером мы с Пэйсюань решили опробовать подарок и впервые в жизни посмотрели фильм на видеокассете. Кассету тоже привез папа, фильм назывался "Муха". У героя выпали зубы, по всему телу начала расти шерсть, и постепенно он превращался в муху. Каждый день он вставал перед зеркалом и с нелюдимиой усмешкой во взгляде спокойно исследовал изменения в собственном теле. Не знаю почему, но его отколотовость от остального мира напомнила мне о папе.

А мама навещала меня довольно часто, привозила разные деликатесы из магазина "Дружба": шоколад, швейцарские леденцы, мясные рулеты фирмы "Мэйлинь". Она немного похудела, сделала завивку, купила высокие сапоги на небольшом каблучке, а в разговоре у нее стали проскакивать гортанные окончания. Я умоляла маму рассказать, как они путешествуют на поезде. Но она повторяла одно и то же: в поезде опасно, обманывают на каждом шагу. Было видно, что ей ни капельки не нравится ездить в Россию, всех рассказов о Москве было: холод, холод, холод. Однажды я подслушала, как она жалуется тете, своей старшей сестре, будто папа каждый день где-то напивается, потом не может отыскать дорогу домой, так и сидит у обочины, пока она его не заберет. Еще говорила, что в Москве он всегда идет в казино, порой спускает там всю выручку до последнего рубля. Тетя охала и причитала, что деньги портят людей.

Я им не верила. И мне было все равно, испортился папа или нет. В то время я не представляла большего счастья, чем поехать с папой на поезде в Россию. Наверное, из тех, кто никогда не ездил поездом К-3, я знала его лучше всех. Знала, что в среду утром он отправляется из Пекина, а в следующий вторник прибывает в Москву. Я знала каждую станцию на маршруте, а еще знала, что в четверг вечером поезд пересекает границу в Мохэ, в субботу из окна можно полюбоваться озером Байкал, а в воскресенье поезд подъезжает к Енисею. Я видела железнодорожный маршрут между Пекином и Москвой так ясно, будто это линия пересекала мою ладонь. Сиделась на корточках перед раскрытой картой и вычерчивала этот маршрут фломастером. Байкал контуром напоминал узкий серп луны, я закрашивала его синим, представляя, как сияет в морозной ночи широкая водная гладь, покрытая толстым слоем льда и снега.

Этот железнодорожный маршрут вмещал все мои фантазии о далеких краях. Я представляла, как папа в драповом пальто и кожаных сапогах стоит на открытой ветру платформе, держит в руке чемодан; а вот какой-то мужчина, надвинув кепку на глаза, сидит и курит в углу качающегося на рельсах вагона-ресторана – это опытный и умелый карманник; вот проститутка с изумрудными глазами шагает на огромных каблуках по алому ковру, постеленному в проходе поезда, и каблук ее глухо стучат; а это номер в московской гостинице, папа снимает пальто и разливают водку по стаканам; а вот знаменитое казино "Корона", папа двигает на поле огромную гору фишек и смотрит, как девушка с волнами золотистых волос ловко тасует колоду.

Карманники и проститутки, пьянство и казино – вся эта разжигающая воображение фактура, конечно же, поступала от мамы. Иногда в ее рассказах

проскакивало что-нибудь этакое. Обмолвившись о проститутках, она наверняка тут же пожалела – маме казалось неподобающим говорить при мне о таких вещах. В общем, она имела в виду, что их с папой жизнь полна опасностей. А дедушка сказал бы, что они очень низко пали. Но сколько соблазнительной экзотики таят в себе опасности и падение! Они дразнят детское сердце, как цветок ароматного мака.

Я так ни разу и не побывала ни в поезде К-3, ни в Москве. Поэтому те образы уцелели и выросли вместе со мной. Наверное, это трудно представить, но при слове “Сибирь” у меня к глазам подступают слезы, оно всегда наводит меня на мысли о конце. Папа умер не в Сибири, но когда я вспоминаю его смерть, перед глазами расстилается безбрежное белое поле, а в ушах раздается легкий звон, как будто рельсы дрожат под колесами поезда.

Поезд К-3, курсировавший между Москвой и Пекином, вместили в себя последние годы папиной жизни. В холодной России поезд – метафора судьбы, и дух Анны Карениной до сих пор бродит там по перрону. Впервые прочитав эту книгу, я подумала, что могла бы встретить Анну, если бы поехала с папой в Россию. Жаль, тогда я еще ничего о ней не слышала и при встрече не узнала бы. Но сейчас я обязательно подошла бы и спросила у нее, что же такое душа.

Последняя папина поездка в Советский Союз случилась в ноябре 1993 года. Огромное тело этой страны к тому времени с грохотом рухнуло, флаг спустили и спрятали в дальнем углу, серп и молот на нем начали покрываться ржавчиной, и только через месяц двуглавый орел Византийской империи вновь взлетел на государственный герб. А в этот последний месяц люди лежали среди родных руин, прятались в психоделически долгих ночах, гнали дурной самогон, справляя гризну по большевизму. Папа приехал туда, когда его собственная жизнь почти подошла к концу, наверняка он разделит боль и смятение этих людей, потому что сам он был таким же – человеком, который ни во что больше не верит.

Но это просто мое воображение. Смешно, да? Я спрашиваю, потому что когда-то рассказала то же самое Тан Хуэю, и он ответил, что эта история столь же трогательна, сколь и смешна.

– Я кое-что заметил, – сказал Тан Хуэй. – Ты всегда пытаешься связать жизненный путь своего отца с какими-то глобальными историческими событиями, как будто только в этом случае его жизнь обретает смысл. И, не находя таких событий в китайской истории, ищешь в истории других стран. Ты можешь хоть ненадолго отвязать его судьбу от истории? Дай ему немного свободы!

Потом Тан Хуэй напомнил мне, что папа ездил в Москву для того, чтобы русские делились с ним деньгами, а вовсе не болью и смятением. Он был челноком, дурачил русских и горстями греб деньги из их карманов. Я возмутилась: папа никого не “дурачил”! Но Тан Хуэй отказался брать свои слова назад:

– Именно что дурачил. Русским они продавали низкопробные подделки.

Тан Хуэй родился и вырос в Пекине, один из его родственников в девяностые занимался оптовой торговлей на Ябаолу, продавал товар перекупщикам вроде моего папы, а те везли его в Россию. Поэтому Тан Хуэй знал, что там творилось. Рассказав ему эту историю, я сама встала под дуло.

– Пуховики, которые продавали русским, были набиты раскисшими куриными перьями, в ход шли и больные курицы, и чумные... Вот только утиного пуха там не было ни грамма. А с кожаными куртками еще смешнее, их вообще делали из строительной бумаги, а снаружи прокрашивали бесцветным лаком. Только представь: русские, которых ты описала, с болью и смятением бродят в таких кожанках по снегу среди родных руин и дрожат от холода. Они не подумают, что мерзнут из-за плохой одежды, скорее решат, что сами стали слабее. Добредут до теплого жилья, внутри снег на одежде растает, вода впитается в куртку, и так называемая кожа тут же пойдет трещинами и рассыплется в труху. Ты говоришь,

что они ни во что больше не верили, – конечно: когда у тебя на глазах кожаная куртка превращается в клочки бумаги, последняя вера исчезнет...

– Не все перекупщики так поступали, – не вполне уверенно сказала я.

– Почему потом в Москве было столько случаев расправы над китайцами? Потому что русские возненавидели этих бессовестных челноков. Да, скорее всего, твой папа мыслил не совсем так, как остальные, но занимался он тем же самым – наживался на чужой беде.

Тогда мы только начали встречаться, этот разговор случился в кафе неподалеку от университета. Не выпуская изо рта соломинку, я подняла голову и оглядела Тан Хуэя. Впервые мне показалось, что мы друг другу не подходим, в нем было обостренное чувство справедливости, которым я никогда не отличалась. Тан Хуэй, наверное, тоже понял, что я вылепила из папы кумира, мало напоминающего реального человека. Существование этого кумира создавало неясную угрозу нашим отношениям. А значит, кумира следовало уничтожить. Тан Хуэй считал, что ему это под силу, что это всего лишь вопрос времени. Он был оптимистом, и этим, наверное, мы больше всего и отличались друг от друга.

Мама никогда не вспоминает о поездках в Москву. У нее будто случился провал в памяти, все события тех лет оказались стерты. Иногда она не может даже вспомнить, что целый год прожила в Пекине, а о Москве и подавно. Несколько лет назад я стала разыскивать людей, которые в девяностые ездили торговать в Россию, успела со многими познакомиться. Одна из них – тетушка Лин, она хорошо знала моего папу. Супруги Лин, как и многие другие, в девяностые сколотили большой капитал, но с развитием авиаперевозок их бизнесу пришел конец. Найти еще один столь же простой способ обогащения они не смогли, так что просто сидели сложа руки и тратили накопленное. Потом муж тетушки Лин завел молоденькую любовницу, спустил на нее много денег. Глядя, как последние семейные накопления уходят в дыру, тетушка Лин стиснула зубы и подала на развод и раздел имущества. Квартиру, которая отошла ей после развода, тетушка Лин сдавала, сама переехала в пригород и жила на ренту. За последние годы Пекин очень вырос, пригород, в котором поселилась тетушка Лин, скоро тоже присоединили к городу, и постоянно растущие цены на жилье вынудили ее переселиться еще дальше. Чтобы добраться до ее дома, мне пришлось сначала проехать до конечной станции метро, а оттуда ловить частника. Тетушка Лин жаловалась, что в Пекине теперь живут одни приезжие, что город сильно изменился. Она очень тосковала по Пекину девяностых, по его танцевальным залам, барам, магазинам “Дружба”, валютным сертификатам, поездкам, отправлявшимся в Москву. Младенческий этап развития мегаполиса подарил тетушке Лин лучшие годы ее жизни. Днем в пригороде стоит удивительная тишина, воздух прохладный и тусклый. Сидя у окна в маленькой гостинице, тетушка Лин рассказывала истории из прошлого, и казалось, что это постаревшая придворная дама сидит у городской стены, вспоминая былое.

– В те годы поезд К-3 был точь-в-точь как ларек на колесах: где остановится, там мы и торгуем. Выехали за границу и дальше на подходах к каждой станции тащим к окну баулы с пуховиками и кожаными куртками. На перроне толпятся русские, поезд еще не остановился, а они уже ломятся к вагону. Стоим самое большее десять минут, спускаться времени нет, так что просто открываем окна в купе, через них и торгуем. По-русски знаем всего пару фраз, объясняемся где словами, где жестами, шевелиться надо быстро, берешь деньги, суешь их в баул под ногами, даже не пересчитывая, из него достаешь шмотки и бросаешь в окно. Иногда попадались обманщики, схватит твой товар и бежать, а ты стоишь и глазами хлопаешь, не побежишь ведь следом. Папа твой однажды на такого нарвался, у него выхватили из рук целую сумку с товаром, а он прыгнул из вагона и давай догонять. Долго бежал по перрону, так и не догнал. Поезд уже отправляется, тут он понесся назад, еле успел зацепиться за поручень и на ходу заскочить в вагон, чуть на той станции не остался...

От воспоминаний мутные желтые глаза тетушки Лин заблестели. На секунду она

будто снова очутилась на одной из станций по пути следования поезда К-3 и впала в суматошное возбуждение. Я отвернулась и перевела взгляд за окно. Чтобы справиться с желанием оборвать тетушку Лин, мне приходилось постоянно курить, отупело глядя на сыплющийся с сигареты серый пепел. Рассказ тетушки Лин выглядел очень правдоподобно, и это правдоподобие ранило мою гордость. Я не могла представить, чтобы папа тащил к окну пуховики, высовывался наружу и зазывал покупателей, а потом гнался по перрону за воришкой, да еще цеплялся за поручни, чтобы на ходу заскочить в вагон. Да, я отлично понимала, что папа был перекупщиком и челноком, но все равно не хотела знать, как именно он сбывал свой товар.

Тетушке Лин мой папа запомнился человеком нелюдимым. Дорога в Москву занимала целую неделю, челноки все время держались вместе, сплоченной компанией. Папа выглядел белой вороной. По вечерам они собирались в купе, убивали время за выпивкой и картами. Папа редко участвовал в их посиделках, ему не нравились ни карты, ни пошлые анекдоты. Выпить он любил, но обычно закрывался в своем купе и пил один. Поэтому многим челнокам он не нравился, за глаза его называли индюком, дескать, преподавал в университете, поднабрался культуры и теперь людей ни во что не ставит. К тому же дела у папы шли неплохо, и остальные челноки ему завидовали. Однажды они объединились против него и сговорились с поставщиком, чтобы он подменил заказанный папой товар и скинул ему весь брак. Папа потерял много денег, начал пить, и пока он тонул в апатии, дела его день за днем приходили в упадок.

Возможно, папа был хорошим преподавателем, но коммерсант из него вышел неважный. Изгнанный из своего круга, он попытался войти в круг, к которому не принадлежал, но его и оттуда прогнали. Он никогда не умел приспособиться к среде. Почувствовав разочарование, отступался и уходил, и его жизнь превратилась в череду уходов. Иногда мне кажется, что если бы папа решил просто оставаться на месте, если бы он решил вообще ничего не решать, его жизнь сложилась бы намного благополучнее.

Поезд К-3 курсирует до сих пор. Как и раньше, каждую среду он отправляется из Пекина, а во вторник прибывает в Москву. На второй день пути проезжает через границу в Мохэ, в субботу вечером из окна можно увидеть Байкал, а еще через день поезд подходит к Енисею. Все пейзажи сменяются за окном в то же самое время, что и раньше. Неспешное и лиричное путешествие, понемногу приближающее пассажиров к Москве. Но желающих становится все меньше, мало кто готов потратить шесть дней и шесть ночей на дорогу. Этот маршрут стал больше не нужен.

Проезжая мимо вокзала, я всегда говорю себе, что однажды куплю билет на поезд К-3. Но на самом деле я просто жду того дня, когда этот поезд исчезнет из расписания. Его существование всегда было угрозой прекрасным образам, живущим в моей голове.

22'13"

“ДОБРОЕ СЕРДЦЕ И ДОБРЫЕ РУКИ – ЗНАКОМСТВО С АКАДЕМИКОМ ЛИ ЦЗИШЭНОМ”

На экране черно-белая фотография. Мужчина и женщина сидят на составленных рядом стульях. Мужчина одет в платье чаншань, на женщине белое ципао.

Титр:

В 1950 ГОДУ ЛИ ЦЗИШЭН И СЮЙ ХУЭЙЮНЬ ПОЖЕНИЛИСЬ. СЮЙ ХУЭЙЮНЬ БЫЛА СТАРШЕЙ ДОЧЕРЬЮ СЮЙ ЧЭНФАНА, ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ УНИВЕРСИТЕТА ЦИЛУ. В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ ХУЭЙЮНЬ ВСЛЕД ЗА МУЖЕМ ОТПРАВИЛАСЬ В ГОРОД СЮНЬХУА ПРОВИНЦИИ ХЭБЭЙ, ГДЕ УСТРОИЛАСЬ НА РАБОТУ В МЕСТНУЮ БОЛЬНИЦУ. В 1954 ГОДУ РОДИЛСЯ ИХ СТАРШИЙ СЫН ЛИ МУЮАНЬ.

Еще одна черно-белая фотография. В центре – женщина с маленькой девочкой на руках. Слева стоит мужчина, справа – двое мальчиков.

Титр:

СЛЕВА НАПРАВО: ЛИ ЦЗИШЭН, СЮЙ ХУЭЙЮНЬ, ИХ ДОЧЬ ЛИ МУТИН, СЫНОВЬЯ ЛИ МУЮАНЬ И ЛИ МУЛИНЬ. В ВОЗРАСТЕ ПЯТИ ЛЕТ ЛИ МУТИН ЗАБОЛЕЛА И УМЕРЛА. ЛИ ЦЗИШЭН БЫЛ ОЧЕНЬ ПРИВЯЗАН К МЛАДШЕЙ ДОЧЕРИ. В ПИСЬМЕ ДВОЮРОДНОЙ СЕСТРЕ ОН ПИСАЛ: “МУТИН ГЛАЗАМИ ПОХОЖА НА МОЮ МАТЬ, ЕСТЬ В НЕЙ ЧТО-ТО ИЗ СТАРЫХ ВРЕМЕН”.

Чэн Гун

Когда тебя перевели в наш класс, была весна – это я хорошо помню. У школьных ворот уже торговали гусеничками шелкопряда.

Утром, сразу после второго урока, учительница завела тебя в класс. Ты стояла у двери, высокая и худенькая, левую щеку клевали тонкие солнечные лучи. Казалось, будто тебя заперли в передержанной фотографии, яркий свет мешал рассмотреть лицо, но в нем чувствовалась какая-то торжественная тайна.

Ты очень коротко рассказала о себе. Захлопали не сразу, несколько долгих секунд класс оцепенело тебя разглядывал.

Единственное свободное место было за последней партой, рядом со мной. Туда тебя и посадили. Это ненадолго, утешила учительница, словно намекая, что ты попала в весьма опасное место. Ты и бровью не повела, будто тебе вообще все равно, с кем сидеть.

Во время урока я попробовал тебя рассмотреть. Расчесанные на косой пробор волосы падали вниз, закрывая лицо, и я видел только прямой нос с высокой переносицей, его крылья подрагивали, мягко колыхая воздух. Ты выщелкивала из голубого автокарандаша длинный стержень, а когда он упирался в бумагу и ломался, доставала футляр, вытаскивала из него два новых стержня, вставляла их в карандаш и опять принималась щелкать. Парта перед тобой была усеяна обломками стержней, они напоминали выводок муравьев. За весь день ты ни разу не открыла учебник.

После уроков за тобой пришла Пэйсюань. Опустив глаза, ты аккуратно собрала с парты обломки стержней, положила пенал в портфель и следом за Пэйсюань вышла из класса. Хоть Пэйсюань и училась на класс старше, у нас ее все знали, ведь она единственная из школы удостоилась звания трижды хорошей городского уровня.

Скоро выяснилось, что она твоя двоюродная сестра. Ваш дедушка – знаменитый профессор Ли Цзишэн, каждый сотрудник медуниверситета слышал это имя. Девочки из класса стали подходить к тебе, предлагая дружбу, звали попрыгать в резиночку, спрашивали, поедешь ли ты в выходной с классом на загородную прогулку. Ты держалась довольно холодно, словно ничто из этого не способно тебя заинтересовать.

К тому времени я уже перестал быть одиночкой, у меня появилась небольшая компания. В нее входили Большой Бинь, Цзыфэн и Чэнь Шаша. В один из первых дней в школе учительница сказала нам, что класс – это маленькое общество. Все верно, и, как любое общество, наше тоже делилось на сословия. Моя компания относилась к низшему – положение в обществе определялось местом работы родителей. Мой отец несколько месяцев проработал шофером в университетском автопарке, там же, где и отец Цзыфэна. Потом объявил, что с него довольно, и больше в автопарке не появлялся, но его так и не решились оттуда уволить, поэтому формально папа состоял в штате университета. А отец Цзыфэна остался в автопарке, с машин “скорой помощи” его пересадили на грузовые, это считалось повышением, потому что вечерами больше не приходилось работать сверхурочно. Папа Большого Биня был старшим поваром в столовой, каждый день он стоял перед огромным, размером с ванну, котлом и жонглировал поварешками. Шашин отец работал в котельной, обеспечивал университет отоплением и горячей водой. В общем, все они принадлежали к рабочему классу и зарабатывали физическим трудом. А в университете почетом пользовались работники умственного труда. Поэтому у нас в классе верхушку составляли дети руководителей университета и профессоров, за ними следовали дети обычных преподавателей, а дальше шли мы. Эта структура сформировалась сама собой, верхушка общества держалась особняком, а средний слой пытался одновременно угодить верхушке и отмежеваться от нас. Я быстро понял расстановку сил и решил объединиться с

остальными представителями социальных низов. На самом деле я имел в виду только Большого Биня и Цзыфэна, а Шашу вообще не брал в расчет. Ее мама родила двойняшек, мальчика и девочку, и через несколько часов умерла от сильного кровотечения. Спустя еще пару дней болезнь унесла и брата Шаши. Ее растила бабушка, заговорила Шаша только к трем годам, в пять лет еще запинаясь на каждом слове. Никто не удивлялся – девочка растет без мамы, но в семь лет Шаша пошла в первый класс, и оказалось, что она совершенно не умеет считать. Начали подозревать умственную отсталость, учителя не могли сказать наверняка, но видели, что у Шаши дефицит внимания, иногда она даже на собственное имя не откликалась, а еще вечно что-то жевала. У нее была маниакальная страсть к еде. Креветочные крекеры, картофельные чипсы, пастилки из боярышника – Шаша даже на уроках не прекращала жевать. Сначала учителя пытались искоренить эту привычку, отбирали у нее лакомства, но Шаша орала, как будто в нее вселился бес, и в конце концов все смирились. Поэтому даже во время уроков мы слушали хруст, доносившийся от ее парты. Но вот что странно: казалось, Шаша не понимает ни слова из объяснений учителя, однако на контрольных ей всегда удавалось набрать немного баллов. До проходного она обычно недотягивала, но и худшей в классе оказывалась нечасто. Большой Бинь, добрая душа, жалел сироту Шашу и повсюду брал ее с нами. Сам он, разумеется, тоже был немного странный – отличался поразительной трусостью; я слышал, будто, когда ему было восемь лет, его за нос укусила крыса и с тех пор он боялся всего на свете, особенно мышей и крыс, а еще всевозможных червяков – Большого Биня пугали даже гусеницы шелкопряда. И его мутило при виде крови. Однажды у его соседа по парте пошла носом кровь, и Большому Биню сделалось даже хуже, чем тому мальчику, он едва сознание не потерял. А добивала меня его сентиментальность: когда наш класс повели смотреть “Мама, полюби меня снова”, он плакал больше всех и потом еще несколько дней не мог успокоиться. На просмотре “Лю Хулань” он тоже плакал и постоянно спрашивал, почему же они не могли пощадить Лю Хулань. Я бы никогда не стал дружить с таким слюнтяем, но выбора у меня попросту не имелось. Правда, Большой Бинь был щедрым – из тех детей, кто отломит тебе половинку ластика, когда у самого остался всего кусочек. Цзыфэн же был его полной противоположностью, ни один фильм не мог его растрогать, а глядя, как все вокруг рыдают, он лишь недоумевал. Когда умерла его любимая бабушка, Цзыфэн и слезинки не проронил, после этого даже родители решили, что он какой-то черствый. Я не черствый, пытался втолковать нам Цзыфэн, просто немного испугался и не понял, что пора плакать. Может, научите, когда надо плакать, а когда нет? Вот сбежит твоя мама из дома, тогда сам поймешь, когда плакать, сказал ему я. Моя не сбежит, ответил Цзыфэн. Папа ее вон как бьет, а она все равно не сбегает. Значит, ты никогда не научишься плакать, холодно сказал я. Цзыфэн только печально вздохнул.

Честно говоря, не о таких друзьях я мечтал, но выбора не оставалось. Все равно с друзьями лучше, чем без друзей, а, учитывая расстановку сил в нашем классе, я должен был объединить вокруг себя всех, кого возможно.

К твоему появлению наша компания успела сдружиться, мы много времени проводили вместе. Иногда на переменах Большой Бинь и Цзыфэн подходили к моей парте, садились рядом и начинали с серьезным видом обсуждать какую-нибудь ерунду. Ты сидела на своем месте и равнодушно за нами наблюдала. Думаю, одноклассники уже рассказали тебе, кто мы такие. И предостерегли: держись от них подальше.

Поэтому я совсем не удивлялся тому, что за всю первую неделю ты не сказала мне ни слова. Больше того, я был готов, что так пойдет и дальше. Но на второй неделе ты неожиданно заговорила. Во время одной из перемен Большой Бинь позвал меня после школы в гости – у их собаки недавно родился щенок. Когда он отошел, ты вдруг спросила:

– Что за собака?

– Немецкая овчарка. – Чтобы ты не испугалась, я поспешно добавил: – Но щенки же милые.

Ты молча кивнула. А перед последним уроком повернулась ко мне и спросила, можем ли мы взять тебя с собой. Я и удивился, и обрадовался. А ты осталась такой же безучастной, отвернулась и больше со мной не заговаривала. Я даже подумал, что мне все это послышалось.

Тем вечером во дворе дома Большого Биня ты погладила неприветливую овчарку-мамашу, прижала к себе щенка, поцеловала его в мордочку, а потом зачерпнула грязными руками пригоршню попкорна и сунула в рот – точно так же, как мы.

Большому Биню и Цзыфэну ты сразу понравилась, они решили, что ты – наш человек. А мне твое дружелюбие показалось немного вымученным и наигранным. Потом я узнал, что на самом деле тебе просто хотелось вернуться домой немного позже. С того дня мы часто играли вместе после уроков. Ты выбрала нашу компанию только потому, что нам всем некуда было спешить после школы.

Ты любила игры, в которых можно было носиться сломя голову, – “брось мешочек” или жмурки, обожала забираться на деревья и лазить по кустам. Тебе нравилось как следует вспотеть и испачкаться, будто только это и делало веселье настоящим весельем. Еще ты любила визжать, иногда посреди игры без малейшего повода заходила резким криком. Не переводя дыхания, визжала до хрипоты, после чего удовлетворенно закрывала рот и обводила нас торжествующим взглядом, словно твой крик только что пробил дыру в небе. Потом, заметив, что ты вот-вот завизжишь, я быстро подходил сзади и зажимал тебе рот. Твои зубы влажно щекотали мою ладонь.

Скоро в нашей компании ты стала решать, как и во что играть. Не желая долго следовать старым правилам, ты постоянно их меняла. Даже в “брось мешочек” мы играли по-разному: иногда правила разрешали ловить мешочек только одной рукой, иногда бросающий должен был повернуться спиной к остальным игрокам. Придумав очередное правило, сначала ты всегда советовалась со мной, а после обсуждения мы объявляли его остальным. Правила не могли быть слишком сложными, здесь нас ограничивали умственные способности Шаши. И все равно нужно было постоянно ей подсказывать, напоминать, что правила изменились. Бывало, что Цзыфэн начинал скучать и пытался испортить игру, его приходилось то и дело одергивать. Иногда у меня появлялось странное ощущение, что мы с тобой – родители, которые вывели своих детей поиграть на улицу.

Скоро я понял, что мы научились понимать друг друга без слов, – например, играя в прятки, мы не сговариваясь бежали в одно и то же укрытие. Однажды Большому Биню выпал жребий водить, он отвернулся и стал считать, а остальные бросились врассыпную. За библиотекой, почти вплотную к стене, в несколько рядов рос бамбук. Я встал на цыпочки и боком пробрался вдоль стены вглубь зарослей. Было начало лета, пышный ярко-зеленый бамбук плотно скрывал меня своей листвой. Не успел я похвалить себя за находчивость, как вдруг бамбук зашелестел. А потом я увидел, как ты крадешься ко мне с другой стороны. Ты медленно приблизилась и встала рядом; мы вжались в стену, стараясь не задеть листву. Накануне прошел дождь, в узком и длинном коридоре между стеной и бамбуком висела влага, как в промоченном водой сне. Тени от бамбуковых листьев падали на твоё лицо и едва заметно качались, хотелось потянуться и смахнуть их. Но ты вдруг сама потянулась и скрюченным пальцем защекотала у меня под мышкой. Я передернулся, пытаюсь отделаться от твоего пальца, и бамбук зашелестел. Ты расхохоталась, я бросился зажимать тебе рот, и в конце концов нашу бесшумную борьбу прервал звук приближающихся шагов. Большой Бинь все-таки напал на след. Закусив губы, мы замерли, не смея вдохнуть. В зарослях показалась длинная палка, шарившая среди бамбуковых стволов. Надежды на спасение не осталось. Мы зажмурились, понимая, что с минуты на минуту заросли перед нами раздвинут и нас обнаружат. В темноте я почувствовал, как ты сжала мою руку. Твоя ладонь была мягкой и влажной, словно гриб в лесу после дождя.

Много лет спустя Большой Бинь вспоминал эту сцену: он раздвигает бамбук, а там мы – стоим и держимся за руки.

– Знаешь, какое было ощущение? Как будто застучал вас в постели, – пробормотал однажды Большой Бинь.

Тогда он в первый раз кого-то “застучал”. Жаль, не в последний. Потом он женился на телеведущей, и этот брак принес ему немало неприятного опыта. Постепенно Большой Бинь выработал в себе охотничье чутье и научился улавливать даже мельчайшие намеки на измену.

– Мне кажется, тебе тогда уже нравилась Ли Цзяци, – сказал он.

– Не знаю, – покачал я головой.

Это и правда было сложное чувство. Порой на твоём лице вдруг появлялось выражение, которое ставило меня в тупик. Выражение взрослого, утомленного, много повидавшего человека, у которого происходящее вокруг вызывает одну лишь скуку. Мне было беспокойно от того, как рано ты повзрослела. Мы словно бежали наперегонки, при этом ты всегда была на шаг впереди и в любую секунду могла ускориться и исчезнуть из виду. Я напряженно оборонялся, постоянно готовый вложить все силы в последний рывок. Между нами смутно ощущалось какое-то неуловимое соперничество, мешавшее сближению. Наверное, если бы мы были на несколько лет старше, влечение к противоположному полу превратило бы это соперничество в притяжение и я бы отчаянно в тебя влюбился. Но тогда это было всего лишь безвыходное противостояние, с которым я не мог ничего поделать.

Через месяц учительница пересадила тебя за другую парту. К сожалению, это случилось слишком поздно, к тому времени ты окончательно влилась в нашу компанию. Одноклассники считали это страшным падением и смотрели на тебя с жалостью. Нашлось несколько добросердечных девочек, которые попробовали уговорить тебя одуматься, взывая то к разуму, то к чувствам. Но ты продолжала с нами дружить, не собираясь “исправляться”.

Мы наивно верили, что ты дружишь с нами, потому что мы интереснее всех остальных. На самом деле интересными были не мы, а та пропасть, которая простиралась между тобой и нами. Внучка знаменитого профессора и дурные дети из неблагополучных семей. Тебя увлекала драматичность этой пропасти.

Было видно, что ты во всем стараешься идти наперекор своей семье. Бабушку с дедушкой ты не любила, хотя никогда не говорила об этом прямо. Ты вообще о них не заговаривала. И ты терпеть не могла Ли Пэйсюань, потому что она всегда старалась исполнить их волю. Ты решила вырасти и стать ее полной противоположностью, чтобы они окончательно в тебе разочаровались. Это был единственный доступный тебе способ причинить им боль.

Ли Пэйсюань скоро узнала о твоих новых друзьях. Она считала своим долгом убедить тебя исправиться и каждый день после уроков ждала у школьных ворот, словно образцовая мать, которая встречает ребенка с занятий. Пару раз ты нехотя пошла за Пэйсюань, а потом начала придумывать способы ускользнуть из-под ее опеки. Мы стали раньше уходить с последнего урока самоподготовки и искали для игр какое-нибудь местечко поукромней. Но в университетском кампусе все укромные уголки вечно были заняты целующимися парочками. Завидев нас, студенты в панике расплетали языки и руки. Парни с пунцовыми прыщами свирепо гнали нас прочь: “Дети, идите играть в другое место!”

В битком набитом кампусе “другое место” было найти непросто. Пока однажды мы не вспомнили о Башне мертвецов.

В нашем медуниверситете о ней знал каждый. Когда-то это была водонапорная башня, построенная немцами во время оккупации Цзинаня. Много лет она простояла заброшенной, а потом пригодилась для хранения трупов и их фрагментов, которые использовались на прозекторских занятиях и в лабораторных исследованиях. Я слышал, что трупы из Башни служили не только нашему университету, их отправляли в лаборатории двух ближайших медучилищ.

Машины из автопарка, в котором работал отец Цзыфэна, иногда отряжали возить трупы, доставлять свежих мертвецов в Башню с места казни. Цзыфэн всегда докладывал нам, если грузовики выезжали за новыми трупами. Говорили, что все это трупы казненных. Оказывается, на свете столько преступников приговаривают к смертной казни... Теперь мы поверили, что за нарушение закона и правда могут расстрелять, а потом привезти сюда, разделить на кусочки и отдать студентам-медикам в толстых, как бутылочные донышки, очках, чтобы они резали эти кусочки на своих занятиях. Воистину, Башня мертвецов очищала душу: все, кто хоть раз там побывал, становились очень законопослушными, а особенно боялись совершить преступление, за которое полагается смертная казнь. Тогда я смутно понял одну истину: даже если ты решишь всю жизнь творить зло и умереть, не оставив миру ничего ценного, это будет не так-то просто. Ведь они все равно отыщут что-нибудь ценное в твоём трупе.

На самом деле мы давно знали про Башню мертвецов. Необыкновенные истории о Башне передавались в нашей школе из уст в уста. Рассказывали, будто однажды ночью старшеклассники сходили туда, а потом один из них заболел какой-то страшной болезнью.

Башня мертвецов стояла в северо-западной части кампуса, обнесенная высокой кирпичной стеной. В западном углу стены была крохотная железная дверца, такая низкая, что рослому мужчине пришлось бы проходить через нее, согнувшись. Наверное, строители решили, что большинство посетителей все равно будут попадать в Башню, лежа на носилках, потому и сделали вход таким низким. Облупленная дверца была хоть и маленькой, но приметной, бросалась в глаза прохожим. Все дело в том, что вокруг стены не росло ни одного дерева, и даже трава на подступах к Башне становилась реже. Выглядело это и в самом деле странно. Кампус медуниверситета утопал в листьях, и только вокруг Башни земля была лысой, словно из макушки выдрали волосы. Тетя рассказывала, что как-то раз в День деревьев студенты специально посадили вокруг Башни саженцы, но ни один не прижился. Говорили, всему виной пары формалина, в котором держат трупы. Еще ходили слухи, будто в домах рядом с Башней дети рождаются неполноценными, и Чэнь Шаша была подтверждением этого слуха. Раньше ее семья жила в одном из одноэтажных бараков к западу от Башни, и некоторые считали, что смерть брата Шаши и ее легкая умственная отсталость связаны с Башней мертвецов.

Мы пришли к Башне вечером, кругом стояла тишина. Рядом с железной дверью к стене был пристроен одноэтажный барак. Там давно никто не жил, и барак совсем обветшал, высокий карниз подпирали маленькое окошко с треснувшими стеклами, которые дребезжали, грозя вывалиться из рамы от малейшего ветерка. Мы с Большим Бинем и Цзыфэном подтащили к стене камни и обломки кирпичей, свалили их в кучу и по ней забрались на карниз, а там зацепились за черепицу и оказались на крыше. Вы с Шашей вскарабкались туда следом за нами.

С крыши мы наконец увидели, что находится за стеной. Прямо перед Башней была пустая площадка, на одной ее стороне лежала груда трупов. Точнее сказать, их фрагментов – половина разрезанного по вертикали лица, голова с зажмуренными глазами. Было там и обрезанное по пояс женское тело, я видел грудь с зелеными, цвета плесени, сосками. С другой стороны стоял большой бассейн, наполненный мутно-желтым раствором формалина, в котором плавали отделенные от тел руки и ноги. На черно-зеленой коже проступали таинственные узоры, как на древней бронзе. Ты глядела на трупы во все глаза, а потом вдруг завизжала. Но не от страха, а от восторга. Я посматривал на Большого Биня, беспокоясь, как бы он не потерял сознание. На несколько минут он побледнел, но вскоре пришел в себя. Я обрадовался за друга, решил, что Большой Бинь преодолел важный рубеж. Но скоро выяснилось, что страх перед гусеницами никуда не делся. Потом Большой Бинь объяснял: трупы ведь не живые, их нечего бояться. К тому же рядом были мы. Наверное, в компании человеку проще выйти за границы своих возможностей.

Конечно же, наша экспедиция не могла ограничиться одной крышей пристройки. Но на стене, окружавшей Башню, не было никаких выступов, оставалось только

спрыгнуть с нее. Первым мы отправили вниз длинноногого Цзыфэна. Прихрамывая, он подтащил к стене несколько деревянных ящичков, которые нашел возле Башни, составил их друг на друга, и мы спустились во двор. Двигая ящики, Цзыфэн услышал, как внутри что-то весело перекачивается, мы открыли крышку на одном и обнаружили, что ящик доверху заполнен черепами. Были среди них и детские, напоминавшие тонкую резьбу по кости. Похоже, дети были младше нас, неужели и таких маленьких тоже приговаривают к смерти? Мы испуганно переглянулись. На деревянной двери в Башню висел замок, внутрь было не попасть, и экспедицию пришлось сворачивать. Но в одну из следующих вылазок дверь оказалась приоткрыта, а замок лежал рядом на земле. Мы долго стояли и прислушивались, чтобы убедиться, что внутри никого нет. Наверное, предыдущий посетитель Башни в спешке забыл повесить замок. Мы толкнули дверь и оказались внутри, по узкой деревянной лестнице поднялись на второй этаж, в углу там громоздилась целая гора скелетов. Еще на втором этаже было несколько деревянных стеллажей, заставленных коричневыми банками с раствором, в котором плавали анатомические препараты. Опознавая органы в банках, мы не смели верить, что их вынули из таких же теплых тел, как у нас.

В темно-коричневой банке плавал миниатюрный ребенок, совсем крошечный, наверное, умер, не успев родиться. Он казался таким одиноким – скруглил спинку, словно в попытке обнять самого себя. Огромная голова, точеные пальчики на ручках и ножках.

– Младенец, – пробормотала ты.

– Эмбрион, – поправил я.

– А в чем разница?

– Эмбрион живет в воде, а младенец уже вылез из воды на сушу. Как головастики и лягушка.

Тебя очень заинтересовал мозг в соседней банке. Точнее сказать, не целый мозг, а одно его полушарие, оно казалось очень твердым и бледным, как консервированный гриб ежовик. Ты прижала банку к груди, поднесла к окну и стала внимательно ее разглядывать.

– Серьезные повреждения. – Ты нахмурила брови, словно судмедэксперт. Показала мне несколько трещин на поверхности мозга и черное отверстие толщиной с карандаш, будто проеденное червями.

Я не мог понять, зачем им вздумалось хранить кусок испорченного мозга.

– Потому что память того человека до сих пор внутри. – Ты вертела банку, постоянно меняя точку обзора. Потом обернулась ко мне и спросила: – Как думаешь, люди когда-нибудь смогут прочитать в этом мозгу, что за детство было у его хозяина?

– Наверное.

Помолчав, ты серьезно сказала:

– Если когда-нибудь смогут, я бы согласилась на вскрытие после смерти. Тогда мои воспоминания сохранятся. – И кивнула, словно дело это уже решенное.

Сохранить воспоминания. Не знаю, зачем тебе это понадобилось, но я смутно догадывался, что мысль эта вполне толковая. До нашего разговора она ни разу не приходила мне в голову. Ты снова забежала вперед, осознав это, я почувствовал себя пустым и брошенным. И холодно сказал:

– Почему ты считаешь, что люди из будущего захотят прочесть твои воспоминания? Какой от них толк?

– А даже если не захотят, пусть они просто хранятся в мозгу, – сказала ты. – А потом, в будущем, что после будущего, непременно найдется человек, который захочет их прочитать.

Я ничего не ответил, стоял чуть в стороне, надув губы.

Облака за окном расступились, показалось солнце, и сквозь толстое коричневое стекло его лучи ударили прямо в бледный мозг. Еще немного – и он сделался бы прозрачным. Я сощурился и почти увидел, как под толстой мутной оболочкой что-то дышит, мерно вздымаясь и опускаясь.

Оказавшись на солнце, запертые в мозгу воспоминания причмокнули, перевернулись на другой бок и снова погрузились в сон.

Когда мы в следующий раз пришли к Башне, на двери снова висел замок. Пришлось играть во дворе. Например, в жмурки. Разумеется, только ты могла придумать такую безумную затею. Водящему мы завязывали глаза пионерским галстуком, и он должен был на ощупь искать остальных игроков. Прячась от “слепого”, мы садились на корточки, иногда даже припадали к земле, и вместо нас он мог нащупать чью-то отрубленную руку или половину трупа. Честно говоря, меня пробирал ужас от одной мысли, что я прикоснусь к коже мертвеца, к счастью, я был удачлив и всегда выигрывал жребий, мне ни разу не выпало водить. Скоро эту игру пришлось свернуть, потому что Шаша едва не бухнулась в бассейн с формалином.

И без того небольшой дворик Башни был завален препятствиями и не годился для игр, поэтому нам больше нравилось сидеть на крыше у стены и смотреть вдаль. Потом, приходя к Башне мертвецов, мы так и делали: забирались на крышу барака и любовались открывшимся видом. Большой Бинь, Цзыфэн, Шаша, ты и я – мы сидели рядком на карнизе, болтали ногами. Деревьев вокруг не было, только худощавая Башня нависала над нами, словно огромный буддийский монах в сером халате. И казалось, что мир разом постарел на много лет.

Закат раскаленным утюгом докрасна разогрел западный край неба. Сумерки опустились и укутали нас собой. Шаша снова проголодалась, открыла пакетик с сушеной лапшой и принялась жевать. Мы слушали хруст лапши на ее зубах, наблюдали, как завитки сыплются с крыши за стену.

– Они больше никогда не смогут поесть, – сказала ты, глядя на трупы.

– Думай о хорошем, – ответил Большой Бинь. – Они больше никогда не почувствуют голода.

Наверное, забравшись повыше, всегда хочется поговорить о будущем. Помню, как мы сидели на крыше у стены и речь сама собой зашла о планах на жизнь. Большой Бинь хотел стать полицейским, носить с собой пистолет. Цзыфэн собирался стать писателем, чтобы проникнуть во внутренний мир людей. Шаша мечтала о науке, а я сказал, что хочу чем-то выделиться, стать человеком, которого все уважают. Ты же раскинула руки и крикнула:

– А я хочу много-много любви!

Мы как будто приносили клятву. Но почему нам вздумалось клясться в таком месте? Видимо, чувствовали в мертвецах что-то сверхъестественное и волшебное, хотя они были не в состоянии сохранить даже собственные тела, не то что наши клятвы.

Потом при мысли о тех посиделках на крыше мне всегда вспоминалась сказка про Волшебника из страны Оз. Мы были похожи на путников, которые отправились в долгое опасное путешествие в далекую страну, где каждый искал то, чего ему не доставало. Большой Бинь был Львом, жаждавшим храбрости, Цзыфэн – Железным Дровосеком, желавшим раздобыть себе сердце. Шаша была Соломенным Чучелом, мечтавшим о мозгах. Тебе же не хватало любви. А мне – я

не знаю, чего мне не хватало. Наверное, признания. Я всегда чувствовал, что отличаюсь от остальных. И должен был это доказать.

Накануне переходной контрольной мы снова забрались на крышу у Башни мертвецов, и вдруг у стены объявилась Пэйсюань. Она удивилась не меньше нашего. Пытаясь разыскать тебя, Пэйсюань завернула даже на эту глухую тропинку, но никак не ожидала найти нас на крыше у Башни мертвецов. Она подошла и остановилась за несколько метров от стены.

– Идем готовиться к контрольной, – задрал голову, сказала она тебе. – Не собираюсь смотреть, как тебя оставляют на второй год.

Ты позвала ее к нам на крышу, мол, во дворе Башни есть много интересного. Мертвые головы с распахнутыми глазами, отрезанные руки и ноги, детские языки... Ты перечисляла, смакуя каждую деталь. Лицо у Пэйсюань скривилось.

– Ладно, хватит выпендриваться, – тихо сказала она.

– Иди к нам, сама увидишь! – Ты кричала, весело болтая ногами.

– Пошли домой!

– Смотрите, ей страшно! – сказала ты.

– Наша знаменная – трусиха, ха-ха-ха... – подхватил я.

Мы захохотали. Наш громкий смех окатил Пэйсюань, точно грязная вода из таза. Она стояла как вкопанная, все сильнее съеживаясь, а ее сияющие царственные доспехи стремительно обрастали ржавчиной. Я был доволен, как если бы разбил о стенку прекрасный фарфоровый сосуд или плюнул в прозрачную речную воду.

Она отвернулась и зашагала прочь.

– Эй! – крикнула ты вслед. – Трижды хороший ученик должен отличаться примерным поведением! Жаловаться бабушке не годится!

Ли Пэйсюань остановилась, обернулась:

– Ли Цзяци, тебя ждет кошмарная жизнь.

– Это тебя ждет кошмарная жизнь, – злобно ответила ты.

– Зачем мы так с ней... – тихо сказал Большой Бинь.

Ты огрызнулась:

– Что, влюбился?

– Не мели ерунды! – ответил Большой Бинь.

Когда вечером ты вернулась домой, все было как обычно. Пэйсюань и в самом деле ничего не сказала дедушке с бабушкой.

Но все хорошее быстро кончается, после контрольной в школе устроили родительское собрание. В конце классная руководительница попросила некоторых родителей остаться.

Одноклассники ждали взрослых во дворе, а потом вместе с ними уходили домой. Почти все уже разошлись, остались только Большой Бинь, Цзыфэн, ты и я. Шаша тоже ушла – учителя давно махнули на нее рукой.

Наконец последние взрослые вышли на улицу, впереди быстро шагала пожилая женщина, было видно, что она хочет поскорее отделаться от этой компании. Она посмотрела в нашу сторону, оглядела каждого по очереди, и ее глаза задержались

на мне. Оказалось, я ее знаю. Это была та самая дама с пучком серебристых волос, что встретила меня в церкви после переезда в Наньюань. Тогда она угостила меня конфетами и впервые показала, что такое доброта незнакомого человека. Я запомнил это на всю жизнь. Но сейчас она была совсем другой, ее холодный взгляд вонзился в меня, словно гарпун. Она окликнула тебя и увела домой.

Тем вечером у вас состоялся долгий разговор. Бабушка объясняла, что не против твоей дружбы с отстающими учениками, помогать им – хорошее дело. Но этот Чэн Гун – с ним больше дружить не следует. Ты спросила почему, но бабушка не ответила. Ты не отставала, и в конце концов она сказала: он растет в такой семье... Боюсь, у него нечистое сердце, он может тебе навредить.

На другой день ты пересказала мне все это.

– Она права, – я отпихнул тебя, – держись от меня подальше.

Ты шагнула ко мне, вздохнула:

– Скоро каникулы, они запрут меня дома.

Мы замолчали.

В последний учебный день я проводил тебя домой, и мы условились, что будем писать друг другу письма. В кустарнике с восточной стороны твоего дома лежала старая цементная труба, и мы решили оставлять письма в ней. В те каникулы я написал тьму писем. Лето выдалось дождливым, несколько раз я вытаскивал из трубы размокшие листы, и чернильные иероглифы расплывались в сплошное нечитаемое пятно. А мысли, которые ты хотела мне поверить, превращались в затейливый ребус.

В конце июля мы встретились с твоей бабушкой в магазинчике “Канкан”. Я выходил оттуда с пачкой соли и двумя булками, а она несла три пустые баночки из-под простокваши. Увидев меня, опустила глаза. Я нарочно задел ее, проходя мимо, и она поспешно шагнула в сторону. Кажется, я мазнул ей по руке своей потной майкой, и мое сердце тронуло радостью.

Но той ночью я увидел очень страшный сон. Во сне меня схватили трое в белых халатах. Они закрыли меня в лаборатории и обсуждали, в какой раствор лучше поместить мое сердце после вскрытия.

– Почему? Почему вы так со мной поступаете? – кричал я халатам.

– Потому что у тебя нечистое сердце, – сказал один из них из-под маски.

Ли Цзяци

Я помню то лето, когда мы писали друг другу письма. Но почему-то мне казалось, что мы оставляли их не в бетонной трубе, а в дупле. К востоку от дедушкиного дома росла огромная смоковница. Дупло было почти у самого корня, со стороны стены, и чтобы его найти, приходилось хорошенько присмотреться. Письма, которые я доставала оттуда, отливали зеленым и пахли травой. Помню, что читать их я всегда забиралась на дерево. Потом несколько дней лил дождь, но письма лежали глубоко в дупле и совсем не промокли. Наверное, они могли бы храниться там еще много лет. После отъезда из Наньюаня мне несколько раз снилось, как я подхожу к смоковнице и заглядываю в дупло, чтобы достать непрочтенное письмо. Может быть, я бродила сегодня по Наньюаню, пытаюсь разыскать ту самую смоковницу. Все дома снесли, разумеется, от деревьев тоже ничего не осталось. Я даже немного расстроилась – значит, письмо уже не найти. Но после твоего рассказа меня одолели сомнения: вдруг этого дупла вообще никогда не существовало.

Тем же летом, сочиняя новое письмо, я вдруг поняла, что крепко к тебе привязалась, мне даже захотелось навсегда остаться в Наньюане. Правда, стоило таким мыслям закрасться в голову, и я тут же гнала их прочь. Они не могли поколебать мою мечту о Пекине.

С первых дней осени я ждала наступления зимних каникул. Папа говорил, что зимой они возьмут меня в Пекин и мы всей семьей встретим там Новый год. Я пообещала вам, что привезу из магазина “Дружба” много-много шоколада и карамелек. Я представляла этот магазин огромным, больше школьного стадиона. Полки с товарами тянутся куда хватает глаз, и на них лежат все самые новые игрушки. Еще я хотела сходить в знаменитый ресторан “Максим” и попробовать стейк с кровью, сидя под сумрачным светом рожковой люстры. Я ждала, и с каждым днем моя цель приближалась. А за неделю до начала зимних каникул в Цзинань вдруг приехала мама.

Было ясно, что она плакала, глаза опухли и едва раскрывались. Она стояла у двери, обеими руками вцепившись в полупустую дорожную сумку. В этот раз никаких подарков из магазина “Дружба” она не привезла.

У папы появилась другая женщина.

Два дня подряд он не показывался дома. Мама долго бродила по бескончаемым пекинским кварталам, по пустынным улицам, но на этот раз пьяница не сидел у обочины, дожидаясь, когда она придет и потащит его домой. Не появлялся он ни на складе, ни в павильоне, который они арендовали вместе с другими перекупщиками. Мама стала расспрашивать друзей, но никто не знал, куда он пропал. Объявился утром третьего дня, когда она уже собиралась звонить в полицию. Мама спросила, где он так долго пропадал, папа ответил, что был с женщиной.

– Все это время?

– Все время.

Такая откровенность поставила маму в тупик. Она опрометью бросилась в спальню и захлопнула дверь. Мама давно понимала, что они с папой чужие люди, но все же не думала, что этот день когда-нибудь настанет. Не в силах сдержать слезы, она повалилась на кровать, одновременно боясь и надеясь, что папа зайдет в спальню, но услышала только щелчок замка на входной двери. Он ушел. С того дня он пропал надолго, дела забросил, склад стоял забитый лежалым товаром. Домой приходили какие-то люди, требовали у мамы деньги за товар. Она не хотела открывать, но беспокоилась, что папа потерял ключи и теперь не может попасть в квартиру. Она ни с кем в Пекине не дружила, пойти ей было некуда, приходилось целыми днями томиться в четырех стенах. И днем и ночью она лежала на кровати в одежде, крутила одни и те же мысли по кругу и начинала плакать, а устав от

плача, проваливалась в мутный сон. Так прошла нескончаемая неделя, и наконец папа объявился. Скованно опустился в кресло, будто он в гостях. Мама не лезла с вопросами, только спросила: ты голодный, готовить ужин? Заскочила на кухню, лелея глупую надежду, что та история уже закончилась. Открыла пустой холодильник и услышала позади себя его голос: давай разведемся.

Она беспомощно стояла посреди кухни, мотая головой, потом рванула в спальню и заперлась там на замок. Папа звал ее снаружи, предлагал поговорить. На следующее утро она собрала свои пожитки и уехала в Цзинань.

Чтобы досказать нам эту историю, маме несколько раз пришлось прерваться из-за подступавших рыданий. Дедушка сидел, сильно нахмурившись, и с равнодушным видом ждал продолжения. А бабушка хотела узнать, что за женщина появилась у папы, чем она занимается, но мама не могла ответить. О сопернице она ничего не знала.

– Не хочу знать, не хочу, – бормотала она.

– Наверное, друзья на него плохо влияют, – предположила бабушка, слабо веря в собственную догадку.

– Да, да! – поспешно согласилась мама, словно ей протянули соломинку в бескрайнем море.

Она принялась рассказывать про его нескончаемые попойки с друзьями и походы в казино, говорила, что поезд в Москву всегда полон проституток и какой-то папин знакомый с ними развлекался. Мама рассказывала бабушке эти гадости и верила, что именно друзья и проститутки виноваты в папином перерождении. Потом она стала умолять дедушку, чтобы он взялся за дело и убедил папу одуматься.

– Он никогда меня не слушал, – холодно ответил дедушка.

Они отправили папе сообщение на пейджер с просьбой перезвонить. Но он не звонил. Мама временно поселилась у дедушки, спала на диване в гостиной. Когда утром я выходила из комнаты, она уже сидела за столом и караулила телефон. Однажды я принесла ей завтрак, а она растерянно взяла меня за руку и спросила:

– Скажи, почему он так с нами поступает?

Я осторожно высвободилась и спрятала руку в карман куртки. Я ненавидела, когда мама перетаскивала меня на свою сторону, превращая себя и меня в “нас”. Я знала, что ей тяжело, но не могла выдать из себя ни капли сочувствия. И все остальные тоже. Нам казалось, что она сама во всем виновата, что она лишилась папы из-за собственной беспомощности.

Мамино появление нарушило спокойную жизнь в дедушкином доме. А дедушка спокойствие очень ценил. В то время он готовил новый труд по медицине, а мама засела в соседней комнате, многословно изливая бабушке свои страдания, она говорила и говорила, потом снова начинала рыдать. Потеряв всякое терпение, дедушка решил положить этому конец: он велел маме ехать в Пекин и прекращать прятать голову в песок.

– Но вы должны помочь мне восстановить справедливость! – сказала мама.

– Каждый сам разбирается со своими делами, – ответил дедушка. – Никто тебе не поможет. Завтра же поезжай в Пекин.

Маму это вывело из себя, она закричала, стала упрекать дедушку в бессердечии, потом припомнила свекрам все старые обиды, говорила, что они с самого начала ее ни во что не ставили, заставляли молча сносить все оскорбления, а теперь и вовсе хотят от нее избавиться.

Дедушка больше ее не слушал. Сложил в портфель стопку бумаг со стола и пошел

работать на кафедру.

– Цзяци, собирай вещи! – крикнула мама. – Мы уезжаем!

Под сочувственным взглядом Пэйсюань я собрала ручки, положила в пенал. Никто не спрашивал моего мнения. Никто и никогда. Меня постоянно таскали туда-сюда, как цветок в горшке.

– Скажешь Чэн Гуну? – попросила я Пэйсюань, забрасывая рюкзак на плечо.

Мы с мамой поехали в гости к тете, тоскливо отметили там Новый год. В праздничную ночь дядя потащил меня запускать фейерверки. Крыша в кладовке протекла, и фейерверки с петардами оказались подмочены талой водой; дядя поминутно чиркал спичкой, пытаясь их зажечь, тонкий мрачный огонек загорался и почти сразу гас. Я все ждала, что фейерверки взмоют ввысь и разорвут ночное небо, но перед глазами висела безмолвная чернота. Ночная мгла, напоминавшая отлитую из чугуна маску. Я разжала уши и опустила руки.

Вот так уныло и прошел Новый год. Только тут я поняла, скольких трудов стоила та фальшивая радость, которую мы разыгрывали, встречая праздник в гостях у дедушки с бабушкой, она была результатом стараний каждого члена семьи. А теперь все бросили стараться.

Зимние каникулы в том году были очень короткими, почти сразу после Нового года у нас начались уроки. Меня снова отправили к бабушке. А мама взяла с собой тетю и наконец поехала в Пекин, сказала, что ей надо в последний раз поговорить с моим папой. “В последний раз” – зловещие слова. Я понимала, что мама напрасно старается, но во мне еще теплилась крохотная надежда. Вдруг папа сжалится и передумает разводиться.

Я снова вернулась в вашу компанию. За зимние каникулы много всего произошло. Вы с Цзыфэном научились кататься на велосипеде. Собака у Большого Биня снова забеременела.

– А муж у нее тот же самый, что в прошлый раз? – спросила я.

– Нет, теперь это белый пес с длинной шерстью, гораздо красивее той дворняги.

Выходит, даже собаки понимают, что негодного супруга надо менять на кого-нибудь получше.

Вы видели, что у меня ни к чему нет интереса, я была вялой и поникшей. Я ждала новостей. И через несколько дней дождалась. После ужина бабушка попросила меня остаться в гостинной.

Она сказала, что мама согласилась на развод.

– Я пока не хотела тебе говорить, но дедушка настоял на этом.

– А что будет со мной? – тут же спросила я. – С кем я останусь?

Судя по бабушкиному взгляду, я задала очень странный вопрос.

– Ты останешься с мамой. А папа... Боюсь, он пока не сможет приехать в Цзинань.

Я замотала головой.

– Я договорилась с мамой, ты пока будешь жить у нас, как раньше, – добавила бабушка.

– Я не согласна! – Я развернулась и убежала в свою комнату.

С того самого дня, как мама приехала из Пекина в слезах, мне следовало догадаться, что этим все и кончится. Но я верила в существование некоей мощной

силы, которая крепко связывает нас с папой, верила, что эта сила не даст нам разлучиться. Разве может он так запросто исчезнуть из моей жизни?

В марте они оформили развод. Для этого папа приехал в Цзинань, но задержался всего на день, тем же вечером он должен был возвращаться в Пекин. До отъезда оставалось немного времени, и он решил зайти к бабушке. Меня никто не предупредил. Поэтому после школы я как обычно болталась на улице и не спешила домой. К счастью, Пэйсюань нашла меня и сказала, что он приехал, – хоть однажды сделала что-то полезное. Ничего вам не объясняя, я со всех ног кинулась домой.

Толкнула дверь, в гостиной было пусто. Они сидели в кабинете. Я подошла к прикрытой двери и услышала суровый дедушкин голос:

– Нет, тебе ни в коем случае нельзя жениться на Ван Лухань!

Папа собирается жениться. Сердце у меня упало.

– А разве я спрашивал твое мнение? – ответил папа. – Просто ставлю в известность.

– Кто угодно, только не она! – взревел дедушка.

Я забежала в кабинет и схватила папу за руку, хотела его увести. Оставшееся время должно принадлежать мне, разве можно тратить его на скандалы? Но папа даже не взглянул на меня, резко выдернул руку, шагнул вперед и впился глазами в бабушку:

– И как тебе только стыда хватает мне запрещать? Вспомни-ка, что ты сделал! Неужели все забылось?

Бабушку передернуло. Дрожащими губами он тихо проговорил:

– Я давно не лезу в твои дела. Но здесь ты должен меня послушать.

Побледнев, бабушка вцепилась в меня и вытолкала из комнаты. Дверь закрылась, но из кабинета все равно донесся раскатистый папин смех. Потом этот жуткий смех резко оборвался и папа хрипло отчеканил:

– Как ты можешь так спокойно жить?

Бабушка приказала:

– Пэйсюань, поиграйте с Цзяци на улице.

Не успела я ничего сообразить, а Пэйсюань уже крепко сжала мою руку. Бабушка открыла входную дверь и выставила нас в подъезд.

Я тут же забарабанила в дверь, но Пэйсюань обхватила меня за плечи и потащила на улицу.

– Подождем его внизу, ладно? – тихо уговаривала она меня.

– Нет! – орала я. – Ты ничего не понимаешь!

Пэйсюань спокойно посмотрела на меня и медленно проговорила:

– Я одно понимаю: если взрослые не хотят, чтобы мы что-то знали, нам лучше этого и не знать.

– А мне нет дела, кто на ком женится... Я просто хочу побыть с ним, он уезжает, ты понимаешь, я его больше не увижу... – Я вдохнула поглубже, чтобы не расплакаться. Эти слезы еще понадобятся для прощания с папой.

– Подождем его внизу, ладно? – как заведенная повторяла Пэйсюань. В темноте лестничного пролета она походила на куклу из папье-маше.

Мы сели на ступеньки у входа в подъезд. Ночь понемногу окрасила воздух в черный. Вдалеке показался велосипед, это была моя мама. Она подъехала к нам, спрыгнула с велосипеда и сказала, что отвезет меня к тете. У нее остался единственный способ отомстить папе – помешать нам увидеться.

– Ей завтра в школу... – ответила за меня Пэйсюань. Не знаю, зачем она это сказала – хотела помочь мне увидеться с папой или в самом деле беспокоилась о моих уроках.

Мама пообещала, что после папиного ухода привезет меня обратно. Я не двигалась с места, тогда она сказала, что тетя приготовила мою любимую рыбу в кисло-сладком соусе, а дядя купил большого красивого змея и, когда я приеду, мы пойдем его запускать.

– Я никуда не поеду, – ответила я. – Буду ждать его здесь.

Пока мы с ней препирались, сзади послышались шаги. Я обернулась и увидела папу, он спускался по лестнице. Мама мигом схватила меня и притянула к себе.

Папа вышел из подъезда с перекошенным лицом, словно не прекращал ругаться с дедушкой. Он отвел взгляд от мамы, всем видом выражавшей враждебность, и наконец посмотрел на меня. Подошел поближе. Мамины пальцы впились мне в плечи.

– До свидания, Цзяци. – Он расправил брови и горько улыбнулся. – Будь хорошей девочкой.

– До свидания, папа.

Он протянул руку и небрежно погладил меня по голове. Я так хотела задержать эту руку, но она мелькнула у меня за спиной и исчезла. Пауза. Секунда, вторая. И вот он шагает прочь. Я хотела побежать следом, но мама крепко меня держала.

– Он сам нас бросил. – Мама села на корточки и прижала меня к себе. – Видишь? Ты должна это запомнить.

Это было не так, я знала. И больше всего мне не хотелось тратить заготовленные слезы на эту ложь. Но я заплакала. Крупные слезы катились из глаз, унося с собой исчезающий в сумерках папин силуэт.

Чэн Гун

Еще я помню, что зима в том году была долгой, прошла уже половина апреля, а зимний жасмин все не распускался. Из-за развода родителей ты была сама не своя. У нас давно не появлялось новых игр, все вечера мы просиживали на крыше у Башни мертвецов, изнывая от безделья. К частям тела, разбросанным во дворе Башни, добавилось несколько новых рук. Мы цепляли их крюком и складывали вместе, чтобы получилась тысячерукая Гуанинь.

Мы умирали от скуки. Башня мертвецов утратила прежнее очарование. Нам срочно нужно было новое место для игр.

Однажды днем зарядил сильный ливень, уроки закончились, а он все не прекращался. Теперь даже в Башню мертвецов было не пойти, и наша компания хмуро разошлась по домам. Мы с тобой медленно брели из школы под одним зонтом. Было еще рано, и мне страшно не хотелось возвращаться домой, я изо всех сил пытался придумать, куда еще можно сходить. Налетевший ветер вырвал у меня зонтик и швырнул за обочину. Мы бежали за ним под дождем, и тут меня осенило. Как той осенью, когда загнанный коллекторами папа встал посреди улицы и вдруг почувствовал зов бабушки, – так и я теперь вспомнил про триста семнадцатую палату.

– Я отведу тебя в одно место! – объявил я.

И мы поспешили в стационарный корпус. Я открыл дверь в палату и хозяйским жестом пригласил тебя внутрь.

Ты медленно подошла к кровати, пристально глядя на бабушку-растение. Не мигая уставилась на него из-под нахмуренных бровей, словно у бабушки вместо лица фонарик с праздника Юаньсяо и ты пытаешься разгадать шараду, которая на нем написана.

– Эй! Ты что? – Я несколько раз тебя окликнул, но ты будто не слышала.

Пришлось подойти и встряхнуть тебя, тогда ты опомнилась и спросила:

– Он боится щекотки?

– Не знаю, проверь. – Я был очень рад, что бабушка-растение вызвал у тебя такой интерес.

Ты засунула руку ему под мышку и пощекотала. Щекотки он не боялся.

– И боли тоже не боится?

– Проверь, – ободрил тебя я.

Ты достала из пенала остро отточенный карандаш, взяла бабушкину руку и ткнула карандашом сначала в ладонь, а потом и в щеку.

– Ему снятся сны?

– Ну-у... – Я и понятия не имел, снятся ли бабушке сны. К тому же это было никак не проверить, не заберешься ведь ему в голову, чтобы посмотреть.

Сжав губы, ты серьезно о чем-то задумалась и наконец сказала:

– Наверное, лучше бы он умер.

– Да, все так говорят. Но ничего не поделаешь, он застрял.

– Застрял?

- Как кассета в видеке – ни туда ни сюда.
- Почему он застрял?
- Не знаю. Может, владыка Янь-ван не успел приготовить для него спальное место.
- На самом деле это не так и плохо. Ведь после смерти придется снова родиться, учиться говорить, писать иероглифы, потом снова идти в школу. От одной мысли тошно.
- Он не ходил в школу... – сказал я. – Он жил в деревне, работал в поле, а потом сразу пошел на войну.
- Но в новом воплощении ему придется учиться в школе.
- Да, – кивнул я. – Может, он застрял здесь, просто потому что в школу не хочет.

Мы расхохотались.

С того дня после уроков мы отправлялись напрямик в триста семнадцатую палату. Почему-то с самого начала между нами существовал негласный договор не рассказывать о ней Большому Биню и Цзыфэну. Как будто палата была огромной сокровищницей, и мы ни с кем не хотели делиться ее дарами. Поэтому после уроков мы притворялись, что идем по домам, а когда Большой Бинь и Цзыфэн уже не могли нас увидеть, бежали в больницу.

В той палате мы придумали много новых игр с непременно участием дедушки-растения.

Помнишь, как дедушка превратился в мумию и лежал, обмотанный с ног до головы марлевыми бинтами? На этот шедевр мы потратили половину субботнего дня. Жаль, бинтов, которые ты стащила из дома, нам не хватило и ноги ему пришлось обмотать обрезками ткани, которые остались от бабушкиного шитья, поэтому наша мумия немного смахивала на разноцветного попугая. Мы с тобой были расхитителями гробниц, которые приехали в далекий Египет и в одном из склепов обнаружили эту странноватую мумию.

В другой раз мы усадили дедушку на кровати, подперев его скамеечкой, и исписали всю его спину иероглифами; составные части иероглифов накладывались друг на друга, и ни один человек в мире не смог бы прочесть наши письма. Мы решили, что это утраченная много лет назад тайная книга по боевым искусствам. А мы – странствующие герои, которые случайно оказались в волшебном подземелье и нашли письма, оставленные на лоскуте человеческой кожи.

Затея с переодеванием дедушки в инопланетянина оказалась неудачной. Мы взяли ножницы и сколько могли расширили отверстие в коробке из-под печенья, но дедушкина голова все равно не помещалась туда целиком, к тому же жестяной край порезал ему шею, пошла кровь. Хорошо, что кровь скоро остановилась, а ранку скрывал воротник больничной пижамы, так что медсестра ни о чем не узнала.

Еще мы попробовали нарядить дедушку Спящей красавицей. Я стащил из дома тетину помаду, которой она ни разу не пользовалась, ты нарисовала дедушке губы и щеки. Веки мы приклеили к щекам прозрачным скотчем, чтобы дедушка хоть ненадолго закрыл глаза. Но никто из нас не хотел становиться принцем, который разбудит Спящую красавицу поцелуем, поэтому в нашей сказке принц попал в беду по дороге к возлюбленной и проснуться ей теперь не суждено.

Вспоминая то время, я сравнил бы триста семнадцатую палату с маленьким театром, созданным для нашего развлечения. Мы были там и режиссерами, и актерами. А дедушка-растение больше напоминал театральный реквизит, и он же был нашим единственным зрителем. Нам казалось, что он наблюдает, как мы хлопочем, бегая туда-сюда по палате.

Однажды ты вдруг спросила:

– Тебе не кажется, что у него взгляд как у младенца? Чистый, ни капли грязи.

Я не мог представить себе такого гигантского младенца. Но дедушка-растение и правда был не похож на обычного дедушку. Беленький, пухлый, а лицо большое и круглое, как сливочный торт, без единой морщинки. Оно никогда не улыбалось, но дышало радостью, от которой дедушку так и хотелось ущипнуть за щеку. К тому же стоило поглядеть на него немного, и сердце наполнялось покоем, а все тревоги и огорчения уходили прочь.

Не знаю, чем он пробудил твой материнский инстинкт, но тебе непременно захотелось поиграть с ним в самые первобытные “дочки-матери”. Ты стала мамой, мне велела быть папой, а дедушка-растение превратился в нашего “малыша”.

Ты раздобыла где-то фартук и повязала его “малышу” на шею вместо слякявчика, а шприц, наполненный молоком, стал бутылочкой для кормления. “Малыш” тебя не слушался и выплевывал все молоко. Ты прижимала его голову к своей груди, пела ему колыбельные. А я стоял рядом, не зная, чем помочь, и частенько получал нагоняй за громкие разговоры.

– Тсс! – Ты хмурилась и понижала голос. – Я почти его убаюкала.

На деле “малыш” и не думал спать, а смотрел на нас распахнутыми глазами. Взгляд его казался пустым и в самом деле очень чистым, в нем не было ни целей, ни желаний. Под этим взглядом я вдруг ощутил себя умудренным мужчиной, словно по-настоящему стал отцом. Это было хоть и тяжелое, но любопытное чувство, и потому я не гнал его прочь. Много лет спустя я сидел в больничном коридоре и ждал, когда моей подружке сделают аборт, сердце онемело и ни на что не отзывалось. Тогда я почему-то вспомнил, как в триста семнадцатой палате примерял на себя роль отца. Наверное, за всю жизнь я лишь в той детской игре с удовольствием почувствовал себя папой.

С весны по осень мы сыграли на этой сцене все сюжеты, которые только смогли придумать, потом наше воображение иссякло, интерес к спектаклям наконец прошел, и мы взяли передышку.

Но триста семнадцатая палата оставалась идеальным местом, куда можно было пойти после школы. Мы сидели рядом на полу или забирались на кровать и писали сочинения, учили тексты. Иногда Большой Бинь или Цзыфэн приходили сыграть со мной в шахматы сянци. Ты сидела рядом и слушала радио или играла в “колыбель для кошки”. Теперь дедушка-растение из незаменимого реквизита превратился в ненужную мебель. Но иногда он все-таки бывал нам полезен. В весенние холода палата с отключенным отоплением страшно промерзала, тогда ты забиралась на кровать и садилась к дедушке греться. С каждым выдохом его огромное мягкое тело источало густое тепло.

– Я сейчас засну, – говорила ты, потягиваясь.

На десяти квадратных метрах палаты вся обстановка состояла из железной койки и лежавшего на ней человека. Койка была белая, пижама на больном белая, шторы и кружка тоже белые и очень старые, от старости все эти вещи отливали желтизной, делавшей их немного человечней. И палата тоже была старая, в ней царил неизбывная сырость, мы сидели на полу, привалившись к стене, с которой кусками отслаивалась штукатурка, словно парша, пахнувшая болезнью и лекарствами. За окном росли платаны, их густая листва качалась на ветру, просеивая в палату остатки солнечного света.

С третьего этажа нам было видно улицу, на которую выходила больница, за ней жались друг к другу лавочки с фруктами и цветами, тротуар перед ними был уставлен букетами и фруктовыми корзинами. Здесь же располагался магазин погребальной одежды с маленьким венком под вывеской. Издалека все эти лавки и магазины казались яркими веселыми пятнами, там будто каждый день справляли

какой-то праздник. К больнице с воем подъезжали машины “скорой помощи”, останавливались у входа, и люди с белыми носилками в руках выходили встречать гостей. Каждый день в больницу поступали новые больные, и каждый день кто-то уходил, а были и такие, кто пришел, но уже не ушел. Больница, подобно огромному сити, просеивала жизни, оставляя себе самые старые и ненужные. За ними придет Бог, принесет взамен новые жизни, как молочник, который ставит на крыльцо бутылки со свежим молоком и забирает пустые.

Кто-то умирал, кто-то рождался, а мы играли по соседству с жизнью и смертью. Человек на кровати не числился ни среди мертвых, ни среди живых, он наблюдал за нами, оставаясь по ту сторону жизни и смерти. Его детский взгляд вечностью пронзал нескончаемый цикл рождений и смертей и укрывал нас от мира, словно купол, так что даже мельчайшие частички времени не могли проникнуть внутрь.

Но это ощущение было обманчиво. Время способно пролезть в любую щель, а так называемая вечность – всего лишь иллюзия. И мы играли посреди этой иллюзии, пока однажды с глаз не упала пелена. Над нами простерлось ясное небо, игру пора было заканчивать.

Это случилось в один сентябрьский понедельник. За окном шумел дождь. Капли залетали в палату через неплотно закрытую форточку, неся с собой запах листвы и пыли. Мы с Большим Бинем сидели под окном и играли в шахматы, а ты забралась на кровать послушать радиопередачу. Тебе очень понравился роман, который читали тогда по радио, и каждый день в одно и то же время ты устраивалась возле приемника.

Это была печальная история о постаревшей придворной даме, которая сидит в покоях за высокой стеной и вспоминает историю бесплодной любви из своей юности. Мы сыграли две партии, и Большой Бинь заторопился домой, ему нужно было успеть к началу “Рыцарей зодиака”. Тогда дети были словно одержимы этим мультфильмом, с наступлением вечера быстрее ветра неслись домой, едва слышав его зов. Подозреваю, что из всех детей на свете только мы с тобой не смотрели “Рыцарей зодиака”. Нам не нравились мультики, не нравился телевизор, а главное – нам не нравилось бывать дома.

– Ну и иди к своей Афине! – из коридора прокричал я в спину Большому Биню.

Я вернулся в палату, собрал шахматы. Фигуры с грохотом ссыпались в коробку. И в палате повисла мертвая тишина. Только тут я сообразил, что радио уже не работает и дождь прекратился. А ты сидела так тихо, будто тебя вообще нет.

Конечно же, ты была на месте, и именно из-за тебя в палате наступила такая тишина. Ты сидела на краю кровати и не мигая смотрела на дедушку, твои глаза были прикованы к его груди. Я не сразу заметил, что верхние пуговицы на его пижаме расстегнуты и грудь открыта. Сначала я решил, что ты придумала новую игру, но скоро заметил что-то странное в твоём лице, оно никогда еще не было таким серьезным.

Ты медленно наклонилась. Я хотел окликнуть тебя, но промолчал. Потом увидел, как согнутым указательным пальцем ты легонько стучишь по его груди. Тук-тук-тук, словно кто-то скребется в дверь. Постучав, ты припала ухом к дедушкиной груди и стала ждать.

– Ты что? – не выдержав, спросил я.

Вместо ответа ты снова застучала. Тук-тук-тук. Затем последовало долгое ожидание, а я не мог разгадать, что написано на твоём лице.

– Ты что делаешь? – Мне стало страшно.

Наконец ты подняла голову, не отрывая глаз от его груди. И пробормотала:

– Я слышала... Его душу.

Я смотрел на тебя, оцепенев. Душа. Само собой, я знал это слово, но оно было таким далеким, дальше, чем планеты вне Солнечной системы.

– Да, так и есть. Его душа до сих пор заперта внутри, – добавила ты.

Вороны за окном прокричали “А! А! А!”, будто в них кто-то стрелял.

Земной шар резко затормозил и на несколько секунд замер, словно не ожидал, что люди смогут разгадать его загадку.

Ты и сама растерялась от собственных слов. Загадка оставалась неизвестна, хоть ты и назвала ответ.

Влажные сумерки просочились в палату и сомкнулись вокруг нас стеной. Палата уменьшалась, воздух становился гуще. Кажется, я понял, что чувствует эта запертая душа, и меня бросило в дрожь.

Мы смотрели друг другу в глаза сквозь невыразимую боль.

На улице снова забарабанил дождь. Мы тихо слушали, как крупные капли бьются о листву. Листья косо повисли ладонями, которые ничего не могут поймать.

В тот вечер мы поздно ушли из больницы. Снаружи все еще лило. Я проводил тебя до дома. Потом мы встали у твоего подъезда и ты спросила:

– Как думаешь, что такое душа?

– Кто его знает. – Я смотрел, как дождевая вода закручивается на земле в блестящую воронку у моих ног.

Ты задумчиво кивнула:

– Я давно пытаюсь выяснить, что это такое. Но чем дальше думаю, тем меньше понимаю.

– Давно? – Я рассердился, ведь ты никогда раньше об этом не говорила. – Почему ты вдруг об этом задумалась?

– С тех пор как увидела кусок мозга в Башне мертвецов. Помнишь, он плавал в банке с раствором? Потом дома я все гадала, где же сейчас душа, принадлежавшая этому мозгу... И сегодня твой дедушка снова об этом напомнил, захотелось узнать, чем занимается его душа внутри тела.

Я молчал.

Опустив голову, ты играла зонтиком – то откроешь его, то снова закроешь. Помолчав немного, сказала:

– Забудь, ты все равно не поймешь. Но потом увидишь, что этот мир совсем не такой, как ты представлял...

Ты говорила со мной, будто взрослый с ребенком – уклончиво, туманно, с высоты накопленного опыта. Меня твой тон разозлил и даже немного обидел.

Вместо ответа я молча наблюдал за воронкой из дождевой воды. Долго смотрел на нее, пока не стало казаться, что это настоящая дыра, что капли дождя насквозь пробили цемент. Я взял и изо всех сил топнул по этой воронке.

В одиночестве я вернулся под дождь. Домой не хотелось, и я решил сделать крюк, пошел дальней дорогой. Дождь перестал, воздух снова давил на плечи. Не знаю, сколько я шел, но вдруг впереди показалась Башня мертвецов. Я подумал: что ж, тоже неплохо, залезу на крышу и посижу там.

Вышла луна. Я заметил ее издалека – круглая и большая, она приютилась с краю

Башни, напоминая голову, в которой застрял нож гильотины. Я вздрогнул. Взяв себя в руки, снова посмотрел на небо, облака уже наполнили и заволокли луну, пряча нечаянно открывшуюся тайну.

Я впервые испугался Башни мертвецов. Но почему? Раньше мы каждый день там играли, и я никогда ее не боялся.

Наверное, я испугался не Башни, а луны. Но я видел и настоящие трупы, почему вдруг испугался луны, которая только напоминала человеческую голову? Может, вовсе не луны я боялся, а мысли, промелькнувшей в мозгу. И даже не самой мысли, а чувства, вспыхнувшего вслед за ней. Но что в нем было пугающего, я сказать не мог.

Мне лишь казалось, что все знакомые предметы неожиданно стали чужими.

Я не стал подходить к Башне, а со всех ног помчался домой. Краем глаза я все время видел луну, хотя смотрел только под ноги. Небо висело так низко, вот-вот коснется бровей. Мир разом отяжелел и катился на меня откуда-то издалека, грозясь раздавить.

Ли Цзяци

Мне не приходило в голову, что мама однажды захочет снова выйти замуж. Надо думать, подсознательно я считала, что она должна всю жизнь страдать из-за папиного ухода, как страдаю я. К тому же я была уверена, что мама лишена способности искать свое счастье. Наверное, так оно и было, однако счастье сумело найти ее само. Красавицам для этого не нужно прилагать никаких усилий, достаточно просто стоять на одном месте, разве нет?

После развода мама опять устроилась нянечкой в детский сад. Сад был с пятидневкой, родители забирали детей только на выходные, так что нянечки жили при садике, маме это оказалось очень кстати – ей следовало найти в городе хоть какой-нибудь угол. Во время развода папа пообещал, что выкупит для нее нашу прежнюю квартиру, но все свои деньги он вложил в товар и должен был сначала его продать. Он рассчитывал управиться за два года. Мама снова и снова повторяла мне его слова, говорила, что в ближайшие два года заберет меня к себе. Но пока еще квартиры не было, я продолжала жить у бабушки, и это не давало маме покоя, она чувствовала передо мной вину. При встречах мама обнимала меня, утешала: подожди немного, все наладится. Но я не слушала. Ее уверения оставляли меня совершенно равнодушной, правда, ей я об этом не говорила: мамыны страдания были так утомительны, что у меня даже не оставалось сил сделать ей больно. Я просто стояла и слушала эту нескончаемую болтовню, пока мамыны руки свивались кольцом у меня на шее, а слезы размазывались по моим щекам. Эти сцены напоминали мне, как я сама когда-то вела беседу с прижатой к груди куклой. Мама любила меня примерно так же, как я любила куклу, это была односторонняя любовь – любовь, не способная преодолеть сопротивление и добраться до сердца своего объекта. Скорее всего, и папу я любила точно так же. Я начала понимать, что в нашем мире любовь почти всегда обречена на неудачу, как криво брошенный баскетбольный мяч.

Конечно, встречаются и счастливые исключения. Например, любовь дядюшки Линя к моей маме. Когда дядюшка Линь впервые увидел маму, она пела. Присела на край кровати во время тихого часа и нежным пением убаюкивала малышей. В тот день мама принарядилась – надела платье, а волосы заплела в тугую гладкую косу. Яркие летние лучи размыли страдания на ее лице, скрыли непосильный груз, лежавший на плечах, сделали похожей на целомудренную девушку (так мне рассказывали).

Мама знала мало колыбельных и раз за разом повторяла одну и ту же. Дети давно уснули, но она продолжала петь, и только когда проверяющие из комитета образования отошли достаточно далеко, замолчала и облегченно выдохнула. Привалилась спиной к стене, растирая ноющую от усталости шею, и вдруг увидела, что один из проверяющих вернулся и стоит у порога. Перепугавшись, мама вскочила на ноги, и первая ее мысль была: нужно ли петь дальше? Но тот человек сам смутился, что так ее напугал, жестом велел маме садиться и показал на забытый у окна портфель. Уходя, он оглянулся и снова посмотрел на маму. Сердце ей будто сдавило, мама все не могла понять, нужно ли петь дальше?

Спустя два дня тот мужчина с портфелем снова пришел в детский сад. Мама увидела в окно, как он стоит посреди двора, и подумала: неужели он еще что-то у нас забыл? Поняла, что мужчина пришел к ней, когда заведующая велела ей выйти во двор. Он хотел пригласить мою маму в кино, та начала отказываться, но мужчина улыбнулся и сказал: я уже и с работы вас отпросил.

Нагрянувшая любовь казалась маме могущественным врагом, от которого нужно защищаться. А на опасность она всегда реагировала бегством. Поэтому, сходяв с дядюшкой Линем в кино, мама начала от него прятаться. Завидев его, лезла в кладовку и просила кого-нибудь из нянечек передать, что ее нет. Но дядюшка Линь приходил снова и снова. Мама даже подумывала уволиться с работы, а вокруг все твердили одно: раз уж встретился такой хороший мужчина, надо вцепиться в него как следует и держать. Но мамин страх не проходил, ей казалось, что в мужчинах

самой природой заложено бросать женщин, как надоевшие игрушки, что в конце ее ждут страдания. Как-то пятничным вечером дядюшка Линь затесался в толпу родителей и вдруг вырос перед мамой, так что она уже не успела спрятаться. На этот раз она согласилась уделить ему несколько минут. Когда последнего ребенка увели, мама и дядюшка Линь сели в опустевшем зале и поговорили. Мама молчала, с начала и до конца говорил только дядюшка Линь, тем не менее этот разговор принес большие плоды. Дядюшка Линь поведал ей о своей жизни. Он был разведен, детей не имел. Бывшая жена оказалась женщиной вздорной, постоянно твердила, что хочет уехать за границу, и три года назад добилась своего – поехала в командировку в Америку и осталась там. Сначала они условились, что дядюшка Линь уволится с госслужбы и отправится за ней. Кто бы мог подумать, что жена так быстро его разлюбит, а может, дело было в грин-карте, – в общем, она сошлась с американцем на двадцать лет старше и потребовала у дядюшки Линя развод. Сначала он не мог принять это известие и какое-то время прятал голову в песок: не подходил к телефону, когда она звонила, ничего ей не отвечал, но в конце концов собрал волю в кулак и согласился на развод.

Разве это не про нее? Мама повернулась и взглянула из-под длинных ресниц на этого неудачливого мужчину. Все счастливые люди счастливы по-своему, а несчастливые похожи друг на друга. И подобные несчастья помогли маме немного развеять свой страх. Теперь ее отношение к дядюшке Линю переменилось, правда, она по-прежнему пугалась его визитов и в панике убегала. Но он не отступал. Думаю, дядюшке Линю понравилась в маме именно ее робость, она была пуглива, как девственница. Шли девятые годы, эпоха падения нравов, и дядюшка Линь, натерпевшись горя от раскрепощенных женщин, влюбился в мамину наивность и старомодность.

Они играли в прятки с весны и до лета. Как-то летним днем случилась гроза, дождь не прекращался с обеда и до самого вечера, люди оказались заперты в детском саду, и дядюшка Линь тоже. Мама немного попряталась, а потом пришлось выходить: наступила ее очередь готовить. Дядюшка Линь остался на ужин, потом помог ей убрать со стола, навести порядок на кухне. Они вышли на улицу, встали под карниз, с которого струилась вода, и дядюшка Линь под аккомпанемент раскатов грома объяснился маме в любви. А она будто и не слушала, лишь, опустив голову, повторяла, сколько трудностей их ждет. У меня дочь, ей одиннадцать, у меня дочь, бормотала мама. Дядюшка Линь накрыл ее руку своей: я понял, понял. Вместе мы со всем справимся. Договорились?

Осенью они наконец стали по-настоящему встречаться. И однажды в воскресенье мама привела дядюшку Линя знакомиться со мной. Перед знакомством он наверняка подготовился, расспросил ее о дочкиных предпочтениях и в ресторане заказывал только мои любимые блюда, да еще с поразительным терпением чистил мне креветки. Но я все равно видела, что ни капельки ему не нравлюсь. Это не зависело от моего отношения, держись я сколь угодно приветливо и бойко, ничего бы не изменилось. Возможно, само мое существование развенчивало ореол целомудренной стыдливости, окружавший маму. К тому же она чересчур меня опекала – когда мы были вдвоем, все ее внимание было сосредоточено на мне, а дядюшке Линю ничего не доставалось. Конечно же, мне он тоже не нравился. Ведь он был почти полной противоположностью папы. Многословный, с бурной жестикуляцией, да еще и хохотун. Дядюшка Линь был из тех незамысловатых людей без единой тайны, которую хотелось бы разгадать. А самое главное, он был веселым, энергичным, с активной жизненной позицией, а в моем понимании все эти черты были проявлениями неглубокой личности.

Сразу после обеда дядюшка Линь сказал, что свозит нас в пригород прогуляться у водохранилища. Больше получаса мы ехали на автобусе, а когда добрались до водохранилища, оказалось, там снимают телесериал, съемочная группа заняла все свободное место у берега и не разрешила нам подойти к воде. Тогда дядюшка Линь предложил забраться на гору неподалеку. Всю дорогу он болтал, ни на секунду не умолкая, словно радиоприемник, у которого заело кнопку “выключить”. На полпути мама подвернула ногу, дядюшка Линь тут же сел на корточки и принялся

растирать ей лодыжку, потом убежал куда-то и вернулся с палкой. Когда мы остановились передохнуть, они с мамой устроили целое представление, уступая друг другу яблоко. Я сидела на камне и смотрела, как очищенное яблоко постепенно темнеет на воздухе. Я очень устала, мне хотелось поскорее вернуться. Но дядюшка Линь не соглашался, сказал, что мы должны дойти до вершины. Он считал, что это закалит мою волю и поможет вырасти над собой. Всю оставшуюся дорогу он шел рядом и подбадривал меня, рассказывал, какой красивый вид откроется с вершины, какой восторг ждет меня от покорения природы. Покорение природы? До чего наивные слова, скорее уж фантазии о покорении природы. Наконец мы добрались до вершины. Там ничего не было, только идиотский ветер. Но дядюшка Линь с довольным видом интересовался, чувствую ли я восторг, о котором он говорил. Я смотрела в его лицо, блестящее, как студень из свиной шкуры, и передо мной совершенно отчетливо вырисовывался следующий факт: мама завела себе очень глупого ухажера. Но даже его глупость не вызвала такого раздражения, как мамин влюбленный вид. Она вдруг сделалась хрупкой и нежной, говорила тоненьким голосом, а еще вечно охала и ахала, не могла шагу ступить без инструктажа от дядюшки Линя, как если бы только вчера появилась на свет.

Только вчера появилась на свет – наверное, так оно и было, мама как будто заново родилась и теперь познавала мир, шагая за этим туповатым мужчиной. Значит, следы, которые оставил на ней мой папа, уже совершенно стерлись. Да, она выздоровела, ей больше не больно. Но почему это вышло так легко?

На самом деле я это предвидела. И когда мы с ней горько плакали после папиного ухода, я хорошо понимала, что ее боль отличается от моей. Она никогда в жизни не поймет моей любви. Благородной любви. Но и я не завидовала сейчас ее мелкому счастью, ни капли не завидовала и не хотела выздоравливать. Я лишь молилась, чтобы она не вляпывалась с этим глупым мужчиной в мою жизнь и не пыталась перекрасить мой мир. К сожалению, молитвы были напрасны – то, чего я боялась, все-таки произошло.

На обратном пути мама наконец заметила мое настроение, но истолковала его по-своему, ей показалось, что я просто не хочу возвращаться к дедушке. Тогда она решила заранее обрадовать меня “хорошими новостями”: дядюшка Линь хлопочет о моем переводе в школу Цзинулу. Это лучшая школа в городе, сказала мама. Дядюшка Линь приложил немало усилий, чтобы все устроить. Улыбаясь, они смотрели на меня и полными надежды глазами вымогали слова благодарности.

Я молчала, тогда дядюшка Линь смущенно улыбнулся и сказал:

– Поначалу будет немного непривычно, это нормально, ведь методика, учебный план, уровень учеников в Цзинулу совсем другие. – Он принял вид настоящего работника просвещения. – Не бойся, что скатишься, я уже нашел тебе репетиторов по словесности и математике. Где начнешь отставать, сразу будем подтягивать.

– Я не хочу еще раз менять школу.

– Это понятно. – Дядюшка Линь кивнул. – Ты боишься, что в новой школе не будет друзей? Дети двух моих одноклассников учатся на твоей параллели, оба отличники, я вас познакомлю.

Да, он даже друзей для меня приготовил.

– Дядюшка Линь живет за две улицы от Цзинулу, вот переедем... – мама бросила на меня быстрый взгляд, – и тебе до школы будет всего пять минут пешком. – Она вдруг покраснела, как будто смутившись того, что они с дядюшкой Линем собираются жить вместе.

– Переезжай без меня, я не хочу. – Я отвернулась и смотрела в окно.

Спустя пару бесконечных минут я услышала мамин плач. Теперь она даже рыдала тоньше, чем обычно.

– Видишь, я говорила, – задыхаясь от плача, причитала мама. – Столько времени у родственников прожила, вот и замкнулась...

Дядюшка Линь обнял маму за плечи. Она зарыдала еще надсадней.

– Какая мать согласится оторвать ребенка от сердца... Но что я могу сделать, она живет там, мучается, никто ее не жалеет, никто не любит...

– Это уже позади, позади, – дядюшка Линь сжал мамину руку, – все наладится.

Автобус въехал в город. За окном потянулись серые дома. Голуби, хлопая крыльями, кружили над зарешеченными окнами. Предзакатные солнечные лучи отдавали сыростью и походили на косматый мох. Перед глазами клубился пар, и когда он начал густеть, я вдруг поняла, что почти плачу. Как можно плакать? Слезы только подтвердят мамины слова, и теперь они с дядюшкой Линем подумают, будто я на самом деле грущу от того, что меня никто не жалеет и не любит. Но мне было больно совсем не поэтому. Бог знает, отчего я плакала, слезы всегда подступали в самый неподходящий момент. Какая же я все-таки маленькая. Я почувствовала себя втиснутой в тело ребенка, в этот слезливый комочек, и никуда из него было не деться. В глазах плясали две слезинки. Держись, нельзя, чтоб они упали. Глубоко вдохни и не дыши. Я громко командовала про себя, глядя, как расплывается пейзаж за окном.

Первый день зимы тогда выдался небывало холодным, будто предвещающая суровые морозы. И той суровой зимой мама готовилась встретить свою вторую свадьбу. Точнее, первую. Папины родители были против их брака, поэтому свадьбу тогда решили совсем не праздновать, просто позвали самых близких друзей на ужин, даже наряжаться не стали. Мама жалела о своей несостоявшейся свадьбе и долгие годы носила в сердце обиду, а сейчас наконец могла восполнить упущенное. И на этот раз она собиралась выдать себя замуж по всем приличиям: тридцатилетняя невеста с ребенком, вот так поворот судьбы! А дядюшке Линю брак был необходим как возможность смыть оскорбление. Бывшая жена бросила его, уехала в Америку и нашла там какого-то старика с полным ртом вставных зубов – эта новость наделала много шума, и опозоренный дядюшка Линь при друзьях стыдился даже голову поднять, а свадьба могла восстановить его репутацию. К тому же обидно прятать от людей такую красавицу, как мама.

Поэтому для их пары, которая во что бы то ни стало хотела убедить окружающих в своем счастье, свадьба была необычайно важна. Дядюшка Линь выложил целое состояние за аренду лучшего банкетного зала и не один вечер потратил на составление списка гостей, включив в него всех, кого следовало.

Маме больше всего хотелось позвать на свадьбу вовсе не родню из деревни, а бывших свекров. Она надеялась показать им, как хорошо к ней относятся в семье дядюшки Линя. Разумеется, дедушка с бабушкой не приняли бы ее приглашение. Поэтому мама задалась целью передать им подробности свадьбы через меня. Осуществлять свой план она начала еще во время подготовки к торжеству. Рабочий день в детском саду заканчивался рано, но для примерки свадебного платья она ждала выходных, чтобы взять меня с собой. Мама считала само собой разумеющимся, что мне не терпится взглянуть на нее в свадебном наряде. К сожалению, мне это было ни капельки не интересно. Я считала, что в красных свадебных ципах с золотой каймой все женщины становятся на одно лицо. Мама показала мне золотое кольцо, которое ей подарила будущая свекровь, – огромный топорный перстень, передававшийся в семье дядюшки Линя по наследству. Руку он совсем не украшал и годился лишь на то, чтобы изредка доставать его из шкатулки и взвешивать на ладони. Поэтому дядюшка Линь купил маме специальное свадебное колечко самой новой модели, с драгоценным камнем, обрамленным мелкой золотой резьбой. Но я не понимала, чем это кольцо лучше, все золотые украшения казались мне одинаково безвкусными, и я тайно поклялась, что никогда в жизни не надену золото.

В очередной выходной мама решила показать мне “наш новый дом”. Это была

прежняя квартира дядюшки Линя, после развода он переехал оттуда к родителям, и квартира несколько лет пустовала. Теперь он ремонтировал ее к свадьбе. Когда мы туда пришли, свежая краска на стенах еще не высохла, а новый холодильник пока даже не включили. Южную комнату готовили для меня, свет, падавший из крошечного окошка, пронизывал новенькие тюлевые занавески и тонким слоем разливался по сиреневому постельному белью, превращая комнату в прелестную и пошлую картинку. Я попробовала представить, как сплю на этой кровати, день за днем засыпаю на ней, вижу множество заурядных снов и превращаюсь в скучнейшую девушку. Маме же не терпелось показать мне “самый большой сюрприз” – садик за домом. Прожив столько лет в деревне, мама накрепко привязалась к земле, она всегда мечтала поселиться на первом этаже и разбить под окнами садик. Ей даже пары квадратных метров хватило бы, чтобы посадить немного люффы и соевых бобов, а летом любоваться из окна густой зеленью – что еще нужно для счастья? Я завидовала осязаемости ее счастья, все необходимое для него можно было занести в список. Теперь же, исполнив каждый пункт из этого списка, мама была довольна как нельзя более.

– Здесь посадим твои любимые бледно-розовые розы. – Мама потянула меня за рукав, указывая на кусок земли у стены. Но я совсем не любила розы, мне вообще не нравились цветы, которые пахнут.

Мы покинули квартиру дядюшки Линя уже под вечер, горели фонари, на улице былолюдно и шумно. Из магазинчика неподалеку вышли три девочки примерно одного со мной возраста с простоквашей и печенюшками в руках.

– Наверное, тоже учатся в Цзинулу, – тихо сказал мне дядюшка Линь. – Та, что посредине, одета в их школьную форму.

– Правда? – откликнулась мама.

– Я спрошу, – сказал дядюшка Линь.

– Не надо...

Я поспешно схватила его за рукав, но было уже поздно, он подошел к девочкам и, широко улыбаясь, завел с ними разговор, а потом показал пальцем в мою сторону. Наверняка он рассказал им, что я перехожу в Цзинулу, – девочки одновременно повернулись и странно меня оглядели. Я стояла с красными ушами, сгорая от стыда и мечтая немедленно провалиться сквозь землю. И в ту самую секунду дядюшка Линь крикнул:

– Иди скорей сюда, познакомлю тебя с этими милыми девочками... – Он радостно махал мне рукой, уверенный, что пытается помочь.

– Иди скорей. – Мама подтолкнула меня вперед.

Но я резко развернулась и побежала в другую сторону.

Я неслась со всех ног, в ушах свистел ветер – до чего же хотелось бежать так и бежать. К сожалению, бежать мне было некуда, через два квартала я остановилась и села у обочины. Скоро они меня нагнали. Мама с перекошенным лицом поставила меня рывком на ноги и потребовала извиниться перед дядюшкой Линем. Вместо извинений я попыталась освободиться от вцепившейся в меня руки. И вдруг эта рука замахнулась и вlepила мне звонкую пощечину. Мама сама перепугалась и застыла на месте, а рука повисла в воздухе. Она никогда меня раньше не била, словно была не вполне уверена, что имеет на это право.

– Внушением, внушением, не надо драться, – повторял дядюшка Линь.

Мама отвела глаза и в раздражении уставилась на асфальтовую дорогу.

– Совсем от рук отбилась, как было ее не проучить?

Я не плакала, только спросила:

– Ну что, довольна? А теперь я хочу поскорее вернуться к дедушке.

По плану мы тем же вечером должны были впервые отправиться в гости к родителям дядюшки Линя – меня с ними еще не познакомили. Но теперь план пришлось изменить, и дядюшка Линь согласился отвести меня домой – наверное, понял, что я могу запросто все испортить, если явлюсь к его родителям в таком настроении. Представляю себе, сколько сил он потратил, чтобы уговорить их принять меня в семью.

– Не спеши, постепенно все наладится. Вот перевезем ее к нам и возьмемся за воспитание. – Дядюшка Линь тихо утешал маму, обнимая ее за плечи.

Я не сказала тебе, что перехожу в другую школу. Ты бы обиделся и тотчас отдалился от меня, а я не хотела, чтобы между нами выросла стена. Правда, она и так уже выросла, не знаю, когда это началось, но ты сделался молчаливым, будто тоже носил в себе какую-то тайну. Я ничего не спрашивала. Мне просто казалось, что мы оба достигли возраста, когда у каждого появляются свои секреты. И далеко не всеми секретами можно делиться.

Я решила поговорить с Пэйсюань. Пока мои документы не забрали из школы, надо было что-то предпринять. Я впервые искала разговора с Пэйсюань, обычно это она ходила за мной со строгим лицом, повторяя: “Цзяци, нам нужно серьезно поговорить”. В разговорах она была сильна, на посту старосты класса лучше всего ей удавалось убеждать и перевоспитывать отстающих учеников. При одной мысли о взгляде, которым она озирает простых смертных, у меня стягивало кожу на голове. Но выхода не было, помощь могла прийти только от Пэйсюань. Я хотела, чтобы она упростила дедушку оставить меня в семье. Разумеется, дедушка меня не любил, но я хотя бы не была ему противна. К тому же я никак ему не мешала, всех забот от меня – лишние палочки да чашка на столе. Если Пэйсюань согласится попросить за меня, объяснит, что я недавно подтянулась по учебе, что перевод в другую школу поставит крест на моей успеваемости, может, это убедит дедушку. Но есть ли ему дело до моей успеваемости? Не факт. Я вдруг поняла, что живу у дедушки уже больше двух лет, но совсем ничего о нем не знаю. Кроме того, что он очень любит свою работу.

А Пэйсюань, согласится ли она помочь? С тех пор как я переехала, забот у нее прибавилось, это правда. Все из-за ее раздутого чувства долга – она постоянно беспокоилась о моих отметках, боялась, что я научусь плохому. Наверное, после моего отъезда она вздохнет с облегчением. Но ведь Пэйсюань сама постоянно твердит, что нужно ценить родных и близких и как хорошо, что мы можем заботиться друг о друге и расти вместе. Конечно, звучит это довольно фальшиво, но вдруг она и правда так думает? Не теряя надежды, я весь вечер ждала случая, чтобы заговорить с Пэйсюань. А она готовилась к этой чертовой олимпиаде по математике, сидела за письменным столом, зарывшись с головой в задачки, ей даже попить было некогда. Я принесла стакан воды и встала рядом, но Пэйсюань продолжала сосредоточенно решать примеры на черновике, словно вообще меня не замечает. Сначала мне показалось, что она притворяется, но когда я, не выдержав, кашлянула, Пэйсюань страшно перепугалась и вскинула голову. Я спросила, можем ли мы поговорить. Да, сказала Пэйсюань. Только давай отложим разговор до следующей субботы, когда закончится олимпиада? Для Пэйсюань эта олимпиада была необычайно важна, за ужином она сказала бабушке, что с завтрашнего дня будет оставаться в школе на дополнительные занятия, их проводят специально для участников олимпиады.

– Наша школа еще ни разу не завоевывала первое место, – сказала Пэйсюань, явно подразумевая, что собирается вступить в бой за честь школы. Меня всегда смешило ее обостренное чувство гордости за коллектив. Для меня слова “школа” и “семья” были пустым звуком, они не несли никакого смысла, я придавала значение

только отдельным людям из семьи или школы. Но Пэйсюань не смогла бы это понять, на то она и Пэйсюань. Характерами все члены дедушкиной семьи отличались друг от друга, но одна черта их объединяла: они любили до последнего стоять на своем.

Ничего не поделаешь, пришлось ждать следующей субботы. Но не прошло и пары дней, как случилась беда с бабушкой.

В четверг она спешила на почту, чтобы до закрытия отправить письмо моему дяде, и упала, спускаясь по лестнице. На последнем уроке по самоподготовке Пэйсюань с красными глазами заскочила ко мне в класс, сказала, что бабушке плохо, велела быстро собирать рюкзак и бежать с ней в больницу. Дедушка был на консилиуме в Пекине, сотрудники больницы не смогли с ним связаться и послали в школу за Пэйсюань. Передали, что травмы у бабушки серьезные: сотрясение мозга, перелом ноги, после падения она еще не приходила в сознание.

Всю дорогу Пэйсюань тихонько всхлипывала. А у ворот больницы остановилась, успокоила дыхание и вытерла слезы. Потом взяла меня за руку и сказала: не бойся, я рядом, все будет хорошо. Наверное, Пэйсюань вспомнила, что она – старшая сестра, и заставила себя собраться. Откуда у этой девочки такое чувство ответственности? Поверить невозможно.

Но, глядя в ее красивое и чистое лицо, я даже немного растрогалась.

Когда мы прибежали в больницу, бабушка уже очнулась, правую ногу ей загипсовали и подвесили на растяжке. Она даже пошевелиться не могла, но все равно беспокоилась, чем нас накормить. Поужинав больничной едой, мы остались в палате. Бабушка велела нам поскорее идти домой, но Пэйсюань наотрез отказалась, вместо этого достала из рюкзака учебники, устроилась на полу у кровати и занялась уроками. И указала мне на противоположный край: а ты садись с той стороны. Я тоже достала свои тетрадки. Честно говоря, никогда в жизни я не делала домашнюю работу так быстро. Мы сидели в палате, пока медсестра не прогнала нас домой.

Поднялся ветер, с деревьев посыпались листья. Мы с Пэйсюань шагали по безжизненной улице. Вокруг было тихо, только листва звонко хрустела под ногами.

– Я решила не идти на олимпиаду, – вдруг сказала Пэйсюань.

Я удивилась:

– Из-за бабушки?

– Да. Для олимпиады придется оставаться в школе на дополнительные занятия. Тогда я не смогу ее навещать.

– Я смогу.

– Ты будешь сидеть с ней в больнице. А мне надо после уроков бежать домой, варить бульон на косточке. Доктор сказал, от такого бульона переломы срастаются быстрее.

– Скоро дедушка вернется.

– Но он очень занят, бабушка сказала, что на следующей неделе у него запланировано несколько серьезных операций.

– Все операции проходят утром, после обеда он мог бы...

– Но я не хочу отвлекать его от работы, ты это можешь понять? – Пэйсюань была охвачена тревогой. – Если у него голова будет занята мыслями об уходе за бабушкой, он не сможет сосредоточиться на работе. По сравнению с его работой моя олимпиада по математике – пустяк.

Я взглянула на нее. Пэйсюань была всего на полгода старше, но от ее благородства даже дух захватывало.

Она и правда отказалась идти на олимпиаду, как мы ее ни уговаривали. Через несколько дней бабушку выписали домой, и Пэйсюань сама вызвалась готовить и покупать продукты. Она мыла овощи и чистила чеснок, заучивая тексты из учебника, приспособила табуретку вместо письменного стола и делала домашнюю работу прямо на кухне, приглядывая за супом в кастрюле. Я тоже решила ей помогать и сразу после уроков спешила домой. Признаюсь, делала я это без особой охоты, ведь пришлось отказаться от игр после школы, и это решение уж точно далось мне труднее, чем отказ Пэйсюань от олимпиады. Зато у меня появилась отличная возможность проявить себя, я должна была принести семье какую-то пользу, чтобы они согласились меня оставить. С тобой я этими хитроумными планами не делилась. Просто сказала, что бабушка сломала ногу, я должна ухаживать за ней и больше не смогу гулять после уроков. Ты выслушал меня довольно равнодушно, ничего не сказал. Если честно, в те дни ты и сам был занят, после уроков молча куда-то исчезал, даже Большой Бинь с Цзыфэном не знали, где тебя искать. Само собой, я видела, что с тобой не все ладно, но мне было совсем не до этого.

В те дни я узнала кое-что новое о дедушке. Точнее, начала его хоть немного узнавать. До сих пор помню, какое у него было лицо, когда он вернулся вечером из командировки, зашел в квартиру и увидел лежащую на кровати бабушку. В ту секунду на свет вдруг выступила потайная сторона его характера. Вместо жалости или сочувствия на дедушкином лице было написано отвращение, как будто он хочет поскорее отвернуться и забыть все происходящее. Это выражение продержалось всего секунду и исчезло. Дедушкины черты смягчились, он подошел, сел на стул у кровати и спросил бабушку, как она себя чувствует. Вообще-то он сам был врачом и должен был лучше всех знать, как ухаживать за больными, но с бабушкой становился совершенно беспомощным. Едва не уронил ее, пока вел в туалет, потом кое-как подготовил сменную одежду и полотенце, но вода для обтирания к тому времени почти выкипела. Бабушка только смущалась от его заботы и постоянно повторяла: брось, брось, Пэйсюань все устроит. Я вдруг поняла, что за всю их совместную жизнь он едва ли хоть что-нибудь сделал для бабушки. Да и вообще для семьи. Он даже не знал, где у нас хранится туалетная бумага.

С беспокойным лицом он держал уголок пододеяльника, пока Пэйсюань заправляла туда сбившееся одеяло. Да, дедушка не выносил бытовых мелочей. Они были для него мучением. Строго говоря, он только в первый вечер после командировки сделал что-то по хозяйству, но все мы видели, какое отвратительное у него при этом настроение и как он обеспокоен своей дальнейшей судьбой. К счастью, Пэйсюань быстро развеяла его тревоги, сказала, что мы сами справимся с домашними делами, пусть дедушка работает и ни о чем не заботится. На следующее утро он встал в обычное время, съел приготовленный Пэйсюань завтрак и отправился на работу. Его жизнь почти не изменилась, разве что теперь он должен был сам забирать письма и газеты из почтового ящика на первом этаже. Возвращался домой он так же поздно, иногда и дома продолжал работать. А скоро снова уехал в командировку.

Сейчас мне кажется, что в те дни взрослые вообще исчезли, были только мы с Пэйсюань, по уши увязшие в бытовых хлопотах.

- Баклажаны нужно чистить?
- Рыба точно сварилась?
- Когда лампочку меняешь, надо выключать свет?
- Ты не знаешь, где у нас водопроводный счетчик?

Мы могли часами ругаться из-за того, сколько морковок бросить тушить. Пэйсюань даже соль отмеряла ложкой, беспощадно ссыпая горку: нельзя, чтобы в ложке оказалась хоть одна лишняя крупинка. И не выносила людей вроде меня, которые просто берут пару щепоток соли и бросают в суп. А я с трудом терпела ее почти болезненную аккуратность. Но, сказать по совести, она уже не вызывала у меня такого раздражения, как раньше. Когда же Пэйсюань безнадежно разварила картошку, а потом прожгла дырку на фартуке, я даже почувствовала к ней симпатию. По крайней мере, теперь я видела, что она не притворяется, не строит из себя идеальную девочку с благородным характером. Просто она такой человек, немного смешной, ну и что. Я даже пообещала себе, что больше не буду над ней издеваться.

Только через две недели я рассказала Пэйсюань о переводе в другую школу и попросила ее поговорить с дедушкой. К тому времени я была уверена, что она не откажет. Ведь я приложила достаточно усилий, чтобы доказать свою полезность. Пэйсюань нуждалась во мне, дома я ей здорово помогала.

– Ты такая эгоистка, – дослушав меня, покачала головой Пэйсюань. – Только о себе и думаешь. – Я хотела было возразить, но она продолжала: – Тебе никогда не приходило в голову, сколько забот мы доставляем бабушке с дедушкой? Когда бабушка поправится, все вернется на старые рельсы, она снова будет кормить и обстирывать огромную семью. Если в тебе есть хоть капля благоразумия, ты не должна добавлять ей забот. Бабушке сейчас требуется хороший отдых. И дедушке нужны тишина и покой, иначе он не сможет сосредоточиться на работе.

– Разве я мешаю его работе?

– Конечно. Он не любит, когда в доме толпится столько людей.

– Вижу, ты хорошо его знаешь, даже лучше, чем он сам. – Я сердито плюхнулась на кровать. – Не придумывай больше отговорок, ладно? Все понятно, ты просто хочешь, чтобы я уехала. Ты ненавидишь меня и давно ждешь этого дня. Почему нельзя сказать прямо, зачем кормить меня такими дурацкими отговорками? “Им нужны тишина и покой”, а что же ты сама не уедешь?

– Все так, я и правда скоро уезжаю, – сказала Пэйсюань. – Мы договорились с папой, что я поеду в Америку раньше, чем планировалось. Он уже оформляет документы, вот пройдут зимние каникулы, нога у бабушки заживет, и я уеду.

– Ты ведь врешь? – От изумления я едва не онемела.

Пэйсюань шагнула ко мне, села рядом и сказала:

– Цзяци, нам обеим пора уезжать. Славная жизнь в Наньюане подошла к концу.

Пэйсюань уехала только в конце следующей весны и увезла в Америку свежий шрам на лице. Вроде бы залезла куда-то и неудачно упала, рассекла себе щеку. Из-за этого происшествия отъезд пришлось отложить.

На самом деле рана на лице быстро зажила – наверное, Пэйсюань просто требовалось какое-то время, чтобы привыкнуть к своему новому облику. Она не знала, как показаться новым одноклассникам с этой зловещей печатью страдания на лице и как вернуть столь необходимую ей гордость. Задумываясь об этом позже, я вздыхала: до чего же трудно ей пришлось, бедная Пэйсюань. Тогда же я поняла, что никогда прежде не использовала слово “бедная” применительно к Пэйсюань. Трудно поверить, но это было даже... приятно, как если бы на моих глазах с грохотом обрушилось монументальное здание.

На вторую неделю в Америке Пэйсюань прислала мне письмо. Рассказывала о своей новой школе, писала, что одноклассники к ней очень добры, хотя она не всегда понимает, что они говорят. Ближе к концу письма она упомянула, что

позади их дома поляна и вечером туда приходят олени. Прекрасные олени с глазами, как абрикосовые косточки. Они неподвижно стоят, наблюдают за Пэйсюань, а потом отворачиваются и скрываются в густом лесу. Эта часть письма запала мне в душу, в ней сквозила печаль, которую Пэйсюань никогда раньше себе не позволяла. Но я предпочла поверить, что ее печаль мне просто почудилась.

Пройдет много лет, я увижу шрам Пэйсюань, вспомню ее письмо, и перед глазами снова возникнет эта картина: чужая страна, сумерки, и Пэйсюань стоит одна посреди поляны. Наверное, она написала мне в надежде на хотя бы маленькую поддержку, на пару теплых слов в ответ. Пэйсюань обнажила передо мной свою самую уязвимую сторону, это был знак величайшего доверия, видимо, в ее понимании мы и правда были близки.

Я на письмо не ответила. Потому что сама жила, окутанная болью, которой ни с кем не могла поделиться. Я разучилась составлять слова, порвала все связи с окружающим миром. Сейчас я вижу (хоть мне и не хочется объяснять это кровным родством), что и у меня, и у Пэйсюань самый тяжелый отрезок детства начался после отъезда из Наньюаня.

Вспоминая кошмары, поджидавшие меня на этом отрезке, первым делом я переносюсь мыслями в тот вечер, когда Пэйсюань сказала, что скоро уедет в Америку.

Мы сидели рядышком на кровати, солнце падало на пол из окна, которое не открывали уже неделю. Маленький правильный квадратик света, со всех сторон окруженный гигантскими тенями. Когда Пэйсюань сказала: "Славная жизнь в Наньюане подошла к концу", я теребила пуговку на кофте. Пуговка оторвалась и упала на пол.

Трак-так-так. Попрыгала по светлому квадрату и отскочила в тень. Когда я вынырнула из задумчивости и посмотрела на пол, пуговицы уже не было, она будто растаяла в темноте. Я отвела взгляд от пола и решила, что поищу ее потом. Сердце с грохотом обрушилось вниз, и мне показалось, будто я что-то потеряла. В ту секунду передо мной словно открылся занавес, но я не видела, что за ним. Пройдет немного времени, и я узнаю, что это был конец. Конец детства.

Чэн Гун

Ты не против, если я закурю? Наверное, можно приоткрыть окно. Тебе еще холодно? Вино и правда неплохо согревает.

Вернусь к тому, на чем остановился. С того дня, как я узнал, что дедушкина душа заперта в теле, моя жизнь вдруг сделалась серьезнее.

На следующий день вместо школы я побежал в библиотеку медуниверситета. Собрал с полки все книги, имевшие хоть какое-то отношение к душе. Регистрируя их, библиотекарь не удержался и спросил:

– Малыш, неужели ты поймешь, что там написано?

Я принес книги в триста семнадцатую палату. Медсестра ушла совсем недавно, в палате висел густой приятный запах антисептика. Я положил книги и подошел к кровати. Раньше дедушка-растение больше напоминал неодушевленный предмет, сначала он служил реквизитом для наших представлений, потом был твоим креслом. Но все изменилось, теперь у него появилась душа, он стал человеком. Я оглядел его и, пожалуй, впервые за все время осознал, что этот человек – мой дедушка. Наверное, если бы он не превратился в растение, то был бы мне хорошим дедушкой. Добрым, ласковым и очень заботливым. Мы ходили бы по выходным на озеро удить рыбу и в зоопарк смотреть на слона, он купил бы мне новые кроссовки и трансформеров. И он бы ни за что не позволил бабушке меня обижать.

Я положил ладонь ему на грудь и почувствовал мощное сердцебиение внутри одеревенелого тела, а потом, следуя твоему примеру, тихонько постучал по его груди костяшкой указательного пальца. Тук-тук, тук-тук – как будто стучу в дверь.

– Ведь ты меня слышишь?

Пусть у меня не было никаких подтверждений, но я верил, что он откликнулся. Он слышит, точно слышит.

Его душа заперта в теле. Его душа заперта в теле. Я раз за разом повторял эти слова, ощущая, как внутри меня рождается незнакомое доселе чувство собственного призвания: я должен освободить дедушкину душу.

С обеда и до самого вечера я листал библиотечные книги. Почти ничего не понимал, но замысловатые формулировки дарили мне торжественное удовлетворение. Разумеется, это и не может быть просто. Освободить запертую душу – очень трудная задача, а как иначе.

Ты догадалась, что я в палате, и пришла туда после уроков, спросила, почему я не был в школе. Я ответил: ни почему, просто не захотел. Ты бросила взгляд на стопку книг рядом со мной, но ничего не сказала, а, как обычно, подошла к окну, включила радио и села дорисовывать незаконченную картинку. Я опустил голову и продолжил читать.

Казалось, мы оба прикладываем усилия, чтобы этот вечер прошел так же, как все предыдущие. Но, видимо, это было уже невозможно. Атмосфера в палате успела измениться. Даже запах антисептика стал особенно резким. Слова из книги не лезли в голову, я то и дело посматривал краем глаза на больничную кровать. Решетчатая спинка, за ней – дедушкины ноги. Они как будто тихонько покачивались. Когда я наконец не выдержал и поднял голову, оказалось, что ты тоже задумчиво рассматриваешь кровать. Наши взгляды столкнулись и сразу разошлись, мы снова опустили головы. Теперь в триста семнадцатой палате было три человека. Мы больше не могли игнорировать дедушкино присутствие.

Все теперь деформировалось, искажалось. Даже приемник на подоконнике решил напомнить нам о своем присутствии, и присутствие его стало иным. По радио как раз передавали песню Цай Цинь. Мне Цай Цинь нравилась, ее голос был немного

похож на мамин. Я даже заслушался, но вдруг голос задрожал и начал отдаляться, а потом и вовсе исчез, сменившись шуршащими помехами. Потом он постепенно вернулся, но это была уже не Цай Цинь – приемник переключился на другую станцию, и мрачный мужчина среднего возраста с усыпляющими интонациями стал зачитывать новости. Скоро и его голос заглушили помехи. Ты попробовала настроить приемник, отыскала нужную волну, но Цай Цинь пропела всего одну фразу и тут же исчезла. Ты опять принялась настраивать, но толку не было – приемник будто заколдовали, он переключился в режим автоматического поиска радиоволн и бесконечно прыгал со станции на станцию, дробя голоса на мелкие осколки.

Казалось, что палату наполнили мощные эфирные помехи, и я вдруг вспомнил фразу, которую вычитал сегодня в одной из книг. Душа – это электромагнитная волна.

Ты оставила приемник конвульсивно скакать по станциям и распахнула окно, словно хотела выпустить что-то из палаты. Ворвавшийся ветер зашелестел книжными страницами, тоже решив напомнить нам о своем присутствии. Все неодушевленные предметы вдруг ожили. В палате сделалось тесно, и нам больше не удавалось избегать друг друга, поэтому стоило тебе обернуться, и наши взгляды снова столкнулись. Но на этот раз ты решила взять на себя ответственность за странное молчание между нами. Ты подошла, вытащила из стопки книгу и спросила, листая страницы:

– Ладно, и что же ты собираешься делать?

– Хочу освободить дедушкину душу.

Ты пожала плечами, по твоему лицу снова скользнуло то неодобрительное, взрослое выражение:

– Ультраменом себя возомнил?

– Не возомнил, потому и взял столько книг.

– Мне кажется, лучше это оставить.

– То есть ты совсем не веришь, что у меня получится? – уточнил я.

– Не знаю. – Ты покачала головой, и меня едва не стошнило от твоего безучастного вида. – Но даже если у тебя получится освободить его душу, что с того? Разве ты сможешь полностью его оживить?

– Может, и смогу, – упорствовал я.

– Ладно, допустим, сможешь. Ты уверен, что твои бабушка с тетей так уж ждут его возвращения? – Ты бросила на меня быстрый взгляд. – Как тебе объяснить? Мне кажется, если он сейчас оживет, это многим усложнит жизнь.

Я выхватил книгу у тебя из рук. Раньше ты просто казалась мне немного ехидной, а теперь я понял, что ты жестокая. Я решил, что больше ни слова не скажу тебе о спасении дедушкиной души. Готовясь к великим подвигам, все герои какое-то время оставались непонятыми. И сейчас я тоже ощутил их боль.

– Лучше забудь об этом. – Ты понизила голос, словно испугалась, что нас услышат. – Наверное, некоторые вещи нам вообще не надо знать...

Мы замолчали. В палате повисла странная тишина. Только приемник без устали перескакивал с волны на волну, но голоса теперь совсем исчезли, осталось только приглушенное шипение, как бывает, когда в одиночестве шагаешь по черному туннелю.

В тот день мы впервые разошлись по домам до темноты.

Я зашел в квартиру, бабушка сидела под окном и давила на скрипучую педаль швейной машинки, рокот стоял такой, будто над головой у меня пролетает вертолет. Увидев меня, бабушка сняла ногу с педали и сказала:

– А ты сегодня рано.

Я заметил, что она переоделась в теплую зимнюю кофту. Это была бордовая вязаная безрукавка, шерсть из нее давно повылезла, и безрукавка больше напоминала жесткие доспехи, сшитые из двух плотных войлочных пластин. От кофты шел густой камфорный запах – значит, только что из сундука. Судя по всему, бабушка решила достать из сундуков зимнюю одежду – в этом году несколько раньше, чем обычно.

Каждую осень бабушка откладывала этот момент до последнего, и теплая одежда появлялась у нас, когда вот-вот должны были включить отопление. Ведь такая грандиозная работа требовала недюжинной решимости.

– Эти зимовки меня когда-нибудь доконают, – часто говаривала бабушка.

Дома у нас не было ни шкафов, ни комодов, все вещи хранились в сундуках. В нашей квартире эта мера действительно помогала сэкономить место, но окажись бабушка в огромной усадьбе, она и там бы не раздумывая заменила шкафы сундуками, просто побольше. Согласно ее логике, вещь в шкафу все равно что чужая, а вот содержимым сундука ты владеешь по-настоящему. Она вечно боялась, что в дом нагрянут с обыском, и прятала все ценные вещи по сундукам, чтобы в случае чего сразу вынести их из квартиры. За вычетом места, которое занимали обеденный стол и две кровати, обе комнаты были полностью заставлены сундуками и ящиками, они громоздились друг на друге, доставая до самого потолка. Вещи, которыми пользовались чаще, хранились в верхних ярусах. А зимняя одежда, больше полугода пролежавшая без дела, к осени успевала переместиться в самый низ, и чтобы до нее добраться, приходилось снимать все верхние сундуки.

Промозглыми осенними вечерами бабушка в своих тоненьких кофтах дрожала от холода.

– Завтра будем доставать сундуки, – стиснув зубы, говорила она.

Но потом наступало утро, пригревало солнце, и бабушке начинало казаться, что это дело подождет еще пару дней.

– Слышала сказку о ленивой птичке? – однажды спросил я ее.

– Я же тебе ее и рассказала, – закатила глаза бабушка.

– Не ты, а тетя.

– А тете я рассказала, – проворчала бабушка. – Ничего ты не понимаешь, говорят же – весной утепляйся, а осенью раздевайся, тогда и болезни не страшны.

Она поменяла ногу на педаль и снова налегла на машинку. Трудно было представить, что моя ленивая бабушка готова несколько недель потратить на пошив стеганого лоскутного одеяла, которое к тому же совсем не грело. Но она где-то услышала, что работа за швейной машинкой предупреждает старческое слабоумие. Бабушка боялась, что однажды выживет из ума и мы станем ее обижать, поэтому не жалея сил давила на педаль.

Нитки закончились. Машинка замолчала. Я услужливо побежал за коробкой со швейными принадлежностями.

– Бабушка, – как ни в чем не бывало спросил я, подавая ей коробку, – ты, наверное, ждешь не дожدهшься, когда дедушка придет в себя?

– Жду не дождусь, когда он помрет, – не поднимая головы, ответила бабушка. –

Кости у старикана крепкие, столько лет пролежал, а все не развалится. Умри он раньше, больница выплатила бы нам много денег, а с тех пор руководство столько раз менялось, поди знай, вспомнят ли старый должок.

– Ты совсем не хочешь, чтобы он очнулся? Если он придет в себя, то наша семья... – я искал подходящее слово, – воссоединится.

– Воссоединится? Ха-ха-ха!.. – Из бабушкиной гортани снова вырвался турачий клекот. – А где он будет жить? И что мы будем есть? Больница-то пособие перестанет выплачивать! Или, может, ты нас будешь кормить? – Бабушка злобно сплюнула, бурявая меня своими маленькими круглыми глазками.

Я прошел во внутреннюю комнату, огляделся – повсюду громоздились сундуки, для второй кровати и правда не было места.

Скоро домой вернулась тетя. Я встретил ее, взял сумки с продуктами и отнес их на кухню.

– Тетя, ты обрадуешься, если дедушка очнется? – закинул я удочку, отмывая огурец.

– Это невозможно, – сказала тетя. – Ему весь мозг вырезали.

– Весь мозг вырезали? – Я-то думал, дедушку просто ударили чем-то тяжелым, не знал, что ему еще и мозг вырезали.

– Не весь, но больше половины.

– Но если он все-таки очнется, ты представь...

– Ага. – Тетя включила плиту, не прекращая энергично взбивать яйца. – Тогда я потеряю работу. Ведь меня устроили в больницу вместо дедушки. А с тех пор пришло столько новых сотрудников, все молодые, с хорошим образованием, ждут не дождутся, чтобы занять мое место. И если папа очнется, у них появится повод меня уволить... – Распушенные в раскаленном масле яйца пошли золотистыми пузырями, словно подгоревшее солнце. Тетя с лопаткой в руке задумчиво стояла перед плитой. По кухне поплыл запах гари, и она вдруг резко вздрогнула: – Не может такого быть, это невозможно. Половину мозга отрезали, он не очнется. Ты же знаешь, я человек трусливый, больше меня не пугай.

Я поел горелых яиц и ушел обратно в комнату. Библиотечные книги лежали на столе, но у меня не было сил их читать. Я пытался убедить себя, что человек, которому вырезали половину мозга, уже не сможет очнуться. И еще мне следовало признать твою правоту: никто не хочет, чтобы дедушка очнулся. Ты снова учла то, что я упустил из виду, снова обогнала меня – как же это бесило.

Ни в нашей семье, ни в целом мире уже не было места для дедушки. При мысли об этом меня охватило уныние. В комиксах детей постоянно уводили с собой разные оборотни, небожители или инопланетяне, переносили в царство бессмертных либо на другую планету, там их ждали разные приключения, а потом дети возвращались домой. Я завидовал героям и на улице всегда следил за подозрительными и чудаковатыми людьми, надеясь, что они заберут меня с собой. Только теперь я понял, что нельзя просто так перенестись в другой мир, ведь потом окажется, что здесь твое место уже заняли. И еще я вдруг осознал, что, лежа без движения на больничной койке, дедушка кормит всю нашу семью. Не превратись он в растение, не выдать бабушке пособия, а тете – работы, тогда мы даже за школу не смогли бы заплатить. И пособие, и тетина работа получены в обмен на половину дедушкиного мозга. Без этой половины у нас ничего бы не было. Погоди-ка, половина мозга... Я вдруг вспомнил бледный мозг в банке из Башни мертвецов, может быть, это дедушкин? Меня бросило в дрожь. Как все-таки дедушка превратился в растение? Я должен это выяснить.

Перед сном я пристал к тете, требуя рассказать о дедушкином превращении.

- Гвоздь, - пробормотала тетя и почти сразу уснула.

С тех пор каждый вечер перед сном я принимался вытягивать из тети подробности. Она рассказывала кое-что, если была не очень уставшей, но это давалось ей нелегко. По тетиной памяти будто проехали танком, все воспоминания разбились на мелкие осколки. Постепенно я привык к ее путаным объяснениям, к длинным паузам посреди рассказа и к храпу в самый неожиданный момент.

И еще тете приходилось подолгу объяснять мне значения разных слов из своих рассказов. Например, что такое “культурная революция” и “коровник”. С коровниками я в конце концов разобрался, а вот с “культурной революцией” было сложнее: чем дальше тетя объясняла, тем хуже я понимал, потому что каждое ее объяснение только прибавляло новых непонятных слов. “Дацзыбао”, “цзаофани”, “хунвэйбины”... Я то и дело перебивал ее просьбой объяснить очередное слово. Но все равно так до конца ничего и не понял. К счастью, даже не разобравшись с “культурной революцией”, я все равно смог узнать, что случилось с дедушкой.

Дедушка превратился в растение в 1967 году, в начале “культурной революции”. Сотрудники больницы разделились на две противоборствующие группировки. В то время дедушка был руководителем больницы и принадлежал к группировке “охранителей”. А люди из второй группировки назывались цзаофанями, бунтарями. Для меня эти слова были не такими уж новыми: когда папа играл в карты со своими приятелями, они тоже делились на “охранителей” и “бунтарей”. Я не знал, в чем разница между карточными группировками и настоящими, но, во всяком случае, было ясно, что они враждуют. Поэтому “цзаофани” начали критиковать “охранителей”. Слово “критиковать” тоже было непонятным, тетя объяснила, что это значит изводить человека морально и физически. Вот так дедушку и критиковали, а потом заперли в коровнике. И поначалу я думал, что в коровнике были настоящие коровы, что это загон, где держат домашний скот, но оказалось, все совсем не так. Любое место могло стать “коровником”. Например, Башня мертвецов. Оказалось, дедушку держали в той самой Башне мертвецов, куда мы каждый день приходили играть. Правда, тогда она была еще ничем не примечательной водонапорной башней, там не было ни трупов, ни бассейна с формалином. Во время одного из митингов борьбы дедушку серьезно избили, а потом заперли в Башне. Бабушка пришла за ним на другой день, а он уже был не в себе, не мог двух слов связать, а от яркого света у него начиналась рвота. Бабушка списала это на испуг и решила, что он полежит пару дней дома и поправится. Но дедушке становилось все хуже, у него отказала рука, и ноги стали неметь, теперь он не мог подняться с кровати. Спустя еще несколько дней дедушка стал ходить под себя, а от речи осталось только нечленораздельное мычание.

Дедушку доставили в больницу при медуниверситете. Врачи тоже не могли понять, чем он заболел. Состояние с каждым днем ухудшалось, и скоро дедушка стал полностью парализован, только моргал, и сердце продолжало биться, а так – от мертвого не отличишь.

В больнице собрали консилиум, пригласили врачей разных профилей, провели всестороннее обследование и с помощью рентгена обнаружили в дедушкином черепе железный гвоздь в два цуна длиной, скорее всего, он вошел в голову через висок. На виске у дедушки была небольшая ранка, дома ей не придали значения, приняли за простую царапину. Ржавчина вызвала заражение и гниение мозговой ткани, которое постепенно распространялось, нужно было немедленно провести трепанацию и извлечь гвоздь. Операция была рискованная, но результаты многочисленных обследований, проведенных в больнице, показывали, что она необходима как можно скорее. Вот только бабушка ни в какую не соглашалась.

- Сейчас он, по крайней мере, живой, а если умрет у вас на столе, что тогда? – раз за разом повторяла она.

Очевидно, в то время бабушка еще не в полной мере понимала, что такое “живой труп”. Она хотела только одного – не остаться вдовой. Если бы она знала, что все ее дальнейшие беды будут от того, что муж выживет, то не стала бы мешать врачам –

наоборот, молилась бы, чтобы операция прошла неудачно и бессмысленное сердцебиение в дедушкиной груди поскорее прервалось.

Руководство больницы отправило дедушкиного сослуживца поговорить с бабушкой, он обещал, что больница выплатит семье компенсацию и позаботится о вдове и детях, если операция пройдет неудачно. Бабушка очень устала, у нее не осталось сил на скандалы и споры, и она подписала разрешение на операцию.

Операция прошла успешно, гвоздь удалось извлечь. Он сработал как миксер: вмешал в дедушкин мозг ржавчину и бактерии, вызвав в сером веществе брожение, изменившее его свойства. Сгнившая часть мозга уже дурно пахла. Врачи сделали все возможное, чтобы удалить как можно меньше ткани, в результате удалось сохранить треть мозга. Но дедушкино состояние осталось в точности таким же, как до операции, – он не умирал, но и не приходил в себя.

Тетя говорила, что в медицинской практике встречалось немало примеров, когда после удаления части мозга пустоты заполнялись спинномозговой жидкостью, а оставшаяся часть мозга компенсировала недостающие функции. Поэтому такие пациенты сохраняли и подвижность конечностей, и способность выражать собственные мысли, даже внешне они совсем не отличались от обычных людей. Правда, в большинстве случаев это были дети, у которых мозг еще не успел окончательно сформироваться, да и функции, за которые отвечали удаленные ткани, имели второстепенное значение. Ясно, что с бабушкой такое чудо случиться не могло. Поэтому врачи считали, что он уже никогда не очнется.

Только спустя несколько дней после операции полицейские пришли в больницу с расследованием. Скорее всего, преступление было совершено после митинга борьбы – когда люди разошлись, преступник проник в Башню мертвецов и воткнул гвоздь в дедушкин череп. На митинге дедушку избили, поэтому он лежал на полу Башни почти без сознания и, скорее всего, не сопротивлялся. Преступник был знатоком анатомии и опытным хирургом – чтобы дедушка не скончался на месте, он провел гвоздь мимо важных кровеносных сосудов. Кроме того, рану грамотно обработали, что ускорило ее заживление. В больнице потом шутили, что это была самая мастерская операция за всю историю университета, жаль только, хирург пожелал остаться неизвестным. Полиция подозревала всех, кто участвовал в митинге борьбы, но не исключала вероятности, что преступника на митинге не было. Они попросили бабушку вспомнить всех дедушкиных недоброжелателей. Получился огромный список, но в него вошли далеко не все люди, желавшие дедушке зла. Ведь дедушку ненавидело большинство врачей в больнице. Тетя сказала, что он здорово проявил себя на войне, но медицине никогда не учился и квалификации ему не хватало. Тем не менее дедушка руководил больницей и командовал врачами куда более образованными, чем он сам. Разумеется, их это не устраивало. Дедушке они тоже не нравились – мол, решили, что разбираются в медицине, задрали носы и ни во что не ставят его, заместителя директора больницы! Следовало проучить наглецов. И чем выше была квалификация врача, тем реже он получал доступ к операционному столу – будь ты хоть гениальным хирургом, никто об этом не узнает. Сотрудники больницы затаили злобу на дедушку и ждали возможности поднять бунт.

Бабушкин список расширил круг допрашиваемых. И как-то ночью один из врачей, попавших в этот список, повесился у себя дома на резиновой трубке для капельницы. Звали его Ван Лянчэн, он был терапевтом. Никто не мог поверить, что это его рук дело. Ван Лянчэн был человеком улыбчивым, дружелюбным и немного мечтательным, обожал литературу, рисовал, играл на скрипке. Потом нашелся свидетель, который видел, как Ван Лянчэн после митинга направляется к Башне мертвецов. Шел дождь, Лянчэн держал над головой зонтик. С ним был еще один человек в дождевике, лица его свидетель не разглядел. Вероятно, тот человек был сообщником Ван Лянчэна, а скорее всего, он и совершил преступление. Жена Лянчэна твердила, что он отрицал свою вину. Ее слова нельзя было принимать на веру, но, с другой стороны, Ван Лянчэн все-таки был терапевтом и никогда не стоял за операционным столом. Однако многочисленные допросы так и не выявили второго подозреваемого, новых улик тоже не появлялось, так что дело пришлось

закрывать. Как сказали в полиции, человек совершил самоубийство, испугавшись последствий своего поступка, а значит, признал вину, потому дело можно закрывать. Но мой папа не мог согласиться с таким решением и требовал у полицейских продолжать расследование, пока не найдут сообщника Ван Лянчэна. Он являлся в участок, садился у входа и отказывался уходить. Однажды под конец рабочего дня полицейские попытались его выпроводить, тогда папа размахнулся и ударил одного из них по лицу, а потом еще несколько раз лягнул в живот. Вторым полицейским оттащил его, скрутил папе руки за спиной, но он вырвался и снова бросился пинать первого. Он уже не мог остановиться, кидался на людей, как бешеный пес.

В том году папе исполнилось тринадцать. Какая-то извращенная жестокость плескалась в его сердце, не находя выхода. Видимо, с того самого времени он стал вспыльчивым и раздражительным, чуть что – сразу бросался в драку. Тетя сказала, что раньше вся семья ходила перед дедушкой на цыпочках, он тоже славился взрывным характером, любая мелочь могла вывести его из себя. А когда дедушка превратился в растение, его вспыльчивость перекочевала к папе. Позже я нашел этому объяснение. Возможно, лишившись дедушкиной защиты, папа остался один под ударами внешнего мира, и чтобы изгнать из себя ужас этой огромной потери, он решил сам стать таким же, как его отец. Вскоре он вступил в хунвэйбины, и его ярость наконец получила выход. Красная повязка на рукаве стала официальным разрешением для любого насилия. Папа пристрастился к обыскам и погромам. Заслышав, что кто-то из товарищей отправился на очередной погром, тут же бежал следом. Если никого не обыскивали, он маялся без дела, а иной раз не выдерживал и принимался громить что-нибудь у себя дома. Потом “культурная революция” закончилась, хунвэйбины превратились в обычных людей, только папу было уже не остановить, он продолжал вести себя как хулиган и погромщик. Услышав эту историю, я взглянул на него немного иначе. Простить его я все равно не мог, зато во мне появилось хоть немного сочувствия. По крайней мере, теперь я знал, что папа таким не родился.

Пока папа требовал справедливости, обивая порог полицейского участка, бабушка целыми днями сидела у кабинета директора больницы. Она тоже добивалась справедливости, но ее требования были более реалистичны – как жене пострадавшего, ей полагалась компенсация. Дедушка числился сотрудником больницы, преступление было совершено на их территории – само собой, больница и должна понести ответственность. Бабушка приносила с собой табуреточку и сидела в коридоре у кабинета директора с утра и до самого вечера. Пусть у нее не было таких крепких кулаков, как у папы, бабушка владела собственным оружием. Она плакала. Плакала бабушка истерически, почти теряя сознание, она звала дедушку по имени, умоляла его очнуться, посмотреть, как обижают вдову и сироток. Долгий плач и превратил бабушкин голос в леденящий кровь тураций клекот. Но она все-таки добилась справедливости.

Больница пообещала обеспечивать дедушку должным уходом до самой смерти. Кроме того, бабушке выделили ежемесячное пособие. На этом она успокоилась. Но теперь, если ей что-то было не по душе, бабушка брала табуреточку и приходила плакать к кабинету директора. И двухкомнатная квартира, и тетина работа в аптеке были добыты ее слезами. И даже два золотых зуба появились у бабушки во рту благодаря рыданиям.

Как бы там ни было, а дедушкино дело закрыли. Время широкими шагами несло вперед, каждый день люди отрывали еще одну страницу календаря, как будто сдирали с себя лоскут омертвевшей кожи. Поначалу бабушка, тетя и папа каждый день приходили проведать дедушку, стояли в палате, следили, чтобы медсестра не отлынивала и обтирала его как следует. Потом походы в больницу сократились до раза в неделю, а там и вовсе сошли на нет. Домашние не чувствовали за собой вины: в любом случае, вся ответственность лежит на больнице, а если они начнут изводить себя тревогами о дедушке, то сами же и останутся в дураках.

Лучше бы дедушка умер. После кремации человека ни увидеть нельзя, ни потрогать. Семья ощутила бы настоящую утрату, и горе длилось бы дольше. Но

дедушка лежал в больнице, распахнув беззаботные глаза и исторгая на редкость зловонные экскременты. И что бы ни случилось дома, его это больше не заботило. Такое положение дел, конечно, злило, и домашние постепенно перестали о нем горевать. Превратиться в растение все равно что угодить в трещину между жизнью и смертью. Живые отмечают дни рождения, мертвых вспоминают в годовщины смерти, а у растений нет ни того ни другого. Они обходятся без памятных дат.

Но дедушка все-таки существовал. И его присутствие в бабушкиной жизни было прочным и неустрашимым. Она по-настоящему осознала это, когда собралась выйти замуж во второй раз. Вообще-то бабушке было на роду написано остаться вдовой при живом муже, но она всю жизнь сражалась со своей судьбой. Родилась она в шаньдунском уезде Цаосянь, семья жила в страшной нищете, и когда бабушке исполнилось шестнадцать, отец просватал ее за сына помещика из соседней деревни. Жених переболел тяжелым полиомиелитом, остался сухоногим и много лет не поднимался с постели. Выйти за такого – это как стать вдовой при живом муже, но семья жениха посулила щедрые подарки, и мой прадед собирался построить на вырученные деньги новый дом, а больше ни о чем не думал. Кто же знал, что бабушка станет так пылко отстаивать свое целомудрие. Увидев свадебный паланкин и музыкантов с гонгами и барабанами, она забралась на крышу отцовского дома, сжимая в кулаке ручную гранату. Такими гранатами бойцы Восьмой армии закидывали японцев, бабушка откопала ее на заднем склоне горы. Она велела сватам живо катиться долой, пригрозила гранатой. Те и опомниться не успели, а она уже вырвала зубами чеку. Граната прошла по дуге, упала точно на крышу пустого паланкина и в один миг разорвала его на куски. Небо заволочло не то пылью, не то селитрой, в воздух взлетели клочья красного шелка. Глядя на это сверху, бабушка вдруг осознала скрывавшееся в ней дарование. На закате, когда облака окрасились розовым, она зашагала по пыльной, пахнувшей серой дороге, волоча свое измотанное, но свободное тело прочь из деревни. Так началась ее бродячая жизнь, день за днем бабушка скиталась по округе, просила милостыню, ела и кору, и траву. Когда совсем было отчаялась, встретила отряд Восьмой армии и увязалась за ними.

– Слыхал, ты гранаты здорово бросаешь? – С этими словами мой дедушка впервые обратился к бабушке.

Как и она, он стал солдатом совсем недавно и тоже пришел в революцию ради чашки риса. Бабушка завороченно глядела на бугры его икр, парень был такой здоровяк, что у нее даже сердце зашло.

Скоро им выдали оружие, тогда и дедушка смог проявить свой талант, и безупречная стрельба сделала его знаменитым в отряде снайпером. Двое талантливых людей сошлись вместе в эпоху смут и волнений и поработали на славу, устроили японцам кровавую баню. Говорили, что вместе бабушка с дедушкой убили несколько десятков япошек. Но в одном из сражений дедушка был ранен в левую ногу, ему пришлось остаться в тылу и перевестись в санитарный отряд, а так бы закончил войну как минимум майором. И чтобы ухаживать за ним в тылу, бабушка тоже отказалась от подвигов на передовой.

Когда дедушка только превратился в растение, бабушка частенько припоминала славную революционную пору, стучала кулаком по столу, обзывала людей, изувечивших дедушку, трусами. Раз они такие удалцы, чего ж не вышли против дедушки на честную драку? Он всякого успел повидать, сколько япошек убил – не перечесать, разве бы он испугался?! И надо же было выдумать такой подлый приемчик! Но годы, когда врагов разрывали на лоскуты одной гранатой, было уже не вернуть, а бабушка пока не привыкла к куда более изворотливым и коварным способам убийства, практиковавшимся в мирное время. Она сражалась и с японцами, и с Гоминьданом, а теперь должна была вступить в схватку с собственной судьбой. Жизнь сделала круг, и бабушка снова вернулась в ту точку, откуда начинала в шестнадцать, – стала вдовой при живом муже.

Когда тетя немного подросла, до нее стали доходить пересуды, которые велись за бабушкиной спиной, – мол, соседка поступает недостойно, заигрывает с

мужчинами. Если пошла в аптеку за лекарствами или в магазин за мукой, всегда подолгу торчит у прилавка, болтает с продавцами, хохочет, заигрывает, даже руки распускает – пихается. Если слышит, что к дому подошел точильщик, зазывает его к себе и часами с ним любезничает. Все знали про бабушкино одиночество, но она так выставляла его напоказ, что вызывала насмешки. Однажды бабушка в очередной раз прилипла к прилавку в бакалейном магазине, беседуя с продавцом, но напоролась на его жену, и та велела ей держаться подальше от чужих мужей. Гляжу, ты на мужиках помешалась, сказала женщина. В ответ бабушка расцарапала ей лицо. С тех пор все мужчины обходили ее стороной.

Бабушка долго жила соломенной вдовой, но потом наконец встретила мужчину, который не был чужим мужем. Мужчина работал на сталеплавильном заводе, его жена умерла от туберкулеза, оставив ему пухлого сына на год старше моей тети. Тетя помнит, что одно время мужчина часто приходил к ним домой на ужин, приносил еду, раздобытую в заводской столовой. С каждым его приходом бабушка становилась необыкновенно ласковой. Иногда по вечерам мужчина не уходил, и увалень-сын тоже оставался на ночь, теснился на одной кровати с тетей и терся об нее своими толстыми руками. Он лежал в темноте и тяжело дышал открытым ртом, напоминая тете громадную рыбу, способную разом ее проглотить. Рядом с этим огромным существом ей было страшно и вместе с тем очень спокойно. Бабушка обстирывала мужчину и сына, брила им головы, а он носил ей мешки с мукой и угольные брикеты. Скоро они вчетвером зажили почти как семья. Жаль только, что настоящей семьей они все-таки стать не могли. Дедушка по-прежнему был жив, развестись с ним было нельзя, и это означало, что бабушка обретет свободу только после его смерти. Но дедушка отнюдь не собирался умирать, окруженный заботливым уходом медсестер, он заметно прибавил в весе, обзавелся вторым подбородком, ярким румянцем и стал напоминать Будду Майтрейю.

И мужчина дал задний ход. Я хочу найти настоящую маму для Толстячка, нерешительно говорил он. Бабушка плакала, хватала его за руки, умоляла остаться. Мужчина по своей доброте согласился потратить на бабушку еще немного времени, но она понимала, что он рано или поздно уйдет, если только... Граната, которую шестнадцатилетняя бабушка бросила с крыши, посеяла в ней твердую веру, что все проблемы можно решить силой, и если в шестнадцать лет она смогла отвоевать свободу ручной гранатой, почему бы сейчас не разрубить брачные узы фруктовым ножом? И бабушка стала повсюду ходить с ножом, даже в магазин за бутылкой соевого соуса. Больница через дорогу от дома, до палаты два шага – пока никто не видит, успеешь воткнуть нож в сердце, вернуться домой и встать обратно к плите. Наверное, бабушка в самом деле наведывалась в палату, но встречала там медсестер – летом, чтобы уберечь дедушку от пролежней, его обтирали еще усердней.

Тетя вспомнила, что однажды они с бабушкой поехали в магазин за тканью, а пока добирались обратно, пошел дождь. У ворот Наньюаня автобус остановился, они вышли на улицу. Бабушка посмотрела в затянутое тучами небо и вдруг сказала, что хочет навестить дедушку. У стационарного корпуса она отдала тете зонтик и велела ждать на улице, а сама пошла в палату. Тетя стояла под козырьком, слушая, как капли глухо колотят по сломанному зонтику: па-да, па-да, па-да. От этого стука стягивало кожу на голове. Потом, заглушая легкий звон в ушах, тете послышался низкий пронзительный крик, он прорвался сквозь стук дробящихся о зонтик капель и вонзился в нее стальной иглой. На секунду тетя застыла, а потом во всю прыть понеслась вверх. Распахнула дверь в палату – бабушка стояла у койки с ножом в руке, увидев тетю, побледнела. Потом задрожала и выронила нож.

– Я просто хотела ему помочь, – зарыдала она. – Раньше умрет – раньше переродится...

Вот так тетя волею случая спасла дедушке жизнь. Но окончательно избавил его от опасности бабушкин ухажер. Он наконец нашел Толстячку настоящую маму, та женщина была на несколько лет старше бабушки, да и внешне ничего особенного, зато вдова. Вдова настоящая, а не соломенная, муж ее умер окончательно и бесповоротно. Вдова работала кондуктором в автобусе, сталеплавильный завод

находился на западной окраине города, и Толстячок с отцом по утрам частенько ездили на этом автобусе в город. Они стояли на автобусной остановке и глядели, как он катится издалека навстречу, а кондукторша, высунувшись по пояс из окна, улыбается и машет людям на остановке, в лучах солнца ее улыбка казалась очень волнующей. У медуниверситета автобус останавливался, там мужчина сходил, чтобы проведать мою бабушку. Мало-помалу они с Толстячком перестали сходить на медуниверситете. И на других остановках тоже – пунктом назначения стал сам автобус. Вдова подарила Толстячку пластиковый держатель для билетов, к которому прилагалась целая стопка разноцветных билетных корешков. Толстячок ходил с этим держателем, выпятив живот, словно настоящий богач, а иногда отрывал пару корешков кому-нибудь в подарок. Во время их последней встречи бабушка и рыдала у мужчины на груди, и цеплялась за штанину, но все было напрасно – кондукторша уже стала Толстячку “настоящей мамой”. Наконец бабушка выбилась из сил и медленно разжала руки. Гости стали торопливо прощаться, тетя молча проводила их до порога. В дверях Толстячок обернулся, вырвал из держателя все корешки и, стиснув зубы, протянул ей.

С тех пор бабушка приняла свою судьбу. Она больше не желала дедушке смерти: умри он хоть завтра, все равно податься ей некуда. Свобода потеряла всякий смысл. Любви было ждать бесполезно, оставалась только ненависть. И все следующие годы бабушка питалась собственной ненавистью. Ненависть крепче и сильнее любви, но порой и безрассудней. Бабушка не знала, на кого ее обратить, и возненавидела вообще всех. Возненавидела ту кондукторшу, поэтому никогда не садилась на первый автобус, возненавидела мужчину со сталеплавильного завода, а вместе с ним и Толстячка, желала ему поскорее лопнуть от ожорства. Бабушке казалось, что соседи над ней смеются, и она возненавидела соседей, бросала им во двор камни, била стекла. Она возненавидела своего бедового сына и трусливую дочь, а больше всех, конечно же, дедушку. Что ни день бранила его, желала старику скорее сдохнуть, обвиняла во всех своих неудачах, а иногда приходила в настоящее бешенство, топала ногами, хваталась за нож и грозилась прирезать дедушку, но тетя, конечно, ее останавливала. Эта репетиция убийства превратилась в любимую бабушкину забаву, к которой она периодически обращалась, чтобы хоть ненадолго выплеснуть скопившуюся в сердце злобу. Бабушка ненавидела всех и каждого, только про убийцу забыла. И не она одна – со временем все вокруг забыли, что был и второй злодей, которого до сих пор не поймали.

– А что со вторым преступником? – свесив голову со своего второго яруса, тихо спросил я тетю. – Он так и живет в Наньюане, да?

Ответа не последовало. Тетя уснула. Я лежал в темноте, один на один с целой горой вопросов.

Наверняка он по-прежнему живет в Наньюане. Я то тут, то там встречал всех обитателей микрорайона, а значит, встречал и его, может быть, даже часто. Пока я стоял в очереди за пампушками в столовой, нес в магазин пустые баночки из-под простокваши, сдавал на мусорной станции картонные коробки, он мог быть неподалеку и бесстрастно за мной наблюдать. Он видел, как я шагаю с рваным рюкзаком за спиной, как вытираю сопли замурзанным рукавом школьной формы. И как я коршуном бросаюсь на оброненную кем-то монетку, а потом прячу ее в карман. Он знает, что у меня нет ни папы ни мамы, знает, что учителя изводят меня придирками, а одноклассники надо мной смеются. Знает, что мне уже одиннадцать, а я по-прежнему сплю на одной кровати с тетей. Глядя на меня, он радуется, что добился своего, ведь все наши беды случились по его милости. Из-за него нам досталась такая жизнь, мы жалкие, как муравьи, которых каждый может растоптать, и гадкие, словно помойная куча, которую все стараются обходить стороной.

Я откинул одеяло, прыгнул с кровати и босиком подошел к окну. Оно было открыто ночи, и лунный свет беззастенчиво блуждал по старым деревянным сундукам, словно старьевщик, который копается в груде мусора в надежде отыскать что-нибудь ценное, но так и уходит ни с чем. Здесь нет того, что он ищет.

Занавеска порвалась еще летом, в грозу, и с тех пор окно стояло голым. Мы обходились без занавесок, ведь у нас не было никаких секретов. И вряд ли хоть один человек испытывал желание заглянуть в окно и посмотреть, как мы живем. Секреты бывают только у преуспевающих людей, только им полагается иметь тайны и притягивать людское любопытство. Наверняка и злодей, погубивший нашу семью, тоже прячет свою загадочную жизнь за плотно зашторенными окнами.

Я сел в простенок между башнями из составленных друг на друга сундуков. Крошечный пяточок, огороженный сундуками и стеной. Луна сюда не доставала, поэтому казалось, что я сижу в глубоком колодце. Раньше я тоже приходил сюда, когда было грустно. Но только сейчас осознал свой удел: все верно, я живу в тесном колодце. У меня ничего нет. Да, есть друзья, мы весело проводим время, но однажды этому настанет конец. Вы отдалитесь и уйдете в лучшую жизнь. А я останусь с грудой старых сундуков и окном без занавески, потом начну пить и драться, как папа, чтобы дать выход бурной и бесполезной энергии. Но пока жалость к себе окончательно меня не поглотила, я собрался и разжег в себе небывалый прежде гнев.

Я еще ни разу не чувствовал настоящей ненависти. Ни к бросившей меня маме, ни к жестокому папе, ни к злобной бабушке, ни к изводившим меня учителям, ни к одноклассникам с их насмешками... Хотя вся моя жизнь состояла из боли, я все равно их не возненавидел. Я как будто никогда не сопротивлялся этой боли, приучил себя к ней и даже принимал ее как должное. Словно с малых лет решил смириться с такой судьбой, вместо того чтобы копаться в причинах своего несчастья. Если Бог сдал тебе плохие карты, ничего не остается, бери и играй как есть.

Но теперь я понял, что плохие карты достались мне вовсе не от Бога. В ушах стояли тетины слова: "Сейчас дедушка мог бы стать уже ректором медуниверситета". Это предположение было невозможно проверить, но я ухватился за него, представляя ту несбыточную жизнь, которая нас ждала, – счастливая семья с блестящим прошлым, богатство, свобода... Я был уверен, что такие карты мне и выпали, но злодей их подменил. И источник всех наших бед – тот самый гвоздь в его руках. Это из-за преступника жизнь нашей семьи покатила по другим рельсам.

Я сидел в холодном углу, и ненависть разгоралась во мне, как костер. Я охранял этот костер, и он прожигал меня насквозь. Вены дрожали, словно натянутые веревки. Во мне проснулась какая-то древняя и спящая доселе кровь, она бурлила, захлестывала голову. Я слушал волны, шумевшие внутри моего тела, чувствовал, как грудь теснит какая-то мощная сила. Голубое пламя плясало и подпрыгивало. В дрожащем мареве я разглядел, что вокруг моего костра собрались люди. Даже не люди, а бледные, тонкие, почти прозрачные тени. Я видел их впервые, но почему-то узнал. Это были предки дедушкиного рода, они пристально смотрели на меня пылающими глазами. И эти глаза остались, даже когда сами люди ушли. Вечные, как неугасимая лампада. Перед уходом каждый подошел ко мне, чтобы попрощаться, но вместо слов они опускали ладони мне на плечи, как будто хотели поделиться силой. И плечи болели под тяжестью их ладоней. Эта боль постепенно расплывалась по телу, и я вдруг с горечью осознал, что вырос, что я уже не ребенок. На рассвете я проснулся и обнаружил, что свернулся калачиком в том самом простенке между сундуками. Видимо, я проспал очень долго. Но от меня слабо пахло золой, а на плечи что-то тяжело давило. Поэтому я был уверен, что видел их наяву.

Род. Весь долгий день, следовавший за той ночью, слово "род" не выходило у меня из головы. Это книжное слово казалось мне незнакомым, далеким, будоражащим кровь. Я знал только, что у меня есть семья – я, бабушка и тетя, и ютится эта семья в двух маленьких душных комнатках, но никогда не думал, что существует еще и род.

Тетя говорила, что у дедушки было два старших брата, один умер в трехлетнем возрасте, другого унесла эпидемия чумы, когда ему было двенадцать. Дедушка

единственный из всех детей дожил до взрослого возраста. Когда в их деревне случился неурожай, он в поисках пропитания примкнул к революционным войскам и ушел из родных мест. После Освобождения его распределили в Медицинский университет, и дедушка остался в городе. Когда он приехал в деревню на побывку, мать с отцом уже умерли, никого из родных не осталось. Он пробыл там несколько дней, нанял работников, чтобы привели в порядок могилы предков. Дедушка придавал большое значение своему роду и всегда мечтал произвести на свет больше детей, чтобы приумножить род Чэн. В войну бабушка дважды беременела, но выносить оба раза не смогла, и с тех пор все ее беременности протекали сложно. Она кое-как родила моего папу, за ним снова последовало два выкидыша. Бабушка уже собралась идти на перевязку труб, но тут забеременела тетей и решила рожать, пусть это и ставило под угрозу ее жизнь. Бабушка несколько месяцев пролежала в постели, горстями пила таблетки, и беременность удалось сохранить. Дедушка ждал еще одного сына, но родилась дочь. Поэтому все надежды пришлось возложить на единственного наследника. Мне рассказывали, что дедушка то и дело порывался взять у старых товарищей из отряда какое-нибудь ружье и научить сына снайперскому мастерству – он верил, что в жизни это пригодится, и надеялся однажды увидеть сына военным или полицейским при оружии. Интересно, что сказал бы дедушка, узнай он, что папа не просто остался без оружия, а к тому же еще и сидит в тюрьме, где его охраняют те, кому оружие досталось? Я догадывался, что он и так это знает и его запертая душа бушует от ярости. Дедушка окончательно разочаровался и плюнул на своего никчемного сына, а потом перевел взгляд на меня.

Он все это время смотрел на меня. Разве нет?

Я вспомнил лето перед первым классом, как я засыпал в триста семнадцатой палате, проползал по длинной трубке и попадал в овальные сновидения, где учился стрелять из ружья. Вспомнил одну из бесконечных тренировок под флуоресцентно-зеленым солнцем, как по спине струился пот, а я был выжат до капли, но чувствовал, что превращаюсь в сильного мужчину. Перед глазами всплыло строгое лицо дедушки из сна – не говоря ни слова, сжав губы, он вдруг замахнулся и отвесил мне оплеуху. И я вспомнил нашу последнюю встречу, как я сказал, что больше не смогу приходить к нему каждый день, и по его лицу скользнула грусть. Я пообещал, что буду навещать его по выходным, сцепился с ним мизинцами, и тогда дедушка немного развеселился. Я отошел уже далеко, а он все стоял там и смотрел мне вслед, солнце растянуло его тень, как будто она хочет меня догнать. Я вдруг понял, что был его единственной надеждой, единственной надеждой всей семьи. Я чувствовал на себе тяжесть этого груза, и она наполняла меня удивительным восторгом.

– Сяо Гун не такой, как другие дети, – говорила мама, и для нее это было непреложной истиной.

Кажется, я наконец понял, чем отличаюсь от остальных: на моих плечах лежала миссия, возложенная родом Чэн. Этот обнищавший, разрушенный род ждал, что я его спасу. Я должен был найти второго злодея. Я повторял себе, что должен отомстить. Хотя я не имел представления, как буду мстить, но короткое слово “мечь” будило во мне радость.

Ни один человек не знал имени второго преступника. Кроме дедушки. Да, той ночью он был обездвижен и не мог сопротивляться, но он все равно знает, кто орудовал гвоздем. Эта сцена намертво отпечаталась в его сознании. Вот только дедушка ничего не может нам рассказать. Потому что его душа заперта в бесчувственном теле. Будь у меня возможность поговорить с его душой, я узнал бы имя преступника! Постепенно во мне созрел великий план: я должен изобрести механизм, который позволит связаться с дедушкиной душой.

Устройство для связи с душой. Такое превосходное название я для него выбрал.

Хотя все записи, в которых фиксировалось создание устройства для связи с душой, уже утеряны, я ясно помню, когда приступил к делу. В ноябре 1993 года. Но мне

больше нравилось записывать эту дату иначе: брюмер девяносто третьего. Так она звучала гораздо значительнее и сближала мою судьбу с судьбой Наполеона Бонапарта. На самом деле я тогда почти ничего не знал об этом великом коротышке, но одной газетной статьи хватило, чтобы Наполеон стал моим кумиром. В детстве он натерпелся насмешек от других детей за свой низкий рост, за то, что происходил из бедной семьи и говорил на французском с сильным акцентом. Но провидение наделило его великой миссией, и благодаря своему непомерному честолюбию Наполеон покорил всю Европу. Вот такая банальная история рассказывалась в той статье, но у меня от нее кровь в жилах закипела. Бедность, насмешки одноклассников, честолюбие. Как вдохновляли меня эти сходства.

Сейчас тебе наверняка смешно это слышать, однако изобретение устройства для связи с душой казалось мне столь же великой миссией, что и покорение Европы Бонапартом.

С того дня меня охватила изобретательская лихорадка. Я возвращался из школы, наскоро обедал и бежал в библиотеку. Анатомия человека, основные законы механики, буддизм, даосская алхимия... Библиотекарь только ахал, поражаясь разносторонности моих интересов. Это был мужчина лет тридцати с приметным и очень веселым красным носом, правда, на всем его лице радовался только нос, остальные черты оставались печальны. На столе рядом с библиотекарем всегда лежала книга "Новый учебник английского языка: том первый", когда посетителей не было, он сидел над ней и тихонько повторял английские слова, зажав язык между зубами. Ему было любопытно, зачем я набрал столько странных книг, но на все расспросы я упорно отмалчивался.

– Читать всегда полезно, – ободрял меня библиотекарь. – Если получится уехать за границу, там эти знания пригодятся.

– Почему надо уезжать за границу? – спросил я.

– Там-то жизнь наладится. – Он яростно потер свой винный нос и вздохнул. У библиотекаря был хронический ринит и аллергия на пыль, а он целыми днями сидел среди штабелей старых книг. Конечно, ему было нелегко.

Я покачал головой:

– Я хочу, чтобы она здесь налаживалась.

– Здесь не получится. Ты еще маленький, вот подрастешь и узнаешь. – Библиотекарь опустил глаза и нежно погладил потрепанную обложку "Нового учебника английского языка".

Раньше я немного жалел этого человека, но он произнес самые отвратительные на свете слова: "Ты еще маленький, вот подрастешь и узнаешь". Не желая отвечать на очередной мой вопрос, тетя всегда отделывалась такими же словами. Ребенка на каждом шагу поджидают запретные зоны и надписи "Вход воспрещен", возраст – лучшая отговорка, чтобы ничего не объяснять.

Я пролистал все эти загадочные книги, но почти ничего не узнал. В редких упоминаниях о душе описывались какие-то туманные видения, но не было ни слова о том, как спасти душу, запертую в теле. В одной из книг упоминался "юаньшэнь", но я не был уверен, что это то же самое. Там говорилось, что юаньшэнь может покинуть тело, если воспользоваться специальными заклинаниями и амулетами. Однако я сомневался в действенности этих методов, они казались мне недостаточно научными. Я представлял себе устройство для связи с душой как видимый, осязаемый и невероятно точный механизм. Сделав большой круг, я вернулся к исходной точке и вновь начал обдумывать фразу: "Душа – это электромагнитная волна". Я не знал, что такое электромагнитная волна, но из того, что смог понять в книгах, заключил, что такая волна должна быть похожа на звуковую. На эту важную мысль меня натолкнул скачущий по радиостанциям

приемник из триста семнадцатой палаты. Правда, мне больше хотелось верить, что душа имеет какую-то материальную форму, как фруктовая косточка или маленькая раскаленная звезда, а голос души представляет собой непрерывную звуковую волну, вызывающую колебания воздуха. Мы такие волны не слышим, потому что их частота недоступна человеческому уху. В книге об электромагнитном излучении я вычитал, что воздух вокруг нас пронизан великим множеством волн, которые мы даже не замечаем. То есть мне нужно было создать механизм, способный поймать такую волну.

Я стал набрасывать план устройства в тетради. Устройство для связи с душой-1. Устройство для связи с душой-2. Устройство для связи с душой-3... Испорченный чертеж вырывал и выбрасывал, и когда в тетради не осталось листов, взял новую. Наконец я определился с конструкцией устройства для связи с душой: черный ящик с ресивером электромагнитного излучения, по бокам у ящика должно быть проделано множество маленьких отверстий, провода от ресивера с одной стороны подсоединяются к рации, а с другой – к электродным пластинам на теле дедушки.

Чертеж был идеален, но реальность всегда вносит свои коррективы. К примеру, вместо черного ящика пришлось взять жестяную банку из-под печенья, которую я выпросил у старьевщика. Скорее всего, печенье привезли из-за границы, банка была исписана английскими буквами. Библиотекарь самодовольно опознал среди них слово “Дания” и сказал мне, что печенье изготовили именно там. Дания – как же это далеко, я знал только, что там родина Русалочки. Эта жестяная банка пересекла целый океан, приплыла к нам из далеких краев, потому что на ней лежит важная миссия. Точно. Она оказалась здесь, чтобы стать частью устройства для связи с душой. Неохотно сверяясь с моим чертежом, сапожник проделал в жестянке множество маленьких дырочек.

Рацию я тоже отыскал у старьевщика. У него можно было найти абсолютно все – настоящая сокровищница. Наверное, эту рацию потерял какой-нибудь полицейский – на ней имелся серийный номер. Я спросил старьевщика, почему он не отнесет ее в участок, тот ответил, что рация – вещь казенная, при утере полицейскому выдают новую. Видимо, утеря рации была все-таки редким событием, за все эти годы старьевщику попала только одна. Должно быть, и рация оказалась здесь во имя исполнения великого плана – создания устройства для связи с душой. Я ни капли в этом не сомневался. Поэтому, когда старьевщик сказал, что рацию просто так не отдаст и за нее придется заплатить, я пошел домой и разбил копилку-медвежонка, которую пополнял много лет.

Но перед покупкой рацию следовало опробовать, убедиться, что она работает. В один особенно холодный вечер мы со старьевщиком дождались, когда студенты разойдутся из аудиторий после последнего занятия по самоподготовке, потом один из нас забрался на самый верх поточной аудитории, другой остался внизу, и мы начали тихо переговариваться через рацию. Голос из динамика выходил немного искаженный, зато помех было в избытке, сплошной шорох и жужжание, как рассыпанные по земле опилки. Старьевщик уныло повторял в свой конец: прием-прием-прием. Откуда ему было знать, что такую-то рацию я и ищу. Верно, моя рация должна была улавливать даже мельчайшие помехи. Где-то в них и прячется голос души.

Еще мне нужны были электроды, которые прикладывают к телу для снятия кардиограммы. Это было несложно, я мог попросить их у тети. Она не работала с больничным оборудованием, но запросто могла достать расходные материалы, которые использовались в стандартном медосмотре. Я напел ей, что электроды нужны для урока биологии, мы будем слушать сердцебиение у кролика. Тетя не очень-то мне поверила, но расспрашивать не стала, поскольку электроды – штука не опасная. Через два дня она принесла мне набор пластин, но велела обязательно вернуть их после урока.

А ресивером электромагнитных волн внутри ящика, разумеется, должен был стать радиоприемник из триста семнадцатой палаты.

Все приготовления держались в секрете. Даже тебе я ни разу не проболтался. Ведь и ты не посвящала меня в свои долгие размышления о душе. Раз у тебя есть от меня секреты, значит, и у меня должен быть секрет от тебя. И мой секрет еще больше и серьезней. И что толку тебе рассказывать – ты только поднимешь меня на смех, обольешь ушатом холодной воды. На этот раз я решил сначала добиться поставленной цели, а потом уже рассказывать тебе. До чего же это была великая цель! Я с удовольствием воображал, как ты стоишь, разинув рот от изумления. У меня появилась отличная возможность сбить с тебя спесь и заставить собой восхищаться.

Через две недели, дождавшись, когда стемнеет, я с огромным плетеным мешком вышел из дома и побежал к больнице.

В больничных коридорах царил неожиданная тишина. Я вошел в триста семнадцатую палату, неслышно прикрыл за собой дверь и осторожно достал из мешка свое великое изобретение. Я внимательно следил за выражением дедушкиного лица. Мне показалось, что он посмотрел на меня и его маленькие круглые глазки быстро моргнули. Но в ту секунду даже такое незначительное движение представляло необычайную важность.

– Ты же знаешь, что я пришел тебя спасти, да? – Глаза у меня защипало, и я едва не расплакался.

Прибор я поставил на прикроватную тумбочку. Из круглоголовой серо-синей жестяной банки тянулось множество проводов, как щупальца у морской каракатицы. Таинственно и жутко.

Я достал из кармана схему акупунктурных точек на теле человека, которую заранее выдрал из книги, расстелил ее рядом с прибором, приложил электроды к дедушкиному телу в местах, обведенных на схеме в кружок, а потом включил рацию. Все было готово. Я засунул руку в банку из-под печени и торжественно нажал рычажок радиоприемника.

Приемник включился и зашипел. Рация жужжала. Палата наполнилась шумами, но в ней сохранялась пугающая тишина. Я повернулся и встал навтыжку перед больничной кроватью.

– Дедушка, давай начнем, – сказал я человеку на кровати.

Крепко сжимая рацию и затаив дыхание, я вслушивался в шумы. Казалось, я слышу каждую пылинку в палате.

28'40"

“ДОБРОЕ СЕРДЦЕ И ДОБРЫЕ РУКИ – ЗНАКОМСТВО С АКАДЕМИКОМ ЛИ ЦЗИШЭНОМ”

На экране появляется и постепенно меркнет дацзыбао времен “культурной революции”. Смена кадра. Перед камерой сидит пожилой седоволосый мужчина в белой рубашке с круглым воротником.

Титр:

ЦЗЯН ХУНСЭНЬ

Мужчина задумчиво смотрит перед собой, затем начинает говорить.

Титр внизу экрана:

ТОГДА В БОЛЬНИЦЕ СЛУЖИЛ ПОЖИЛОЙ КАДРОВЫЙ РАБОТНИК ПО ИМЕНИ СУ СИНЬЦЯО. ОН ОТРИЦАЛ ОБВИНЕНИЯ В АНТИПАРТИЙНЫХ НАСТРОЕНИЯХ, И “РАБОЧАЯ ГРУППА КУЛЬТУРНОЙ РЕВОЛЮЦИИ” АКТИВНО ДАВИЛА НА НЕГО, ПРОВОДИЛИСЬ БОЛЬШИЕ И МАЛЫЕ МИТИНГИ БОРЬБЫ, ТАК ПРОДОЛЖАЛОСЬ ОКОЛО ТРЕХ МЕСЯЦЕВ. СУ СИНЬЦЯО БЫЛ СОВЕРШЕННО ИЗМОТАН, ПОСЛЕ ОЧЕРЕДНОГО МИТИНГА ЕГО СТАЛО РВАТЬ КРОВЬЮ. ЛИ ЦЗИШЭН ПОКАЗАЛ ПОЛНУЮ КРОВИ ПЛЕВАТЕЛЬНИЦУ ЧЛЕНАМ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ЕГО САМОГО ПОДВЕРГЛИ КРИТИКЕ ЗА “СОЧУВСТВИЕ К АНТИПАРТИЙНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ” И “НЕТВЕРДУЮ ПОЗИЦИЮ”. В СВОЕ ВРЕМЯ ЛИ ЦЗИШЭН ВХОДИЛ В СОСТАВ ЭКСПЕДИЦИОННЫХ ВОЙСК ГОМИНЬДАНА, И НЕКОТОРЫЕ АКТИВИСТЫ ТОЖЕ УВИДЕЛИ В ЭТОМ ПОВОД ДЛЯ КРИТИКИ. БЛАГО ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ ЛИ ЦЗИШЭН БЫЛ СТУДЕНТОМ УНИВЕРСИТЕТА ЦИЛУ И НЕ МОГ СЧИТАТЬСЯ НАСТОЯЩИМ ВОЕННЫМ, ИНАЧЕ ЕМУ БЫ НЕСДОБРОВАТЬ. ОДНАКО ЛИ ЦЗИШЭН БЫЛО НЕ СЛОМИТЬ, ПОСЛЕ ОЧЕРЕДНОГО МИТИНГА ОН В ОДИНОЧЕСТВЕ ПРИХОДИЛ В СТОЛОВУЮ, БРАЛ СЕБЕ ТУШЕНОЕ РЫБНОЕ ФИЛЕ И НЕ СПЕША ПРИНИМАЛСЯ ЗА ЕДУ.

Ли Цзяци

Самым важным событием зимы 1993 года для меня стало папино возвращение – он приехал в декабре, за неделю до маминой свадьбы. И посреди дня пришел за мной в школу. Я со всех ног неслась к школьным воротам, увидела его издалека: папа стоял за железной оградой и курил. На нем был длинный черный плащ со стоячим воротником, закрывавшим половину лица. Я даже не успела толком его рассмотреть, но почему-то сразу поняла, что папе живется очень плохо. Сердце у меня защемило, из глаз закапали слезы.

Заметив, что я плачу, он опустил голову и затушил брошенный на землю окурок. Наверное, его смутили мои слезы. Сильные проявления чувств были у нас под запретом.

Папа сильно похудел и загорел, волосы отросли, щеки покрылись щетиной. Он выглядел очень усталым и отчаянно курил – затушив одну сигарету, сразу доставал новую и принимался хлопать себя по карманам в поисках зажигалки. Когда он прикуривал, я заметила, что его руки дрожат.

– У нас после обеда только самоподготовка, – соврала я, давая понять, что могу уйти с ним из школы.

– Хорошо.

И он в самом деле забрал меня с собой.

Но пойти нам было некуда. Побродив немного по кварталам, мы оказались у парка с озером, купили билеты и зашли внутрь. Зимой парк выглядел уныло, ивы по берегам были похожи на беспорядочные карандашные штрихи в блокноте. Беседка на другом берегу озера свесила углы крыши, как будто искала свое отражение в воде. Но тщетно: гладь озера была покрыта толстым льдом. Какая одинокая беседка – даже отражение ее оставило.

Папа сходил в магазинчик за сигаретами и принес мне клубень печеного батата. Я грела об него замерзшие руки и медленно ела. Чтобы спрятаться от ветра, мы зашли в галерею и сели у квадратной колонны, обвитой засохшей лозой. Я представила, как летом эта колонна покроется зелеными листьями, а мы придем и будем кататься по озеру на лодке.

– Помнишь, как мы здесь гуляли? – спросил папа.

– Мы здесь не гуляли.

– Гуляли, ты тогда была еще маленькая.

Я хотела спросить, летом это было или зимой, но папа погрузился в воспоминания, и я не решилась его тревожить. Взгляд его потеплел, мне даже показалось, что он немного скучает по нашей прежней жизни. Возможно ли такое? Я не могла сказать наверняка. Если честно, я до сих пор боялась поверить, что папа на самом деле пришел за мной в школу. Видишь ли, раньше мне такое только снилось. И сегодня он стоял у школьных ворот совсем как во сне. Только там он был в коричневом свитере и с короткой стрижкой. Во сне папа махал мне рукой и кричал, припав лицом к прутьям ограды: пойдем, нам пора! Конечно же, он не мог забрать меня с собой. Раньше я еще строила иллюзии на этот счет, но последние их искры давно потухли. И все же папа пришел за мной в школу, значит, он по мне соскучился. Это было проявлением чувства, и чувства достаточно сильного, чтобы я обрадовалась и смутилась. Пока мы шли в парк, мне хотелось о чем-нибудь заговорить, но я боялась выдать свою радость и показаться глупой. С папой я вечно боялась повести себя глупо. Глупостью были все детские черты, их следовало старательно прятать. Я постоянно напоминала себе, что с ним нужно быть старше, держать себя так, как будто я уже взрослая.

Я думала, папа приехал, потому что бабушка сломала ногу, но оказалось, он впервые об этом слышит. Ему никто не сообщил, и папа даже не планировал заходить к дедушке с бабушкой.

- Надо бы ее навестить, да? - пробормотал он, словно хотел, чтобы я придала ему решимости. Я предложила зайти вечером вместе, папа согласился. Потом я спросила, когда он уезжает в Пекин.

- Через пару дней, - ответил он уклончиво - наверное, еще не купил билет. У меня мелькнула скверная мысль: если бы бабушка чувствовала себя хуже, может, это бы его задержало.

- На следующей неделе мама выходит замуж, - как бы между делом сказала я, украдкой наблюдая за его лицом, мне хотелось понять, знал ли он о маминей свадьбе. Про себя я предположила, что он мог приехать, чтобы поздравить маму и дядюшку Линя, вот только на свадьбу они его не пригласят.

- Правда? И как тебе жених?

- Самый обычный.

- Не нравится?

Я покачала головой и сорвала с клубня кусочек шкурки.

- Они хотят забрать меня от дедушки и со следующей четверти перевести в другую школу. - Я спешила поделиться этой новостью, ведь папа может не застать меня, если снова придет в старую школу.

- Школу уже подыскивали?

- Да, рядом с домом дядюшки Линя. - Я решила, что нет нужды объяснять, кто такой дядюшка Линь.

- Замечательно, - помолчав, сказал папа. Он выглядел немного рассеянным, как будто его не интересует ни мамин замужество, ни дядюшка Линь. Видимо, он приехал все-таки не из-за свадьбы, но тогда зачем?

- А ты? - спросила я. - Ты женился?

- Ага. - Папа стряхнул пепел, искорки упали на землю, корчась в предсмертной агонии.

- Тебе хорошо живется в Пекине?

- Нормально. - На этом слове его рот немного скривился, как будто папа глотнул горького лекарства.

Из-за синеватых мешков под глазами папин профиль выглядел немного странно. Я всматривалась в него, стараясь запечатлеть в памяти новые приметы. Папа был несчастлив, я видела это совершенно ясно и даже ощутила некоторое удовлетворение. Мы не смогли сделать его счастливым, но и женщине по имени Ван Лухань это оказалось не под силу. Наверное, никому не под силу - папа несчастлив по самой своей природе. И очень возможно, что я пошла по его стопам, от этой мысли мне стало тоскливо.

Холодный ветер зарылся худыми руками в папины волосы, поднял их дыбом. Я смотрела на его щетину, она доходила до самых ушей и напоминала жесткую непослушную траву в бескрайней степи, из-за нее папа был похож на беглеца, на преступника, который скрывается от правосудия. У меня даже появилось странное чувство, что человек рядом - не мой папа, а какой-то чужой мужчина. Я представила, что он возьмет меня в заложники и куда-нибудь увезет.

Пусть везет куда хочет, главное, подальше отсюда.

– Прокатишься на колесе обозрения? – спросил папа. – Вон там. А я здесь подожду.

Я отказалась и опустила голову, ковыряя сморщенную шкурку от батата. Сам батат я уже съела, и он горел в желудке, как огненный шар. Мы посидели еще немного, потом папа как будто внезапно понял, что ему не скрыться от ответственности за повисшее между нами молчание, и заговорил:

– Ты не замерзла? Давай прогуляемся вокруг озера?

Я очень замерзла, но сказала, что мне не холодно. Мы зашагали вдоль берега, я незаметно втянула руки в рукава. Пасмурное небо отливало синим, как ушибленная коленка. В парке не было ни души. И с тех пор как мы вышли из школы, нам не встретилось ни одного человека. Поэтому у меня были причины верить, что в этот день все устроено специально для нас. Небо постепенно темнело, папа зашагал быстрее, под конец мне уже приходилось бежать, чтобы поспеть за ним. Я видела, что он поставил перед собой цель и очень хочет до нее добраться. Я чувствовала, как сильно это желание, папа будто спешил что-то себе доказать и сражался сам с собой.

Мы прошли от западного берега озера до северного. Последние солнечные лучи исчезли. Папа вдруг резко остановился.

– Ладно, все равно не дойдем, – объявил он. – В прошлый раз мы плыли на лодке, тогда мне не показалось, что эта беседка так далеко.

Тяжело дыша, он достал сигареты и печально посмотрел вдаль. Я очень расстроилась: неужели он так быстро признал поражение и сдался?

– Пойдем, осталось немного, – предложила я.

– Нет. – Он покачал головой.

– Мы дойдем, ну пожалуйста, пожалуйста, – взмолилась я и неожиданно расплакалась.

Папа не просто несчастлив. От него веет распадом. Что-то в нем уже умерло. Страсть, вера, воля к борьбе. Они погибли безвозвратно. Кажется, папа сам это хорошо понимал, но в этот раз, не желая сдаваться, решил сделать еще одну попытку. Я не знала, что изменится, если мы дойдем до беседки, но видела, что для него это очень важно. Даже такая ничтожная, мелкая победа могла послужить утешением и снять груз с его сердца.

Я сказала, что сама хочу дойти до беседки, умоляла его пойти со мной. Я плакала, тянула его за плащ, но папа стоял на месте.

– Хватит. Может, перестанешь капризничать? – раздраженно оборвал он меня. – Ты уже большая, должна понимать, что к чему.

Я застыла как оглушенная. Эти слова были страшнее всего на свете. Я надеялась, что папа увидит, какая я взрослая и понятливая, и полюбит меня. Но теперь все было испорчено.

Всхлипывая, я шагала за ним из парка. Он увидел свет в ресторанчике напротив и направился туда. Я спросила, пойдём ли мы к дедушке, – если нет, надо позвонить и предупредить их. Но папа как будто не слышал, вместо ответа он поспешно зашел внутрь.

Ресторанчик оказался совсем маленький, всего на четыре стола, кухня была устроена прямо в зале. Средних лет женщина стояла в дверях и перебирала овощи. Второй хозяин, молодой паренек, выудил из чана с водой живую рыбу, швырнул на доску и со всех сил стукнул ее по голове кухонным ножом. Рыба яростно била хвостом, брызги летели во все стороны. Мы сели, и папа нетерпеливо потребовал бутылку байцзю. Парень был занят рыбой и не мог сразу к нам подойти. Папа

сидел как на иголках, то и дело озираясь по сторонам и вертя в руках зажигалку. Дождавшись байцзю, он выпил все в несколько больших глотков и тогда наконец успокоился, глаза заблестели, скопившийся в них за день туман рассеялся. Папа мало-помалу развеселился и теперь сидел, покачиваясь на стуле.

– Может, и тебе немного плеснуть? – Он помахал передо мной рюмкой. – Согреешься.

Не дожидаясь ответа, он попросил вторую рюмку. Разливал папа очень осторожно, но все равно расплескал немного водки. Я снова заметила, как дрожат у него руки.

– Столько хватит? Ага, хватит, – ответил он сам себе, оглядел рюмку и протянул ее мне.

Я сделала маленький глоток, и язык обожгло огненными искрами. Нам выносили новые и новые блюда, скоро весь стол был заставлен, но ели мы мало. Папа едой явно не интересовался. А у меня в желудке будто разрастался тот печеный батат. К тому же мне не хотелось смотреть, как тарелки пустеют, – когда все съедено и выпито, сердце наполняется грустью, ведь это значит, что застолье окончено и пора прощаться.

Я изводилась от беспокойства, а папа, наоборот, казался расслабленным, щеки у него покраснели, а взгляд стал очень нежным.

– Выше нос, – сказал он. – Знай, какого бы мужчину твоя мама ни выбрала, он все равно окажется лучше меня. – Эти слова как будто немного его огорчили, и он поспешил улыбнуться.

– Мне все равно, что у нее за мужчина, все равно. – Я взяла рюмку и отпила еще глоточек. – И все равно, нравлюсь я ему или нет. Даже если не нравлюсь, какая разница.

Папа выглядел рассеянным, он не мигая смотрел на свою рюмку, не слушая меня.

– Но я не хочу менять школу, – тихо сказала я. – Мне очень не хочется разлучаться с друзьями.

– Друзья! – вдруг опомнился папа. – Это неважно, совсем неважно. – Он замотал головой.

Когда бутылка почти опустела, он снова заерзал на стуле.

– Пожалуй, надо еще одну заказать? Да, возьму еще. – Папа полюбил разговаривать сам с собой. Предупреждая возможные протесты, он быстро добавил: – Это ведь немного? Да, я же сегодня днем вообще не пил.

Я молча смотрела, как нам несут вторую бутылку. Я понимала, что для папы это вредно, зато он хоть немного развеселился. Правда, веселье это было непрочным, как тонкий лед, расколется от малейшего удара.

У папы запищал пейджер. Он отключил его, сделал большой глоток, но не успел опустить рюмку, как тот снова заголосил. Папа шлепнул его экраном на стол, но пейджер не умолкал. Не обращая на него внимания, папа сосредоточился на водке, однако я видела, что он злится, от его хорошего настроения уже ничего не осталось.

– О чем мы сейчас говорили? – Он поднял голову и посмотрел на меня. – Ах да, новая школа. Это ерунда, пустяки. Однажды ты узнаешь, что везде одинаково, никакой разницы нет. И это будет значить, что ты поняла жизнь.

Пейджер продолжал жужжать и вибрировать, как умирающее животное, которое из последних сил пытается ползти по столу.

– Да что ты будешь делать! – Папа тяжело сплюнул, поднялся на нетвердые ноги и

сказал, что выйдет позвонить. Сделав несколько шагов, вернулся и забрал со стола початую бутылку.

Он ушел, а я сидела и смотрела, как хозяин забивает курицу. Я впервые видела это вблизи, длинная жесткая шея мгновенно обмякла, из нее захлестала кровь. Курица была умнее рыбы, подумала я, она знала, что перед смертью надо закрыть глаза. Я наблюдала, как ее ощипывают, потом отрезают голову, прокалывают гузку, затем разделяют мясо на мелкие кусочки и бросают в котел. Вода быстро закипела, хозяин подошел к котлу и снял пенку.

Мой папа – алкоголик, это было уже совершенно ясно. Я почти ничего не знала об алкоголизме, но смутно чувствовала, что эта привычка может разрушить человека до самого основания. Наверное, папу она уже разрушила. Прежнего трезвого, дальновидного, честостюбивого человека больше не существовало. Новый папа был неповоротливым, глупым, безвольным... Впервые мне открылось, как хрупко и зыбко все, чем владеет человек. Наши врожденные черты не высечены в камне, таланты исчезают, а добродетели превращаются в пороки. Человек может измениться и стать кем-то совершенно другим. Я испытала ужас от того, что папа превратился в незнакомца, но с удивлением и нежностью обнаружила, что вовсе не перестала его любить. Да, он теперь совсем другой, он изменился до неузнаваемости, но моя любовь не исчезла и ни капельки не ослабла. Она была прочной, как утес, и это вселяло гордость. Такая крепкая любовь просто не может оказаться бесполезной. Поэтому я верила, что все равно сумею чем-то помочь папе.

Пока его не было, я успела многое обдумать и как будто резко повзрослела. Лучше бы это случилось раньше. Тогда бы я знала, как себя с ним вести. И сегодняшний день прошел бы иначе.

Из-за холода хозяева спешили поскорее закрыться. Но папа не возвращался, и хозяин уже несколько раз подходил к моему столу узнать, где он. Я немного забеспокоилась: вдруг папа ушел и бросил меня здесь? Набралась смелости и спросила, можно ли мне выйти его поискать. Хозяин недоверчиво меня оглядел и решил пойти вместе со мной.

На улице мы сразу увидели папу, он сидел на тротуаре, привалившись спиной к промерзшей стене. Голова свесилась между коленей, рядом стояла пустая бутылка. Я долго его трясла, и наконец папа поднял голову.

– Я заснул.

Хозяин взял деньги, буркнув напоследок: “Да уж, с таким отцом натерпишься горя”.

Папа, шатаясь, поднялся на ноги. Я хотела взять его под локоть, но он меня оттолкнул. И мы медленно пошли обратно той же дорогой. У дедушкиного дома он сказал, что не будет подниматься, зайдет в другой раз. И к лучшему, мне не хотелось, чтобы бабушка с дедушкой видели его таким пьяным.

Я одна шагнула в черный подъезд и обернулась посмотреть на папу. Шатаясь, он стоял на том же месте, черный плащ плескался на ветру.

– Зайду к тебе через пару дней, ладно? – нежно, почти умоляюще сказал он.

Как я хотела написать эти слова на бумажке и положить ее папе в карман, иначе наутро он ни за что их не вспомнит.

Чэн Гун

– Дедушка, прием, прием.

– Прием, прием. Это Сяо Гун.

– Дай знак, если ты меня слышишь...

Я просидел в палате до полуночи, пока батарейки в рации не сели. Дедушка не отвечал. Нет, отвечал, точно отвечал, просто я его не слышал.

Эксперимент не удался. В конце концов мне пришлось признать этот факт. Но ведь для первого раза это вполне нормально? Все великие изобретатели добивались успеха только после многочисленных опытов. Так я себя утешал, но на душе все равно было скверно.

Дело в радиоприемнике. Я пришел к выводу, что низкое качество приемника не позволяет устройству для связи с душой поймать дедушкин ответ. Приемник слишком старый, местные радиостанции еще кое-как ловит, а иногородние нет, что уж говорить о голосе души! Мне нужен более продвинутый и чувствительный механизм, чтобы он мог уловить даже самую слабую электромагнитную волну.

Несколько дней я погрузился, а потом снова собрался с духом и пошел искать приемник. Старьевщик сказал, что сейчас у всех стоят музыкальные центры, кому нужны приемники? Раньше их почти в каждом доме можно было найти, но кто продал давно, кто выбросил. Он предложил мне поискать приемник на барахолке.

Утром в воскресенье я сел на одиннадцатый автобус и доехал на нем до конечной. Это была западная окраина города, там находился огромный сельскохозяйственный рынок, в северо-восточном углу которого притулилась крошечная барахолка. Я внимательно осмотрел все прилавки и действительно нашел там несколько радиоприемников. Но они мало чем отличались от приемника из триста семнадцатой палаты. Убогие и обшарпанные, они источали тот особый запах сырости и времени, который бывает только у старых вещей. Я почувствовал отвращение. Потому что они напомнили мне о маме с ее красивой грязной одеждой.

Но, взяв в руки подержанный немецкий приемник, я не уловил никакого мерзкого запаха. Даже издали было видно, что он отличается от остальных. Я шагнул к угловому прилавку, не сводя с приемника взгляда, словно он в любую секунду мог исчезнуть из виду. Он тоже был старым, однако старел благородно и напоминал бодрого пожилого джентльмена в отглаженном костюме. Ни пылинки даже на самых мелких резьбовых отверстиях и в решетке динамика, телескопическая антенна без намека на ржавчину, слегка удлинённый пластмассовый корпус коричневого цвета излучал нежное эмалевое свечение. Сверху и по бокам приемника было множество непонятных рычажков и кнопок, по правому верхнему краю шла надпись мелкими белыми буквами, буквы так стерлись, что ее было почти не разглядеть, и даже случись кому-нибудь на рынке знать немецкий, он все равно не смог бы прочесть, что там написано. Но это только добавляло приемнику таинственности. Может, белая надпись – оставленный кем-то тайный шифр? Интуиция кричала мне: это он! В приемнике немного барахлили контакты, но хозяин лотка пообещал, что после ремонта его можно будет настроить даже на Северную Корею. Лоточник рассказал, что приемник попал к нему лет двадцать назад после обыска, который хунвэйбины устроили в доме у каких-то капиталистов, это самая ценная вещь на его прилавке, и он долго не решался выставить его на продажу.

Побродив по рынку, я снова вернулся к тому прилавку, взял в руки приемник и внимательно его оглядел со всех сторон. Зажав в зубах увядший желтый бычок, лоточник сощурился и проговорил:

– Четыреста юаней. Выложишь четыреста юаней, и он твой.

Я ухмыльнулся и пошел прочь. В любом магазине за новенькие отечественные приемники просили всего двести юаней с небольшим, на вид они тоже были ничего, но с тем немецким все-таки не шли ни в какое сравнение. И дело было даже не в функциях или качестве, главное – они выглядели слишком обычными, такие приемники встречались повсюду, и заполучить их не составляло труда. А разве в моем великом изобретении может участвовать радиоприемник, который продается на каждом углу?

С того дня немецкий приемник стал моим мучением, я просыпался утром, а он уже маячил перед глазами. До сих пор ни одна вещь не манила меня к себе так сильно. Но где же достать четыреста юаней? Если рассчитывать на карманные деньги от бабушки и тети, копить придется много лет. Попросить взаймы? Друзья у меня такие же нищие. Наверное, ты из всех самая богатая, хотя так и не скажешь, но я слышал, что твой папа зарабатывает в Пекине валюту, говорят даже, будто этой валютой можно набить целый грузовик. И наверняка он даст тебе много денег, раз так сильно тебя любит. Но я не мог просить у тебя. Если оплаченное тобой изобретение сработает, ты совсем зазнаешься и припишешь успех себе.

У кого же тогда просить? Я вспомнил про красноногого библиотекаря.

– Вот оно что, так ты изобретатель? – прокричал он в полупустой библиотеке.

Я испуганно огляделся по сторонам – к счастью, зал был пустым. Библиотекарь казался очень взволнованным, его глаза были испещрены красными прожилками, а громадный нос еще сильнее налился краской.

– Это правильно! Нужно набираться ума самому, учителям ни в коем случае не верь, все эти книжные премудрости не стоят выеденного яйца.

– Ага... – кивал я в ответ.

– Очень хотел бы тебе помочь, но я и так по уши залез в долги, чтобы выехать за границу. – Вспомнив о своей горе, он как-то сник и не сразу пришел в себя. – Патентное бюро! Напиши им письмо, обрисуй свой план, вполне возможно, они заинтересуются.

– Это слишком долго.

– Другого выхода нет, малыш. Мой тебе совет: отложи пока свое изобретение и придумай, как выехать за границу. В этой стране бесполезно что-либо изобретать, здесь все уже кончено.

– Не хочу уезжать. Никуда я не поеду.

Я вышел из библиотеки уже под вечер. Поднялся ветер, в небе закружились пожухшие листья. Солнце лежало на горизонте и не спешило заходить – умирающий диктатор, который из последних сил командует разбегающейся армией солнечных лучей.

На спортивной площадке было полно народа – наверное, собрались на соревнование. Я услышал, как вдалеке шлепает по асфальту баскетбольный мяч: пэн-пэн-пэн, и через несколько секунд поднялся радостный рев. Сколько счастья им приносит победа в соревнованиях, а может, всего лишь красивый трехочковый. Я завидовал этим людям, они жили простыми радостями. Как Большой Бинь с Цзыфэном, которые сидели перед экраном, вцепившись в джойстики, и отправляли носатого коротышку собирать грибы и глотать золотые монеты. С тех пор как дома у Большого Биня появилась приставка “Денди”, они с Цзыфэном попали в плен к Супер-Марио и уже не могли из него освободиться. На все приглашения поиграть я отвечал отказом, мне было стыдно тратить столько времени впустую. Скорее всего, я никогда уже не вернусь в их компанию, наши пути разошлись. Это было тяжелое чувство, но оно внушало мне гордость.

Конечно, ведь ты всегда был не таким, как они, шептал мне внутренний голос.

Если занять нигде не получается, неужели придется пойти на воровство? Я всерьез обдумал эту мысль. Однажды я своими глазами видел, как люди на рынке схватили мальчишку, укравшего кошелек. Ему заломили руки за спину, сорвали с головы вязаную шапочку. Вокруг собралась целая толпа, в него тыкали пальцами, стыдили. Какая-то старуха сказала: позор! Твои родители со стыда под землю провалятся! Ее брезгливый взгляд глубоко врезался мне в память. Нет, я должен спасти свой род, а не позорить.

Последняя дорога отрезана. Я чувствовал, как все мечты обращаются в прах. Видимо, мое великое изобретение так и останется пустой фантазией, если только Бог не сотворит чуда... Бог? Я ворочался на кровати без сна и вдруг резко сел: церковь неподалеку от Наньюаня... Как я мог забыть?

Стоя у подсвеченного солнцем витражного окна, священник ласково смотрел на меня:

– Приходи, если что-нибудь понадобится, хорошо? В любое время.

За все время он ни разу не изменил своему обещанию, каждый год дарил мне на день рождения то, что я просил. В этом году день рождения уже прошел, священник подарил мне авиамодель. Но ведь я мог попросить у него денег в счет подарка на следующий год.

Когда я пришел в церковь, священник стоял у кафедры и проникновенно читал какой-то отрывок из Библии. Потом он велел всем закрыть глаза – настало время молитвы. Одни прихожане рыдали, других трясло, третьи опустили на корточки, обхватив себя за плечи. Все начали что-то бормотать, беседуя с Богом. Казалось, прихожане куда-то торопятся, они сыпали словами, не давая себе остановиться и перевести дыхание, как будто при малейшей задержке Бог улетит из церкви, а его уши закроются, как двери в кабину самолета. Я тоже поспешно зажмурился и мысленно проговорил свое желание. Он услышит, я верил, что моя молитва здесь самая искренняя.

Служба закончилась, прихожане один за другим потянулись на улицу через арочную дверь, в уголках их глаз еще блеснули слезы. Священник вышел на середину церковного двора, и его тотчас окружили. Какие-то женщины принялись наперебой рассказывать ему о своих бедах: “Больше десяти дней мучаюсь бессонницей”, “Умершая мама стала являться во снах”, “Сыну на следующий год поступать в университет, сколько раз в день мне нужно молиться?”... Я стоял неподалеку и наблюдал, как священник терпеливо отвечает на их вопросы. Получив исчерпывающие разъяснения, женщины постепенно разошлись. Священник вздохнул, хотел было вернуться в церковь, но тут заметил меня.

– Здравствуй, маленький брат. – Всех людей они называли братьями или сестрами.

– Авиамодель классная, я пошел с ней на соревнования и даже получил приз, – без малейших усилий соврал я.

– Правда? Долго ты не заходил.

– Уроков много... – Сказав это, я почувствовал укол совести. Когда священник подарил мне авиамодель, я пообещал, что буду хорошо учиться и каждую неделю ходить в церковь. И оба обещания не сдержал.

– Прибегай, как будет время. Договорились? – Священник стер с лица усталую улыбку, махнул мне и зашагал к церкви.

– Подождите...

Он остановился и снова одарил меня отрепетированной улыбкой.

– Вы можете дать мне четыреста юаней? – сказал я как можно небрежней. – В счет подарка на следующий год.

Священник прищурился:

– Зачем тебе столько денег?

Я сжал губы и замолчал.

– Скажи, – строго потребовал он.

– Для очень важного дела.

– И какого же?

– Я не хочу вам врать. Вы сами говорили, что Бог учит нас говорить правду, ведь так? – Я похвалил себя за то, что смог вовремя привлечь на свою сторону Бога.

– Да. Мы всегда должны говорить правду, – кивнул священник. – Но и откровенность очень важна. Скажи, зачем тебе все-таки понадобились эти деньги.

– Это... Это секрет. У всех есть секреты.

– Верно. Но ты можешь спокойно доверить его мне. Так делают многие дети, они приходят в церковь и рассказывают мне все, что есть на сердце. Они доверяют мне, знают, что я никому не проболтаюсь. Малыш, откройся мне. Ты совершил какую-то ошибку? – Священник погладил меня по голове.

– Я не совершал ошибок.

– Кого-то побил? Или... испортил ценную вещь? – допытывался священник. – Может быть, ты что-то украл? Не беда, расскажи мне. – Его глаза алчно сверкнули, как будто мой грех – это сундук с золотом, которым во что бы то ни стало нужно завладеть.

– Я не могу сказать, – покачал я головой. – Но обещаю, что эти деньги нужны мне на хорошее дело.

– Хорошее дело?

– Да. Я могу поклясться, что не совершал никаких ошибок.

Священник внимательно оглядел мое лицо и наконец поверил, что я не вру. На секунду мне показалось, что он немного расстроился, глаза у него потухли. Я вдруг понял, что священники похожи на врачей: если все больные умрут, доктора лишатся работы. И священники здорово перепугаются, если все грешники вдруг обратятся в праведников. Не желая остаться без работы, они постоянно повторяют, что у каждого человека есть грехи, как доктора в больнице, которые всегда отыщут у тебя какую-нибудь болячку и выпишут от нее лекарство. Вот только что думает сам Бог? Неужели он создал людей и объявил их грешниками только для того, чтобы найти священникам занятие?

– Ладно. – Священник сделал шаг назад, как будто собирался уходить. Я решил, что затея провалилась, но он сказал: – Мне нужно время подумать, сразу ответить не могу.

– Спасибо, – быстро сказал я. – Так я приду через пару дней?

– Не надо. Я сам тебя найду, когда все обдумаю. Я знаю, в каком ты классе.

Не дожидаясь ответа, он развернулся и ушел. Я стоял на месте и смотрел, как его сутулая спина исчезает в дверях церкви. До чего непрост этот священник, знает даже, в каком я классе. Может, он хотел от меня отделаться? Вроде нет. Он казался обеспокоенным, будто ему предстояло решить какой-то щекотливый

вопрос. Но для священника эти деньги – полная ерунда, после богослужений в церкви всегда собирают пожертвования. Прихожане передают друг другу синий бархатный мешочек, и очень скоро он набивается до отказа. Пусть зачерпнет оттуда немного, мне хватит. Что в этом плохого? Лучше я куплю радиоприемник, чем тратить эти деньги на очередной слой краски для церковных ворот или новые метлы дворнику. Разве изобретение устройства для связи с душой – не достаточно великая затея? Неужели она не стоит того, чтобы люди немного за нее заплатили?

Неделю я провел в ожидании, но священник не появлялся. Я начал беспокоиться, что он забыл, в каком я классе, надо было тогда же ему напомнить. Но если бы он пришел в школу и спросил, где меня искать, ему бы наверняка подсказали. В воскресенье утром я снова отправился в церковь. Пока пели гимны, взгляд священника беспокойно блуждал по скамейкам, дошел до последнего ряда, наткнулся в углу на меня, на секунду замер и отскочил в сторону. Служба закончилась, и священника снова окружили прихожане. Я, как всегда, ждал в сторонке. Скоро меня отвлекла сорока, присевшая на стену церковного двора. Сороки приносят удачу, и моя вера в успех немного окрепла. Когда я оглянулся, священника нигде не было. Точнее, он сбежал. Потому что прихожане тоже не могли понять, куда он подевался.

Было ясно, что он от меня прячется. Не ожидал, что священник окажется таким трусом. Я решил остаться во дворе и ждать. С места не сдвинулся, пока он ко мне не выйдет. Видимо, все остальные были менее упрямы, постояли немного на холодном ветру и разошлись. Во дворе стало очень тихо, сорока давно улетела, а церковная стена теперь казалась еще выше. Из церкви, переваливаясь, вышла толстая женщина и велела мне немедленно уходить, потому что им пора закрываться. Я сказал, что никуда не пойду, пока не поговорю со священником. Она хотела схватить меня за шиворот и выставить на улицу, но я увернулся. Бегал я очень быстро, толстухе было меня не поймать. Сделав три круга по двору, она остановилась и, задыхаясь, проговорила:

– Ну и ладно, сиди здесь, помирай от голода.

– Скажите священнику, что я не уйду, пока не поговорю с ним!

Женщина вышла за ворота, и я услышал скрежет замка.

Я поднял с земли листик, очистил до черешка и поиграл сам с собой в “петельку”. Потом стал складывать друг на друга осколки кирпичей, построил из них высокую башню и разрушил ее одним резким ударом, как великий мастер ушу. Скоро игры мне надоели, я привалился к стене и сделал руками две тени – летящую птичку и утиный клюв.

– Привет, Чэн Гун, – хрипло поприветствовал меня утиный клюв.

– Привет, – ответил я.

– Сколько мы еще здесь пробудем? – спросил клюв.

– Не знаю.

– Я есть хочу, – сказал клюв.

– Я тоже, – вяло ответил я.

– Пойти бы сейчас на реку и поймать пару жирных рыбешек.

– Хорошо бы натереть их солью и обжарить в масле. – Мне приходилось то и дело сглатывать слюну.

– Да, так будет вкуснее?

– Ага. Шкурка станет хрустящая, ткнешь в нее палочками, а оттуда выступит

масло...

– А если к нам так никто и не выйдет, мы умрем здесь от голода? – спросил утиный клюв.

– Нет, они не посмеют. Они все верят в Бога и боятся наказания...

Я замолчал и опустил руки. Разговаривать с самим собой и правда тоскливое занятие. Я лег и попытался уснуть. Но золотистая жареная рыба так и маячила перед глазами, живот урчал. Вдруг я правда умру здесь от голода... Стало немного страшно. Наверное, они забудут обо мне и целую неделю сюда никто не придет. Я мужественно представлял, как в следующее воскресенье люди явятся на богослужение и обнаружат у церковной стены мой труп. К тому времени от него пойдет душок. Опарыши будут копошиться в провалившихся глазницах. А другие опарыши полезут наружу через открытый рот. Как поступят с моим трупом? Бросят в Башню мертвецов? Тоже неплохо, я смогу повидать вас, когда вы придете играть к Башне.

Прощай, Ли Цзяци. Я мысленно отрепетировал сцену нашего расставания. И когда произнес эти слова, они почему-то показались мне очень знакомыми, как если бы давно ждали своего часа и теперь упали, словно вздувшаяся штукатурка, осыпающаяся при малейшем касании. Странное, зловещее ощущение. Как будто расставание с тобой уже предрешиено, Бог давно написал этот сюжет, но до поры до времени запер его в ящике стола. А я всего лишь открыл ящик раньше времени... Вздвогнув, я сел и помотал головой, чтобы прогнать страшные мысли. Оказалось, солнце давно скрылось. Не успел я оглянуться, как наступил вечер, небо стремительно темнело, ветер усилился и яростно качал ветвями деревьев. Одетый в дырявую школьную форму, я съехал к стене и задрожал от холода.

Прощай, Цзяци. Эти слова вертелись у меня в голове, и никак не получалось от них отделаться. При каких обстоятельствах я скажу их тебе? Невозможно представить. Разве может разлучить нас что-то, кроме смерти? Правда, я был не совсем уверен, что ты думаешь так же. Показалось, что я очень давно тебя не видел. Я отдалился от тебя с тех пор, как начал работать над устройством для связи с душой. И не только от тебя, я отдалился от всего мира. Эта огромная тайна отрезала меня от людей. Я нес на плечах долг по возрождению рода Чэн и в одиночестве шагал по черному туннелю. И не знал, как долго придется идти. Есть ли конец у этого туннеля? Или я обречен вечно жить в темноте? Стало страшно. Может, ты и права: некоторые вещи нам вообще лучше не знать. Например, что такое душа... От слова “душа” по спине у меня пробежал холодок. Стоя посреди того сумрачного квадратного двора, я вдруг понял, что очень по тебе скучаю. Захотелось немедленно тебя увидеть, убедиться, что ты никак не изменилась. От этих мыслей моя упрямая решимость окончательно растаяла, хотелось только поскорее выбраться из этого проклятого места.

Стены, выходившие на улицу, были слишком высокие. Даже если получится забраться наверх по приставленным кирпичам, буду прыгать вниз – все равно расшибусь. В остатках света я пробрался за церковь по узенькой тропинке, поросшей сухой травой, и с той стороны стена оказалась ниже. Но я понятия не имел, что за ней. Правда, до меня доносился слабый запах кухни, ароматы лука и чеснока. Мой пустой желудок свело спазмом, я едва не дрожал от голода. Наверняка с той стороны чье-то жилье, надо перемахнуть через стену, а там уже думать дальше. Забравшись на шатающуюся башню из сложенных друг на друга камней, я подтянулся и влез на стену. За ней оказался сыхэюань. Все окна были зашторены, не разберешь, что внутри, но свет в комнатах подсказывал, что хозяева дома. Осторожно ступая по осколкам черепицы, я подобрался к краю крыши, спрыгнул на карниз, а оттуда во двор. Ногу все-таки подвернул, но не сильно. А вот шуму наделал много, люди в доме наверняка меня слышали. Я посидел недолго, припав к земле, но наружу никто не вышел. Тогда я подкрался к освещенному окну с восточной стороны и через щелку в шторах заглянул внутрь. В комнате я увидел толстую, которая гонялась за мной по церковному двору, теперь она спала, навалившись грудью на стол. Рядом лежали блокнот в твердой обложке и

раскрытая Библия. Страницы дрожали от воздуха, вылетавшего из толстухиногo рта. Комната была крохотная, в углу стояла односпальная кровать, видимо, толстуха жила здесь одна. Я подошел к двери, она оказалась не заперта, скрипнула и открылась. На цыпочках я подкрался к столу. Толстуха храпела, огромное тело вздымалось и опускалось, источая насыщенное тепло, даже воздух вокруг казался горячим. Я взял из блокнота ручку и с силой перечеркнул открытую страницу Библии огромным крестом.

Потом вернулся во двор, прошел полкруга вдоль стены и обнаружил в углу калитку. Через нее можно попасть на улицу. Я взялся за толстый тяжелый засов и осторожно потянул, стараясь не шуметь. И тут из дома раздался женский крик:

– С ума сошел? Вижу, ты совсем рехнулся!

Кричали в южной комнате. Я подошел поближе. Шторы были плотно задернуты, ничего не разглядеть.

– Считай, что это в долг Хуэйюнь... Она сейчас лежит дома, восстанавливается после болезни, не могу же я идти к ней и просить денег? – Это был голос священника.

– Так подожди, пока она поправится. Вели мальчику зайти попозже.

– Ты не понимаешь, если я не дам ему сейчас, он решится на воровство или грабеж... – Опять голос священника. – Этот ребенок в шаге от преступления.

– Так скажи ему правду. Скажи, что все подарки покупала Сюй Хуэйюнь. А теперь она заболела и не может дать денег.

– Нет. Я обещал Хуэйюнь, что мальчик ничего не узнает.

– Да что там у вас за тайны?

– Я же тебе рассказывал, у нее с семьей этого мальчика... Хуэйюнь уже много лет не знает покоя, видит, как плохо ему живется, чувствует за собой вину... Она даже исповедовалась. – Священник понизил голос: – Вроде какой-то человек по их вине впал в кому... Ай, это еще при “культурной революции” случилось, кто его разберет. Тем более это ее муж...

– Ли Цзишэн? – спросила женщина.

Услышав имя твоего дедушки, я вздрогнул.

– Так иди к Ли Цзишэну, пусть он даст денег.

– Нет. Он не знает, что Сюй Хуэйюнь покупала мальчику подарки.

– Почему? Ведь это он виноват?

– Он за собой вины не признает. Сам в Бога не верит и Хуэйюнь не позволяет. Если я сейчас явлюсь к ним на порог, он меня просто выгонит...

Всю дорогу домой я бежал; не снимая рюкзак, кинулся на кухню, затолкал в рот миску холодного жареного риса, оставшегося с обеда. Съел две сосиски, несколько жестких бисквитов и мешочек свадебных конфет, которые сто лет назад подарили тете. Съел все, что было в холодильнике. Ел я быстро, чтобы не оставалось времени думать. Потом заперся в туалете и встал под душ. Я долго не выключал воду: ее шум сдерживал мысли. Потом лег в постель, закрыл лицо подушкой и не убрал ее, даже когда стал засыпать. С крепко прижатой к лицу подушкой получалось не думать.

Той зимой постоянно стоял густой туман. Утром откроешь окно, а весь двор затянут серым, словно мир превратился в сломанный телевизор. Туман все предметы окрашивал в белесый. Крыши, улицы, провода и даже голуби в небе

будто разом оделись в траур. Туман отличается от других явлений природы, так мне всегда казалось. Дождь и снег опускаются с неба и несут с собой чистоту и далекие ароматы, а туман – это секрет, сочащийся из городских пор, мирская грязь. В 1993 году казалось, что наш промышленный город находится при смерти. Подземные источники пересохли, городской канал источал зловоние, пузатые трубы электростанции извергали густой дым, повсюду строились высотки, краны поднимали в небо песок и камни, а вместо них на землю ложились дым и пыль. Я не мог удержаться от мысли о скором конце света.

На следующий день священник нашел меня в школе. Он отвел меня в угол у лестницы и с серьезным лицом протянул конверт. Внутри было четыреста юаней. Не знаю, как ему удалось уговорить жену, а может, где-то занял. Было уже неважно.

– Извини, что так поздно, – сказал он.

Скорее, рано. Правда отыскала меня слишком рано, и узнать ее оказалось так легко, от меня даже не потребовалось никаких усилий. Ее приход положил конец всем моим ретивым замыслам. Я был подобен воину, который облачился в доспехи, схватил оружие и отправился принять страшную битву, а по пути узнал, что война закончилась. Какое беспощадное везение! Лучше бы я “погиб на поле боя”. Лучше бы потратил все силы на испытания “устройства для связи с душой” и, оставшись ни с чем, никогда не узнал бы правды. Как было бы хорошо.

– Теперь ты каждое воскресенье должен приходить в церковь, договорились? – выдвинул условие священник.

Его преисполненное сострадания лицо выглядело довольно потешно. Неужели он впрямь считает, что способен меня спасти? Я смотрел на священника, очень хотелось что-то ему сказать. Сделать так, чтобы он испугался, оскорбить его или его Бога, а потом швырнуть конверт на пол, развернуться и уйти. Но я ничего не сказал и молча принял конверт. Это была не подачка, а улика. Нужно держать конверт при себе, даже если я не смогу доказать их вину. Священник ушел, я постоял немного в коридоре и зашел в класс только после второго звонка. Вернулся на свое место и взглянул на тебя. Тайна, сотрясающая небо. А ты ни о чем не подозреваешь, сидишь со скучающим видом и листаешь комикс.

Рука у меня то и дело соскальзывала вниз и ложилась на конверт. В ладонь что-то ритмично билось. Тайна металась в конверте, как зверь в клетке, искала выход наружу. Только я знал, что она там. Только я знал, как больно она может ранить. Сердце бешено стучало, казалось, я не смогу его удержать и в следующую секунду, уже в следующую секунду оно выпрыгнет наружу. Руки начали подрагивать, как будто надо мной нависла огромная опасность. Я душил в себе страх и украдкой поспрашивал на тебя. Ты сидела над книгой, клевала носом, снимала резинку с распутившейся косички и заплетала заново, выщипывала катышки из рукава. Я сидел рядом, касался локтем твоего локтя, вдыхал воздух, который ты выдыхала, и вдруг почувствовал бесконечное одиночество. Мой мир перевернулся. Раньше рядом с тобой я не знал, что такое одиночество. А сейчас был одинок как никогда прежде, и все из-за тебя. Это одиночество отличалось от того, что я испытал после бойкота одноклассников или маминого ухода. Пожалуй, то чувство можно назвать одиночеством. А теперь на меня нахлынуло настоящее одиночество, бездонное и до удушья густое. Про себя я кричал в голос, но не мог издать ни звука, все попытки выразить его таяли в воздухе. Полная изоляция, как если бы меня заморозили в огромной льдине. Но я не сопротивлялся и не пытался сбежать. Я должен был оставаться в своем одиночестве и не мог сделать даже шага в сторону. Ведь если я избавлюсь от него, мне придется расстаться с тобой. Наверное, я должен тебя ненавидеть? Исполинская родовая вражда накрыла наши семьи огромной плотной сетью. И никому не спастись.

Твой дедушка. Его образ стоял у меня перед глазами. Вот он, прямой как палка, шагает по улице. Худое узкое лицо, испещренное таинственными морщинами, холодные бочаги никогда не улыбающихся глаз. Все эти годы они тайком следили

за нашей семьей. Смотрели, как глубоко засосала нас жалкая, нищая жизнь, дарованная его милостью. Наверняка под своей строгой маской он так и покатывается от смеха. Я не понимал, почему он не убил моего дедушку, почему нужно было загонять ему в череп гвоздь? Может, быстрая смерть не доставила бы ему такого удовольствия? И он нашел оригинальный способ растянуть забаву? Эта комедия продолжалась уже почти тридцать лет, неужели он до сих пор не насмотрелся? Почему его совесть так спокойна, почему его не гложет вина? Я не мог этого понять. А твоя бабушка все знала, и добрые дела ей нужны были только для того, чтобы скрыть злодеяние мужа. Да, ее терзала вина, она даже ходила к священнику на исповедь. Но эта исповедь была слышна только Богу. А при встрече со мной твоя бабушка не чувствовала стыда и не выказывала жалости, а старалась поскорее обойти меня стороной, как зачумленного. Я помнил ее брезгливый взгляд. Она сказала, что у меня нечистое сердце, запретила тебе со мной играть, боялась, что я тебя испорчу. И все эти годы тайком дарила мне подарки, только для того, чтобы моя жизнь не превратилась в полный кошмар, чтобы я не пошел на грабеж или воровство, чтобы не стал преступником. А скорее всего, она боялась другого, она боялась, что я начну мстить.

Я помнил тот сон, густой, как суп. Синий костер. Прозрачные люди. Ладони на моих плечах. Я не мог это забыть. Но раньше моя ненависть была абстракцией, грубой силой, не направленной ни на кого конкретно. Затем она превратилась в жажду изобрести устройство для связи с душой, в романтический порыв, в игру, захватившую все мои детские помыслы. Мне эта ненависть даже нравилась, с ней жизнь перестала казаться скучной и бессмысленной. Было бы так и дальше. Но с тех пор как я узнал имя преступника, все изменилось. У ненависти появился запах крови и острый оскал. И она день и ночь тянула из меня душу: "Теперь ты знаешь, кто преступник, пришло время мстить".

Ночь за ночью я не мог уснуть. Ворочался с боку на бок, тело пылало, приходилось прижиматься к стене и разглядывать кровавое пятнышко, оставшееся на штукатурке от прибитого летом комара. Тетя ворочалась на нижнем ярусе, скрипела зубами, храпела, изводя меня этими мелкими безмятежными звуками. Хотелось разбудить ее и спросить, как бы она поступила, случись ей узнать имя второго преступника. Но я не мог ни о чем спрашивать. Она бы поняла, что мне что-то известно. Я не мог открыть ей свою тайну. Тайна эта измучила меня до предела, но я все равно крепко сжимал ее в ладони и не смел ослабить хватку. Какой смысл в обладании этой тайной? Непонятно. Но я смутно чувствовал, что эта ненависть – только моя, что на мне лежит миссия. Пришло время действовать, но я понятия не имел, как. В любом случае, следовало что-то предпринять. Эта мысль не давала мне покоя. Тем не менее очень скоро я понял, что на самом деле всеми силами стараюсь сохранять видимость безмятежной жизни, потому в разговорах с тобой становился очень осторожен, боялся, что ты заметишь перемену. Вечером мы прощались, я шагал домой и с облегчением думал, что этот день снова прошел как обычно. Ничего не произошло, говорил я себе, жадно наслаждаясь этим покоем.

Но даже поведи я себя странно, ты бы все равно не обратила внимания – тебя поглощали собственные заботы, целыми днями ты только хмурилась, грызла губы и молчала. Даже тугодум Большой Бинь это заметил и уверенно заключил, что все дело в новом замужестве твоей мамы. Недавно ты съездила на прогулку с ней и ее женихом и с тех пор стала сама не своя, Большой Бинь догадывался, что мамин жених тебе не нравится. Конечно, как он мог тебе понравиться, разве кто-то способен заменить для тебя папу? Но у тебя не оставалось выбора, свадьба была назначена на следующий месяц. Тебя нарядят в красивое платье и заставят фотографироваться с новобрачными, может, тебе даже придется унизиться и назвать того мужчину папой. Это тебя и тревожит? Если так, почему ничего нам не скажешь? Наверное, у тебя есть и другая тайна. Давно, еще с тех пор, как ты завела разговор о душе. Или еще раньше, я не помнил, с чего все началось, но когда заметил перемену, ты была уже другой, от беззаботной девочки не осталось следа. У меня не было сил доискиваться, что тебя так изводит, я с головой окунулся в собственную тайну и постепенно шел на дно, уже не слыша звуков

вокруг.

Внешне действительно ничего не изменилось. Наступало очередное туманное утро, и я, как обычно, ждал тебя на перекрестке. Ты появлялась, молча подходила ко мне, и мы вместе шли в школу. Кажется, тогда я вдруг понял, что густой туман превращает мир в бледного туберкулезного больного. Нам даже собственных ног было не видно, мы становились безногой нечистью, подвешенной в воздухе. Перед глазами стоял белый занавес, дома и деревья выскакивали на нас, как привидения, и сердце каждый раз сжималось от страха. По воздуху плыл запах горелой листвы, дворничиха сметала в кучу опавшие листья, и было слышно, как скребет по асфальту ее метла. Мы тихо шагали рядом и молчали, казалось, что ни скажи – другой все равно не услышит. Плотный туман между нами создавал ощущение, что каждый идет под своим стеклянным колпаком. Накрытые колпаками, мы размышляли о своих заботах, и мысли, как язычки пламени, оставшиеся от костра, с треском догорали в разреженном воздухе.

Во всем виновата тайна. Тайна, существовавшая еще до нашего рождения, посеяла между нами раздор. Как дикие звери, мы жили охотой на тайны. И однажды должен был настать день, когда мы поссоримся из-за добычи и наши пути разойдутся. Наконец он настал. Прошло много лет, но, вспоминая ту зиму, я первым делом вижу, как мы с тобой идем рядышком в густом тумане. В плотном, бескрайнем похоронно-сером тумане. Наверное, это было бы самым точным изображением нашего детства. Мы бездумно бредем по сотканному из тайн туману, не видя дороги, не зная цели. Быть может, повзрослев, мы наконец вышли из тумана и увидели мир таким, какой он есть? Ничего подобного. Мы просто оделись в этот туман, замотались в него, как в кокон.

В воскресенье утром я снова отправился на барахолку. Угловой прилавок куда-то переехал, даже стол, на котором были расставлены вещи, пропал. Сосед сказал мне, что тот человек бросил торговать – много задолжал за аренду и теперь прячется. Я спросил: вы не знаете, где он? Лоточник закатил глаза: если б его можно было найти, стал бы я говорить, что он прячется?

И я ушел с рынка, сохранив в кармане четыреста юаней. Судя по всему, затея с устройством для связи с душой была с самого начала обречена на провал. Возможно, весь смысл этой сумасбродной фантазии состоял в том, чтобы я узнал имя второго преступника. Ведь случись мне поговорить с бабушкой, он рассказал бы мне именно это. Я вспомнил, как много лет назад в знойных снах он неутомимо учил меня стрелять из ружья, – бабушка хотел, чтобы я за него отомстил. Жаль, я тогда не понял его замысел и потерял столько лет впустую. Но теперь я все понимал, а что толку? Мысли о мести лежали на мне тяжким бременем.

В понедельник перед второй сменой в класс за тобой пришел вахтер. Ты выскочила за ним в коридор и на уроки уже не вернулась. Такого раньше не случалось. В школе мы всегда были неразлучны, и ты никогда не исчезала так надолго. На уроках я смотрел в другую сторону, стараясь забыть, что твое место пусто. До самого вечера у меня было беспокойно на душе, стальной линейкой я искрошил в порошок два ластика. Уроки закончились, но я сидел на месте, пока не стемнело, потом собрал твои учебники, пенал и вышел из класса. На проходной я хотел спросить вахтера, куда ты ушла, но он уже сменился.

На другой день ты объявила, что приехал твой папа. Этот таинственный и неотразимый мужчина из твоих рассказов отвел тебя в парк, а потом накормил ужином в ресторане у озера.

– Ты не представляешь, как нам было весело.

Твой ликующий вид привел меня в ярость. Как ты смеешь радоваться, когда я так страдаю? Я несу непосильный груз, а ты веселишься, где справедливость? Эта тайна должна была открыться тебе, а не мне. Это ты должна ворочаться в постели, изводясь от беспокойства. Тебе должно быть стыдно и страшно показаться мне на глаза. И ты должна подойти и серьезно попросить у меня прощения. Но ты

держишься так, будто вообще ни при чем. Словно какое-то божество тайно хранит тебя, не давая запачкаться об эту грязь.

– Мы заказали столько еды, весь стол был уставлен, и мы пили вино...

Ты наслаждалась воспоминаниями о вечере с папой и даже не пыталась скрыть бахвальства, словно хотела рассказать, какова на вкус родительская любовь, которой я никогда не знал. И напомнить, что отличаешься от меня, дикого ребенка, до которого никому нет дела. Раньше ты так не поступала. Оказывается, ты можешь из простой прихоти, не задумываясь, сделать мне больно. Кто же наделил тебя этим высочайшим правом? Неужели ваша семья будет вечно издеваться над нашей? Когда ты сказала, что перед отъездом папа снова отведет тебя на прогулку, я наконец вставил:

– Почему же ты не уедешь вместе с ним?

– Ему надо в Москву, сбывать товар. Но скоро он немного освободится и заберет меня к себе.

Я покачал головой:

– Этому не бывать.

– Что?

– Ты врешь. – Я взглянул на тебя в упор: – Он не собирается тебя забирать.

Лицо у тебя дернулось, радость в глазах потухла.

– Ты ему не нужна. – Я подстегнул себя сказать эту жестокую фразу. – Открой наконец глаза.

У тебя вырвался приглушенный стон, лицо скривилось.

– Они говорят правду, – отчеканила ты. – Чэн Гун, у тебя действительно нечистое сердце.

Я захохотал, заходясь смехом все сильнее, под конец даже схватился за живот и сложился пополам. Ты была уже далеко, а я никак не мог унять смех.

Ли Цзяци

Шестнадцатого декабря 1993 года я вышла из дома в половине шестого вечера, на мне была темно-зеленая куртка, белая вязаная шапка, за спиной – школьный рюкзак. Спустя сорок восемь часов Пэйсюань будет сидеть в полицейском отделении и взволнованно рассказывать, при каких обстоятельствах видела меня в последний раз. Она неоднократно подчеркнет, что тем вечером у меня не было ссор с домашними и ничего необычного в моем поведении она не заметила. Никто не знал, куда я ушла, только продавец газет на выходе из нашего жилого квартала заявил, будто видел, как около половины восьмого вечера я проходила мимо его киоска. Но он обознался. Потому что в это время я уже сидела в пекинском поезде и смотрела сквозь затуманенное окно девятого купе на пролетавшие мимо сумерки.

До сих пор не могу объяснить, что подтолкнуло меня тем вечером сбежать из дома и прыгнуть в пекинский поезд. Мама винит во всем ту самую пощечину и считает, что мой побег был протестом против ее брака с дядюшкой Линем. Я никогда не пыталась разубедить ее и избавить от мучительного раскаяния, но с самого начала отлично знала, что она здесь ни при чем. В тот вечер я ни разу о ней не вспомнила, даже забыла, что свадьба всего через три дня, – мама с дядюшкой Линем уже привезли мне новенький наряд: клетчатое пальто и платье с обшитыми бусинками оборками по подолу. Если у меня и были какие-то ожидания от этой свадьбы, связывала я их исключительно с возможностью надеть новое платье. Но, уходя, я и о нем позабыла. Конечно, нельзя сказать, что перевод в другую школу не сыграл своей роли. После отказа Пэйсюань я потеряла последнюю надежду, и будущее виделось мне сплошным черным пятном. Но я все равно не задумывалась о побеге. Потому что бежать было некуда. Я постоянно твердила, что скоро папа заберет меня с собой, но этого никогда бы не случилось, ты был прав. И все же я не врала, я просто... старалась отвести глаза от этой правды. Я ни за что бы не призналась себе: эй, а ты не нужна своему папе. Поэтому ты должен понимать, как жестоки были твои слова. Они вонзились в меня острым кинжалом, а орудовал кинжалом ты. Я шла прочь, не желая тебя больше знать, и тогда в голове впервые мелькнула мысль, что надо самой поехать в Пекин и разыскать там папу. Раньше я бы сразу подумала: а Чэн Гун? Как он без меня? Но в ту минуту боль, которую ты мне причинил, оказалась достаточно сильной, чтобы я отбросила беспокойство о тебе как можно дальше.

Правда, тогда я еще не думала о том, чтобы уехать вместе с папой. Это было невозможно, никто бы не согласился. Я планировала уговорить папу, чтобы он забрал меня в Пекин на зимние каникулы. Мне хватило бы и короткой встречи, а заодно ты бы понял, как сильно ошибался. Но вероятность, что я смогу уговорить папу, была очень мала, поэтому я приготовила запасной план: раздобыть его пекинский адрес и отыскать его самой. Но как узнать адрес? Сказать, что хочу написать ему письмо или прислать поздравительную открытку? У меня бы язык не повернулся обратиться к нему с такой сиропной просьбой.

И все-таки в первую очередь следовало беспокоиться о том, что папа не сдержит обещание повидаться со мной перед отъездом. Несколько тягостных дней я провела в изматывающем ожидании, в школе папа не появлялся, бабушку проводить тоже не заходил. Я позвонила на его пейджер и час ждала у телефона в магазине, но он не перезванивал. Я решила, что он уже уехал в Пекин, но на следующий день папа вдруг объявился.

Он пришел с плетеным мешком в руках, в том же черном плаще, такой же небритый, и привычным движением полез за сигаретами. На этот раз сигареты оказались другой марки, в пачке было всего две штуки.

– Я перезвонил, но продавец сказал, что ты уже ушла, – сказал папа. От него шел слабый запах алкоголя.

– Как ты провел эти дни? – взрослым тоном спросила я.

– Неплохо, повидался со старыми друзьями.

– С бывшими сослуживцами?

– Нет, с кем ездили вместе в деревню. Сейчас все большие бизнесмены. – Он бросил окурок и сунул руку в карман. – Встречусь сегодня еще с парой друзей, и пора уезжать. Купил бабушке укрепляющих средств, передай ей, как будешь дома.

– Ты к ней не зайдешь?

– В другой раз, сегодня вечером уже уезжаю.

Я опустила голову:

– Когда у тебя поезд?

– В восемь двадцать пять, – сказал папа. – Слушайся старших, в новой школе хорошенько старайся, чтобы не скатиться. Усекла? У тебя есть мой пейджер, если что, звони. – Договорив, он собрался уходить.

Я молча взяла у него мешок, не попросила побыть со мной еще немного, даже не сказала ничего на прощанье, просто стояла на месте как истукан. Цифры “восемь двадцать пять” захватили все мои мысли. Я раз за разом повторяла про себя эти три слова, пока они не начали казаться незнакомыми, в конце я была уже не уверена, это ли время он назвал.

Отныне я забыла о ссоре с тобой, забыла о переводе в новую школу и о всех остальных невзгодах. Мощное чувство подчинило меня себе. Чувство благородное и фанатичное, с каким еретики идут на костер во имя правого дела. Это оно заставило меня бегом нестись из школы домой, бросить мешок с укрепляющими средствами и без промедления помчаться на вокзал.

Я обещала себе, что однажды настанет день, когда я докажу папе свои чувства. И вот он настал. Не было никаких знамений, я не успела подготовиться, но все равно знала, что он настал. Папа выглядел удивительно несчастным, и это дарило мне слабую надежду, что я нужна ему, нужна как никогда раньше. А если посмотреть на дело с эгоистической точки зрения, сейчас у меня было больше всего шансов приблизиться к нему и показать свои чувства. Как я могла упустить такую возможность?

А последствия – что он отчитает меня, накажет, отправит домой... у меня не было времени об этом подумать. Голову занимали более важные вещи – например, как папа отреагирует на мое появление, как мы проведем ночь в поезде, как он живет в Пекине, что я должна сказать его жене.

Я вышла из Наньюаня, перебежала дорогу, подошла к остановке, села на восьмой автобус и проехала на нем до конечной. Вокзал был прямо за углом. Все шло гладко, как по маслу, как будто я заранее отрепетировала поездку на вокзал. По широкому перрону гулял холодный ветер, люди с чемоданами, сгорбившись, спешили вперед. Я заскочила в поезд и спряталась в пустом купе. Окно покрылось изморозью, я расчистила пяточек в углу и посмотрела на перрон. К поезду подходило много людей, но папы среди них не было. В купе стояла удушливая жара, щеки у меня горели, ладони намокли. Вошли двое мужчин с чемоданами и удивленно на меня уставились.

– Где твои родители? – спросил мужчина с лысиной.

– Ты точно едешь в этом купе? – спросил его товарищ.

Я сжала губы и уперлась взглядом в свои ботинки.

– Будешь молчать, позову проводника, – объявил лысый.

Я прошмыгнула между ними, открыла дверь и выскочила в коридор. Из другого

конца вагона мне навстречу шел проводник, я юркнула в ближайший туалет и заперлась там. Свет включался снаружи, и я стояла в темноте, глядя на блестящее пятнышко, плещущееся в сливном отверстии напольного унитаза. Кто-то подергал дверь, понял, что туалет закрыт, и ушел. Наконец поезд свистнул и медленно тронулся. Все это время за дверью не смолкал разговор двух людей. Я долго ждала, пока они уйдут, наконец снаружи стало тихо, и я вышла в коридор.

Я открывала двери во все купе по очереди и под удивленными взглядами пассажиров быстро обводила глазами верхние и нижние полки. Коридор укорачивался, дверей впереди оставалось все меньше. Сердце стучало, как копыта скачущей лошади, мир перед глазами раскачивался с каждой секундой сильнее. Наверное, у меня уже кружилась голова и я ничего не видела, как иначе объяснить, что дверь во второе с конца купе я тоже закрыла? А потом застыла в коридоре и простояла секунд десять, пока дверь с треском не открылась изнутри.

Я подняла голову и посмотрела на человека за дверью.

– Папа.

В лицо ударил густой запах табака, такой приятный, что захотелось плакать. И я заплакала.

– А если бы я поменял билет и поехал другим поездом? Ты об этом подумала? – спросил меня папа, когда его гнев почти улегся.

– Пришлось рискнуть.

– Рискнуть? – Папа улыбнулся, как будто хотел отдать должное этому заявлению.

– Да, я даже копилку с собой не взяла. Я была уверена... что ты окажешься здесь.

– Все-таки нельзя быть такой оптимисткой, надо всегда иметь в виду худший исход. Потом сама поймешь, – сказал папа.

– Ай, зачем об этом толковать, она и так до смерти перепугалась, разве не видно? – Женщина, сидевшая на нижней полке, улыбнулась, достала из пакета яблоко и протянула мне.

Эта женщина в бордовом драповом пальто была единственной нашей попутчицей. Мало того, что она слышала весь наш разговор, так еще и принимала в нем активное участие. Пока я не пришла, они с папой успели разговориться и выяснить, что учились на одном факультете, женщина на пару курсов младше. Она утверждала, что еще тогда была наслышана о папе и даже читала его стихи. Это пустое восхищение очень его тронуло, папа открыл купленное в дорогу пиво и предложил женщине выпить вместе с ним. Поэтому совершенно естественно, что с верхней полки она пересела на свободную нижнюю. Наша попутчица была из тех женщин, что быстро надоедают своей душевностью, правда, выглядела она неплохо, от нее приятно пахло шампунем, так что я не могла угадать, какого мнения о ней папа. Я же поначалу была ей даже благодарна, потому что в присутствии поклонницы папа сдержался и не устроил мне настоящую взбучку. К тому же она все время за меня заступалась, говорила, что у моего поступка должны быть мотивы. Но скоро я поняла, что ее соседство испортит эту ночь – ночь, которая должна была принадлежать только нам, считанные часы, когда мы с папой могли побыть наедине. Нужно было столько всего ему рассказать, жгучие слова кипели у меня в груди, но теперь они оказались совсем не к месту.

Женщина быстро поняла, что сейчас папе больше всего хотелось бы поскорее отправить меня обратно в Цзинань, и вызвалась помочь: сказала, что едет в Пекин в командировку, а через три дня возвращается обратно и может взять меня с собой. Папе эта идея явно понравилась, но он снова и снова уточнял, не слишком ли я ее обременю. Женщина отвечала, что это пустяки, к тому же ее гостиница

всего в одной станции метро от папиного дома.

– Ну вот все и утряслось, – сказала женщина. Она взяла у папы адрес и пообещала, что заедет за мной ровно через три дня, в семь часов вечера.

Моего мнения ни разу не спросили – передавали из рук в руки, словно груз. Но еще больше меня ранило то, как переменялся папа, он будто сбросил с плеч тяжелое бремя, радовался, что я больше не стану ему докучать. Решение было найдено, но он и не думал меня прощать – по-прежнему хмурый, вышел купить мне билет, вернулся с пачкой лапши быстрого приготовления. Желудок скрутило, так что съела я совсем немного, и то через силу. Но папа не уговаривал, он молча докурил сигарету и бросил: “Как доешь, отправляйся спать на верхнюю полку”. В мире не было наказания страшнее его равнодушия, думаю, он это знал, потому и говорил со мной так холодно.

С рюкзаком и яблоком, которое дала мне женщина, я забралась на верхнюю полку. И с той секунды будто перестала существовать. Они сидели за столиком и беседовали, потягивая пиво. Поначалу еще старались говорить тише, но скоро перестали сдерживаться, а потом алкоголь взял свое, голоса звучали все громче и громче. Они вспоминали студенческую столовую и общественную баню, с любовью говорили о пожилых преподавателях с факультета китайской словесности, какими они были мудрыми и строгими. Потом папа снова вспомнил о блеснувшем некогда поэтическом обществе, и попутчица к месту вставила слова восхищения. Я посмотрела вниз через зазор между матрасом и поручнем и увидела, как папа покачивается на нижней полке, закрыв глаза и блаженно улыбаясь. Он уже опьянел и погрузился в прошлое, приносившее ему столько радости. Даже у случайной попутчицы оказалось больше общего с папой, чем у меня. И вместо того, чтобы пожалеть дочь, которая порядочно натерпелась, чтобы его найти, он травит эти бородатые байки. Теперь я видела, что папу могут развеселить и воспоминания, и алкоголь, и капелька смешного поклонения, да что угодно, только не я. Надежда растаяла как дым – я ему совсем не нужна. Накрывшись едко пахнувшим одеялом, я тихо заплакала, а потом провалилась в мутный сон. Но скоро проснулась с чувством, что вся горю, спину ломило, пришлось свернуться в клубок и прижаться щекой к прохладной стенке купе. Я поняла, что у меня начинается жар. И хорошо, пусть температура поднимется повыше, тогда папа пожалеет меня и раскается, что так со мной обошелся. Лучше, если жар продержится три дня подряд, а я буду валяться в бреду, тогда меня не отправят обратно в Цзинань. Я нырнула в печальные фантазии, и голоса внизу стали постепенно удаляться.

Перед рассветом я проснулась от какого-то шороха – они сметали шелуху от семечек и арахиса со стола в мусорное ведро. Папа приоткрыл окно, выгоняя табачный дым из купе. Бледный утренний ветер взбил занавески и легко скользнул по моему лбу. Я потрогала лоб, он был совсем не горячий. Температура мне как будто приснилась, но ломота в теле была настоящей. Мы подъезжали к Пекину, сердце у меня странно сжалось, захотелось даже немного отсрочить наше прибытие, мне вдруг показалось, что в конце я все равно останусь разочарована. А поезд тем временем летел стрелой, и небо за окном с каждой секундой угрожающе светлело. Я повернулась на другой бок, закрыла глаза и попробовала ускользнуть в тонкий сон. Сквозь дрему прорвался папин голос: “Странное дело, в последнее время я постоянно встречаю старых друзей, как будто заново переживаю прошлое”.

Мы вышли из вокзала и поймали такси. Я прижалась лицом к окну, вглядываясь в этот город, который столько раз являлся мне во снах. В сизом тумане он казался тихим и просторным. Все здания ростом были в два раза выше цзинаньских, улицы такие широкие, что не разглядеть другой стороны. Папа сидел рядом со мной и курил в открытое окно. Таксист попался болтливый, пробовал разговаривать папу, но он только пару раз вставил что-то в ответ, а все остальное время хмурился, поминутно стряхивая пепел.

Машина остановилась у темно-красного дома. Папа повел меня к последнему

подъезду. Шел он не торопясь, а у подъезда остановился и снова закурил.

– Как поднимемся, позвони бабушке с мамой. – Он покачал головой. – Ты такая капризная, думаешь только о собственном развлечении, а с остальными людьми совсем не считаешься.

– Извини... – ответила я. – Но ты обещал, что отвезешь меня в Пекин...

– Это когда было. Сейчас у меня не жизнь, а бардак... – Он горько усмехнулся, бросил окурок в ближайшую урну и шагнул в подъезд.

У двери на третьем этаже папа долго хлопал себя по карманам в поисках ключей, наконец отыскал их во внутреннем отделении чемодана.

Из-за задернутых штор в комнате было темно. На полу громоздились какие-то вещи, они вырастали друг за другом, точно гряда холмов. Я боялась на что-нибудь наступить, поэтому стояла и ждала, когда папа включит свет, но вместо этого он перешагнул через мешки и прошел к окну. Только тут я заметила, что на диване у окна кто-то есть. Женщина, она сидела, сложившись пополам, уронив голову на колени.

– Иди спать.

Папа подошел к дивану и поднял женщину на ноги. Она покачалась немного на месте, потом с силой оттолкнула его и упала обратно на диван. Папа снова взял ее за плечи и потянул вверх, как если бы вытаскивал саженец из земли. Женщина затряслась, вырвалась и замахала руками. Они сражались в темноте, яростно и бесшумно. Женщина со всей мочи хлестала папу руками, лягалась, а он терпел ее удары, не ослабляя хватки. Наконец из горла женщины вырвался длинный стон, она постепенно затихла. Папа крепко ее обнял, и они неподвижно застыли у дивана.

Мне следовало отвернуться или закрыть глаза. Но я не мигая смотрела на них, как на солнечное затмение. Я никогда не видела, чтобы папа кого-то обнимал, да еще так страстно. Это меня потрясло, и единственным звуком в комнате был стук моего сердца. Наверное, они тоже его слышали, но сочли недостаточным поводом, чтобы заметить мое присутствие.

– Зачем ты вернулся? – Женщина высвободилась из папиных объятий. – Ты ведь сказал мне, что не вернешься! – Голос хриплый, как бывает, когда очень долго молчишь.

Вместо ответа папа спросил:

– Она еще спит?

Я поняла, что в квартире нас четверо.

– Зачем ты вернулся? – повторила женщина. – Все кончено, ты сам сказал.

– Это сгоряча, ты и сама много чего наговорила. Перестань, я же вернулся.

– Поздно. – Женщина заплакала. – Правда, слишком поздно. Я приняла таблетку, сделала аборт...

– Ладно, не надо больше сцен!

– Ха, думаешь, я тебя пугаю? – Женщина бросилась к папе и стала трясти его за плечо: – Слушай меня внимательно, нашего ребенка больше нет! Он вывалился из меня и уплыл в канализацию...

Папа взглянул в ее лицо:

– Сумасшедшая. Такая же, как твоя мать.

– Тебе он был не нужен, ты сам сказал, что все кончено! – кричала женщина. – Посиди, как я, неделю в четырех стенах, целыми днями карауля телефон, тогда узнаешь, что такое настоящее отчаяние!

– Хватит, вечные упреки, вечно я виноват, – сказал папа. – Ты не представляешь, сколько мужества мне потребовалось, чтобы вернуться, и что я вижу? Снова бесконечные сцены и слезы. Я этим сыт по горло.

Он оглянулся и посмотрел на меня. Как будто хотел сказать: теперь ты видишь, это и есть моя жизнь.

Взгляд женщины тоже остановился на мне.

– Кто это?

– Моя дочь, – ответил папа. – Поживет у нас два дня. Погоди немного, я ее устрою. – Голос звучал устало, почти умоляюще.

– Дочь... Да, у тебя ведь есть свой ребенок, тебе вообще все равно... – пробормотала женщина.

Папа завел меня во внутреннюю комнату. Там оказался склад, на полу громоздились пузатые плетеные баулы, некоторые были так набиты, что даже молнии не застегивались, и оттуда свисали одинокие рукава пуховиков. Из баула у стены выглядывала голова игрушечной панды. Папа перенес его за дверь, и, лишившись опоры в виде стены, баул завалился на бок, панды, кувыркаясь, вывалились на пол. Все они одинаково задрали лапы, будто хотели со мной обняться. Папа вынес еще несколько баулов, достал из-за двери раскладушку с панцирной сеткой и кое-как расставил ее на освободившемся месте. В шкафу он нашел матрас с одеялом и бросил сверху.

– Я узнаю, можно ли купить билет на вечерний поезд. Поедешь сегодня, а я договорюсь с проводницей, чтобы за тобой присмотрела. В Цзинане вернешься домой на том же автобусе.

Я молчала.

– В другой раз. Продам товар, верну долги, возьму квартиру побольше, тогда привезу тебя погостить. Обещаю, – сказал папа.

– У тебя долги?

– Это же бизнес, бывает, что сразу не успеваешь расплатиться, – нетерпеливо ответил папа. – Детям рано думать о таких вещах, понятно?

– Когда будет другой раз? На летних каникулах получится?

– Думаю, да. Вот придет весна, можно будет ехать в Москву, а то зимой там невыносимо.

– Значит, договорились?

– Да. Товар быстро уйдет. Да, быстро. – Он кивнул, словно пытаясь убедить в этом самого себя. – Ты давай, поспи немного. Я, наверное, не скоро вернусь, позаботься о себе сама.

Он вышел и затворил за собой дверь. Я села на раскладушку. Матрас был тоненький, и холод от панцирной сетки пробирал до костей. Спать не хотелось. Я наострила уши и слушала, что происходит в гостиной, смутно разобрала женский плач и глухой папин голос. Потом хлопнула дверь. Папа ушел, сердце у меня упало, я вскочила и поскорее заперла задвижку. Снаружи стало тихо, ни звука. Меня так и подмывало открыть дверь и посмотреть, что там, но я все-таки сдержалась. При одной мысли об этой чужой женщине мороз шел по коже. Она и есть Ван Лухань, я представляла ее совсем иначе. Немолодая и не такая красивая,

как мама, к тому же совсем не ласковая, ее истериками только людей пугать. Непонятно, что папа в ней нашел. Наверное, уже пожалел, что связался с ней, и не рад сюда возвращаться.

Но потом я вспомнила, как он ее обнимал, и снова засомневалась. Это объятие было пропитано страстным чувством, словно некая сила связала их вместе, не давая возможности расстаться. Поэтому папа так страдает. Что же я могу для него сделать? При мысли о том, что вечером я уеду и папина жизнь, да и весь Пекин больше не будут меня касаться, сердце больно сжалось. Даже эта комнатка, заваленная вещами, показалась немного роднее. Я подошла к одному из баулов, села на корточки и посмотрела на высунувшуюся наружу панду. Когда в Пекине проходили Азиатские игры, эта панда стала знаменитостью. Как-то один мальчик принес ее в класс, и на перемене все хотели ее потрогать. Из странной гордости я сделала вид, что панда мне совсем не интересна, но в душе тоже мечтала заполучить такую игрушку. Узнай одноклассники, что передо мной сейчас не одна панда, а целых сто, они бы лопнули от зависти, это точно. Я по очереди вытащила панд из баула, усадила их в ряд и принялась рассматривать. Оказалось, мордочки едва заметно, но отличаются: у той глаза посажены ближе, у этой рот чуть меньше. Одна панда почему-то показалась мне немного грустной, я взяла ее на руки и сразу придумала, что назову ее Татой. До сих пор у меня не было мягкой игрушки, с которой можно спать в обнимку, но Тата повстречалась мне в беде, и я тут же решила, что заберу ее с собой в Цзинань и никогда с ней не расстанусь.

Обнимая панду, я подошла к окну. Это и есть Пекин, сказала я себе, стараясь заметить каждую мелочь, отличающую его от Цзинаня. Но увидела лишь ничем не примечательный северный город. Затянутое облаками небо порезано антеннами на мелкие кусочки. Степенные старые дома из кирпича, голуби, торжественно замершие на крышах. Разница была только в том, что широченные улицы казались заброшенными, потому что их никто не переходил. В окрестностях я не увидела ни рынка, ни почтового отделения, ни ресторанчика – должно быть, местные жители вообще не едят мирскую пищу. При мысли о ресторанчике желудок скрутило. Очень хотелось есть, от голода кружилась голова. А в комнате даже термоса с водой не было, я и попить не могла.

В углу за огромным баулом пряталась стопка книг. Заметила я их случайно – мягкая белая обложка верхней книги слегка блеснула на свету. Ее покрывал слой пыли, я отряхнула книгу о стену и прочитала название: “Полное собрание современной китайской прозы: том второй”. Под вторым томом лежал пятый, а под пятым – седьмой. Оказалось, это целый комплект из тринадцати томов. Я открыла книгу и в списке членов редколлегии на титульном листе увидела иероглифы “Ли Муюань”. Папа был главным редактором этой серии, и я тут же заинтересовалась. Наверное, он привез книги из Цзинаня? Но раньше я никогда их не видела, посмотрела на дату издания – они вышли в прошлом году. Скорее всего, папа проделал огромную работу с этим собранием, но уволился из университета, не дождавшись выпуска. Я разложила книги по порядку и взяла в руки первый том. Прочла оглавление и открыла книгу на самом красивом названии – “Любовь, разрушающая города”. Заглавие сулило волнующую любовную историю, но на первых же страницах выяснилось, что главная героиня разведена, и меня это очень разочаровало. Повесть была о том, как разведенная женщина снова влюбляется, – это напомнило мне о маме; ко всему прочему, герои постоянно интриговали и строили друг другу козни, ничего хорошего. Я кое-как дочитала до конца, история мне совсем не понравилась, я взглянула на имя писательницы и поклялась себе, что больше ничего у нее не прочту.

Небо продолжало хмуриться. Часов в комнате не было, я не знала, наступил ли уже полдень. Очень хотелось писать, я открыла дверь, метнулась в туалет и заперлась там на щеколду. В темноте долго шарила по стенам, но выключателя так и не нашла. Я уже расставила ноги над напольным унитазом и собралась присесть, как вдруг увидела его – сгусток окровавленной плоти.

Унитаз, сиявший ледяным фаянсовым блеском, напоминал холодный операционный стол. Его бросили там, инородный организм, извлеченный из

человеческого тела.

Я могла притвориться, будто не поняла, что это. Его было невозможно опознать. Ни тела, ни имени, оно еще не успело этим обзавестись. Оно находилось на пути в наш мир, когда ему объявили, что приходит не нужно.

Оно не понимало, в чем причина. И крепко ухватилось за борт сливного отверстия, сжавшись в окровавленный кулачок, цепляясь за край этого бессердечного мира и не желая ослабить хватку.

Оно задрало голову и обратило на меня пустое лицо, заставляя признать родство между нами. В моих жилах и в его несформировавшихся сосудах течет общая кровь. Я уже не вступлю в эту кровную связь, но никогда не смогу ее отрицать. Оно хотело, чтобы я это помнила.

Оно смотрело на меня. Я почти видела виноградные косточки его глазок, с ненавистью взиравшие на меня из кровавой лужи.

Я отскочила и забилась в угол, прижалась спиной к стене. Глаза почти привыкли к темноте, и тут что-то ударило меня по голове. Я едва не взвизгнула. Взяла себя в руки, оглянулась – это был шланг от душа, пластиковая лейка покачивалась в воздухе. Набравшись смелости, я схватила лейку и с силой потянула вниз.

Струя воды с шумом ударила в унитаз, окружила существо, затопила его макушку, разжала его пальцы и заставила отпустить руку.

Шестым чувством я поняла, что оно было моей сестренкой.

Струя слизала последние следы крови, приставшие к фаянсовым стенкам, закутилась воронкой и ушла в слив. Потревоженная вода в сливе постепенно успокоилась, осталась только глубокая черная дыра с бликами света, из которой в любую секунду мог выпрыгнуть этот сгусток. Я не отважилась мочиться в унитаз и пулей вылетела из туалета.

В гостиной я долго стояла перед балконной дверью, наконец потянула ее на себя, сделала шаг наружу, подошла к перилам и присела на корточки у желоба для воды. Сидя на суровом ветру, я слушала свою звонкую струю, смотрела на пар, поднимавшийся из-под ног, и чувствовала в этом саму жизнь, мужественную и печальную. Потом встала, пошаркала мокрыми подошвами о пол. Хотела вернуться обратно в гостиную, но за прикрытой дверью увидела бледную тень, которая пристально за мной наблюдала. Я вскрикнула.

– Не бойся, – сказала тень, но сама явно испугалась – ее здорово трясло.

Держась за дверью, я заглянула в гостиную. Это была женщина, очень-очень старая, время выжало ее, превратив в пучок сушеных водорослей.

– Не бойся, не надо бояться, ничего страшного... – Повторяя это, как заклинание, она отступила на несколько шагов в комнату. – Не бойся, не бойся... – Она пятилась, отчаянно мотая головой.

Заколки-невидимки выскочили из ее волос и с тихим звоном упали на пол. Звук напугал старуху, она опустила голову, пытаясь отыскать заколки, а потом принялась яростно топтать их, будто давила невидимых насекомых. Потопав, замерла, резко вскинула голову, увидела меня и в ужасе выбежала из гостиной. Раздался грохот захлопнувшейся двери.

Много лет спустя Тан Хуэй не поверил, когда я рассказала ему эту историю, он уверял, что Ван Лухань не могла оставить этот сгусток в унитазе и я все придумала. Но если я его не видела, почему же так перепугалась и убежала справлять нужду на балкон? А если бы я не сбежала на балкон, как бы увидела за балконной дверью матушку Цинь? Эти воспоминания связаны друг с другом в одну цепочку. И еще: как тогда объяснить, что с тех пор я боюсь сливных отверстий в

унитазах? Не могу смотреть туда даже при свете. Слива в раковине я тоже боюсь, поэтому никогда не наклоняюсь, чтобы умыться, и вечно мочу рукава.

Но Тан Хуэй сказал, что ложные воспоминания, пустив однажды корни, начинают переплетаться с воспоминаниями настоящими и точно так же могут послужить причиной появления самых разных привычек и внутренних запретов.

– В твоём подсознании с самого рождения живет необъяснимое чувство вины. – Встречаясь со мной, Тан Хуэй поднаторел в психоанализе. – Ты считаешь себя соучастницей ошибок, допущенных взрослыми, поэтому твои воспоминания постепенно искажаются, и ты убеждаешь себя, что не просто видела абортированный плод, а еще и расправилась с ним.

Чувство вины. Да, оно у меня есть. Но разве оно врожденное? Или я приобрела его, раз за разом погружаясь в воспоминания? Честно, не знаю. Но я действительно испытываю страстное желание встать в их ряд и разделить с ними вину. Наверное, моя собственная жизнь слишком пуста, потому я стараюсь пробиться в другой, не принадлежащий мне мир, чтобы наделить ее смыслом.

В тот день папа долго не возвращался. Перепуганная, я убежала в свою комнатку и легла на раскладушку в обнимку с Татой. Очень хотелось есть, раскладушка была холодная, а вместо подушки я положила пузатый плетеный баул, но мне все равно удалось уснуть. Сквозь сон я услышала, как кто-то поет. Подумала, что мне это снится, открыла глаза, но голос не исчез. Жалобная, печальная песня, сладкий, густой женский голос патокой лился в уши. Хотелось еще немного поспать под эту песню, но я уже окончательно проснулась.

“Небо усыпано звездами, месяц сияет, блестит...” В песне была только эта строчка, и она раз за разом повторялась, рождая смутную тревогу.

Я встала с раскладушки и после непродолжительной борьбы с собой набралась смелости, открыла дверь и вышла из комнаты. В гостиной Ван Лухань расчесывала волосы безумной старухе, которая меня напугала. Прямая как палка, старуха сидела на деревянной табуретке у окна, держа в ладони кучку черных невидимок. Старуха впиалась глазами в эти невидимки, словно боялась, что их отнимут. И только тут я увидела, что ее губы шевелятся, – оказывается, вот кто пел. Я никогда бы не поверила, что такой нежный голос может выходить из сморщенных старых губ, если бы не увидела это собственными глазами.

Песня свободно лилась откуда-то из глубины старухиного тела, как будто там была заключена другая женщина, не старая и не сумасшедшая. Ван Лухань стояла за ее спиной, роговой гребень в форме полумесяца цветом напоминал прозрачный мед, и медовые солнечные лучи струились из окна, вплетаясь в сухие и жидкие седые волосы.

“Небо усыпано звездами, месяц сияет, блестит...” Не знаю, сколько раз повторила старуха эту строчку, пока не вспомнила следующие слова: “Митинг идет в бригаде, справедливости ищет народ. Проклятое старое общество, бедняки отомстят за слезы и кровь. На сердце нахлынули старые воспоминания, старые воспоминания. Не сдержать горьких слез, они бьются в груди...”

Меня бросило в дрожь – до чего же страшная песня. Хорошо, что старуха скоро опять забыла слова и стала тихо повторять первую строчку: “Небо усыпано звездами, месяц сияет, блестит...” Ван Лухань рассеянно водила гребнем по седым волосам.

Старуха была матерью Ван Лухань, носила фамилию Цинь. Много лет спустя Се Тяньчэн рассказал мне ее историю. Вроде бы Ван Лухань заметила у матери душевное расстройство, когда та перестала спать по ночам. Вечером еще не успевало стемнеть, а она садилась у окна и, не сводя глаз с неба, заводила эту песню.

Не знаю, сколько прошло времени, но песня наконец смолкла. Ван Лухань

отложила гребень, взяла у матери невидимки, пригладила выбившиеся пряди и заколола у висков. Растрепанные старухины волосы теперь были собраны невидимками, в их обрамлении морщинистое лицо напоминало голый сухой колодец.

Ван Лухань взяла с подоконника ручное зеркальце и подала старухе. Матушка Цинь приняла его двумя руками, внимательно всмотрелась в свое отражение, потом зацепила мизинцем прядь над левым ухом и сообщила Ван Лухань:

– Одна прядка выпала.

Та сняла две невидимки и переколола их заново.

– Теперь хорошо, – заключила Ван Лухань.

– Теперь хорошо, – повторила матушка Цинь, подхватывая ее слова. Но зеркальца не отпускала, так и вертела головой, осматривая себя со всех сторон.

Ван Лухань отложила гребень, подошла к дивану и села. На ней был бледно-сиреневый домашний халат из тонкого флиса, запахнутый на груди, ключицы были открыты, и ямки над ними походили на пустые чаши весов. Она была совсем худой и напоминала какой-то холодный лабораторный инструмент. Ко всему прочему, слегка тронутый ржавчиной: на виске у нее я увидела несколько бурых пятнышек. Яркое послепопудренное солнце заливало комнату, Ван Лухань, явно страдая от его лучей, передвинулась на самый край дивана, но и там от них было не спрятаться. Тогда она сдалась, закрыла глаза и устало откинулась на спинку, а лучи бросились клевать ее лицо, точно стоя обнаглевших голубей.

Старуха так и возилась с зеркалом. Долго терла щеку, пока не поняла, что грязные пятнышки пристали не к лицу, а к зеркалу, потом оттянула рукав и старательно протерла отражение.

Ван Лухань открыла глаза и потянулась к сигаретной пачке на журнальном столике, достала оттуда сигарету и зажала ее в зубах. Чиркнула спичкой, наклонилась к огоньку и глубоко затянулась. Потом приподняла подбородок и через сомкнутые губы выпустила тонкое облачко белого дыма.

Тогда я впервые увидела курящую женщину, если не считать тех, что показывали по телевизору. Мне вдруг вспомнилась Цзян Лайлай, девочка из параллельного класса. Она перевелась в нашу начальную школу почти одновременно со мной, из-за домашних неурядиц Цзян Лайлай в предыдущей школе скатилась на двойки и осталась на второй год. Но я догадываюсь, что на второй год она оставалась не однажды: у Цзян Лайлай была фигура вполне сформировавшейся девушки, блузка едва не лопалась на груди. Ее парень учился в средней школе, он постоянно болтался в бильярдных и видеосалонах и управлял компанией местной шпаны. После уроков Цзян Лайлай, не стесняясь одноклассников, усаживалась на заднее сиденье мопеда своего парня и прикидала к его спине. Ты еще рассказывал, что однажды дождливым днем видел, как они стояли под козырьком бильярдной и парень передал Цзян Лайлай зажженную сигарету. Но ты не стал на них заглядываться, раскрыл зонтик и поспешил прочь, чтобы парень тебя не побил. Цзян Лайлай с сигаретой похожа на падшую женщину, процедил ты тогда. Но мне твои слова показались высшей похвалой. Курящая Ван Лухань соединилась в моем воображении с Цзян Лайлай, и я решила, что в детстве она была именно такой.

Ван Лухань обернулась, взглянула на меня и долго не отводила глаз, пепел на ее сигарете покосился и упал на пол.

– Ты совсем не похожа на своего папу, – заключила Ван Лухань.

Кажется, она была этому рада. Судя по интонации, Ван Лухань хотела, чтобы мой папа принадлежал только ей.

Я немного обиделась и быстро возразила:

- Просто вы не видели фотографий, где папа снят в моем возрасте. Там он очень похож на меня.

- Да? - улыбнулась Ван Лухань.

- Да, по фотографиям вы бы сразу поняли.

- Не думаю. - Ван Лухань пристально посмотрела на меня, и ее улыбка погасла. - В моем возрасте мы с ним были уже знакомы.

Сердце у меня тронуло холодом, я даже рот открыла от удивления. Они знакомы с раннего детства. Перед глазами снова выросла Цзян Лайлай со своим парнем, я представила, как они стоят у входа в бильярдную и по очереди раскуривают одну сигарету. С козырька льется вода, воздух пропитан влажным ароматом вожделения. Папа был таким же, как этот парень? Их образы никак не хотели соединяться у меня в голове. Но очень возможно, что папа и Ван Лухань тоже полюбили друг друга еще детьми. От мысли, что эта женщина так рано поселилась в папином сердце, меня снова охватила ревность.

Зеркальце с грохотом выпало из старухиных рук на подоконник. Тыча в меня пальцем, она спросила:

- Это кто?

- Мама, не волнуйся, это дочка наших родственников, - ответила Ван Лухань.

- Почему же она такая растрепанная? - Матушка Цинь в ужасе уставилась на меня и велела Ван Лухань: - Причеши ее, скорее.

- Мама, хватит, не шуми, - холодно сказала Ван Лухань, затушив окурок.

Старуха резко вскочила и бросилась ко мне.

- Такая растрепана, это не годится, не годится. - Она подтащила меня за локоть к окну и взмолилась: - Ну же, скорее причеши ее...

Старуху била дрожь, казалось, ее вытаращенные глаза вот-вот выпадут из глазниц. Я отчаянно вырывалась, но ее руки крепко вцепились мне в плечи.

- Перестань буянить, - строго сказала Ван Лухань. - Ты пока всех с ума не сведешь, не успокоишься?

Матушка Цинь как будто и не слышала, знай себе бормотала: не годится, не годится. Потом она взяла со стола гребень, подтянула меня за плечо, сорвала резинку, быстро расплела мою растрепанную косу и принялась меня расчесывать. Я мотала головой, пытаюсь ей помешать.

- Будь послушной девочкой, - приговаривала старуха. - С такими растрепанными волосами они примут тебя за сумасшедшую и арестуют...

Я обернулась и вытаращилась на нее. Старухин взгляд был полон искренней тревоги, она совершенно точно не пыталась меня запугать. И от этого стало еще страшнее. Я вонзила ногти в ее руку, но матушка Цинь даже не дернулась, словно вообще не чувствовала боли.

- Какие славные волосики, вот причешемся, и будет хорошо... - бормотала она, водя гребнем по моей голове.

Гребень больно драл волосы, а Ван Лухань сидела как ни в чем не бывало. Я знала, что она смотрит на нас, и мне вдруг очень захотелось ее разозлить, я скрючила пальцы и принялась со всей силы царапать старухину руку. На тыльной стороне ее ладони появились четыре красные отметины, кое-где кожа завернулась и выступили крошечные бусинки крови. Но старухина рука не дрогнула, она лежала, присоавшись к моему плечу, напоминая дохлую птицу.

Ван Лухань со скучающим видом наблюдала за нами с дивана. Наверное, ее утомило безумие матери, и она не мешала мне бороться со старухой. Болезнь матушки Цинь долгие годы подтачивала их связь, стирая в порошок самые нежные и чувствительные ее составляющие. Любовь Ван Лухань к матери постоянно окислялась на дурном воздухе, становясь холодной и жесткой. Конечно, я поняла это позднее, но тогда ко мне тоже пришло какое-то смутное осознание, я не могла выразить его словами, но вдруг почувствовала острую печаль и расплакалась.

– Не бойся, вот причежемся, и все будет хорошо...

Старуха провела прямую линию от моего затылка ко лбу, разделила волосы на пробор и принялась плести косы. Руки ее двигались сноровисто и точно – похоже, она часто заплетала волосы Ван Лухань, когда та была маленькой. Завязав косы, она достала из кармана штанов картонку с приколотыми к ней черными невидимками. По одной она снимала их с картонки, раскрывала зубами и закрепляла у меня на лбу и висках. Когда невидимки закончились, старуха полезла в другой карман и вытащила оттуда новую картонку. Бог знает, сколько невидимок матушка Цинь носила с собой, чтобы ее не приняли за сумасшедшую. Наконец моя прическа стала такой же гладкой, как у нее, ни один волосок не выбивался наружу.

Пока она меня причесывала, наступил вечер. Солнце скатилось, лучи отступили к окну. Я села на стул, невидимки жестко стягивали кожу, голова под ними казалась большой и тяжелой. Старуха тоже устала и села рядом с Ван Лухань. На минуту комната погрузилась в тишину.

– Сяо Хань, кушать хочется, – наконец проговорила старуха, обиженно глядя на дочь.

Ван Лухань встала и ушла в спальню. Вышла она оттуда в ало-изумрудном клетчатом пальто, под ним было черное шерстяное платье. А самое удивительное – Ван Лухань накрасила губы. Накрасила губы, просто чтобы спуститься вниз за едой. Слой красной помады будто придал ей сил, и теперь Ван Лухань уже не выглядела такой оледеневшей.

Первое мое знакомство с косметикой случилось именно тогда. Макияж похож на ритуал, пробуждающий в человеке радость жизни. Так и прическа служила матушке Цинь ритуалом, который убеждал ее в том, что она не сумасшедшая.

Ван Лухань переобулась в кожаные сапоги на каблучке, взяла термос и вышла из квартиры.

Я до сих пор уверена, что тем зимним вечером Ван Лухань накрасила перед зеркалом губы, надела пальто и спустилась за едой, все еще не теряя надежды, что жизнь изменится к лучшему. Вернулась она примерно через пятнадцать минут. От нее веяло уличным холодом, нос покраснел. Должна признать, Ван Лухань выглядела очень красивой. Не та невинная и наивная красота, которой отличалась моя мама – красота Ван Лухань была усталой, изможденной.

Она поставила термос на стол и вынесла из кухни три чашки.

– Иди есть, – сказала она мне. – Папу все равно не дожدهшься, быстрее от голода околеешь.

Я еще мешкала, но голод взял свое, и ноги сами понесли меня к столу.

Квадратный стол одной стороной упирался в стену, и мы расселись по трем свободным сторонам. В большой чашке дымился суп хуньтунь, сверху плавали изумрудные листики кинзы. Я целые сутки провела без еды, и от этого горячего запаха у меня даже сердце сжалось. Ела я быстрее всех, разделавшись с пельмешками, выпила и бульон. Матушка Цинь аккуратно объедала тесто, каждый пельмешек делила на несколько укусов и ела очень изящно, совсем не как сумасшедшая. Ван Лухань себе пельменей не положила, сказала, что будет один горячий бульон. Но горячий бульон успел превратиться в холодный, а она так к

нему и не притронулась, все сидела, обхватив руками чашку, как будто пыталась согреться. Старуха, наевшись, стала благодущнее, даже попробовала меня приласкать:

- Ты очень красивая. Кого-то мне напоминаешь. - Она нахмурилась, подумала немного и добавила со смущенной улыбкой: - Не могу вспомнить.

Потом протянула руку и дотронулась до моей щеки, как будто я была сделана из какого-то особенного материала. Я даже уворачиваться не стала, послушно дала себя потрогать.

- Мама, тебе надо прилечь, - помрачнев, сказала Ван Лухань. - Слушайся меня. Помнишь, что ты обещала?

Матушка Цинь вздрогнула и подалась назад:

- Иду, иду! Прощу, только не надо лекарства!

- Поторопись, - ответила Ван Лухань.

Старуха медленно встала и пошла в свою комнату.

В гостиной было уже совершенно темно. Ван Лухань зажгла сигарету. Ее лицо провалилось в тень, и выражения было не разобрать. Из темноты проступали только тонкие яркие губы, напоминая испорченный цветок из тафты. Она смотрела на меня, а огонек у ее лица мерцал, похожий в темноте на третий глаз.

- Ты очень счастливая. - Ее голос будто покрылся ржавчиной от долгих дождей. - Как тебя зовут?

- Ли Цзяци.

- Ты очень счастливая, Ли Цзяци, - глядя на меня, сказала Ван Лухань. - Тебе позволили родиться. А моему ребенку нет. - Она загадочно улыбнулась. - Знаешь почему? Потому что он - дитя греха.

Я вспомнила тот сгусток крови в унитазе, и спину обдало холодом.

- Дитя греха, твой папа так и сказал. - Она безжалостно вдавила окурок в пепельницу. Красное сердечко на фильтре пропиталось влажной помадой, и я не сразу смогла отвести глаза от пепельницы, столько в ней было изысканной красоты распада.

- Это он не хотел нашего ребенка, только он. Сам отправил меня на аборт, но теперь меня же и винит, называет сумасшедшей. - Ван Лухань покачала головой. - Да, я сумасшедшая, и это он меня довел. Ты очень счастливая, правда. Ты с ним не живешь. У него сплошной мрак внутри, в точности как у твоего дедушки.

- Почему же вы от него не уйдете? - спросила я.

Она обернулась ко мне. Последовало долгое молчание. Я ждала, что она раскритикуется, но Ван Лухань только кивнула:

- Ты права. Да, я давно должна была уйти, давно. - Она сжала губы и уставила глаза в одну точку, как будто приняла какое-то решение.

Я постояла там еще немного, потом развернулась и убежала в свою комнатку.

В кромешной темноте нашарила раскладушку и легла. Вспомнила про косы - если растреплются, старуха снова станет меня причесывать. Пришлось перевернуться лицом вниз. Я снова почувствовала жар, щеки горели, сердце бешено колотилось, но от мысли, что Ван Лухань решила наконец оставить папу, стало немного легче. Теперь папа обретет свободу, правда, ко мне он вряд ли вернется. Куда он пойдет? Как будет жить один? Голова у меня тяжелела, мысли путались, и, несмотря на

неудобную позу, я скоро уснула.

В тонком сером сне я смутно различила человека в черном одеянии с длинными рукавами, он подошел к моей раскладушке, наклонился и внимательно меня оглядел. Я не пробовала запомнить его лицо, как будто знала, что его невозможно запомнить. Человек протянул руку, словно приглашая меня пойти за ним. Рука была такой белой, казалось, с нее стерли сто слоев кожи. Кружа как птица, она медленно опустилась мне на лоб и заскользила вниз, по шее и плечам, будто хотела в чем-то удостовериться. Когда рука оторвалась от моего тела, пальцы были красными. Человек в черном одеянии поднес их к глазам, затем развернулся и вышел из комнаты.

Я проснулась. Из гостиной доносилась ругань. Папа вернулся. Плечи и спина болели, казалось, еще немного, и я развалюсь на части. Переставляя отяжелевшие ноги, я как можно тише подошла к двери.

– Я этого не говорил! – кричал папа. – Я сказал только, что сейчас неподходящее время для ребенка. Ведь это правда! – Наверное, папа выпил уже немало, лицо его полыхало, стакан в руке дрожал, содержимое едва не выплескивалось наружу.

– Правда в том, что ты не хотел этого ребенка. Боялся, что он станет обузой, свяжет тебе руки, – холодно ответила Ван Лухань, сидя на диване с сигаретой в зубах.

– То есть лучше родить ребенка и поселить его с психопаткой, у которой в любой момент может начаться припадок?

– Психопатка! Ха-ха, теперь ты от нее нос воротить! А что говорил, когда предлагал перевезти ее к нам? Нужно восполнить ее утрату, дать ей пожить спокойно. И что теперь? Прячешься, видеть ее не хочешь, а когда начинается приступ, требуешь, чтобы я ее увела! Ха, ты говоришь, что она психопатка, но скажи на милость, как она такой стала?

– Опять началось, да что ты будешь делать! Я должен каждый день ходить с повинной головой, только тогда ты будешь довольна? – Папа быстро прошел к шкафу, взял бутылку и, качая головой, набулькал из нее в стакан. – Ни капли смысла.

Эта фраза показалась мне очень знакомой, раньше он тоже так говорил.

Папа стал большими глотками заливать в себя водку. Ван Лухань наблюдала за ним с каменным лицом. Я подалась вперед, раздумывая, нужно ли выбежать в гостиную и отобрать у него стакан.

Ван Лухань собралась с духом, выпрямилась и сказала:

– Давай все-таки расстанемся.

– Решилась?

– Да.

– Отлично.

– Мы знали, что нам нельзя быть вместе, но все равно решили попробовать, в итоге пострадали оба. После каждого скандала ты уходишь, хлопнув дверью, а я сижу в этой квартире с чувством, что вот-вот умру... – У Ван Лухань перехватило дыхание, и несколько секунд она молчала. – Ты никогда не поймешь моего отчаяния. Рано или поздно все это кончится чьей-то смертью, я не шучу. Так что лучше нам расстаться, это освободит и тебя, и меня.

Я слушала, затаив дыхание. Речь Ван Лухань тронула меня за душу, поначалу я не верила, что она решится на этот шаг.

- Ага, сегодня ты трезво рассуждаешь. - Папа размахивал стаканом, на дне которого еще плескалось немного водки.

- Я всегда трезво рассуждаю, это ты каждый день напиваешься допьяну.

- Ты вдруг решилась. Отлично. Да. Может, есть другая причина?

Ван Лухань вскинула голову:

- Какая причина?

- Нет? Неужели тебя никто не ждет? - Папа рассмеялся.

- О чем ты говоришь?

Папу сильно качнуло, и он привалился к шкафу.

- Так быстро решилась, да еще сделала аборт у меня за спиной. Ждешь не дождешься, чтобы сбежать к своему кавалеру?

Ван Лухань схватила со стола пепельницу и запустила ей в папу, пепельница ударилась о шкаф рядом с ним и разбилась. На шкафу осталась большая вмятина.

- Ли Муюань, ты подлец, - отчеканила Ван Лухань.

- Ты хотела одного - разрушить мою жизнь. Теперь довольна?

- Кто чью жизнь разрушил? Кто уничтожил нашу семью?

Сзади хлопнула дверь, матушка Цинь пробежала мимо меня в гостиную и обняла Ван Лухань.

- Что такое, Сяо Хань? Не бойся, ничего...

- Ван Лухань, да кем ты себя возомнила? Ты сама - дочь преступника!

Ван Лухань оттолкнула старуху, бросилась на папу, вцепилась в его рубашку:

- Небо все видит! Имей совесть! Не боишься наказания за такие слова?

Старуха зарыдала, зажав ладонями уши и повторяя:

- Ничего, не бойся...

- Быть с тобой - вот худшее наказание. Нет ничего страшнее! - Папа оттолкнул ее, качнулся пару раз и двинулся к двери.

Тут он увидел меня, на миг замер, словно только сейчас вспомнил, что есть еще и я.

- Цзяци, пошли!

Я бросилась в маленькую комнату за курткой. Старуха засеменила следом, ухватила меня:

- Хорошая девочка, не бойся, ничего. Злые люди нас не найдут!

- Это ты злая! Чокнутая старуха!

Я с силой разжала ее пальцы. Матушка Цинь попятилась и загородила дверь. Я схватила ее за руку, пытаюсь оттащить в сторону.

- Опасно, очень опасно! Хорошая девочка, всегда слушайся взрослых... - Старуха стойко держала оборону, как я ни колотила ее кулаками, как ни лягалась.

- Дайте мне выйти, умоляю. Папа меня ждет... - сказала я сквозь слезы.

- Опасно, опасно... - механически повторяла матушка Цинь.

Ее трясло словно одержимую, лопатки бились о дверь, взгляд впился в одну точку на потолке. Казалось, еще немного - и ужас вырвет ее глаза из орбит. Там, наверху, старуха будто в самом деле видела опасность, о которой говорила. Я замерла, испуганно глядя на матушку Цинь, и пришла в себя только от хлопка входной двери.

- Папа ушел... Пустите меня, пустите!

Я снова и снова бросалась в атаку, тянула ее за ногу, била в живот, подпрыгивая, царапала ей лицо. Но старуха, не чувствующая боли, не сдвинулась с места, точно обратилась в статую. Из ужасающих царапин на лице сочилась кровь.

Обессилев, я опустила на пол и разрыдалась. Не знаю, сколько прошло времени, но матушка Цинь наконец отошла от двери, наклонилась и погладила меня по голове. Я отбросила ее руку и выскочила из комнаты.

Открыла входную дверь, выбежала в подъезд, закричала:

- Папа, папа!

Никто не ответил. Он давно ушел. В подъезде было тихо, как в могиле. Окно на лестничной площадке было разбито, рама вонзала острые осколки глубоко в небо. Через дыру ворвался порыв ветра, дверь за моей спиной распахнулась.

Волоча одеревеневшие ноги, я вернулась в квартиру. Свет от торшера как будто еще потускнел, раскаленные нити в лампочке слабо постанывали. Ван Лухань лежала на диване - глаза закрыты, голова запрокинута, руки притиснуты к груди, губы вздрагивали от судорожного дыхания, и помада исчезала с них прямо на глазах. И вот от нее не осталось и следа, будто ее кто-то сожрал.

Спустя пятнадцать минут в четырех кварталах от дома "сантана", за рулем которой сидел мой папа, врезалась в грузовик. "Сантану" отбросило далеко в сторону и перевернуло. Папин череп оказался раздроблен, осколок ветрового стекла пробил ему лоб, кровь хлестала фонтаном. Напитанная алкоголем, она стекала по лицу, словно хотела в последний раз напоить папу.

Когда "скорая", мигая холодным фиолетовым маячком, выезжала из ворот больницы, в воздухе закружил мелкий снежок. Папино дыхание затихло. Пассажирское сиденье рядом с папой было пусто. Смерть приготовила его для меня.

Водитель грузовика отделался ссадиной на лбу. По его словам, мой папа вовсе не выглядел пьяным. Стоя на светофоре, водитель увидел, как на встречной полосе остановилась "сантана". Загорелся зеленый, машины тронулись с места и с небольшой скоростью поехали каждая в свою сторону, между ними была еще целая полоса. И когда грузовик с "сантаной" уже должны были разъехаться, папа вдруг выкрутил руль, выжал газ и врезался в грузовик.

Прошло много лет, но, вспоминая эту аварию, я не могу отделаться от иллюзии, что тоже была там. Что в ту минуту я сидела в перевернувшейся машине, что я застряла на пассажирском сиденье, болтаюсь вниз головой, не в силах пошевелиться, перед глазами покачиваются разбитое ветровое стекло и поблескивающий чернотой пяточок асфальта.

Становится все холоднее, пахнет кровью и влажным снегом. Я не знаю, где мои пальцы, но, скорее всего, они в крови. Кровь остывает, густеет. На пяточке асфальта появляются ноги. Они идут к нам, но почему-то не приближаются,

наоборот, с каждой секундой становятся меньше. Мне это не кажется странным – как во сне, когда ничему не удивляешься.

Разумеется, это всего лишь иллюзия, но я ее не придумала. Выдумка с каждым обращением к ней неизбежно становится другой, и самое уязвимое в ней – детали, они постоянно меняются и множатся. Но сколько бы раз я ни представляла себе эту аварию, картина перед глазами всегда одна и та же. Поэтому я верю, что действительно однажды умирала – в той машине.

Наверное, я погналась за папой, приехала в далекий Пекин, чтобы встретить смерть вместе с ним. Долгие годы я пытаюсь разгадать смысл своего побега. Причина – не твои слова или мой случайный каприз, нет, я услышала зов судьбы, это он привел меня на вокзал и усадил на пекинский поезд. А конечным пунктом этого внезапного путешествия была папина “сантана”.

Меня спасла матушка Цинь. Что видели ее остекленевшие глаза, пока она отчаянно обороняла дверь?

Вспоминая эту аварию, я не могу отделаться от угрызений совести, ведь мне удалось спастись, а папе – нет. Тан Хуэй объяснял, что именно поэтому я представляю себя в папиной машине, и так появляется иллюзия, что я тоже была там. Возможно. Все эти годы я не могла и не хотела выбраться из этой аварии, мне казалось, что я тоже должна была стать ее частью. Смерть была так близко, она промчалась мимо, коснувшись моего рукава.

Следующим полднем раздался стук в дверь. Я не вышла из маленькой комнатки, даже к двери не приблизилась. Сидела на раскладушке и слушала разговор гостя и Ван Лухань. Папино имя, название улицы, больница, морг... Словно папа – груз, ползущий по конвейеру. Потом дверь закрылась – похоже, Ван Лухань ушла вместе с человеком, в квартире стало очень тихо.

Я легла на раскладушку, замерла, не смея пошевелиться. Известие о папиной смерти опускалось как свежий снег, еще пушистый, не тронутый промозглым воздухом. Я боялась случайно задеть его, примять.

Я зажмурилась. В темноте медленно проступил кадр из прошлого. Лето перед первым классом, вечер, папа ведет меня по дороге, которой мне предстоит ходить в школу. Мы ныряем под арку, поднимаемся по высокой лестнице, сворачиваем за угол, выходим на широкую улицу, с обеих сторон обсаженную платанами, пересекаем проезжую часть, еще раз сворачиваем и оказываемся у школы, она справа. Подходим к школьным воротам и заглядываем во двор, дети убирают территорию, девочка с метлой в руках гоняется за мальчиком, с хохотом и криками они бегают по школьному двору. На обратном пути папа говорит: есть еще короткая дорога, без перекрестка. Идем за мной. Он ведет меня по извилистому переулку, у выхода из переулка мы останавливаемся, чтобы я прочла табличку на стене и запомнила его название. Мимо проезжает женщина на велосипеде, из корзины криво торчит пучок изумрудного сельдерея. Два старика сидят у стены и играют в шахматы сянци. В воздухе плывет запах жареного чеснока.

Мы сворачиваем в маленький безымянный проулок. Щель между высокой стеной и одноэтажным строением, здание длинное, тянется на весь проулок, оно без единого окна, с деревянной дверью в дальнем конце. Кроме нас с папой, здесь больше никого. Проулок такой узкий, что мы идем чуть ближе друг к другу, а может, это мне только кажется. Солнце уже село, по серо-оранжевому небу плывут чахлые облака. В проулке очень холодно и тихо; ветерок касается наших макушек, как ласточка на бреющем полете. Мне грустно, я расстроена, что лето скоро закончится. Оказавшись у деревянной двери, я вижу, что она врезана прямо в стену и заперта. Темно-зеленая краска свисает большими лохмотьями. Я догадываюсь, что это склад. Некоторые познания я могу черпать из собственного опыта: в жилых домах у двери всегда есть порог и рама, а в складских помещениях

ничего подобного нет. Когда дверь осталась позади, папа говорит: это морг, там лежат трупы. Не боишься? Я мотаю головой и догадываюсь, что после смерти люди превращаются в груз, их хранят на складе, уложив в штабеля. Мы выходим из проулка, сворачиваем за угол, на следующем перекрестке еще раз сворачиваем, и я вижу знакомую улицу, ведущую к нашему дому. Папа останавливается, оборачивается, я следую его примеру и смотрю в сторону проулка, из которого мы вышли. "Теперь дорогу ты знаешь, дальше будешь ходить сама", – говорит папа.

Чэн Гун

Пока тебя искали, я совершил одну скромных масштабов месть. Правда, ее последствия, особенно если взглянуть на них через много лет, отнюдь не кажутся скромными. Но тогда я считал, что эта месть не способна покрыть весь вред, который нам причинили, и останавливаться на ней нельзя. Наоборот, она больше напоминала начало. Как будто где-то в невидимом углу тихо распахнулась дверь.

На второй день твоего побега Ли Пэйсюань поджидала меня после уроков у школьных ворот. Она сказала, что тебя всю ночь не было дома, спросила, знаю ли я, куда ты ушла. В тот день Пэйсюань заговорила со мной впервые. В глаза она не смотрела, вопрос задавала ледяным тоном, а на лице ее была написана гадливость, словно она боится об меня запачкаться, точь-в-точь как твоя бабушка. Я немедленно вспыхнул.

– Знаю, – ответил я. – Но тебе не скажу.

Она догнала меня и загородила дорогу, сказала, что вся ваша семья очень взволнована, тебя повсюду ищут, требовала рассказать, где ты. Я молча обошел ее и быстро зашагал вперед.

Забрался подальше в рощицу и сел у каменного стола. Солнце не показывалось уже много дней, от серых деревьев веяло холодом, как будто это не деревья, а каменные стелы. Ты сбежала к папе, я знал это почти наверняка. Ты говорила, что через пару дней он придет с тобой повидаться, но я не ожидал, что он заберет тебя с собой. Я не представлял, как тебе удалось его уговорить, но смутно чувствовал, что этим поступком ты хотела продемонстрировать мне свою силу. Ты не уставала доказывать, что между нами лежит огромная пропасть, для этого, глазом не моргнув, бросила меня одного. Я чувствовал себя покинутым, как много лет назад, после исчезновения мамы. Я отчетливо помнил, как стоял тем утром посреди пустой комнаты и громко ее звал. Это было похоже на сон, от которого невозможно проснуться, и сейчас я понял, что до сих пор остаюсь в том сне. Конечно, чувства к тебе отличались от любви к маме, в них были и ненависть, и неистребимое соперничество, но только твой побег принес мне настолько же острое осознание того, что на целом свете я совсем один.

Давно пора было обедать, а я все сидел на месте. Из каменной скамьи сочился холод. Я подобрал ветку и стал с силой чертить ей по застывшей грязи, что было мочи корябал глину, представляя, что это чье-то израненное лицо, из него течет кровь. Да, нужно пролить немного крови. Всего несколько дней назад меня мучило желание мести, я не мог придумать, как тебя наказать. Но после твоего побега это потеряло смысл. Ты сделала ход раньше меня, и как бы я теперь ни поступил, все было бесполезно. С самого начала поисков преступника, который изувечил дедушку, я снова и снова собирался с духом, пытаюсь что-то предпринять, но снова и снова обнаруживал свою беспомощность, все, что я мог, – оставаться пассивным наблюдателем. Подняв налитый силой кулак, я не знал, куда его обрушить.

Я ковырял палкой землю, пока палка не переломилась. Понял, что плачу, задрал голову и яростно шмыгнул носом, но слезы было не удержать. И тут в рощице появилась Шаша, увидела меня и тоже направилась к каменному столу. Остановилась метра за три и не мигая уставилась на меня.

– Вали отсюда! – крикнул я.

Она продолжала стоять, не сводя с меня пытливого взгляда, как будто хотела выяснить, что означает выражение на моем лице.

– Вали отсюда, не слышала?

– Ты плакал, – осторожно констатировала Шаша.

– Проваливай, кому говорю! – Я вскочил с лавки, схватил Шашу и закрутил ей руку

за спину. Наверное, она решила, что я хочу поиграть в жмурки, как раньше, и захихикала. Я надавил сильнее, пока ее улыбка не погасла. Шаша застонала, кривясь от боли. Я отпустил ее, поднял с земли рюкзак и пошел прочь.

На третий день после уроков ко мне снова подошла Пэйсюань, сказала, что со мной хотят поговорить полицейские, и велела зайти в отделение. Иди сейчас же, сказала она. Уверен, если бы Пэйсюань не спешила домой, чтобы ухаживать за бабушкой, то сама бы отконвоировала меня в отделение.

Зайдя в полицейский участок, я первым делом наткнулся на твоего дедушку. Впервые я видел его так близко. Я отвернулся, чтобы затворить дверь, заодно успокоил дыхание. Полицейские недавно кипятили уксус, поэтому в кабинете стояла резкая вонь, смешанная с запахом табака, от этого сочетания меня едва не стошнило. Руки я засунул в карманы, но не знал, на чем остановить взгляд – на рассыпанной по полу скорлупе от арахиса, на выпелах, украшавших стену, или на чашке в руках полицейского. Глаза сделали большой круг по кабинету и остановились на твоём дедушке. Он сидел у стены, опустив голову и сняв очки, и потирал веки.

Рука, сжимавшая дужку очков, была очень белой и маленькой, будто от другого тела. Женская ручка, ловкая и не знавшая физического труда. Я выискивал другие приметы, и тут он вскинул голову. Сердце у меня екнуло, я поспешно отвел глаза, но на долю секунды они успели коснуться его лица. Без очков оно выглядело странно, все черты будто выпирали вперед. И еще казалось, что его глаза нельзя вот так свободно выставлять напоказ, они тревожили, словно раньше времени раскрытая тайна. Я не мог сказать, что особенного в этих глазах, просто они выглядели очень старыми, намного старше его самого, точно много лет прожили на свете еще до его рождения.

Он надел очки и снова стал таким, как я его помнил.

- Нет, никакие враги на ум не приходят, - устало сказал он.

Толстый полицейский за столом кивнул:

- Похищение маловероятно. Но мы не можем оставить эту версию без внимания. Если вспомните кого-то подозрительного, я в любое время на связи.

Полицейский жестом велел мне подойти. Он раскрыл папку и уже приготовился задать вопрос, как вдруг снаружи его позвали. Полицейский сказал мне ждать, бросил сигарету в пепельницу и вышел за дверь.

В кабинете остались только твой дедушка и я. Руки и ноги у меня окоченели, вся кровь прилила к макушке, как кипящая лава к жерлу вулкана. Повисла пугающая тишина, я надеялся, что тиканье часов “Компас” и завывания северного ветра за дверью заглушат звуки нашего дыхания. Но я слышал, как мерно дышит твой дедушка, и от каждого вдоха и выдоха у меня мороз шел по коже, а страшнее всего было то, что теперь он находился у меня за спиной и я не мог видеть его лица.

Потом твой дедушка вдруг резко встал. У меня кровь застыла в жилах – что он задумал? Руки в карманах сжались в кулаки и приготовились вырваться наружу. Но он обошел меня, шагнул к столу, взял дымящуюся сигарету и дважды вдавил ее в пепельницу. Потом постоял немного, буравя глазами пепельницу, убедился, что окурки окончательно потух, и тогда только поднял голову. Он стоял совсем рядом, и я знал, что он на меня смотрит. Я тоже должен был на него посмотреть. Самым ядовитым на свете взглядом, таким, чтобы ночами он ворочался с боку на бок, не в силах уснуть, чтобы при воспоминании о моем взгляде его озноб пробирал. Но я почему-то не смог – на веки будто что-то давило, их было невозможно поднять. И я смотрел на красную сигаретную пачку, оставленную полицейским на столе, иероглифы “Пион” в конце концов стали казаться странными, почти незнакомыми, но я смотрел на них до тех пор, пока твой дедушка не сел на свое место, а полицейский не вернулся в кабинет. Я облегченно выдохнул и понял, что до сих

пор крепко сжимаю кулаки, ладони взмокли от пота. Но ведь это он должен бояться поднять на меня глаза! Почему же я так струсил? Наверняка мои попытки спрятать взгляд доставили ему немало радости.

Я был очень подавлен и решил не говорить им, куда ты сбежала. Если скажу, они быстро тебя разыщут и привезут обратно, а я все еще злился на твое предательство и был совсем не готов к такой скорой встрече. Я решил молчать не из благородных побуждений, не из желания тебя прикрыть. Мне просто казалось, что я ни в коем случае не должен помогать твоему дедушке. Он хочет узнать, куда ты сбежала, а я не скажу, пусть беспокоится и тревожится, пусть лишится и сна, и аппетита. Я не мог упустить случая причинить ему боль, особенно после того, как он видел мою слабость. Правда, насколько я заметил, твое исчезновение почти его не огорчало, по крайней мере, этого было не видно: без малейшего беспокойства он терпеливо пил предложенный полицейским чай, не спеша сдувая чаинки.

– Это и есть мальчик, которому известно, куда ушла Ли Цзяци? – поинтересовался у полицейского твой дедушка.

Неужели он не знает, что я – Чэн Гун? Потрясающе. Мы столько лет живем в одном районе, столько раз встречались на улице, он часто видел, как мы с тобой идем в школу, разве может быть, чтобы он меня не знал? Твоя бабушка и Пэйсюань все время пытались нас рассорить, неужели он и этого не знает? Не может быть. Он наверняка притворяется, просто боится посмотреть мне в лицо.

Полицейский ответил утвердительно и сказал, как меня зовут.

Я слегка обернулся, чтобы боковым зрением ухватить перемену в его лице, когда он услышит мое имя, – пусть он не помнит меня в лицо, но имя не может не знать. Это одно из нескольких имен, которые должны внушать ему тревогу. Но ожидания снова меня обманули, твой дедушка остался абсолютно спокоен.

– Чэн Гун. – Он даже повторил мое имя вслух. – Ты тоже из семьи работников медуниверситета? – дружелюбно спросил он.

Либо он так хорошо притворяется, либо действительно не знает, кто я. Я и правда немного смешался, но это не могло оправдать моей слабости, потому что в ответ я просто кивнул: да. Вместо этого я должен был впиться глазами в его глаза и сказать, что мой дедушка – Чэн Шоуи! Почему же я не смог? Чего испугался?

– Чэн Гун! – Полицейский постучал по столу. – Я задал вопрос.

Я вытер липкие ладони и в замешательстве поднял глаза на полицейского. Наверное, он решил, что я конченный трус. Я совершенно в себе разочаровался.

Я сказал полицейскому, что после уроков ты пошла в книжный магазин на улочке за Наньюанем, потому что еще несколько дней назад обмолвилась, что собираешься купить там последний выпуск “Дораэмона”. Раньше в конце каждого месяца мы действительно ходили в тот магазинчик и покупали в складчину свежий “Дораэмон”. Полицейский спросил, видел ли я, как ты туда направляешься, или это всего лишь моя догадка. Я сказал, что догадка. Он спросил, почему я сразу не сообщил о ней Пэйсюань, я ответил, что не был до конца уверен, все-таки своими глазами я тебя там не видел.

– И еще один вопрос, – сказал полицейский. – Говорят, ты близко дружишь с Ли Цзяци. Замечал ли в последнее время какие-то перемены в ее настроении?

Я ответил, что ничего такого не замечал. Затем полицейский спросил твоего дедушку, есть ли у него вопросы ко мне, вопросов не оказалось, тогда полицейский захлопнул папку. Сказал, что я могу идти, но тут же снова меня окликнул:

– Если узнаю, что ты, паршивец, нам соврал, мигом посажу тебя под арест. Не вздумай что-то от нас скрывать. Понял?

В тот день я впервые узнал, что такое абсурд, – это когда полицейский произносит такое, стоя рядом с преступником, который больше двадцати лет разгуливает на свободе.

– Понял, – ответил я.

В дверях я столкнулся с женщиной, она шагнула внутрь, задев меня рукавом. Так спешила, что я даже лица ее не разглядел.

– Цзяци нашлась?

Я заглянул в кабинет через приоткрытую дверь, женщина была очень взволнована, она подскочила к твоему дедушке, вцепилась в его рукав:

– Где моя дочь? Куда она ушла?

Твой дедушка с каменным лицом сбросил ее руку и поправил свитер. Полицейский отвел женщину в сторону, сказал, что тебя уже ищут, велел ей не беспокоиться. Узнав, что поиски продолжаются целых два дня, она снова разволновалась, рванулась к твоему дедушке и схватила его за руку:

– Вы меня обманули! Ведь я звонила вчера вечером, почему же вы ничего не сказали? Морочили мне голову, что она ушла к однокласснице! Да что у вас на уме?

Твой дедушка побагровел.

– А толку тебе говорить? Прибежала бы на ночь глядя, чем бы это помогло? Посмотри, на что ты похожа! Не позорься, хочешь скандала – ступай и скандаль дома!

Твоя мама как будто испугалась его слов и на секунду затихла, а потом усмехнулась:

– Я давно не член вашей семьи. И позорю уже не вас. Чего вы боитесь?

Твой дедушка покачал головой:

– Горбатого могила исправит.

Он подхватил куртку со спинки стула и направился к выходу. Твоя мама хотела пойти за ним, но полицейский ее остановил:

– Погодите, нам нужно записать показания.

Он проводил твоего дедушку на улицу, обнаружил, что я все еще торчу у двери, и вытаращился:

– Ну-ка марш домой!

Полицейский закрыл дверь. А я все стоял там и смотрел на твоего дедушку, как он седлает старый велосипед с 28-дюймовыми колесами и отъезжает в сторону Наньюаня. Во время этой перепалки я смутно почувствовал его величие, хотя на первый взгляд казалось, что победу одержала твоя мама. Наверное, на самом деле она тоже его боялась, если не сейчас, то раньше, и ее отвага больше напоминала пробившийся наружу страх. Что-то возвышало твоего дедушку над простыми смертными, рядом с ним люди чувствовали себя неполноценными. По крайней мере, я в себе разочаровался изрядно. Сегодняшняя трусость – клеймо, которое останется со мной до конца жизни, и при каждом напоминании о нем меня будет охватывать стыд.

Из-за двери донесся плач твоей мамы. Она рыдала так надсадно, что на миг я даже засомневался: может, стоит рассказать ей, куда ты сбежала? Но уже в следующую секунду отбросил эту мысль, и как раз из-за ее надсадного плача. Она так сильно

тебя любит, но ты никогда об этом не говорила, как будто для тебя это совсем не важно. Мне же такая любовь казалась огромной роскошью. Помнишь, как мы с тобой заспорили, чья мама красивее? Я не успокоился, пока все не признали, что моя мама гораздо красивее твоей. До чего смешное тщеславие, и где эта самая красивая на свете мама? Меня никогда не любили так, как тебя, и лучше бы я вообще не видел, что так бывает. Я развернулся и не оглядываясь зашагал прочь.

На четвертый день твоего побега после уроков я заметил у школьных ворот Пэйсюань. Пока я проходил мимо, она так и сверлила меня взглядом. Я отошел от школы уже на несколько сотен метров, когда заметил, что она идет следом. Прибавил шаг и спустя какое-то время присел, якобы хочу завязать шнурок, а сам ненароком обернулся – Пэйсюань по-прежнему была сзади. Я обогнул рожицу и двинулся к Башне мертвецов.

Небо было затянуто тучами. Спустившийся утром густой туман так до конца и не рассеялся, а между тем уже начинало темнеть. Долгожданного снега все не было, в прогнозе опять наврали.

Дорога постепенно сужалась, превращаясь в тропинку, деревья встречались все реже, в конце тропинки возвышалась свинцово-серая Башня. Старая кирпичная стена, низенький одноэтажный барак, большое черное окно, из которого выпирают осколки стекла, – все в точности как летом, когда мы были здесь в последний раз. На этом клочке земли, спрятавшемся на задворках кампуса, не росло ни травинки, поэтому смена сезонов проходила мимо Башни, время как будто не могло проникнуть за ее стены и текло снаружи. Но Башня существовала отнюдь не для того, чтобы хранить память о былом веселье, и хотя вокруг до сих пор гуляло эхо наших игр, для меня Башня превратилась в навечно опечатанное место преступления, я уже не мог воспринимать ее иначе.

Я сбросил рюкзак и прислонился к стене, глядя на Ли Пэйсюань. Белая курточка, аккуратный хвостик – скучнее ее красоты представить ничего невозможно.

– Ты не сказал правды. – Пэйсюань подошла и остановилась в пяти метрах от меня.

– И что?

– Дедушка-вахтер сказал, что в школу за ней приходил мужчина. Ты его видел? Как он выглядел, это был ее папа?

– Почему его не спросишь?

– С ним нет связи, мы много раз звонили на пейджер, но он не перезванивает. И никто не знает его пекинский адрес. – Она взглянула на меня: – Цзяци ушла с ним, так?

Не обращая на нее внимания, я подошел к стене и стал стаскивать кирпичи под окно барака.

– А если с ними что-нибудь случилось? Ты об этом подумал? – Пэйсюань опасно сделала два шага вперед. – Ты ведь ее друг, неужели совсем о ней не беспокоишься? Быстро рассказывай все, что знаешь!

По сложенным кирпичам я забрался на карниз, а там зацепился за крышу и оказался на стене.

– Лезь сюда, и я все тебе расскажу.

Я болтал ногами, глядя вниз. На стене было и правда хорошо.

Пэйсюань побледнела.

– Тебе не кажется, что это ребячество?

– Мертвецы все равно не вылезут из Башни, чего ты боишься?

Дернувшись, Пэйсюань строго сказала:

– Все ужасно беспокоятся! Ее мама чуть с ума не сошла! А ты тратишь время на детские забавы. В твоём сердце нет ни капли сочувствия!

И она направилась прочь.

– Ты права, у меня в сердце одна грязь. – Я расхохотался.

Последний свет рассеялся. На небе тигриным клыком проступил бледный молодой месяц. По бассейну с формалином скользили черные блики, от его сверкающей глади тянуло холодом. Ли Пэйсюань удалялась, белоснежная, как ложь. Я крикнул ей в спину:

– Я знаю секрет о твоём дедушке. Огромный секрет, об одном... – Я сделал паузу и повысил голос: – Одним очень низким поступке, который совершил твой дедушка...

Ли Пэйсюань остановилась, оглянулась.

– Чэн Гун, я тебя предупреждаю: прекрати болтать всякий вздор!

– Почему ваша бабушка целыми днями торчит в церкви? Она кается в этом грехе, прошло много лет, но ее совесть до сих пор беспокоит.

Она развернулась в мою сторону.

– Ай, такой большой секрет, одна ты не знаешь, – добавил я.

Поколебавшись, Пэйсюань вернулась к стене:

– Это Цзяци тебе рассказала? Поэтому она и сбежала из дома?

– Не устала стоять, задрала голову? Забирайся наверх, поговорим нормально. Я не желаю тебе зла, просто, по-моему, ты слишком загордилась.

Она медленно и с явной неохотой подошла к стене.

– Не бойся. Ты правда думаешь, что там лежат трупы? Мы тебе наврали.

– Что тебе сказала Цзяци?

– Можешь положить свой рюкзак на мой. Иди сюда, я помогу тебе забраться. – Я перекинул одну ногу через стену, уселся боком и протянул ей руку.

Она пристально смотрела мне в глаза, пытаясь прочесть в них, правду я говорю или лгу. Потом пожала плечами, встала на кирпичи, схватилась за оконную ручку и, стараясь не задеть торчащие из рамы осколки, влезла на карниз. После чего в ней, похоже, развернулась идеологическая борьба по вопросу, принять ли протянутую мной руку, – это была грязная рука с черной каймой под ногтями, на тыльной стороне ладони красовались иероглифы, написанные шариковой ручкой. В другое время она бы не смогла представить, что ей придется коснуться этой руки. Но сейчас другого выхода не было. Пэйсюань сделала глубокий вдох и протянула мне руку – руку девочки из семейства врача, руку, на которой едва ли мог выжить хоть один микроб. Когда она вскарабкалась на стену, от страха из ее горла вырвался хрип. Пэйсюань отвернулась, стараясь не смотреть во двор Башни.

– Ну, я слушаю. – Глаза были слишком наивными для такой разумной девочки.

– А?

– Все это Цзяци рассказал дядя? Ведь он ее увел?

– Не хочешь узнать, что натворил твой дедушка?

– Не хочу, – ответила Пэйсюань. – Все равно я тебе не поверю. У дяди с дедушкой плохие отношения, между ними было много недоразумений. – Но смотрела она на меня выжидающе, будто хотела услышать секрет.

Я понизил голос:

– Говорят, что твой дедушка...

Пэйсюань напряженно сжала губы.

– Он... убил человека, – медленно проговорил я.

Лицо Пэйсюань дернулось и резко побледнело. Судя по выражению, Пэйсюань было непросто принять этот факт, однако не сказать, чтобы она никогда о нем не задумывалась.

– Гм, – после долгого молчания презрительно хмыкнула Пэйсюань, – смешно. Мой дедушка каждую неделю проводит минимум три операции, крайне серьезные операции, от которых зависит человеческая жизнь. Так он работает уже почти пятьдесят лет, можешь сам посчитать, сколько жизней он спас. Никто не ценит человеческую жизнь выше, ты это понимаешь? Не знаю, зачем дядя такое говорит, но это совершенно точно неправда. И Цзяци прожила у дедушки столько времени, она хорошо его знает, ума не приложу, как она могла в это поверить. Спроси любого сотрудника медуниверситета, тебе расскажут, что за человек мой дедушка, он без остатка отдается работе, все свое время посвящает пациентам. Он самый выдающийся человек из всех, кого я знаю. Пожалуйста, больше не нужно распространять эти выдумки. – Пэйсюань выговорила это на одном дыхании, глядя прямо перед собой. Закончив, обернулась и грозно на меня уставилась.

На стене было ветрено, и ее волосы немного растрепались, рукава куртки испачкались, пока она лезла наверх, и в Пэйсюань появилось что-то человеческое. Однако ее достоинства это нисколько не умалило, и хотя мы сидели рядом, я не мог избавиться от чувства, что она взирает на меня с высоты. Подавленный, я вспомнил, как струсил недавно перед твоим дедушкой, и меня затопило острым стыдом.

А трепещущую грудь Пэйсюань в эту минуту переполняло преклонение перед дедушкой. Казалось, это чувство и греет ее, и защищает. Но я одного не мог понять. Ведь это очень глупое и слепое чувство! Почему же она выглядит так благородно? Я надеялся, что смогу пожалеть Пэйсюань, это принесло бы мне облегчение, но ее удивительная гордость мешала. А других поводов уступить ей у меня не нашлось.

– Великолепная речь, смело можешь представлять нашу школу на конкурсе ораторского мастерства, – сказал я. – Мне пора домой, а ты не торопись, расскажи все это трупам за стеной. – Я развернулся, зацепился за верх стены и соскользнул на карниз, с карниза спустился на кирпичи и спрыгнул на землю. А потом разобрал башню из кирпичей и забросил их подальше от стены.

– Ты что делаешь? – Когда Пэйсюань все поняла, было уже поздно. – Живо верни кирпичи на место, слышишь меня? – От испуга ее голос сделался тоненьким. Вот была бы умора, если бы по понедельникам она таким же голосом зачитывала свою знаменную речь.

– Говорят, что именно здесь... – я понизил голос, – твой дедушка совершил убийство. Тот труп до сих пор плавает в бассейне за стеной. Не веришь – проверь.

Пэйсюань взвизгнула и заткнула уши, сжавшись в комок. Я отряхнулся, вытащил свой рюкзак, закинул на плечо и пошел прочь.

– Не уходи! – кричала Пэйсюань. – Вернись! Быстро спусти меня! Ты слышишь?

Насвистывая, я погнался за своей тенью, шагая к освещенной дороге. Крики Пэйсюань

мало-помалу становились тише, и, к моему разочарованию, перед тем как они окончательно смолкли, я не услышал ни одной мольбы о пощаде. А ведь я еще раздумывал, не помочь ли ей спуститься, если она попросит пощады или попытается хоть как-то меня задобрить. Зря беспокоился, разве может благородная Пэйсюань так запросто склонить голову.

Когда я вернулся домой, с неба сыпался снег. Наконец-то начался снегопад. Я навалился грудью на подоконник и смотрел в окно, крупные хлопья плясали в небе, тревожа сердце. За моей спиной тетя ворочала сундуки и ящики, разыскивая сапоги, – сапоги были из искусственной кожи, носы у них давно облупились, мех, нашитый вокруг голенища, тоже весь облез, но с первым же снегом тетя как безумная бросалась их искать. Она верила, что эти сапоги не скользят, – в одну из зим перед их покупкой тетя поскользнулась и сколола себе два передних зуба. С тех пор к снегопаду она готовилась как к поединку с могучим врагом.

– Хорошо еще, что сегодня не надо идти в ночную, – бурчала тетя, вытаскивая самый дальний сундук. В лицо ей взметнулась пыль, и тетя закашлялась. Хлопая себя по груди, обернулась и спросила: – Бабушка спит?

– Вряд ли.

– Если она сегодня разбушует и погонит тебя за сладкими каштанами, скажи, что когда шел домой, лоток уже закрывался. Слышишь?

– Угу.

Изредка в бабушке взыгрывала девичья натура, не сочетавшаяся ни с ее возрастом, ни с характером. Например, в снегопад ей хотелось сидеть у окна и лущить сладкие горячие каштаны.

– Земля еще сырая, как тут не поскользнуться? – говорила тетя. – Не завидую тем, кто сейчас на улице.

Я молча открыл окно и высунулся наружу. Уши и шею закололо студеными иголочками, они лезли даже под воротник свитера. Землю уже укрыло белым, снежинки ослепительно блестели под фонарем, как будто их подожгли. Они резво кружились и опадали, словно обезумевшие белые мотыльки.

Пэйсюань еще на стене? До сих пор я запрещал себе о ней думать, ведь доброта – одно из проявлений слабости. Но теперь упоение и торжество первых минут отступили, мной завладело смутное беспокойство. Разумеется, я не мог не подумать о том, как она будет спускаться. В самом благоприятном случае ей поможет какой-нибудь прохожий. Но кто отправится к Башне мертвецов в такой холодный вечер? Ясно, что снегопад снижает эту вероятность почти до нуля. Можно взяться за край стены и спуститься на карниз, а оттуда уже прыгнуть на землю, это не так и высоко. Вот только вряд ли она решится. Но на стене ее ждет только холод и голод, когда станет совсем невмоготу, она стиснет зубы, зажмурится и прыгнет. Она ведь не совсем дура, чтобы там околеть.

– Ты что устроил? Холод какой! – крикнула за моей спиной тетя. – Ступай в бабушкину комнату и принеси сундук, который у нее под кроватью.

Я с удовольствием отправился исполнять поручение. В душе я тайно надеялся, что бабушка захочет каштанов. Тогда у меня появится повод выйти на улицу. Я говорил себе, что просто схожу посмотреть, там ли еще Пэйсюань, и ни в коем случае не буду ее спускать. Но, к моему сожалению, бабушка уже крепко спала.

– Бабушка, бабушка! Смотри, снег пошел. – Я потянул ее одеяло.

Бабушка только прокряхтела что-то в ответ, пихнула меня ногой и перевернулась на другой бок.

Отыскав в сундуке сапоги и еще целый ворох зимней одежды, тетя аккуратно

складывала вещи в стопку на стуле. Я полез на верхний ярус кровати, а она все рылась в сундуке, и ее постель была завалена вещами.

Ночью я собирался встать и проверить, идет ли еще снег, но почему-то проспал до самого утра. Отдернул занавеску, снег прекратился, но за ночь на улице выросли сугробы высотой в целый чи. Я оделся, цапнул на кухне витую пампушку и выскочил из дома. По толстому слою снега я добрался до Башни мертвецов. Ли Пэйсюань там, разумеется, не оказалось. Снег у стены был чистый, ни единого следа. Я потыкал сугроб палкой – разбросанные накануне кирпичи лежали на своих местах, под окном было пусто. Значит, Пэйсюань никто не помог. Дальше размышлять об этом не хотелось, так или иначе, она благополучно слезла со стены.

Но я все равно немного беспокоился и в перемену пошел к классу Пэйсюань, хотел посмотреть, на месте ли она. Как ни в чем не бывало прогулялся несколько раз по коридору, но Пэйсюань не встретил. Потом прозвенел звонок, и их классная руководительница отправила меня восвояси. Я чувствовал смутную тревогу, все уроки просидел, таращась на дверь, казалось, в следующую секунду она распахнется, я услышу свое имя и приказ выйти из класса. Наверное, за мной явится тот толстый полицейский. Он ткнет в меня пальцем и скажет: паршивец, ты что натворил? Но вот и уроки закончились, а за мной никто так и не явился.

Была суббота, короткий учебный день. После обеда Большой Бинь и Цзыфэн позвали меня играть в снежки. Мы покидались немного, и я предложил слепить снеговика. Они с жаром поддержали идею, однако у нас возникли разногласия по поводу места: Цзыфэн предложил пойти в рожицу, а я возразил, что там мало места. Большой Бинь сказал, что на спортплощадке места вдоволь, а я ответил, что там вечно толпится народ и наш снеговик долго не простоит. В конце концов я предложил слепить снеговика на пустыре у велосипедной стоянки, наши дома как раз недалеко от этого пустыря, и если снег не растает, мы сможем каждый день любоваться своей работой. Большой Бинь улыбнулся: а я тоже хотел предложить это место. И мы пошли к стоянке, по дороге Цзыфэн сказал: Чэн Гун, я понял твой план. Ты хочешь, чтобы Ли Цзяци вернулась домой и первым делом увидела нашего снеговика. Я велел ему не молоть чушь. Большой Бинь с сокрушенной миной вздохнул: ах, куда же пропали наши сестрички! Ли Пэйсюань тоже пропала? – спросил я. Да, ответил Большой Бинь. Ее с самого утра не было в школе, их классная руководительница попросила его отнести учебники в кабинет, и он заметил, что место Пэйсюань пусто.

Снеговик получился почти с нас ростом. Большой Бинь скрепя сердце пожертвовал два синих попрыгунчика ему на глаза.

– В темноте глаза будут светиться, – сказал он. – Так что сестрички даже ночью смогут его увидеть.

– Давайте примнем снег по сильнее, – предложил Цзыфэн. – Иначе ветер подует и снеговик не продержится до возвращения Ли Цзяци.

В понедельник утром на церемонии подъема флага мы с изумлением обнаружили, что в школе теперь новая знаменная – низенькая тощая девочка, от волнения или неуклюжести она перекрутила фал, замотав в него знамя, так что церемонию пришлось повторить. Гимн зазвучал во второй раз, я машинально шевелил губами. Да, стряслась беда, говорил я себе. Но странно, что теперь мое сердце неожиданно успокоилось, как будто бешеная мышь, метавшаяся все это время внутри, наконец утихла.

Мы снова увиделись с Пэйсюань уже весной, в марте. На самом деле в школе ее не было всего неделю, потом она как ни в чем не бывало появилась, поднимала флаг и снова была лучшей на итоговых контрольных. Но до марта я ни разу с ней не встретился, только смотрел издали, как она поднимает знамя. Наверное, это было результатом наших общих усилий: я ее избегал, Пэйсюань тоже едва ли мечтала

снова меня увидеть, и мы старательно друг друга обходили. Да и встретились мы, потому что оба пошли окольной дорогой к школе. В тот день случилось похолодание, я понял, что рановато снял шерстяной свитер, к тому же сегодня у нас был урок физкультуры, так что я решил вернуться домой и переодеться. Пошел обратно, а навстречу – Пэйсюань.

Тропинка была узкой, не спрятаться.

Помню, что в первый день после возвращения Пэйсюань Большой Бинь побежал на нее взглянуть – к тому времени по школе уже прошел слух, что она поранила лицо. Большой Бинь вернулся и доложил, что на ней маска до самых глаз, ничего не видно. После обеда у класса Пэйсюань была физкультура, Большой Бинь соврал учительнице, что у него скрутило живот, сбежал на улицу и еще раз взглянул на Пэйсюань, но она по-прежнему была в маске. Поспрашивал ее одноклассников, те сказали, что она за весь день ни разу ее не сняла. Цзыфэн спросил: она что, собирается все время в ней ходить? Странно будет, если в понедельник она с маской на лице пойдет поднимать знамя. Большой Бинь покачал головой: вряд ли она останется знаменной.

Но в понедельник на церемонии поднятия флага Пэйсюань стояла на своем обычном месте, и маски на ней не было. Как и в прежние дни, со знаменем в руках она неспешно подошла к флагштоку, вытянулась в струнку и подняла голову, провожая знамя глазами. Вся школа встала на цыпочки, пытаясь разглядеть ее лицо, но Пэйсюань была слишком далеко, и мы ничего не увидели. Я решил, что удача мне улыбнулась и с Пэйсюань все обошлось. После линейки Большой Бинь снова отправился в класс Пэйсюань, потом он рассказывал, что у двери собралась целая толпа, все хотели узнать, как у нее дела, кто-то даже принес Пэйсюань в подарок фруктовое желе и плюшевых медвежат. Она смело вышла из класса, поблагодарила товарищей за заботу и взяла подарки. Все так и обомлели, глядя на ее шрам, сказал Большой Бинь. Он изобразил его длину и добавил, что шрам этот весь красный и опухший, как напившийся крови геккон. Ужас товарищей не мог укрыться от Пэйсюань, но она по-прежнему улыбалась, будто ничего не произошло. Большой Бинь сокрушался: почему она так быстро сняла маску? Неужели только для того, чтобы снова поднимать знамя по понедельникам? Разве это так важно – быть знаменной? Неужели нельзя было подождать, пока короста отвалится, а шрам перестанет быть таким страшным? Вы бы видели, какой он длинный... Не договорив, Большой Бинь расплакался. Цзыфэн вздохнул: а она тебе и правда нравится. Большой Бинь сказал: нравится, и что? Она такая сильная, разве можно ей не восхищаться! Цзыфэн сказал: но она же отличница. Большой Бинь ответил: ну и что? С сегодняшнего дня я тоже возьмусь за учебу. Цзыфэн сказал: не беда, со шрамом женихов у нее поубавилось, так что твои шансы возросли. Я и не хочу на ней жениться, ответил Большой Бинь. Как я буду каждый день смотреть на этот шрам?

– Где она так поранилась? – спросил я.

– Говорит, что упала со стены и порезалась о стекло, – ответил Большой Бинь. – Но кто в это поверит? Разве Пэйсюань могла залезть на стену? – Помолчав, он добавил: – Наверняка шла по улице одна и встретила какого-нибудь негодяя, он ее и порезал. Если узнаю, кто это был, искромсаю его рожу на кусочки!

Всю прошедшую неделю я не находил себе места от беспокойства и пребывал в постоянной готовности принять жестокий бой. Я не знал, кто за мной придет, учителя или полицейские, похоже, дело вышло нешуточное, так что, скорее всего, полицейские. В первые несколько дней о Пэйсюань не было вообще никаких вестей, и я даже подумал, что она умерла. Поэтому когда мне сказали, что она всего лишь порезала лицо, я облегченно выдохнул. Но проступок все равно был достаточно серьезным, чтобы меня снова притащили в полицейский участок на допрос: “Отвечай, почему ты так поступил?” И твой дедушка тоже придет в участок, теперь из-за другой внучки. Неужели и в этот раз он так же вежливо поинтересуется: ты и есть тот самый мальчик, из-за которого поранилась Пэйсюань? Он будет и дальше терпеливо притворяться, что не знает меня? Я хотел

увидеть его разъяренным, полагая, что гнев лишит злодея самообладания и вынудит показать свое истинное лицо. Я надеялся, что он сам расскажет, почему я так поступил, и назовет причину нашей вражды. Забавные мысли, правда? Но мне казалось, что я смогу броситься в атаку не раньше, чем в его благородной маске появится маленькая брешь.

Разумеется, я приготовился и к ссоре с Большим Бинем. Нашей дружбе предстояло пройти через огромное испытание. И я почти не сомневался, что Большой Бинь встанет на сторону своей богини. Не сказать чтобы я очень дорожил нашей дружбой, просто за долгие годы успел привыкнуть к его глуповатому присутствию. Признаюсь, я даже немного ждал того дня, когда весь мир от меня отвернется и я мужественно приму удар судьбы, совсем как герои в моих фантазиях.

Ни учителя, ни полицейские не приходили, мое беспокойство час от часу росло. Наверное, ваша семья готовит план мести. При мысли о том, что твой дедушка сделал с моим, у меня стягивало кожу на голове. В кармане я стал носить ножичек для заточки карандашей, он мог пригодиться в любой момент. Но дни шли, а за мной никто не приходил. Потом Пэйсюань вернулась в школу, и все стало по-прежнему. Жизнь шла своим чередом, а я не смел поверить, что все уже позади. Я думал, что пробил в мире огромную брешь, а на деле – бросил камушек, и он беззвучно упал в океан.

Я так и не узнал, почему Пэйсюань решила скрыть правду о том вечере. Как понимать ее молчание – это милость к преступнику или попытка загладить вину? Знала ли Пэйсюань о вражде между нашими семьями и что ей было известно? Все это – загадка. Ли Пэйсюань и сама загадка, никому не проникнуть в ее мысли. Черный ящик ее тела скрывает огромную энергию, способную стереть в порошок всю боль, которую ей причинили. Ничто не может сломить Пэйсюань, я отчетливо понял это тем мартовским днем, пока смотрел, как она идет мне навстречу.

День был холодный и пасмурный. Трава еще не позеленела, аромат цветов не заполнил воздух, и казалось, что зима до сих пор не закончилась. Только от канареечного вязаного пальто Пэйсюань густой волной разливался сладкий и пленительный запах жасмина. Сначала я ее не узнал, ведь Пэйсюань никогда не одевалась так ярко. К тому же она подросла, да и фигура у нее теперь была совсем как у девушки. Но потом я узнал величавую поступь нашей знаменитой, она держалась по-прежнему прямо, как молодое деревце по весне. Она тоже меня увидела, но не отскочила в сторону и ни на секунду не замешкалась. Пэйсюань шла прямо на меня, смело глядя мне в лицо.

Издалека ее лица было не разглядеть, и я снова поспешил поверить, что все обошлось. Но с каждым шагом черты Пэйсюань стремительно искажались. Я неотрывно смотрел на шрам, мое творение. Он выглядел огромным с любого ракурса, маленький подбородочек Пэйсюань едва его вмещал. И он так выпирал, что вся нижняя половина лица казалась проваленной, словно в ней осталась воронка от упавшего метеорита. Признаюсь, при виде этого шрама я в самом деле подумал, что он искупает любую, даже самую страшную вину. Но угрызения совести прекратились, когда я понял, что даже теперь Пэйсюань не вызывает у меня жалости. Ее лицо выглядело умиротворенным, изуродованный шрамом подбородок был слегка вздернут, взгляд все такой же гордый – смотреть на нее было одновременно грустно и противно.

Проходя мимо, она едва заметно улыбнулась. А потом шрам зашевелился. С секундной задержкой из ее губ вылетел голос, как будто перед тем, как заговорить, Пэйсюань нужно было приложить небольшое усилие, чтобы сдвинуть шрам с места.

“Видишь, ничто не может меня сломить”. Я думал, что такими словами Пэйсюань подведет черту под всем, что случилось. Но вместо этого она тихо, но невероятно твердо проговорила:

– Мой дедушка никого не убивал. Пожалуйста, впредь не распространяй этот

вздор.

53'18"

“ДОБРОЕ СЕРДЦЕ И ДОБРЫЕ РУКИ – ЗНАКОМСТВО С АКАДЕМИКОМ ЛИ ЦЗИШЭНОМ”

В кадре появляется средних лет мужчина. Лысый. В маленьких круглых очках.

Титр в левой части экрана:

ГУ ЧЖЭНЬХАЙ

Титр:

Я ШЕСТЬ ЛЕТ АССИСТИРОВАЛ АКАДЕМИКУ ЛИ, БЫЛ РЯДОМ НА КАЖДОЙ ОПЕРАЦИИ. ОДНАЖДЫ ЗИМОЙ – ПОМНЮ, В ТОТ ДЕНЬ БЫЛ СИЛЬНЫЙ СНЕГОПАД – АКАДЕМИК ПРИШЕЛ НА РАБОТУ ЕЩЕ ДО СЕМИ И СТАЛ В ОДИНОЧЕСТВЕ ГОТОВИТЬСЯ К ОПЕРАЦИИ. ЗАМЕТИВ КРАСНЫЕ ПРОЖИЛКИ В ЕГО ГЛАЗАХ, Я СПРОСИЛ: “ВЫ, ДОЛЖНО БЫТЬ, НЕ ВЫСПАЛИСЬ?” АКАДЕМИК ОТВЕТИЛ: “НЕ ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЯ” – И ПРЕДУПРЕДИЛ, ЧТО НАМ ПРЕДСТОИТ ОЧЕНЬ СЛОЖНАЯ ОПЕРАЦИЯ, ВОЗМОЖНО, ПРИДЕТСЯ ВЫБИТЬСЯ ИЗ ГРАФИКА. ОН ПОПРОСИЛ МЕНЯ ИЗВЕСТИТЬ ОБ ЭТОМ АНЕСТЕЗИОЛОГА, КОТОРЫЙ БУДЕТ РАБОТАТЬ НА СЛЕДУЮЩЕЙ ОПЕРАЦИИ, И РОДСТВЕННИКОВ ПАЦИЕНТА. РОВНО В ВОСЕМЬ МЫ ПРИСТУПИЛИ К РАБОТЕ. АКАДЕМИК ДЕЙСТВОВАЛ ОЧЕНЬ БЫСТРО И ТОЧНО, ВСЕ ЭТАПЫ ОПЕРАЦИИ ПРОШЛИ БЕЗ ЕДИНОЙ ЗАМИНКИ, В ИТОГЕ МЫ ЗАКОНЧИЛИ ДАЖЕ НА НЕСКОЛЬКО МИНУТ РАНЬШЕ ГРАФИКА. Я СКАЗАЛ: “ПОЗДРАВЛЯЮ! НОВЫЙ РЕКОРД!” АКАДЕМИК СНЯЛ ПЕРЧАТКИ И ВЫШЕЛ ИЗ ОПЕРАЦИОННОЙ.

В ПЕРЕРЫВЕ Я ЗАШЕЛ К НЕМУ, ЧТОБЫ ОБСУДИТЬ ГРАФИК ОПЕРАЦИЙ НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ, АКАДЕМИК ЛИ СТОЯЛ У ОКНА В СВОЕМ КАБИНЕТЕ И РАССЕЯННО СМОТРЕЛ НА СНЕГОПАД. ОН СКАЗАЛ, ЧТО ПОСЛЕЗАВТРА ДОЛЖЕН СЪЕЗДИТЬ В ПЕКИН, И ПОПРОСИЛ МЕНЯ ПЕРЕНЕСТИ ВСЕ СРОЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ. Я СПРОСИЛ: “УЕЗЖАЕТЕ В КОМАНДИРОВКУ?” – “НЕТ, ПО ЛИЧНОМУ ДЕЛУ”. Я УЛЫБНУЛСЯ: “НЕУЖЕЛИ И У ВАС БЫВАЮТ ЛИЧНЫЕ ДЕЛА?” ПРОБЕЖАВ ГЛАЗАМИ ЖУРНАЛ ОПЕРАЦИЙ, ЗАПЛАНИРОВАННЫХ НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ, Я ПРЕДЛОЖИЛ: “МОЖЕТ БЫТЬ, ВСЕ-ТАКИ ДОЖДЕМСЯ ВАШЕГО ВОЗВРАЩЕНИЯ? ЕСЛИ ПЕРЕНЕСТИ ОПЕРАЦИИ НА ЗАВТРА, ПРИДЕТСЯ РАБОТАТЬ ДО ДЕВЯТИ, А ТО И ДЕСЯТИ ЧАСОВ ВЕЧЕРА”. ОН СКАЗАЛ: “НИЧЕГО СТРАШНОГО, ПЕРЕНОСИТЕ НА ЗАВТРА”. ТОЛЬКО ПОТОМ МЫ УЗНАЛИ, ЧТО НАКАНУНЕ ЕГО СЫН ПОГИБ В АВТОМОБИЛЬНОЙ АВАРИИ. АКАДЕМИК ЛИ ЕЗДИЛ В ПЕКИН НА ПОХОРОНЫ. ЭТО НАС ОШЕЛОМИЛО. ОН ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВЫДАЮЩИЙСЯ ЧЕЛОВЕК, У ОБЫЧНЫХ ЛЮДЕЙ СОВСЕМ ИНОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ СКЛАД...

Ли Цзяци

К вечеру второго дня после смерти папы у меня и правда поднялась температура. Я тонула в воспоминаниях, и сознание постепенно гасло, как перегоревшие нити в лампочке. Я провалилась в дрему и, истекая потом, смотрела сменявшие друг друга сны. Сны были тонкие, как вата, вывалившаяся из порванной куртки. Жар усиливался, и в конце концов я проснулась от того, что вся горю. В полубреду поднялась с раскладушки, в поблескивании оконных стекол мне примерещился лед, и я босиком кинулась к окну, прижалась к нему лицом. Не знаю, сколько я так простояла, но голова перестала гореть, мысли потекли отчетливей. На улице была ночь, в небе снова кружил снег.

Темная комнатка была завалена плетеными баулами, казавшимися рассыпанными по кладбищу могильными холмиками. Рукава лезли из баулов, точно руки мертвецов из-под земли. Перепуганная, я распахнула дверь и выскочила в столь же темный коридор. На ощупь добралась до гостиной, включила свет. Обивка красного дивана была примята. В пепельнице на журнальном столике толпились окурки, как будто лилипуты в белых одеяниях собрались вершить свой тайный обряд. Я бросилась в спальню папы и Ван Лухань, там тоже было темно, бледное одеяло съезжилось на краю большой кровати. Попятившись в коридор, я увидела полосу света под дверью в комнату матушки Цинь и, не раздумывая, заскочила внутрь.

Старуха сидела на краю кровати и без умолку что-то говорила. Она была так увлечена, что меня даже не заметила, все говорила и говорила, потом вдруг мотнула головой и злобно плюнула на пол, а после вся сжалась, в ужасе глядя себе под ноги, как будто это кто-то другой явился сюда и харкнул на пол, до смерти ее перепугав.

– Лао Ван приличного человека из себя строил, а оказалось, вон какой изверг...

– Будешь еще врать, я тебе рот разорву!

– Боишься, что выведут на чистую воду? Ты ведь сразу все знала?

– Прочь! Вон отсюда! – Она соскочила с кровати, шагнула вперед и стукнула воображаемого собеседника невидимой метлой.

Матушка Цинь играла сразу две роли, бранила сама себя и сама себе отвечала. Прежде я бы тотчас бросилась наутек, но в ту ночь не сдвинулась с места, впилась в старуху взглядом. Ее лицо то и дело преображалось, гнев сменялся обидой, обида – радостью, а радость – печалью. Странными, преувеличенными жестами старуха будто доказывала себе, что еще не умерла. В матушке Цинь кипело желание жить; я медленно подошла и опустилась на пол подле нее.

Не умолкая, она снова села на кровать, ее дыхание согревало меня, растекаясь по лбу и щекам. Я положила голову ей на колени. Тело у матушки Цинь тоже горело жаром.

– Мне так страшно... – Я заплакала.

– Ничего, не бойся. – Старуха положила руку мне на голову и небрежно пригладила волосы.

– Так плохо, и спать страшно. Закрываю глаза и вижу кошмары, мертвецы тянут руки из могил...

– А если кто из полиции спросит, скажи им, что ничего не знаешь.

– И еще приснилась мамина свадьба, как будто мне дали шоколадную конфету, я развернула фольгу, а там голова дохлого воробья...

– Даже если ты там был, это ничего не значит! Ты ничего не сделал, не надо

бояться!

– И мне снилась нечисть, безногая нечисть...

– Пусть ищут, – продолжала матушка Цинь. – Даже если докажут, что гвоздь твой, ну и что? Ты же ничего не сделал!

– У человека все-таки есть душа? – спросила я. – Знаете, мой папа умер... Умер...

Матушку Цинь передернуло:

– Папа умер, папа умер... – Она схватилась за эти слова, пытаясь отыскать у себя в голове их смысл. – Нет, не может такого быть... Папа не умер...

Она оттолкнула меня, указывая пальцем куда-то в потолок. – Скорее, ну же! Ножницы, живо носи ножницы, надо перерезать трубку у него на шее! – Старуха кричала, запрокинув голову: – Стул! Где стул? Скорей носи стул, ничего страшного, ничего страшного с папой не случилось... Потом откинулась назад и схватила меня за руки: – Сяо Хань, не бойся, хорошая девочка, не бойся, мы спустим твоего папу, он не умер, не умер...

От повторения этого слова я зарыдала еще сильнее.

– Не бойся, с папой все хорошо...

Нагнувшись, матушка Цинь грубо стерла с моих щек слезы и вдруг растерянно на меня уставилась. Ее морщинистое лицо напоминало растоптанный бумажный фонарик, оставшийся после праздника Юаньсяо. Скособочившись, она сползла с кровати на пол, обняла меня и тоже заплакала.

Мы сидели, прижавшись друг к другу, и рыдали. Я чувствовала застарелый запах камфоры, ввевшийся в шерстяные петли старухиной кофты, к нему примешивался запах разложения. Так пахнет выжженное пепелище, не успевшее остыть после пожара, когда в небе еще пляшут последние искры.

Следуя за безутешным старухиным плачем, я на какой-то миг будто коснулась ее сердца. Оно было чистое, как зеркало. Все помнило и все понимало. В тот момент я даже решила, что матушка Цинь вовсе не сумасшедшая. Это люди прозвали ее сумасшедшей. Черные невидимки на совесть держали старухины волосы, сжимая ей голову крепче колодки.

Мало-помалу я забыла, что мы плачем о разных людях, о разных “папах”. Как будто две смерти, преодолев разделявшее их время, слились в один общий плач.

Декабрьской ночью 1993 года, пока я рыдала, прижавшись к груди матушки Цинь, смерть моего папы и смерть отца Ван Лухань непостижимым образом наложились друг на друга. Оплакивая погибшего накануне папу, я одновременно рыдала и над смертью, которая случилась гораздо раньше, в 1967 году.

То была ночь накануне допроса, шел проливной дождь, молнии чиркали по окнам. Ван Лянчэн не мог уснуть, бродил из угла в угол, жена всю ночь пыталась его успокоить. Перед самым рассветом дождь стих, и Лянчэн, послушав жену, лег в постель. Но скоро рывком сел. Жена спросила сквозь сон, что случилось, он ответил, что в ящике бюро остались еще два гвоздя. А если полиция придет домой с обыском? Нужно их перепрятать. Он вышел из спальни, осмотрел каждый ящик, но гвоздей нигде не было. Тогда он вывернул ящики, принялся шарить по полу. Пот лился градом по его лицу, Лянчэн, задыхаясь, судорожно перебирал вещи, пока его рука не нашарила в грудке барахла моток резиновой трубки. Бурая резина походила на упругую плоть, теплая, будто живая, она со стуком билась в его ладонях. Дождь за окном умолк, и на сердце Лянчэна сошел покой.

В туалете под самым потолком было маленькое окошко, он привязал трубку к оконной раме, просунул голову в петлю и оттолкнул табурет.

Его нашла дочь. Встала утром в туалет, открыла дверь и увидела, как он висит под окном, с сине-серым лицом, мокрым от дождя. Лухань завизжала и выскочила в коридор.

Все это я узнала от Се Тяньчэна много лет спустя. Его рассказ был скуп на подробности, он сам слышал его из третьих рук, кроме того, с тех пор прошло немало времени и от истории остался один скелет. Но пока Се Тяньчэн говорил, те события оживали и скелет постепенно обрастал плотью. Я как будто увидела все своими глазами.

Се Тяньчэн приехал той же ночью. Прошло много лет, но он по-прежнему помнит, как был поражен, увидев нас с матушкой Цинь. Он думал, что в квартире уже все вверх дном, что старуха бьется в припадке, бранится и громит мебель, а я рыдаю от страха и голода... Но вместо этого мы, крепко обнявшись, лежали на старухиной кровати, она подогнула ноги, и мои пятки упирались в ее стопы. Глядя на нас, Се Тяньчэн на секунду даже забыл, зачем пришел.

Я не спала, но старалась лежать смирно. Матушка Цинь то и дело звала Ван Лухань, и я поспешно откликнулась, иначе она могла сообразить, что я не Лухань, и прогнать меня в другую комнату. Я догадывалась, что все про нас забыли. Дверь была заперта снаружи, и мы с матушкой Цинь оказались в плену этой холодной квартиры, нас ждала тихая незаметная смерть. Мы будем умирать постепенно: сначала умрут глаза, потом зубы, потом пальцы на ногах... Мало-помалу я перестала чувствовать под собой старухину руку, со мной осталась только самая мягкая часть ее тела – обвисшая и сморщенная грудь. Отделенная тонким слоем ткани, она прижималась к моему лицу, похожая на рыхлую могильную землю.

Щелкнул выключатель, и в комнате вдруг стало светло. В дверях стоял высокий плечистый мужчина.

– Не бойся, я друг твоего папы, – сказал он.

– А вот и ты! – Матушка Цинь села на кровати. Очевидно, мужчина был ей знаком. – Холодно на улице?

– Приготовлю вам ужин, – сказал он. – Лухань скоро придет.

Я вышла в коридор, прислонилась к кухонной двери и стала смотреть, как он строгаёт капусту. Мужчина обернулся:

– Будем есть суп с лапшой, ты не возражаешь?

Он бросил в котелок пригоршню наструганного лука, и над раскаленным маслом закрутился белый дымок. Мужчина так и не снял пальто, лоб его лоснился от пота.

Он поставил чашку с лапшой на стол, взял меня за руку и подвел к столу, а другую чашку унес в комнату матушки Цинь. Я расслышала, как он пообещал сводить ее посмотреть на фонарики в праздник Юаньсяо. Матушка Цинь поела, и мужчина уговорил ее принять лекарство, – видимо, она его слушалась, перечить не стала. Я поняла, что он вытряхивает из пузырька пилюли, – мужчина знал, где хранится лекарство, и дозировку тоже знал.

Когда он вернулся, я в оцепенении сидела над пустой чашкой.

– Будешь еще? Там осталось, – предложил он.

Я сдержанно покачала головой. Он убрал посуду и скоро вынес из кухни еще две чашки с лапшой, протянул мне ту, что поменьше.

– Я тоже поем.

Он поддел лапшу палочками и шумно втянул ее в рот. Звук получился звонкий и веселый, в ту секунду меня это очень тронуло. И самая обычная лапша тоже как будто сделалась вкуснее, я быстро доела все, что осталось.

– А где Ван Лухань? – спросила я.

Он пристроил палочки поперек чашки, выпрямился и взглянул на меня:

– Послушай, я должен тебе кое-что рассказать...

– Мой папа умер.

На секунду он замер, а потом через силу кивнул.

Мы помолчали немного, и он снова заговорил:

– Лухань упала в обморок, она уже несколько дней ничего не ела, сейчас она в больнице. С ней подруга, а я поехал сюда. – Он подтянул меня к себе, убрал волосы с моего лба. – Как тебя зовут?

– Ли Цзяци.

– Цзяци, послушай. Все пройдет, поверь мне, все проходит... – Его ладонь замерла на моем лбу. – У тебя температура?

Он встал, подошел к комоду, достал из ящика градусник. Проследил, чтобы я засунула его под мышку, и ушел на кухню вскипятить чайник. Ни разу в жизни я еще так сильно не мечтала о температуре. Как будто только болезнь способна выразить мою скорбь, только жар сравнится с обмороком Ван Лухань. Если мое горе сильнее, значит, и папу я любила сильнее. К сожалению, температура оказалась нормальной. Тридцать шесть и восемь, объявил мужчина, налил в стакан воды, велел выпить и ложиться спать.

– Вы уходите? – спросила я.

– Нет, ложись и не бойся.

– Можно мне спать здесь? – Я опустилась на диван.

Он принес из маленькой комнаты матрас и одеяло с подушкой и жестом велел мне встать. Начал было расстилать матрас и замер.

– У тебя эти дни? – тихо спросил он.

Проследив за его взглядом, я увидела на диване бурое пятно.

Он всмотрелся в мое лицо:

– Первый раз?

Я молчала, сжав губы.

Он задумчиво помедлил, потом сказал:

– Может, магазинчик внизу еще работает, посмотрю, что там есть.

Я вцепилась в него:

– Не оставляйте меня одну...

– Ладно... Тебе нужно переодеться?

Представив, что придется одной зайти в туалет или в маленькую комнату, я замотала головой. Делать было нечего, пришлось ему отыскать в спальне банное полотенце, сложить его вдвое и постелить на матрас. Я легла, и он поплотнее

закутал меня в одеяло.

Мужчина погасил свет, оставил только лампу в коридоре, потом принес стул и сел возле дивана.

– Спи, я буду здесь.

Заметив, что я так и лежу с открытыми глазами, спросил:

– Ты ведь уже большая, не станешь просить у меня сказку на ночь?

– У человека правда есть душа? Я смогу увидеть папину душу?

Он зажег сигарету, затянулся.

– Когда я был маленьким, на каждую годовщину дедушкиной смерти бабушка забиралась на табуретку и выдергивала все гвозди из стен.

– Гвозди?

– Да, а если выдернуть не получалось, оборачивала их красной бумагой. Она говорила, что когда мы уснем, бесенок приведет на цепи дедушку, чтобы он побыл немного дома. Увидит гвоздь и повесит на него цепь, а если не найдет ни одного гвоздя, дедушке не придется сидеть на привязи, он сможет свободно гулять по дому. На столе нужно было оставить угощение для бесенка, обычно бабушка варила тарелку мелкой рыбешки – костей в таком угощении много, съесть его быстро не получится, и дедушка дольше пробудет дома. – Он держал сигарету двумя пальцами, между нами курился белый туман. – Однажды ночью я тихонько поднялся с постели, спрятался за дверь и стал ждать.

– И увидели своего дедушку?

– Я не дождался и уснул там, прямо на полу.

– Я не усну.

– Не беда, ты все равно его увидишь, они приходят во сны. И необязательно ждать дня поминаения, они могут являться в любое время. Засыпай скорее и, может, увидишь папу.

Я закрыла глаза. Но сон не шел. В темноте я отчетливо слышала, как колыхнется воздух от мерного дыхания мужчины. Оно окружало меня теплой волной, и я чувствовала себя в безопасности. С самого детства я мечтала, что однажды вечером папа вот так же сядет рядом и будет смотреть, как я засыпаю. Но рядом со мной сидел незнакомец, я даже имени его не знала. От этой мысли мне стало стыдно, я как будто предавала папу. Внизу живота что-то тепло переливалось, трусы липко намокли. Конечно, я знала, что такое месячные, но считала, что до них еще очень далеко. Вот подрасту немного, начну встречаться с мальчиком, тогда и наступит их время. Но они пришли именно в эту ночь. В одной связке со страхом и горем. Кровь вытекала из моего нутра, растекалась мерцающей болью, напоминая о папе и о том сгустке в унитазе. Я представила, что кровь никогда не остановится и будет течь, пока не вытечет до капли, тогда я смогу встретиться с папой. Значит, это кровотечение – еще один способ к нему приблизиться.

Щелкнул дверной замок. Мужчина вскочил. Я тоже села на диване. В комнату вошла Ван Лухань, на ней было вчерашнее пальто в красно-зеленую клетку. Пуговицы она не застегнула, и на свитере у груди поблескивали снежинки. Ван Лухань замерла, обвела взглядом комнату: буфет, окно, диван, на диване – я. Ее глаза скользнули по мне, как по мебели.

– Хуэйлин тебя не проводила? – Мужчина шагнул ей навстречу.

Она покачала головой, сняла пальто и повесила его на спинку стула. Мужчина помог ей сесть, налил в стакан горячей воды.

– Сделай мне одолжение. – Ван Лухань потянулась к карману пальто, оно соскользнуло на пол, но Ван Лухань, не заметив этого, все шарила рукой в пустоте.

Мужчина поднял пальто и протянул ей. Ван Лухань отыскала карман и вытащила оттуда пару бумажек.

– Хуэйлин достала два билета, завтра утром отвези этого ребенка в Цзинань.

– Но ты...

– Со мной все будет хорошо.

Мужчина опустил на корточки, положил руку на колено Ван Лухань.

– Я вернусь завтра же вечером и все время буду рядом.

Мне не хватало света, чтобы разглядеть его лицо, но я могла почувствовать плещущуюся в его глазах нежность. Я замерла, внезапно припомнив, как вчера во время ссоры папа сказал Ван Лухань, что ее уже кто-то ждет. Этот мужчина пришел позаботиться обо мне и матушке Цинь не ради папы, а чтобы заменить папу, чтобы стать здесь хозяином. Я сверлила гневным взглядом его руку на колене Ван Лухань, мне так хотелось подбежать и сбросить ее.

– Уже поздно, тебе пора домой. – Ван Лухань сама убрала его ладонь.

Мужчина встал, надел пальто, но так и стоял в гостиной. Я вскочила, босиком кинулась к нему и без лишних слов толкнула к двери. Он молча вышел из квартиры, и я с грохотом захлопнула дверь.

Когда я вернулась в гостиную, там горели все лампы до единой, от яркого света, пробирававшегося даже в самый укромный уголок, у меня закружилась голова. Ван Лухань у буфета налиwała в стакан водку. Я помнила эту бутылку, ее горлышко еще хранило тепло моего папы. Ван Лухань взяла стакан двумя руками, резкий свет от лампочки над буфетом змеиным жалом лизал водку. Жидкость в стакане подрагивала, и тень на стене тоже дрожала – точно ночная птица переполошенно хлопала крыльями. Ван Лухань сделала большой глоток, поманила меня и принялась рассказывать про аварию. Она говорила сухо, коротко, как зачитывают выпуск последних новостей.

– Твоего папы больше нет. – Ван Лухань сдвинула брови, голос у нее был строгий, будто мы взяли друг с друга обещание не плакать. – Ты завтра же уедешь в Цзинань, на похороны тебе не надо. Это для твоего же блага, потом поймешь.

Я не стала спорить, мне хотелось верить ее словам, они звучали правдиво. Я тоже не плакала, молча смотрела на Ван Лухань. Я еще не видела ее так близко. Эти острые скулы, нос с горбинкой – она такая чужая. И дело было не в ракурсе, просто Ван Лухань действительно теперь была мне чужой. Раньше она была женой моего папы. А теперь мы с ней посторонние, как две планеты Солнечной системы, которые лишились Солнца и сошли со своих орбит. Я смотрела на эту несчастную женщину – отец покончил с собой, когда она была еще ребенком, мать сошла с ума, теперь и муж погиб. Боль насквозь пробила сердце Ван Лухань, обратив его в бездонный колодец.

– Ты покончишь с собой? – спросила я.

– С чего такой вопрос? – глядя на меня, сказала Ван Лухань.

– В кино, если один влюбленный умирает, второй совершает самоубийство.

Она улыбнулась, покачала стакан.

– Ты хочешь, чтобы я умерла?

– Я хочу, чтобы ты жила.

– Я буду жить.

Я помолчала и спросила:

– Это потому что ты не очень любила моего папу?

– Я его любила.

– Но вы ссорились.

– Нам нельзя было сходиться.

– Почему?

Она не ответила.

– Потому что он был женат на моей маме?

– Нет.

– Потому что дедушка с бабушкой были против?

Она покачала головой.

– Тогда почему?

– Хватит вопросов! – Запрокинув голову, она допила водку, потянулась за бутылкой и вылила остатки в стакан. Не хватило даже до половины, и Ван Лухань потрясла пустую бутылку. – Вот чертяка, хоть бы немного мне оставил. – Ее лицо вдруг смягчилось, глаза тронуло светом, точно она что-то вспомнила. А затем свет излился наружу, заскользил вниз по щекам. – Наверное, я сразу знала, что ничего не выйдет, потому и любила так сильно. – Она поперхнулась водкой, закашлялась, покраснела, с силой надавила себе на грудь, унимая кашель. Голос Ван Лухань звучал глухо, словно она делилась серьезной тайной: – Мы с твоим папой одного поля ягода. У покореженных людей и любовь покореженная. – Уголки ее рта приподнялись, будто Ван Лухань гордилась своим отличием от обычных людей.

– Ты будешь встречаться с тем мужчиной? – спросила я.

– Ты про Се Тяньчэна?

– Ты ему нравишься, я видела.

– Я не буду с ним встречаться, теперь ты спокойна? – Ван Лухань положила руку мне на плечо. – Детка, сколько же у тебя тревог. Сначала боишься, что я умру, потом – что стану встречаться с другим мужчиной. Так скажи на милость, как мне жить дальше? Одной, как сирота? – Она улыбнулась, по щеке скатилась слеза. – Это очень тяжело.

Ван Лухань медленно осела на пол, привалилась головой к буфету. Рядом со вчерашней вмятиной от пепельницы. Она осторожно обвела вмятину пальцем.

Перед рассветом я не выдержала и легла на диване лицом к Ван Лухань. Веки отяжелели, я изо всех сил гнала сон, снова и снова открывала глаза, чтобы посмотреть на нее. Мне просто нужно было знать, что она еще здесь, и чтобы она видела, что я тоже не сплю. Скорее всего, ей было все равно. Но я тешила себя надеждой, что пока мы вместе, некая мощная сила может вернуть нам папу.

Но он все не возвращался, и в конце концов я уснула.

Из сна меня вырвала песня матушки Цинь.

“Небо усыпано звездами...” Ее голос звучал так же мягко и проникновенно. В мире матушки Цинь ничего не изменилось.

Она вышла из своей комнаты, увидела меня, замерла, но вспомнила, кто я, и улыбнулась. Матушка Цинь усадила меня на стул у окна и принялась причесывать. На этот раз я не вырывалась. Наверное, из Пекина я смогу привезти только эти косы. Волосы она укладывала еще усердней, чем накануне. Невидимки прикалывала аккуратно, стараясь не царапнуть кожу, мне было совсем не больно.

Ван Лухань выключила горевший всю ночь свет и скрылась в спальне. Вышла она оттуда уже в черном. Черный свитер с высоким горлом, черное пальто.

– Черный тебе к лицу. – Матушка Цинь подошла к дочери, отряхнула воротник пальто.

Ван Лухань обулась и ушла. Скоро она вернулась с пакетом маленьких пирожков баоцзы, поставила его на стол и позвала нас с матушкой Цинь завтракать. Я развязала пакет, оттуда вырвался горячий пар, пахнувший мясным фаршем. Но вместо вкуса пирожков я почувствовала только обволакивающий рот свиной жир, и меня едва не вырвало. Я съела лишь один пирожок. Ван Лухань тоже не ела, налила себе стакан горячей воды и держала его в руках. Вчерашняя печаль так и застыла на ее лице, навсегда изменив его черты. Точь-в-точь как у матушки Цинь – даже в веселые минуты печальное выражение не сходило с ее лица. Прежде Ван Лухань совсем не походила на мать, но теперь между ними появилось сходство. Небо хмурилось, серые лучи траурной вуалью ложились на лица двух вдов. Я представила, как они будут жить после моего отъезда. Матушка Цинь проснется за полночь и, напевая, примется расчесывать волосы. Утром Ван Лухань, собравшись с силами, спустится за завтраком. После полудня сядет на диван и станет курить одну сигарету за другой, пока пепельница не заполнится окурками с красными сердцами, а небо за окном не начнет темнеть. Потом придет долгая ночь. Для убитого горем человека пережить ночь все равно что пройти через нескончаемый подземный туннель. Брезжит рассвет, и ты наконец выбираешься из-под земли. Наступает новое утро, раздается песня. И так день за днем, без всякой надежды; эта мрачная квартира, пропитанная запахами краски и раскисших куриных перьев, больше похожа на склеп, по которому бродят живые люди. Я знала, что горе не отпустит меня и после возвращения в Цзинань, но одна мысль о том, что скоро я покину эту квартиру, приносила радостное облегчение. Конечно, это место будет часто мне вспоминаться. Я осмотрелась по сторонам, стараясь запомнить каждую мелочь. Где вбит гвоздь, как шелушится краска на дверной коробке. Все это связано с папой. Позже, вспоминая его, я буду представлять эту квартиру, она станет сосудом для моих воспоминаний.

– Никак не могу сообразить, – матушка Цинь отложила пирожок и уставилась на меня, – кого ты мне напоминаешь.

Пришел Се Тяньчэн. Матушка Цинь пригласила его к столу, но он сказал, что уже поел, и помахал пакетом – купил мне в дорогу пирожков с соевой пастой.

– Дети любят сладкое, – объяснил он.

– Да, – согласилась матушка Цинь. – Сяо Хань тоже любит сладкое.

Я встала и надела пальто. Матушка Цинь подошла ко мне и стала перекалывать невидимки на висках. Вдруг она замерла, будто вспомнила что-то очень важное.

– Как тебя зовут?

– Ли Цзяци.

– Цзяци, вечером приходи пораньше, будем есть пельмени. – Она обернулась к Ван Лухань: – Давай сделаем на ужин пельмени?

Ван Лухань не ответила. Проводив нас до двери, она сунула мне черный

целлофановый пакет. Внутри была пачка прокладок.

Мы вышли из квартиры, но я вдруг кинулась обратно, заскочила в маленькую комнатку, взяла верхнюю книгу из стопки и запихала в карман пальто. Перед уходом я бросила быстрый взгляд на раскладушку: панда Тата лежала лицом вниз у стены.

В поезде, заметив мое отчуждение, Се Тяньчэн пытался накормить меня пирожками, заварил мне чашку черной кунжутной пасты. Я не понимала, зачем так стараться, ведь он всего лишь исполняет поручение, мы выйдем из поезда и больше никогда не увидимся. Еще он постоянно рассказывал, где сейчас проезжает поезд и какими продуктами славится эта местность. Обещал выйти на перрон и купить все, что мне захочется. Я только качала головой, но на одной из коротких стоянок он все-таки сбегал на платформу и вернулся с коробкой тяньцзиньских плетенок и двумя клубнями печеного батата, от которых шел горячий пар.

Я сдалась и взяла у него один клубень, хотела просто погреть руки, а потом все-таки не выдержала и пару раз от него откусила. Но за всю поездку я не сказала Се Тяньчэну ни слова. Он привел меня к дедушкиному дому, проводил взглядом до подъезда.

– До встречи, Цзяци, – сказал он мне в спину, но я не обернулась.

Я думала, мы никогда больше не встретимся.

Чэн Гун

За зиму 1993 года действительно произошло много событий. Ты ушла, не попрощавшись, а потом еще один человек тоже задумал сбежать.

Тем вечером тетя впервые в жизни приготовила целых четыре блюда, все мои любимые, да еще купила ящик пива, и они с бабушкой пили его за ужином. Я тоже хотел налить себе стаканчик, но получил палочками по рукам. Тетя то и дело подливала бабушке пива, уговаривала выпить еще немножко. Бабушка пить была мастерица, мало кто мог ее переплунуть, но от спиртного ее начинало клонить в сон, к тому же батареи жарили вовсю, и после пары бутылок она уже клевала носом.

Бабушка заснула, тетя убрала со стола и сказала: давай тоже ляжем пораньше. Я забрался на верхний ярус, едва успел улечься, как сквозь щель между стеной и матрасом пробрался тетин голос: Чэн Гун, мне надо кое-что тебе рассказать.

Сяо Тан уезжает и просит меня поехать вместе с ним, сказала тетя. Я спросил, кто такой Сяо Тан. Я же тебе рассказывала, врач-стажер. А-а. Я не сразу вспомнил эту историю. Тем летом однажды случился сильный ливень, было уже поздно, тетя дежурила в аптеке и увидела, что какой-то молодой мужчина спрятался от дождя под их козырьком. У тети был зонт, но она не хотела его одалживать. Раньше она уже несколько раз проявляла к людям доброту, в итоге приходилось покупать новый зонт. Но не успела она опомниться, как мужчина зашел в аптеку и заговорил с ней. Тетя покраснела, как будто он уже догадался, что в ее сумке лежит зонт. Мужчина попытался завязать беседу: дежурите? ночная смена? Сказал, что ему надо сдать лабораторный отчет, – видимо, тоже придется до утра над ним просидеть. Тетя молча слушала, потом вдруг схватила сумку и протянула ему зонтик, после чего с досадой глядела, как мужчина выходит под дождь с ее зонтом. Наверное, он и заглянул сюда только затем, чтобы его выманить. Но наутро, перед самым концом ее смены, мужчина пришел и вернул зонт, мало того, он заклеил пластырем проколотый спицей уголок. А еще пригласил тетю позавтракать вместе в столовой. Дома она рассказывала: этому Сяо Тану несладко пришлось. Семья живет в деревне, в детстве из-за гентамицина он оглох на одно ухо и на уроках понимал едва ли треть, но все равно твердо решил стать врачом, три года провел на подготовительных курсах и наконец поступил в университет. Чтобы не отстать от остальных, каждый день засиживался в библиотеке до полуночи, скоро у него долгожданный выпуск, но работу найти будет непросто, наша больница его в штате не оставит. Потом тетя еще раз упоминала в разговоре Сяо Тана, говорила, что он замечательный человек, подарил ей белый перец, который прислала родня из Хунани. С тех пор тетя во все блюда стала добавлять щепотку белого перца, но больше о Сяо Тане не заговаривала. А я и внимания на эту историю не обратил, просто подумал, что тете Сяо Тан немного нравится. Но ей кто только не нравился, от врачей до вахтеров на проходной, – стоило человеку проявить к ней малейшую доброту, и тетя долго не могла этого забыть, хватало даже улыбки или простого “спасибо”.

Поэтому мне было трудно поверить в ее слова, я решил, что она опять безответно влюбилась, приняла чужую вежливость всерьез. Я спросил: и что ты будешь делать на юге? Тетя ответила: Сяо Тан откроет свою клинику, я буду администратором. Я сказал: отлично, и когда вы едете? Она ответила: на следующей неделе, билеты уже купили. Тут я замолчал. Она добавила: я ничего тебе не говорила, боялась, что бабушка узнает и переломает мне ноги. Я сказал: а теперь, значит, не боишься, что я тебя выдам? Она ответила: я хотела написать письмо и оставить его тебе в день отъезда, но написать не получилось... Я хмыкнул: а если бы получилось, ты так бы ничего и не сказала? Тетя промолчала, и скоро я услышал, что она плачет. Чэн Гун, я правда не знаю, как мне быть. А как тут быть, ответил я. Ты ведь уже все решила. Она еще немного поплакала и сказала: я очень хочу взять тебя с собой, но бабушка уже в возрасте, с ней должен кто-то остаться. Я сказал: ага, и это должен быть я. Тетя ответила: мы будем каждый месяц присылать вам деньги. По дому работы много, ты уж потерпи. А потом мы тебя заберем. Мне очень не нравилось

это “мы”, теперь даже у тети появилось свое “мы”. Я тер пальцем след от шариковой ручки на стене, размышляя, что она имеет в виду под “потом”. Наверное, когда умрет бабушка? Помолчав, тетя опять заплакала и сказала, что не знает, как ей поступить. Я сказал: давай спать, глаза слипаются. Тетя еще долго плакала, я уже почти задремал, когда она сказала: не вини меня, Сяо Гун. Сквозь сон мне показалось, что вернулась мама. Потому что никто больше не называл меня “Сяо Гун”, только она.

Утром я проснулся до рассвета, лежал в постели, обдумывая свое положение. Теперь и тетя уезжает, в это действительно было трудно поверить. Я думал, что кто угодно может уехать, только не тетя, ведь ей, как и мне, ехать было просто некуда. Но вот и она решила меня оставить. Тетя всегда была тенью, воздухом, я редко замечал ее присутствие, но сейчас представил жизнь без нее, представил, как в одиночку буду сражаться с бабушкой, и осознал, что за кошмар меня ждет. Но что я мог сделать? Рассказать бабушке? Нет, ни за что. Если честно, я обдумывал другую возможность – уговорить тетю взять меня с собой. Бабушка сама могла отлично о себе позаботиться. Но, вспомнив о дедушке, сразу отбросил эту мысль. Страшная месть еще не свершилась, а пока дело не закончено, уехать я никуда не могу.

Теперь по вечерам стол ломился от еды. Жаренные коробочки лотоса, каракатицы с луком, ребрышки в кисло-сладком соусе, а еще паровые пирожки с кабачковой начинкой – до отъезда тетя успела приготовить по разу все мои любимые блюда. Пока я ел ребрышки, она не выдержала и заплакала. Вскочила, убежала в туалет. Бабушка была занята ребрышками и ничего не заметила, облизала соус с пальцев, пожаловалась, что мясо жестковато. Перед сном я увидел, как тетя осторожно вытаскивает из-под кровати чемодан и складывает в него приготовленную стопку одежды. Мы молчали, она старалась не встречаться со мной взглядом. На другой день я шел мимо доски объявлений рядом со столовой и увидел, что вечером в зале собраний пройдет показ фильма “Сяохуа”, я еще подумал: не сказать ли тете, это ее любимый фильм, она давно мечтала пересмотреть. Но потом решил не рассказывать, все равно ей скоро уезжать, и времени на кино у нее нет.

На пятый день тетя перед сном сказала: завтра утром я уезжаю. Напишу тебе оттуда письмо, отправлю его на школьный адрес, как прочтешь, порви, чтобы бабушка не видела, понял? Я молчал, тогда она попросила: слезь вниз, дай на тебя посмотреть. Не надо, сказал я. Слезай! Она встала на цыпочки и потянулась ко мне. Я поджал ноги и отодвинулся к стенке. Тетя подпрыгнула и схватилась за угол одеяла, подумала, что это моя майка, потянула на себя и тянула, пока одеяло не накрыло ее с головой. Мы оба расхохотались. Раньше после каждой ссоры я забирался на верхний ярус, а тетя подпрыгивала, ловила меня и щекотала пятки, за этой возней мы и мирились. Улыбаясь, она забралась ко мне, села рядом, и в комнате вдруг стало очень тихо. Уголки тетиных губ поползли вниз, она вздохнула: с самого детства мне не давали ничего решить, хочется хотя бы однажды попробовать. Обхватила руками колени и снова вздохнула: я очень боюсь, правда. Потом пригласила мне челку: пора стричься. Когда уеду, заглядывай в парикмахерскую у ворот, брейся там наголо. У нее потекли слезы, она сказала: Чэн Гун, это временно, у бабушки не останется выбора, ей придется смириться, и тогда я заберу вас к себе. Я спросил: а как же дедушка? Дедушка? Тетя осеклась, о дедушке она явно забыла. Я никуда не поеду, сказал я. У меня тут есть кое-какие дела. Тетя спросила, какие это дела, но я не ответил. Она взяла меня за руку, похлопала по ладони и сказала: за дедушкой присматривают медсестры, мы не можем забрать его с собой, да это и не нужно... Сжав губы, я замотал головой. В комнате было темно, тень оконного переплета покачивалась на стене. Я долго смотрел на белые стены, и они стали казаться синими, а меня снова окружали безмолвные прозрачные люди, танцующие у костра.

Ты все равно уезжаешь, глядя на тетю, сказал я. Мне нужно кое-что тебе рассказать. Я знаю имя второго преступника, который изувечил дедушку. Тетя до смерти перепугалась, уставилась на меня разинув рот. Я спросил: хочешь узнать, кто он? Она не сводила с меня глаз: и кто? Ли Цзишэн. Произнося это имя, я

почувствовал, как ее рука, лежавшая на моей, дрогнула. Болтаешь что попало... Тетя коротко взглянула на меня и опустила глаза: откуда ты знаешь, что это он? Ты об этом не думай, сказал я. Просто знаю. Она ответила: нет, не может быть, нельзя сочинять такие вещи... Ты никому не говорил? Я сказал: этот поступок не может остаться безнаказанным, я должен отомстить за дедушку. Она ответила: как ты собрался мстить, не пугай меня, быстро рассказывай, что ты надумал. Я спросил, глядя ей в глаза: ты ведь давно знала, что это он? Откуда мне знать, ответила тетя. Я ничего не знаю, прекращай свои догадки, все давно в прошлом, не лезь не в свое дело, ты слышал, завтра я уезжаю, и как я теперь поеду? Она расплакалась. И уезжай, пусть мои дела тебя не касаются, ответил я. Пообещай, что не будешь в это лезть. Она попыталась взять меня за плечи, но я оттолкнул ее и холодно сказал: иди спать.

Той ночью я долго не мог заснуть. И тетя тоже, все шуршала и ворочалась на своей нижней полке. Я снова и снова вспоминал, как дрогнули ее пальцы, как заметался взгляд, когда я сказал о Ли Цзишэне. Ей давно было известно имя второго преступника, это точно. Мне вдруг показалось, что все его знали – и ты, и Пэйсюань, и тетя... Все, кроме меня, я один оставался в неведении, сидел под колпаком громадной лжи.

Тетя ушла на рассвете, я не спал, но решил притвориться спящим. Сначала я услышал, как она натягивает сапоги, потом – как выходит с чемоданом из комнаты. А в промежутке было несколько секунд тишины. Что она делала? Оглядывалась по сторонам, роняя тихие слезы? Как бы там ни было, я верил, что она прощается со мной. И тоже с ней попрощался, хотя внутри еще сидела обида. Но я подумал, что больше возможности не представится, ведь я никогда отсюда не уеду, а она никогда не вернется. Тетя как можно тише притворила дверь в комнату, но мое сердце все равно перевернулось. А утром на столе меня ждал приготовленный завтрак, словно ничего и не изменилось.

В тот день на уроки я не пошел. Больше ничто не мешало мне прогуливать школу, в ответ на прогулы учителя просто вызовут в школу родителей, а у меня теперь ни родителей, ни тети. Бабушка ни за что не пойдет выслушивать нотации от учительницы, а если кто-то из школы сам явится к нам домой, она еще и отделает гостя метлой. Даже если меня исключат, бабушка скажет: ну и ладно, без школы обойдемся. Теперь я находился в шаге от того, чтобы совсем бросить учебу. Все равно после твоего побега меня в школе ничто уже не держало.

Я вышел из Наньюаня и бесцельно побрел вдоль дороги. Незаметно очутился у средней школы “Вэньхуэй”. Мы редко заходили в эти места, территория “Вэньхуэй” начиналась сразу за продовольственным рынком. Слава об этой школе дошла до меня в первые же дни после переезда к бабушке. Чего там только не было – и грабежи, и вымогательства, и аборты, и самоубийства. Мимо ворот этой школы следовало проходить затаив дыхание, а в кинотеатры и бильярдные поблизости простые люди тем более старались не заглядывать. Я потерялся немного у школьных ворот, на спортплощадке шел урок физкультуры, строй стоял как попало, а несколько девочек сидели на трибуне у площадки и хихикали, указывая на какого-то мальчика в строю, одна из них, ко всему прочему, жевала банан. Увидав их вольготную жизнь, я проникся некоторой симпатией к школе “Вэньхуэй”. Очень красивая девочка заметила меня за оградой, помахала и пару раз свистнула. Остальные девчонки завопили: эй, малыш, иди сюда! Я испугался и поспешил прочь.

Голос из динамика у входа в кинотеатр зачитывал объявление, какие фильмы будут показывать в видеосалоне на втором этаже. Этот видеосалон всегда был окутан тайной, говорили, там часто крутят эротику. Но я не знал, в каком из предложенных фильмов будет эротика, наибольшее подозрение внушали фильмы, где в названии встречался иероглиф “женщина”. Воображение у меня разыгралось, я достал деньги, купил билет, поднялся по темной лестнице на второй этаж и посмотрел фильм под названием “Женщина-призрак”. Все герои фильма были одетыми, но некоторые успели превратиться в призраков. Причем девушка-призрак мне очень понравилась, над верхней губой у нее рос легкий пушок. Сеанс

окончился, я вышел из кинотеатра, и пока глаза привыкали к яркому уличному свету, меня остановил паренек в черной бейсболке. Все его лицо усеивали прыщи, глаза немного косили, и хотя паренек был ненамного выше меня, я понял, что он уже ходит в среднюю школу. Он обхватил меня за плечи, отвел в какую-то подворотню и стал требовать деньги. Я без лишних слов вывернул карманы и отдал ему все, что было. Он отошел на несколько шагов, потом вернулся и спросил:

– В бильярд умеешь играть?

Я покачал головой, но он все равно велел мне идти с ним.

Мы проболтались в бильярдной до самого вечера, он научил меня играть. Но больше играл сам, а я стоял рядом и смотрел. Было немного жаль этого парня – наверное, у него совсем нет друзей, отобрал у меня деньги, а теперь даже погулять на них не с кем. Кажется, он не хотел мне навредить, просто искал компании. Перед уходом спросил, где я учусь и в каком классе, сказал, что будет иногда за мной заходить.

Пока я шел домой, успело стемнеть. День выдался насыщенный, я увидел возможность другой жизни. Передо мной открылся мир по ту сторону продовольственного рынка, и, кажется, этот мир был мне рад. Я раздумывал, не пойти ли туда и завтра, посмотреть какой-нибудь новый фильм. Уже на подходе к дому я забеспокоился. Скоро бабушка поймет, что тетя сбежала, и придет в ярость, начнет бесноваться, приставать ко мне с вопросами. Но денег все равно не было, еду я купить не мог, пришлось возвращаться домой. Набравшись храбрости, я шагнул в квартиру, и в лицо ударил аромат лапши с фаршем и сладким соусом. Я так и замер в дверях, и тут из кухни выбежала тетя. Пока я раздумывал, сон это или явь, она подошла, прижала меня к себе и широко улыбнулась.

– Ты как раз вовремя! – сказала тетя. – Накрываю на стол.

Тетя сказала, что ей повезло: они приехали на вокзал заранее, в поезде она передумала, успела выскочить из вагона и даже попрощаться с Сяо Таном через окно. Она почти ничего ему не сказала, только плакала, в конце кое-как смогла составить единственную внятную фразу: я... я правда не могу с тобой поехать... А Сяо Тан даже не удивился, только сказал с горькой улыбкой: я знал, что ты останешься, но все-таки решил попробовать. Он тоже заплакал, потянулся и обнял ее через окно. Тетя не ожидала, что он будет так спокоен, думала, Сяо Тан обругает ее последними словами, поэтому растерялась и не знала, что сказать. После, вспоминая тот день, она всегда говорила, что на целом свете не найдется человека лучше, чем Сяо Тан, а она перед ним даже не извинилась. Только об этом она и жалеет? Я не спрашивал.

Вечером мы с ней снова забились в маленькую комнату. Вдвоем уселись на нижний ярус кровати и поначалу ни слова не могли друг другу сказать, как после долгой разлуки. Я спросил: почему ты не уехала? Тетя ответила: беспокоилась за тебя, а вдруг ты в самом деле натворил бы каких-нибудь ужасов? Нельзя бросать тебя без присмотра. Она погладила меня по ушам. Раньше тетя всегда так делала, чтобы утешить меня, когда я лежал с температурой. Глаза у меня защипало, по щекам покатились слезы. Тетя могла уехать, но предпочла остаться, до нее так еще никто не поступал. И все ради меня. Я сказал: помнишь, гадатель говорил, что ты не сможешь оторваться от дома, что тебе суждено всю жизнь провести на одном месте? Она кивнула: я тоже об этом подумала, когда возвращалась сегодня с вокзала. Наверное, он сказал правду, почему иначе при одном виде поезда у меня и сердце зашлось, и ноги подкосились, словно я иду на казнь. Грусть грустью, но когда я решила остаться, на душе сразу полегчало. На обратном пути увидела Наньюань из окна автобуса, да так и разрыдалась, всех пассажиров перепугала. Слезы текли ручьем, ничего не могла с ними поделать, иду по рынку и вытираю, дядюшка Чэнь из овощной лавки испугался, спросил, что со мной стряслось. Откуда им знать, что я пережила этим утром? Я как будто успела съездить на юг и вернуться домой. Тетя печально улыбнулась: я такая растяпа, надо было доехать хотя бы до Суйчжоу, а там поворачивать обратно, тогда бы я хоть ненадолго

вырвалась из Цзинаня.

Когда она немного успокоилась, я сказал: если не хочешь, чтобы я натворил ужасов, расскажи мне все, что знаешь. Тетя замолчала, потупилась и потерла ладони. Я добавил: если не расскажешь, я все равно рано или поздно выясню. Она вздохнула: дело не в этом, просто я правда не знаю... Я сказал: тебе давно известно, что вторым преступником был Ли Цзишэн, так? Она покачала головой: я не знаю, правда. Я просто предположила, что это мог быть он. Тогда я спросил, откуда у нее появилась такая догадка. Тетя еще немного помялась и наконец заговорила.

Вскоре после самоубийства Ван Лянчэна Ли Муюань стал часто появляться у дома Ван Лухань, обычно он приходил туда после заката, постоит немного под окнами, потом уходит. Однажды тетя притворилась, будто идет мимо; завидев ее, Ли Муюань испугался и поспешил прочь. Потом она заметила, что куда бы ни шла Ван Лухань, Ли Муюань всюду следует за ней. Но не тайком – Ван Лухань явно видела, что идет не одна. Так они и ходили – на рынок, в продуктовый магазин, в аптеку – и всю дорогу молчали. Но однажды Ван Лухань отправилась на угольную станцию, нагрузила тачку брикетами и покатила домой. По дороге тачка перевернулась, брикеты рассыпались по земле, Ли Муюань бросился их подбирать, но Ван Лухань с силой его оттолкнула. Он пошатнулся и упал, а когда встал на ноги и снова взялся за брикеты, Ван Лухань снова его толкнула. И так несколько раз, в конце концов она сдалась, отошла в сторону и смотрела, как Ли Муюань собирает уголь, а потом разрешила ему докатить тачку до дома.

Тетя сказала: потом твой папа начал постоянно цепляться к Ван Лухань, а Ли Муюань бросался ей на помощь, и однажды твой папа крепко его избил. Пошли слухи, что Ли Муюань влюбился в Ван Лухань. Тетя покачала головой: но я знала, что все не так просто. Я спросил: что значит “не так просто”? Это было стыдное, нечистое чувство, по слогам отчеканила тетя. Ее взгляд сделался строгим, как у учительницы, которая застучала ученика со шпаргалкой на экзамене. Мне это было явно не по уму, я плохо понимал, что за сложное чувство возникло между Ван Лухань и Ли Муюанем и как оно могло подсказать тете, что Ли Цзишэн замешан в преступлении. Подумав немного, я спросил: наверное, ты сразу что-то заподозрила, потому и стала за ними следить? Тетя изменилась в лице: никто за ними не следил, я просто случайно увидела... Я замолчал. По прошлому опыту я знал, что тетя так волнуется, когда врет. Но почему ей вздумалось врать? Сразу эта загадка мне не давалась, и я решил разобраться с ней позднее. А пока задал тете самый важный вопрос: если ты догадалась, что это был он, почему не сказала бабушке и папе? Тетя ответила: я тогда чуть не умерла со страху, он пробил человеку череп гвоздем, да он на что угодно может пойти! Кто знает, какую расправу он придумает, если я выведу его на чистую воду? А если его посадят в тюрьму и он выдаст своих соучастников, что тогда? Я сказал: ничего, арестовать их, вот и весь сказ. Тетя покачала головой: заварилась бы такая каша, что никому не расхлебать. Я спросил: что значит “не расхлебать”? Она сказала: ты не застал то время, человека за любой чих могли схватить и повести по улицам, начать борьбу и критику. Сегодня одного критикуют, завтра другого, и неизвестно, когда примутся за тебя. Ведь и дедушка превратился в растение, потому что попал под критику. Никто не знал, что будет дальше, это вышло из-под контроля, ты понимаешь? Даже если правда на твоей стороне, в конце ты и окажешься виноват. Лучше уж ничего не говорить, ни во что не вмешиваться. Я спросил: ты не чувствуешь к ним ненависти? Они изувечили дедушку, а бабушка говорила, он мог бы стать директором больницы. Тетя вздохнула: не мог бы. Я спросил почему. Она сказала: у него другая судьба, твой дедушка – простой человек, для него большой удачей было не погибнуть, сражаясь с япошками. Я спросил: а кто не простой человек? Ли Цзишэн, сказала тетя. У него даже лицо необычное, сразу видно – личность. Я спросил: это тоже гадатель сказал? Тетя ответила: нет, я сама так чувствую. Интуиция меня не обманывает, с самого начала “культурной революции” я поняла, что нашей семье не поздоровится, так оно и вышло. Когда твоя мама пришла к нам в дом, я сразу почувствовала, что надолго она не задержится... Тетя замолчала и взглянула на меня. Она всегда была очень осторожна и не заговаривала о моей

маме, словно эта тема – запертый в клетке лев, стоит ему вырваться наружу, и он разорвет нас на кусочки. Тетя вдруг обняла меня и сказала: во всяком случае, я теперь дома, никуда не поеду, так что запомни свое обещание и выбрось из головы эту месть. Поверь, нам его не одолеть. Если и правда хочешь отомстить, хорошенько учись, покажи им, на что способен. Я растерянно смотрел на нее: тетя, а я – простой человек? Нет, твердо сказала она. Теперь вся моя надежда на тебя. Она похлопала меня по спине: ложись скорее спать. Слава богу, я снова в своей постели, смогу хорошенько выспаться.

Я забрался на верхний ярус, улегся под холодное одеяло. Завтра надо возвращаться в школу. Подумал, что прекрасная жизнь в мире, раскинувшемся к востоку от продовольственного рынка, закончилась, едва успев начаться, и сердце защемило. Но тетя сказала, что я необычный человек, и, вспомнив ее слова, я почувствовал азарт, захотелось показать им, на что я способен.

Я полежал немного и спросил у тети, что потом стало с Ван Лухань. Она долго не отвечала, наверное, успела задремать, а может, пыталась вспомнить, куда уехала Ван Лухань. Ее забрал отсюда старший брат, наконец ответила тетя. С тех пор в Наньюане она не появлялась.

Перед сном я раздумывал, зачем тетя мне соврала. Ведь ясно, что она следила за Ли Муюанем и Ван Лухань, почему же не захотела в этом признаться? Всего через пару дней ответ всплыл на поверхность. Вечером я пришел домой, бабушка ела лапшу быстрого приготовления, а тетя, сославшись на боль в желудке, не стала готовить ужин и сразу легла в постель. Когда я зашел, она резко села на кровати и сказала: Ли Муюань умер, его машина врезалась в грузовик. Я спросил, откуда ей это известно, тетя сказала, что в церкви устроили специальную службу для матери Ли Муюаня, ей рассказал об этом один из прихожан. Тетя выглядела очень встревоженной и терла ладони тыльными сторонами, как будто срочно должна что-то предпринять. Дождавшись, когда я усну, она потихоньку встала и выскользнула из комнаты. Щелкнул замок входной двери – она вышла в подъезд. Я слез с кровати, босиком подошел к окну. На улице было холодно, ни одного прохожего. Тетя села на корточки у фонаря, чиркнула спичкой, загорелся огонек.

Пламя задуло ветром, тогда она взяла новую спичку и прикрыла огонек руками. Потом достала из-за пазухи тетрадь с красной обложкой, стала рвать из нее страницы и поджигать, разгорелся маленький костер. Несколько раз она останавливалась, наверное, читала, что там написано. В конце бросила в огонь красную обложку, и пламя вдруг прыгнуло вверх. Тетя все сидела на корточках, глядя, как оно успокаивается, постепенно съезживается и гаснет. Потом встала, потерла лицо, обхватила себя за плечи и вернулась в подъезд.

Я вдруг понял, что у нее тоже было “нечистое, стыдное чувство” к твоему отцу. Он ей нравился, потому она за ним и следила. Все искали второго преступника, а тетя была погружена в свои сердечные заботы. Она надеялась, что это чувство поможет ей убежать от творившегося в мире безумия, но потом обнаружила тайную связь между твоим папой и Ван Лухань. Безумие окружило ее кольцом, от него было не скрыться. Тетя сохранила все в секрете, потому что любила твоего папу? Возможно, ведь огласка могла разрушить жизнь его семьи и поставить крест на его будущем. Но другой причиной наверняка был страх, тетя боялась “заварить большую кашу”. Страх и любовь вынудили ее хранить молчание. Вряд ли твой папа знал о ее любви или о страхе, он вообще ничего не знал. А теперь умер и уже ничего не узнает. Нет, наверное, тетя думала иначе: раз он умер, можно наконец все ему рассказать. Поэтому она так торопилась сжечь эту тетрадь. Кажется, раньше она встречалась мне в одном из сундуков. Почему я тогда ее не открыл? Наверное, не верил, что у тети могут быть свои тайны.

На языке вертелось еще много вопросов. Как она вела себя с Ли Муюанем, когда узнала правду? Могла ли и дальше его любить? Неужели она не озлобилась, увидев, что его жизнь совсем не изменилась, а ее жизнь разрушена до основания? Хотелось ли ей рассказать ему правду? Я увидел, как похожа моя западня на ту, в которую много лет назад угодила тетя. Мы пленники одного сюжета, носимся по

кругу, как хомячки в колесе. Но что будет делать хомячок, если однажды узнает, что все это время он оставался на одном месте?

Через пару дней ты вернулась домой. Был понедельник, снег шел с самого утра. Во вторую смену перед уроком словесности ко мне подбежал взволнованный Большой Бинь: Ли Цзяци вернулась, она переходит в другую школу, мама привела ее забрать документы. Сердце у меня дрогнуло, но я не удивился. Рано или поздно ты должна была уехать, как будто все, что здесь случилось, тебя не касается. Да, у тебя была такая свобода. Большой Бинь потерял красные глаза и сказал: она ушла собирать вещи, просила передать, чтобы после уроков ты зашел домой к ее дедушке.

Во второй половине дня снег повалил еще гуще. Ветер распахнул дальше в классе окно, стекло разбилось. Учительница объявила, что классный час отменяется, и отпустила нас по домам. Все похватали свои рюкзаки и кучками потянулись в коридор, а я остался на месте. На прошлой неделе меня пересадили, теперь я сидел в дальнем от двери ряду, у самой батареи. Из выбитого окна сзади задувал ветер, и внутри меня сражались два потока – холодный и горячий. Я открыл тетрадь для домашней работы, вырвал из нее последнюю страницу и написал письмо. Там была всего одна фраза, но про себя я все равно назвал ее письмом.

Ли Цзяци, твой дедушка – второй преступник, который изувечил моего дедушку, но я тебя не презираю, мы по-прежнему друзья.

Я сложил письмо в несколько раз, зажал его в кулаке, оделся и вышел из класса. Нашу маленькую спортплощадку занесло снегом, теперь она выглядела огромной. Снежинки крутились в воздухе, залепляли лицо, не давая дышать. Я надел шапку, стянул отвороты пальто и широким шагом устремился вперед. Наверное, мы видимся в последний раз, мне хочется многое тебе сказать, но случая может и не представиться. Мама будет тебя поторапливать, бабушка встанет рядом, сверля нас холодными глазами. Сколько времени нам дадут? Десять минут, полчаса? Как мне распорядиться этим временем, сколько минут потратить на утешение, сколько – на прощальные слова? Я хотел обнять тебя, но, может, это слишком большая роскошь? А потом сунуть тебе в руку письмо и быстро убежать. Какой-то голос нашептывал у самого уха: времени осталось немного, поспеши, поспеши. Но шагал я все медленнее. И у входа в магазинчик “Канкан” остановился.

Я услышал жалобный вой. Где-то скулила собака, но я не мог понять где. В магазинчике было темно, на двери висел замок – из-за плохой погоды они закрылись пораньше. Я зашел под навес у входа в магазин, там был деревянный стол, под которым любила сидеть бездомная собака, маленькая и тощая, с перебитой лапой, ты еще часто ее подкармливала. Я отодвинул пластиковый поддон с баночками из-под простокваши и пустыми бутылками – собаки под столом не было. Снова послышался вой. Я прислушался, оказалось, он идет из водосточной канавы справа от навеса. Я подошел поближе и увидел в канаве черный подрагивающий комок.

– Вот ты где, – тихо сказал я.

Поскуливая, собака задрала голову.

Никогда не забуду ее морду. Глаза и часть носа покрылись жесткой коркой, как будто собака надела железную маску. Это гной из ее глаз, смешавшись с грязью, застыл в твердый струп, закрывший половину морды. Она не видела, куда идет, потому и упала в канаву. А перебитая лапа не давала ей выбраться наружу.

Не сводя с нее глаз, я присел на корточки. Она почуяла мое приближение и разволновалась: взвыла, несколько раз попыталась встать, но ничего не вышло. Оставалось только изо всех сил тянуть шею и смотреть на меня. Она не могла меня видеть, но хотела показать, что смотрит на меня, что за этой маской, за жесткой коркой, скрываются полные надежды глаза.

- Не бойся. - Я погладил собаку, отряхнул с ее шкуры снежинки. Она была теплее, чем я думал. Собака послушно лежала в канаве, из ее гортани рвался жалобный вой.

Я резко отдернул руку. Собака что-то почувствовала, испуганно задрала морду, вытянула шею, пытаясь меня отыскать. Я зарылся руками в сугроб у края канавы и столкнул его вниз. Снег с шорохом укрыл собачью спину, она принялась судорожно отряхиваться. Я шагнул на другую сторону и столкнул в канаву скопившийся там снег. Он укрыл собаку до самой шеи, осталась только морда, и она изо всех сил тянулась вверх. Собака смотрела на меня, она хотела, чтобы я знал, что она смотрит на меня, из ее горла вырвался прерывистый вой, голос истончился от холода. Я неотрывно глядел на черную маску, представляя за ней полные ужаса глаза. Какая ничтожная жизнь. Вернулся под навес, взял таз для умывания, зачерпнул им снег и бросил в канаву. Собаку укрыло рыхлым снегом, перемешанным с тяжелыми комьями земли, она исступленно мотала головой, пытаясь высвободить морду. Я набрал новый таз, теперь снег укрыл ее с головой. Припорошенная белым гнойная корка сжималась и вздрагивала, сжималась и вздрагивала, потом исчезла, затихла. Письмо, которое я все это время держал в кулаке, тоже полетело в канаву, сверху я набросал еще немного снега, а потом утрамбовал его дном таза.

Сколько прошло времени? Встав, я почти не почувствовал ног, руки покраснели и опухли от холода. Стемнело, но метель не утихала, снежинки стремительно падали с неба, как крупинки времени в песочных часах. Крупинки потерянного, больше не принадлежащего мне времени. Вспыхнули фонари, высветили грязь на снегу. Я вернул таз на место, сунул руки в карманы и направился к дому.

Тетя и бабушка собирались ужинать.

- Холодно на улице? - спросила тетя.

- Ага, - откликнулся я и сразу сел за стол, не помыв руки.

Тетя разломила пампушку и протянула половину мне. Я сжал ее в ладони, впился ногтями в теплое белое тесто, казалось, у меня в руке лежит горячий снежок. Я почти почувствовал, как медленно тают пальцы, как исчезают линии, исчертившие мои ладони. И сделал глубокий выдох.

За минувшие годы я почти не вспоминал об этом происшествии. В памяти осталось только, как я дошел до магазина "Канкан", там развернулся и отправился домой. Непонятно, почему я так поступил, то ли из-за погоды, то ли просто не хотел встречаться с твоим дедушкой. А этот короткий эпизод будто стерся из памяти, я не видел ту собаку, нет, ее вообще никогда не существовало. Но теперь, впервые за двадцать с лишним лет, я отчетливо вспомнил собачью морду в черной маске. Какое жалкое, какое незаметное существо. Ее жизнь была совершенно бессмысленна, и я почувствовал, что должен помочь ей положить этому конец. Что я ощутил - удовлетворение или еще большую пустоту? Мне вдруг расхотелось идти к тебе, но я не мог объяснить причину, меня как будто отшвырнуло в сторону центробежной силой. Я сошел со своей орбиты, ускользнул из готового сценария.

Будет ли хомячок и дальше бежать в колесе, если однажды узнает, что всегда оставался на одном месте? Бросив письмо в канаву, я был как тот хомячок, который вдруг остановился после долгого бега.

Ли Цзяци

В следующий раз я увиделась с Се Тяньчэном спустя много лет, встреча была назначена в кафе у вокзала. Из углового окна кафе был виден пешеходный мост, черный от потеков грязного снега. Мужчина в кепке торговал на мосту дешевыми игрушками, птичка “Энгри бердс” со светящимися глазами взлетела, похлопала крыльями и упала, нырнув головой в асфальт. За мостом виднелась островерхая вокзальная башня с часами и крупные красные иероглифы: “Пекинский вокзал”. Дожидаясь Се Тяньчэна, я долго смотрела на вокзал и почти увидела, как он и двенадцатилетняя я быстрым шагом пробираемся сквозь плотную толпу к залу ожидания. У входа было особенно людно, он инстинктивно взял меня за руку, но я тут же вырвалась. Он взглянул на меня и улыбнулся. Улыбка вышла смущенной, он будто говорил: ничего страшного, пустяки. Почему-то я запомнила эту улыбку – наверное, она обнажала мягкую доброту Се Тяньчэна. Как говорила бедняжка Бланш, я всегда зависела от доброты незнакомцев.

Се Тяньчэн пришел. Завидев его, я с облегчением отметила, что он такой же рослый и плечистый, каким остался в моей памяти. Но узнать его я смогла только благодаря интуиции. Он очень постарел, глаза глубоко запали, у висков бурели крупные пигментные пятна, они же покрывали тыльные стороны его ладоней, я заметила это, когда он сел и достал сигареты.

– Сколько мы с тобой не виделись, лет двадцать? – спросил Се Тяньчэн.

– Восемнадцать.

– У меня дочери шестнадцать, – сказал он. – Уже с парнем встречается.

Просторный коричневый джемпер висел на нем мешком, рубашки под джемпером не было, и из ворота торчала темная шея. Он предложил мне юньнаньскую сигарету, я сказала, что курю другие, и достала из сумки свою пачку.

– Тоже их полюбила? – Он взял у меня пачку “520”, покрутил в руке. – Давно их не видел.

Я затанулась, опустила голову и взглянула на влажное красное сердечко на фильтре. Иногда, накрасив губы, я сразу хваталась за сигарету, просто чтобы увидеть, как расплывается помада по краю красного сердца.

Он пристально посмотрел на меня, потом вышел из задумчивости и улыбнулся.

Се Тяньчэн когда-то тоже ездил торговать в Москву. Как и тетюшка Лин, с тех пор он уже нигде не работал, одно время хотел наладить крупный бизнес, но после ряда неудачных попыток все-таки оставил эту идею. К счастью, еще тогда на заработанные в России деньги он купил несколько квартир, теперь каждый месяц собирает арендную плату. Еще успел купить несколько автомобилей, а когда номера подорожали, тоже отдал их в аренду. С такими деньгами прокормить семью – не проблема. Се Тяньчэн живет в свое удовольствие, у него уйма свободного времени, днем обычно играет на бирже или в мацзян, по вечерам выходит выпить со старыми друзьями, с которыми катался в Россию, и старается попозже возвращаться домой: у жены климакс, она вечно раздраженная.

Быстро стемнело, вокзал было не разглядеть. Только красные иероглифы, по-прежнему четкие, одиноко висели в темноте. Из кафе мы пошли в знаменитый ресторанчик с хого. Се Тяньчэн спросил, чем я сейчас занимаюсь, и очень заинтересовался, когда я рассказала о работе в редакции модного журнала, ему это показалось блестящим поприщем, и он явно расстроился, узнав, что я уже уволилась. Я сказала, что и дальше буду писать репортажи для разных журналов, он спросил, у кого мне приходится брать интервью, я назвала несколько имен, которые первыми пришли в голову.

– Обожаю Шу Ци! – сказал он. – Эти полные губы, она и в жизни такая же

сексуальная?

Котел на столе кипел, в ячейках, шумно бурля, варилась разная снедь. Так и люди – варятся каждый в своей жизни, но все равно оказываются пропитаны общим запахом. Не расставаясь с сигаретой, Се Тяньчэн выловил из котла кусок обжигающей баранины, отправил его в рот и запил глотком ледяного пива. Как странно: в этом мужчине было невозможно узнать молодого Се Тяньчэна, и тем не менее каждый его жест дышал девяностыми. Поезда, Москва, дурманные мечты о богатстве. Это была золотая пора Се Тяньчэна. Как и тетушка Лин, он любил повторять, что хорошие времена позади, теперь все перевернулось вверх дном, чем дольше живешь, тем меньше что-либо понимаешь. По воздуху расплывался аромат той эпохи, и мне показалось, что папа где-то рядом. Но я о нем не заговаривала.

Торговый центр, в котором находился ресторанчик, закрывался рано, и мы пошли в бар. Выбрал его Се Тяньчэн, это был ирландский паб на берегу реки, со столом для бильярда и футболом по телевизору.

– Раньше я часто здесь бывал. – Он отхлебнул пива. – Как сейчас развлекается молодежь, еще ходите по барам?

– Наверное, бывает, – ответила я. – Сама не знаю, как сейчас развлекается молодежь.

Он расхохотался:

– Любите вы строить из себя поживших. Ты замужем?

– Нет.

– Стоит все-таки подыскать себе спутника жизни. Не надо воображать, будто сама со всем справишься.

В то время я снова переехала к Тан Хуэю. Мы расстались, но он не переставал обо мне беспокоиться, часто звонил, рассказывал новости: написал неплохую статью, встретил интересного человека, попробовал новое блюдо – все в таком роде. Через год после моего разрыва с Сюй Ячэнем он сказал: твой цветок распустился, не хочешь прийти посмотреть? Мы стояли у окна, и он проговорил, глядя на улицу: наверное, это упрямство и самонадеянность, но я уверен, что только мне под силу сделать тебя счастливой. Потом взял мою руку и прижал к своей груди. Спустя две недели я снова перебралась в его квартиру. Мы завели пуделя. Иногда пудель спал в гостиной, иногда в кладовке, но никогда не соглашался лечь на подстилку, которую мы ему приготовили.

– Пару дней назад встретил приятеля, мы с ним вместе ездили торговать в Москву. Зашла речь о твоём папе, – сказал Се Тяньчэн.

– Что он сказал?

– Сказал, что твой папа остался должен ему много денег.

– Сколько?

– Порядочно, если посчитать проценты с девяносто третьего года. Все это время он искал Ван Лухань, чтобы она вернула долг. Если найдет тебя, пристанет как банный лист.

– Ван Лухань не нашлась?

– Нет. – Се Тяньчэн взглянул на меня: – Что, не веришь? Я лет десять назад потерял ее из виду.

– Я часто думала, сойдется вы или нет.

– Нет. Как ты и хотела. – Се Тяньчэн улыбнулся.

Се Тяньчэн сказал, что Ван Лухань нравилась ему только в определенные моменты и в определенных состояниях. Когда, накрашенная яркой помадой, выступавшей за контуры губ, она щурилась и курила одну сигарету за другой, потом оборачивалась, выпускала целое облако дыма тебе в лицо и вдруг раздражалась громким смехом. Он любил в ней малую толику безумия и нервность, которая ее совсем не портила. Но потом Ван Лухань по-настоящему сошла с ума.

Два года после смерти моего папы они еще поддерживали отношения. Се Тяньчэн признает, что действительно мечтал быть с ней вместе. Она переехала, сделала короткую стрижку, нашла работу – устроилась продавцом косметики в один из универмагов на Ванфуцзин. Когда покупателей не было, капала духами на клочок бумаги и принималась размахивать им в воздухе. Се Тяньчэн пару раз заходил к ней в магазин, однажды она спросила: ты чувствуешь на мне духи? Он ответил: чувствую. Как они пахнут? – спросила Ван Лухань. Он ответил: сладкий запах с примесью сандала. Она сказала: вот как, а я совсем ничего не чувствую. Уходя на работу, она запирала матушку Цинь дома. Се Тяньчэн навещал их каждые выходные, надеясь увидеть хоть какую-то перемену в Ван Лухань. Но улучшений не было, она оставалась по-прежнему холодна, однако не настолько, чтобы он окончательно отчаялся. В 1995 году матушка Цинь подхватила тяжелое воспаление легких – в разгар зимы распахнула все окна в квартире, пока Ван Лухань была на работе. Еще через полгода она умерла. Се Тяньчэн снова помогал Ван Лухань с похоронами. Наверное, даже лучше, что матушки Цинь больше нет, думал он. Теперь Ван Лухань сможет окончательно избавиться от теней прошлого, начать новую жизнь. И она действительно начала новую жизнь – неизвестно где познакомилась с религиозной компанией и вслед за ними уверовала в Иисуса. Ее друзья были не из тех, чья вера ограничивается чтением Библии перед сном и воскресными походами в церковь. Они исповедовали деятельную веру и ежесекундно думали о том, как искупить свои грехи и снискать божественную любовь. Ван Лухань посещала все их собрания в любую погоду, ходила и в больницы, и в детские дома, и на встречи ассоциации инвалидов. Се Тяньчэн сказал мне, что никогда еще не видел такой фанатичной веры, она творила добрые дела так, будто ей начисляли за них трудоединицы. А потом Ван Лухань пропала, он приходил к ней домой, но ни разу не застал, сосед видел, как она ушла с чемоданами в сопровождении какой-то немолодой женщины. Се Тяньчэн опросил всех общих знакомых, но никто не знал, куда она пропала. Одно время он был очень подавлен, каждый вечер шел в бар и напивался, глядя, как певички в блестящей чешуе крутят задами на сцене. Пьянел и засыпал, уронив голову на стойку, домой возвращался не раньше четырех утра. Когда выходил из бара, небо уже светлело, на улице не было ни души. Утратив всякую веру, Се Тяньчэн медленно плелся домой, казалось, он никогда уже не сможет оправиться. Но на самом деле так продолжалось не больше месяца. Однажды вечером он увидел на сцене новую девушку и впервые отставил бутылку, а когда она допела последнюю песню и спустилась со сцены, угостил ее выпивкой. С тех пор Се Тяньчэн каждый вечер угощал ее после выступления, а через две недели увез из этого бара. Потом у него было еще несколько скоротечных романов, а следом он познакомился со своей нынешней женой, и они быстро сыграли свадьбу.

– Наверное, твоему папе я не чета, но Ван Лухань со мной жилось бы неплохо. Она и сама это прекрасно знала. Человек – странное создание, вечно лезет туда, куда не надо, бьется лбом в закрытую дверь, разбивает себе голову в кровь, уверенный, что это судьба. – Се Тяньчэн покачал головой и опустил бутылку на стол.

Той ночью я поздно вернулась домой. В спальне горел свет, Тан Хуэй сидел на кровати и читал. Поднял голову:

– От тебя разит алкоголем.

Пес лежал у кровати, но при моем появлении встал, поозирался, перешел к двери в ванную и лег там.

Неделю спустя я снова встретила с Се Тяньчэном. Он повел меня в старый ресторан пекинской кухни.

– Мы с Ван Лухань несколько раз сюда заглядывали, она всегда заказывала рыбу в винном соусе.

Официант принес рыбу в винном соусе, она быстро остыла, и покрывавший ее крахмал лежал слоем загустевшего клея.

Се Тяньчэн рассказал еще об одной встрече с Ван Лухань. Тогда его жена была на третьем месяце беременности, Ван Лухань узнала от общих знакомых его новый адрес и вечером пришла к ним домой. Так совпало, что той ночью жена Се Тяньчэна ночевала у матери, дома ей было слишком жарко. Ван Лухань еще не ужинала, и он повел ее в ближайший ресторанчик. Стояла жара, на ней был свитер с высоким горлом, на рукавах шерсть свалилась в катышки. Ван Лухань выглядела увядшей, веки опухшие, на бледных губах повисли чешуйки шелушащейся кожи, которые так и хотелось сколупнуть. Она сказала, что разругалась со своими верующими друзьями, они дурные люди, вся их доброта имела одну цель – перетянуть ее на свою сторону и использовать в собственных интересах, но теперь она их раскусила. С кончика носа Ван Лухань упала капелька пота, Се Тяньчэн протянул ей салфетку и сказал: раскусила, вот и хорошо. Она продолжала: какие смешные люди, решили присвоить себе Бога и думают, что без них спасения не обретешь. Он подложил кусочек ей на тарелку и велел хоть немного поесть. Ела Ван Лухань очень быстро, как будто и не чувствуя вкуса. Дай мне взаймы немного денег, попросила она. Я поселилась у одной женщины из этой компании, но теперь она требует с меня плату за жилье, если я не заплачу, она не отдаст мои вещи. С этими людьми лучше не ссориться, а то наговорят обо мне гадостей Богу... Он спросил, что она собирается делать дальше. Ван Лухань сказала, что еще не знает, но очень скоро узнает: Бог оставил знаки на моем пути, и я приду туда, куда должно. Он не бросит меня одну, Он обязательно поможет мне искупить грехи. Она поднесла сигарету к губам, глубоко затянулась и выпустила облако белого дыма прямо в лицо Се Тяньчэну. Он смотрел на нее и думал, что когда-то был очарован этим жестом, а ей было все равно. Пройдет время, и мне тоже будет все равно, печально думал Се Тяньчэн. Послушай, Лухань, сказал он, у тебя нет никаких грехов... Конечно, есть, взволнованно перебила она. Бог оставил меня, чтобы я могла их искупить. Се Тяньчэн не стал ничего отвечать. После ужина они пошли к нему домой, уселись на циновку, он достал две банки пива. Она сняла свитер и легла, раскинув руки. Его страсть давно прошла, но они все равно занялись любовью, словно только это и могло послужить концом. Самым пошлым концом, который бывает между мужчиной и женщиной. Се Тяньчэн осознал, что все это время переоценивал свои чувства. Он видел в ней богиню, но теперь понял, что его богиня растерянно ищет повсюду собственного Бога. Она нуждалась в Боге больше, чем он, больше кого бы то ни было.

Ее тело застыло, взгляд уперся во вращающийся потолочный вентилятор. Как за ужином она не знала, что ест, так и сейчас понятия не имела, что делает. Поначалу Се Тяньчэн чувствовал вину за то, что как будто принуждает ее, но потом расслабился. Потому что знал, что не может причинить ей боль. Никто не в силах причинить ей боль, кроме ее Бога. После она потянулась за сигаретами, села в постели и закурила, обсыпав пеплом всю подушку. Она сказала: я знаю, что нравлюсь тебе, но мы не можем быть вместе. Случившееся между нами ничего не значит, ты понимаешь? Кажется, ее очень беспокоило, что он может подумать, будто она в него влюблена. Ван Лухань не понимала, что уже утратила способность внушать людям это ложное чувство. Конечно, ничего не значит, согласился он и на рассвете отвел ее в ближайший банк, чтобы снять денег. Этой суммы и близко не хватало на оплату жилья, но ничего не поделаешь, ему нужно было кормить семью. Через несколько месяцев на свет появится его ребенок. Хозяйка квартиры все-таки не мафиози, как-нибудь договоритесь. Больше Ван Лухань к нему не приходила.

– Я однажды видел ее во сне, – сказал Се Тяньчэн. – Мы стояли у входа в больницу, она сказала, что родила сына. Потом быстро ушла, точно куда-то спешила. Проснувшись, я подумал: хорошо бы сон оказался правдой, ребенок разбавит ее одиночество. Надеюсь, она живет не одна...

Мы снова сидели в том ирландском пабе. По телевизору показывали футбол, на

зеленом экране скакали разноцветные мячики, как будто это не телевизор, а перевернутый бильярдный стол. Я поняла, что уже опьянела, вокруг раскинулись необъятные просторы. Воспоминания проносились мимо свистящим ветром.

В ночь накануне моего отъезда Ван Лухань пообещала, что будет жить одна. Наверное, в ту самую минуту она приготовилась закрыть свою жизнь и больше никого в нее не пускать. Никого, кроме Бога. С тех пор я постоянно ее вспоминала, она стала частью моей тоски по папе. Я хотела отыскать ее, мне нужно было выяснить, что за история свела их вместе. Но я никогда всерьез не задумывалась о том, какой жизнью теперь живет Ван Лухань. В моем понимании ее жизнь закончилась в ту минуту, когда умер папа. Так было бы лучше всего, но жизнь – длинная штука, и даже когда все надежды обратились в прах, все равно приходится жить дальше. Это очень тяжело, тихо сказала Ван Лухань, привалившись к буфету.

По моей щеке скатилась слеза.

– Сейчас я бы пожелала вам быть вместе, – сказала я Се Тяньчэну.

Не помню, о чем мы говорили дальше. Проснувшись я на диване, в баре стоял полумрак, все стулья были перевернуты и составлены на столы, один из официантов спал, навалившись на барную стойку. Услышав, что я проснулась, он поднял голову и пробормотал: наконец-то. Твой друг не знал, где ты живешь, просил позвонить ему, когда проснешься. Я достала телефон, он оказался разряжен. Уже рассвело. На улице собралась утренняя ярмарка, продавали живые цветы. Я присела на корточки и выбрала свадебный букетик с китайскими гвоздиками. Солнце подсвечивало росу на лепестках, и она сияла пурпуром. С букетом в руках я долго просидела у реки, потом наконец спустилась в метро и зашла в поезд. Я пряталась, мне не хотелось возвращаться домой. Я боялась не гнева Тан Хуэя, а его разочарования. Его горького скорбного взгляда.

Я решила обойтись без долгих объяснений, а Тан Хуэй почти ничего не спрашивал. Только попросил: не могла бы ты пообещать мне, что перестанешь видеться со старыми друзьями твоего папы? Я промолчала. Что я могла сказать? Что мне снова снится сон с матрешкой, что я чувствую, как подбираюсь к самому сердцу тайны? Он непременно спросит: да что тебе за польза от этой тайны? Тан Хуэю было не понять, как много она для меня значит.

Скоро он выяснил, что я продолжаю встречаться с человеком по имени Се Тяньчэн. Мы виделись днем, и я больше не напивалась, но Тан Хуэй все равно не мог с этим смириться. Я просто сказала: дай мне еще немного времени. Он больше не спорил, и между нами началась холодная война. Наверное, он хотел расстаться, но продолжал терпеть, словно дожидался окончания той долгой зимы. Его великодушие превратилось в пытку. Я чувствовала, что с каждым днем мой долг перед ним растет и с ростом этого долга я все больше отдаляюсь.

И тогда же я подобралась к самому сердцу тайны. Се Тяньчэн рассказал мне историю папы и Ван Лухань, а она оказалась вписана в другую, еще более длинную историю. Сны с матрешкой прекратились. У меня началась бессонница. Я лежала в темноте и ждала, когда за окном посветлеет, слушала, как пес ходит по квартире, то ложится, то снова встает. Мне хотелось немедленно поехать в Наньюань и все тебе рассказать. Но захочешь ли ты слушать? Наверное, тебе вообще нет дела до этой тайны. Прошло так много времени, вряд ли хоть кому-то есть до нее дело.

Обе истории Се Тяньчэну рассказала Ван Лухань. Это случилось вскоре после папиной смерти и моего отъезда в Цзинань. В те дни Ван Лухань стала очень сентиментальна и часто вспоминала прошлое. Она сказала: знаю, наверное, тебе не хочется слушать, но я все равно расскажу. Пожалуй, уже можно рассказать, ведь он умер. Се Тяньчэн действительно не хотел ничего знать, он чувствовал, что эта история не принесет ему покоя. Дослушаешь – и забудь, сказала Ван Лухань. Но в глубине души она понимала, что перед ней отличный слушатель, он запомнит каждое слово из ее рассказа и передаст следующему.

Больше половины всех происшествий в мире так или иначе связано с погодой. И эта история тоже началась с проливного дождя. В тот день лило как из ведра, мой дедушка и Ван Лянчэн захватили с собой и плащ, и зонтик, но из-за ненастья каждый шаг давался с трудом. Укрыться от дождя было негде, и они побежали в Башню мертвецов. Митинг борьбы закончился, твоего дедушку избили, и он лежал без сознания на полу башни. Никто не знает, что случилось потом. В его череп вбили гвоздь, и скоро твой дедушка впал в вегетативное состояние. Ван Лянчэн покончил с собой. Мы уже не узнаем, сделал он это из страха или из стыда. Но Ван Лухань предпочитала верить своему отцу, а он говорил матери, что невиновен.

Потом она часто думала, что если бы в тот день не было дождя, они с моим папой так и остались бы соседями. Кивали бы друг другу, здоровались при встрече. Потом разъехались бы по деревням на трудовое воспитание, после возвращения попали бы на разные предприятия. У них появились бы семьи, встречаясь в Наньюане на Новый год, они смешили бы детей друг друга, папа передавал бы привет мужу Ван Лухань, она справлялась бы о здоровье его жены и торопливо прощалась. Это было бы одно из тех не стоящих упоминания знакомств, которым теряешь счет в жизни.

Но случилось то, что случилось. И они оказались прочно прибиты друг к другу этим гвоздем.

Всего за несколько месяцев в семье Ван Лухань произошла целая череда несчастий. Отец повесился на резиновой трубке, мать спряталась в шкафу, старший брат все это время оставался в Пекине, и ей в одиночку приходилось склеивать разбитую вдребезги семью, ухаживать за повредившейся умом матерью, готовить и убирать, делать всю работу по дому. Обронив как-то раз талоны, она искала их на улице до темноты, но так и не нашла. Наутро пришлось набраться храбрости и идти на поклон к родственникам. В другой день выпало много снега, она раздобыла где-то тачку и пошла на угольную станцию за брикетами для растопки. На обратном пути у крутого спуска ее подстерегали двое парней. Одним из них был твой отец. Все это время он не давал ей прохода, твердил, что хочет отомстить. Они опрокинули тачку. Брикетсы высыпались, покатались по холму, утонули в снегу. Парни еще потоптались сверху и с довольным видом зашагали прочь, а Ван Лухань пришлось собирать расколотый уголь и складывать его обратно в тачку. И тут появился мой папа, опустился на корточки и принялся помогать. Все это время он следил за ней издали, как преданная, но бесполезная тень. И когда ее обижали, он был не в силах помочь, лишь стоял вдалеке и смотрел. Опустив голову, Ван Лухань сказала: ступай, это не твое дело. Тебе ведь нельзя пересекать черту.

Ему действительно не следовало пересекать черту. Но где проходит эта черта? На первый взгляд между ними была пропасть: ее отец покончил с собой, чтобы избежать наказания, мать сошла с ума, семья Ван Лухань обратилась в прах. А его семья по-прежнему вела благополучную жизнь. Но на самом деле они оба были детьми преступников. Мой дедушка никогда бы не признался, но папа все равно знал, что он замешан в преступлении. Разница была в том, что папе приходилось притворяться обычным человеком. Он говорил, что это ощущение не из приятных: ему было тяжело рядом с одноклассниками, его тревожил их пылкий восторг, папа боялся, что однажды его выведут на чистую воду. И постоянно видел один и тот же кошмар: они повесили ему на грудь табличку и потащили по улицам Наньюаня, потом привели на спортплощадку и заставили подняться на помост. Домой идти тоже не хотелось, там он задыхался от духоты. Отец его все время молчал и хмурился. Мать украдкой плакала, потом хваталась за Библию и повторяла: Господи Иисусе Христе, будь милосерден. Казалось, она тоже не очень-то верит в Бога, раз вынуждена так часто и так громко твердить свои молитвы. А брат как будто ничего не слышал, сидел у настольной лампы и сосредоточенно читал. Он был всего на два года младше, но оставался наивным, точно маленький ребенок. Конечно, это могло свидетельствовать и о том, что он просто раньше времени повзрослел. Семья садилась ужинать за квадратный стол, каждый, опустив голову, молча копался в своей чашке, в комнате стояла пугающая тишина, был слышен

только громкий хруст челюстей, как будто люди за столом вгрызаются друг другу в кости.

Папа ответил Ван Лухань: я знаю, что ничем не могу помочь. Но рядом с тобой я чувствую себя спокойнее.

Выходя из подъезда, Ван Лухань скользила взглядом по одному из окон на втором этаже. Она знала, что мой папа сидит у этого окна и ждет, когда она выйдет. Она медленно шла по улице, и скоро он появлялся за ее спиной, сопровождал Ван Лухань на рынок, в лавку с зерном и маслом, в комиссионный магазин. Он всегда держался на расстоянии, со стороны казалось, будто каждый из них идет по своим делам. Иногда она специально ускоряла шаг и заскакивала в какой-нибудь переулок, чтобы избавиться от него. Поначалу он терялся, но потом привык, стал забегать вперед коротким путем и ждать ее. Завидев его, она уже не удивлялась и проходила мимо, будто его нет. На обратном пути все повторялось: держась поодаль, он шел за ней до самого дома, пока она не скрывалась в подъезде.

Так и продолжалась их тайная дружба. Но однажды Ван Лухань отправилась на свободный рынок у городского канала и навстречу ей вышел твой отец с двумя приятелями. Они схватили Ван Лухань, связали ей руки за спиной, а на голову натянули старую вязаную шапку. Шапка закрыла лицо, из-под нее ничего не было видно. Ухватив ее за косы, они раскрутили ее вокруг собственной оси. Неизвестно, сколько она так крутилась, наконец косы растрепались, а вокруг сделалось очень тихо, парни как сквозь землю провалились. У Ван Лухань страшно кружилась голова, на нетвердых ногах она побрела вперед, надеясь упереться в дерево, но под ногами вдруг разверзлась пустота, она потеряла равновесие и кубарем покатилась вниз. Уходя под воду, Ван Лухань слышала, как мой папа выкрикивает ее имя.

Канал был мелкий, но она не умела плавать. Руки были связаны за спиной, приходилось изо всех сил молотить ногами, холод декабрьской воды пронизывал до костей. Скоро она израсходовала все силы и начала тонуть. Коснувшись дна, Ван Лухань увидела своего отца, он тихо смотрел на нее карими глазами. Она больше не сопротивлялась и не чувствовала холода, только ждала, что он подойдет и заберет ее с собой. Но отец отвернулся и исчез. А в следующую секунду ее подхватили чьи-то руки. Когда Ван Лухань снова открыла глаза, ее уже тащили к берегу. Смеркалось, с неба уходили последние лучи, но ей казалось, что она видит утреннюю зарю – как солнце рвется наружу сквозь гряды облаков.

Много лет спустя Ван Лухань встретила моего папу на вечеринке в посольстве, кто-то в компании стал рассказывать, как плавал зимой в море на Бэйдайхэ. Папа обернулся к Ван Лухань и спросил:

– Ты научилась плавать?

Она покачала головой.

– Но у меня сильные ноги, я смогу удержаться на воде.

Они рассмеялись. Потом Ван Лухань добавила:

– На самом деле я знала, что впереди канал. Мне просто хотелось, чтобы все увидели, как ты спешишь мне на помощь.

Он горько усмехнулся:

– Да, я тоже знал.

– Что знал?

– Что от тебя так просто не отделаешься.

Тем вечером, больше напоминаям раннее утро, она привела его, мокрого до нитки, к себе домой. Дала переодеться в вещи старшего брата, стащила с себя

ватник и повесила сушиться на спинку стула у печки. Ее мать выглянула из шкафа и спросила, кто пришел. Никто, сказала Ван Лухань, распустила промокшие косы, взяла с подоконника щербатый гребешок и принялась расчесываться. Жесткие как солома волосы сбились в колтуны, зубья гребня больно драли кожу. Но ей даже нравилась эта боль, она с силой водила гребнем по волосам, и они клочьями летели на пол. В комнате стоял полумрак, окно закрывала синяя ткань, крепко приколотая к раме канцелярскими кнопками. Мой папа предложил поменять перегоревшую лампочку, но Ван Лухань сказала, что ни к чему – мать боится света. Окно в туалете тоже было завешено тканью, но из правого верхнего угла внутрь все-таки просачивался свет. Ткань висела косо, и папа почти почувствовал, как страшно было Ван Лухань, когда она залезла на табуретку, чтобы закрыть тряпкой окно. Ставень прилегал неплотно – видимо, шпингалет был сломан, и снаружи то и дело задувал ветер, ткань то вспучивалась, то снова обвисала, за ней проступал контур оконного переплета, его расплывчатая черная тень дрожала на полотне, и казалось, что это огромный скелет растопырил свою пятерню.

Папа попятился в коридор. Вернулся к печке, схватил кружку, всю в чайных разводах, и стал шумно пить. Она долила ему еще воды, села рядом, взяла свою кружку, но пить не стала, только грела руки. Должно быть, на улице совсем стемнело, но они не знали наверняка. В комнате горела только настольная лампа, и та была почти выкручена, ее тусклые лучи повисли на их ногах. Мать Ван Лухань высунулась из шкафа, воровато посмотрела на них, затем послышалось тихое журчание. Из шкафа поползла струйка. Ее мать мочилась. Ван Лухань схватила с сушилки полотенце и бросилась к шкафу.

– Я знаю, что ты это нарочно.

– Я не удержалась, – оправдывалась мать.

– Я знаю, что ты нарочно! – крикнула Ван Лухань и швырнула полотенце в тазик.

Она скрылась в туалете и с силой выжала полотенце. Она не хотела кричать на мать, но каждый раз срывалась. Вань Лухань считала, что мать вполне может поправиться, просто не хочет. Поэтому их жизнь никогда не изменится к лучшему, сколько бы времени ни прошло. Она оперлась о раковину и зарыдала. Он долго стоял у двери, потом вошел и взял ее мокрую руку. Подул ветер, ткань на оконце вспучилась – будто ледяное солнце взошло у них над головами.

С того дня твой папа стал цепляться и к моему папе, все допытывался, почему он постоянно таскается за Ван Лухань, требовал признаться, что мой дедушка был в сговоре с Ван Лянчэном. На все нападки мой папа отвечал молчанием. Тогда твой отец привел хунвэйбинов в дом моего дедушки. Там была одна бабушка, налетчики принялись выпытывать, в каких отношениях она состояла с преступником Ван Лянчэном. Но потом пришел дедушка и выставил их за дверь. Бабушка от страха слегла и несколько дней не вставала с постели. В конце концов она позвала к себе папу и попросила его прекратить встречи с Ван Лухань. Держись от нее подальше, сказала бабушка. Не разрушай нашу семью.

Наша семья давно разрушена, ответил папа.

Чтобы разом отвязаться и от твоего отца, и от моей бабушки, мой папа перестал ходить по улицам за Ван Лухань. Но теперь он каждый день заглядывал к ней домой. Опасаясь, что твой отец не отстанет от Ван Лухань, он велел ей сидеть дома и сам покупал для нее продукты, ходил за углем и за крупой. И перед каждым визитом умудрялся стащить для нее что-нибудь из дома. То пампушку, то пару пирожков баоцзы, а в счастливые дни приносил кусочек грудинки или кулек вытопленных шкварок, и Ван Лухань радовалась угощению как ребенок. Потом он начал таскать талоны и деньги – сворачивал в трубочку и прятал в шве ватника. Как-то раз он открыл буфет, чтобы взять деньги, и тут в комнату заглянула бабушка. Увидев его, она поспешно вышла. Оказывается, она давно все знала, но закрывала глаза на его воровство. После того случая он уже постоянно брал деньги из буфета. У них с матерью сложился негласный договор: она втайне от отца дает

ему деньги, за это он скрывает свою дружбу с Ван Лухань.

Папа проводил у Ван Лухань все больше времени, часто приносил ей книги, они садились у тусклой настольной лампы и читали. Брат его одноклассника был главарем хунвэйбинов, во время очередного налета они конфисковали кучу иностранных романов, и папа тайком брал их почитать. Ван Лухань любила читать, и хотя многое в книгах было для нее непонятным, они дарили ей иной мир, в котором она могла ненадолго спрятаться, куда могла сбежать из своей разрушенной семьи. Больше всего она любила “Анну Каренину”: поезда, Москва – все это выглядело так романтично, и ей почему-то нравилась фамилия “Вронский”, она так чудесно перекатывалась на языке, в ее ритме слышалась зима. Папа то возвращал этот роман, то снова брал почитать, в конце концов выменял его за губную гармошку и вечером преподнес Ван Лухань. С книгой она больше не расставалась, брала ее и во Францию, и в Африку, хранила много лет, до следующей встречи с моим папой. Тайком от мужа Ван Лухань, отправившись с ним в Москву, взяла книгу с собой. В тряском вагоне он увидел, что “Анна Каренина” лежит на дне ее чемодана. Ван Лухань тогда печально усмехнулась: наверное, в прошлой жизни я была Анной. Книги не стало во время очередной заурядной ссоры. Ван Лухань порвала ее на клочки и выбросила в окно.

Часто папа оставался у Ван Лухань до самого ужина. Ее отец хорошо готовил, избаловал жену вкусной стряпней. Папе пришлось освоить южную кухню, в каждое блюдо он добавлял лишнюю ложку сахара и немного вина. Потом и сам начал придумывать новые рецепты, по-новому сочетая привычные продукты. И в основном получалось вкусно, несколько раз ему даже удалось порадовать мать Ван Лухань, и на следующий день она просила приготовить то же самое. Странно, но ее мать как будто совершенно забыла, кто он такой, и безоговорочно ему доверяла. С тех пор он готовил, а Ван Лухань чистила овощи и мыла посуду. Они надевали фартуки ее родителей и хлопотали на тесной кухне, как настоящие хозяева. А мать Ван Лухань больше напоминала их дочку, привередливую избалованную девочку с непредсказуемым характером.

Но как только у матери начинался приступ, безмятежности приходил конец. Приступы всегда случались вечером, поэтому папа и задерживался у Ван Лухань допоздна. Под вечер на улице становилось шумно, соседи возвращались домой, звонко тренькали велосипедные звонки, кричали и топали дети, шипело масло в сковородах... Эти звуки влекли мать Ван Лухань. Не в силах удержаться, она срывала приколотую к окну занавеску и выглядывала наружу, смотрела, как смеркается небо, как загораются окна в домах, потом садилась посреди темной комнаты и, дрожа всем телом, звала Ван Лянчэна, умоляя мужа не покидать ее.

– Не бойся, ведь не ты это сделал, чего же ты боишься? Гвоздь твой, ну и что? Ты ведь не виноват... – Она без устали повторяла эти слова, словно верила, что стоит только произнести их еще несколько раз, и муж передумает. Снова и снова мать Ван Лухань возвращалась в ту ночь, в ту роковую секунду, тщетно пытаясь успокоить мужа, вырвать его у смерти.

Ее выкрики звучали для моего папы упреком. Взгляд матушки Цинь рассеянно блуждал по комнате, но папе казалось, что она глядит на него в упор. В такие минуты следовало схватить ее и напоить успокоительным, иначе приступ усиливался, матушка Цинь принималась рвать на себе волосы, биться головой о стену, а то и рвалась в туалет, чтобы забраться на злосчастное окно. После лекарства она постепенно затихала, папа с Ван Лухань к тому времени едва на ногах держались. Только тогда он мог со спокойным сердцем уйти к себе домой. И каждый раз, когда он уходил, Ван Лухань упрямо отводила взгляд, не смотрела на него.

– Все хорошо, мама, все прошло, – нашептывала она, похлопывая мать по спине.

Папа видел, что она злится. Каждый новый приступ был напоминанием, кто разрушил ее семью, указывал на природу их “отношений”. Болезнь матери была вечным клином, вбитым между ними. Если приступов не было несколько дней, они

снова сближались, но очередной припадок у матери немедленно отдалял их друг от друга. И оттаявшее было сердце Ван Лухань снова покрывалось льдом.

Потом Ван Лухань придумала не давать матери спать днем, а ближе к вечеру поила ее успокоительным, чтобы она уснула и пропустила наступление сумерек. Матушка Цинь просыпалась к полуночи и снова засыпала только на рассвете. Но ради спокойных вечеров Ван Лухань была согласна не спать ночью. Эти вечера принадлежали только им. Она стирала и слушала, как он читает, особенно выразительные места просила прочесть еще раз, помедленнее. Комичные сценки он разыгрывал в лицах, и Ван Лухань покатывалась со смеху. Они ели одно яблоко на двоих, мерились, у кого ленточка кожуры получится длиннее. Она так натренировалась, что кожура опадала с ее яблок единой лентой. В солнечные дни она не могла удержаться и сдергивала с окон ткань, напевая, протирала подоконники, мыла пол. Радостные солнечные зайчики скакали по ее лицу, будто предлагая поиграть. Стоило Ван Лухань забыть ненадолго о матери, и природная живость брала свое, она становилась улыбчивой. Много лет спустя он скажет ей, что тогда каждая ее улыбка была для него звездой, упавшей с ночного неба. И ему хотелось найти кувшин, чтобы собрать туда все эти звезды.

Однажды он принес ей ножной волан. Она хотела только пару раз его подбросить, но не смогла остановиться. Увлечшись игрой, Ван Лухань не сразу заметила, что мать уже проснулась, а теперь стоит в дверях и наблюдает за ней. Она поспешно поймала волан и спрятала за спину.

– Гляди, как ты развеселилась, – сказала мать.

– Нет, мама, – ответила Ван Лухань.

– Да уж, столько радости от простого волана, – сказала мать.

Вань Лухань закусил губу, стерла со лба пот – будто устраняла последние следы веселья.

– Стемнело? – пробормотала матушка Цинь, подошла к окну и выглянула в щелку. – Скоро стемнеет, скоро стемнеет, – ответила она сама себе, явно собираясь выдать отменный приступ.

Ее мать не хотела избавляться от страданий, для нее это было равнозначно предательству. И дочери не позволяла быть счастливой. Любая радость была под запретом как проявление непочтительности. Мать была рукой, что тянулась к Ван Лухань из прошлого, дабы утащить ее в черную дыру воспоминаний. Тогда-то Ван Лухань и поняла жестокую истину: рядом с матерью счастья ей не видать. Повзрослев, она уехала за границу – воспользовалась случаем, позволила сработать инстинкту самосохранения. Много лет спустя, узнав, что у брата последняя стадия рака, Ван Лухань первым делом подумала, что судьба все-таки настигла ее – пора возвращаться к матери.

Ее брат Ван Гуаньжи жил в Пекине. После университета его распределили в министерство иностранных дел. За два года, минувшие после самоубийства Ван Лянчэна, дома он ни разу не появился, однажды он поехал с сослуживцем в соседний Тайвань, но в Цзинане даже не вышел на платформу. Он не хотел, чтобы люди узнали о несчастье в его семье, боялся запятнать свою репутацию. Расплатой за это стали муки совести. В 1972-м министерство выделило Ван Гуаньжи квартиру, жилище было тесное, но он все равно решил перевезти в Пекин мать и сестру. Когда приехал навестить их, в доме царил разгром – постарался твой отец с приятелями, опрокинули печку, подожгли занавески, так что стена почернела от гари. Перепуганная мать сидела в шкафу. Ван Гуаньжи пришел в ужас, но Лухань к такому давно привыкла. Но куда больше ее брата поразила встреча с моим папой – стоя на табуретке, он прикалывал к оконной раме новую занавеску. Ван Гуаньжи замер посреди комнаты, чувствуя себя лишним, вторгшимся в чужую семью. Конечно, он знал, кто мой папа, и еще больше укрепился в намерении увести Ван Лухань.

Разумеется, она уезжать не захотела. Но брат сказал, что матери пойдет на пользу смена обстановки. А ты, сказал он сестре, закончишь школу в Пекине и через пару лет вернешься, к тому времени и семья Чэн уgomонится. Ван Лухань искала новые и новые доводы, чтобы остаться, она надеялась, что брат заберет мать, а ей разрешит приехать в Пекин позже. Но Ван Гуанъи был неумолим, он уже и билеты на поезд купил. Ехать нужно было через пару дней. Чем ты тут так дорожишь? – буравя ее взглядом, спрашивал брат. Она отводила глаза и качала головой.

Следующие дни Ван Лухань собирала вещи, брат все время был рядом, она даже не могла предупредить моего папу, что уезжает. Только перед самым отъездом она вырвалась из дома – сказала, что должна вернуть библиотечные книги, выскочила в подъезд и заколотила в двери дедушкиной квартиры. Открыла бабушка, увидела гостью, до смерти перепугалась, но ничего не успела сообразить, а папа уже вылетел вслед за Ван Лухань на улицу. Они пошли к библиотеке – она, как всегда, впереди, он чуть сзади. За библиотекой был пустырь, трава доходила почти до пояса. Выслушав Ван Лухань, папа долго молчал, а потом сказал: что ж, ты давно хотела уехать, здесь тебе приходится несладко. Она обиделась, заспорила, но папа как будто не слушал, только грустно и понимающе улыбался. Я знал, что однажды этот день настанет, сказал он. Потом отвернулся, подобрал с земли камушек и стал царапать что-то на стене библиотеки. Ван Лухань стояла у него за спиной, ей хотелось рассказать о своих чувствах, она ведь ни разу о них не заикнулась, но, видимо, этого уже и не случится. Он давно знал, что этот день настанет. Значит, никогда и не думал, что они будут вместе. Конечно, это невозможно, ведь она – дочь преступника. Ван Лухань постоянно забывала, что между ними пропасть.

Сдержав слезы, она спросила: ты приедешь меня проведать? Не знаю, ответил он, продолжая сосредоточенно царапать иероглифы на стене. Хорошо, кивнула она. Тогда я пойду. И медленно зашагала прочь, надеясь, он пойдет следом. До самого дома она была уверена, что он срезал дорогу и ждет ее у подъезда. Поднимаясь по лестнице, еще слабо верила, что он окликнет ее сзади. И даже дома продолжала ждать, всю ночь не смыкала глаз, то и дело подходила к окну и отдергивала занавеску, чтобы выглянуть вниз. Утром она долго стояла у подъезда, а на вокзале, уложив чемоданы, выбежала на перрон и встала под табличкой “Цзинаньский вокзал”. Последняя надежда растаяла, когда поезд дал гудок, а проводник крикнул, что состав отправляется. Ван Лухань вернулась в вагон и зарыдала, уткнувшись в спинку переднего сиденья.

– Ты бессердечный человек, ни слова не сказал мне на прощанье, – много лет спустя упрекнула папу Ван Лухань.

– Сказал, но все слова остались на задней стене библиотеки.

– Что за слова?

– Не скажу.

Се Тяньчэн вспоминал, что на этом месте Ван Лухань замолчала, потом подняла на него глаза и спросила: как ты думаешь, эта надпись еще там? Наверное, надо поехать и посмотреть? И добавила, что Ли Муюань был не бессердечным, а фаталистом. Не верил, что счастье может длиться долго, и еще до того, как что-то потерять, поддавался унынию и гордыне, даже не пытался удержать то, что теряет.

Но Ван Лухань пыталась. Через три месяца она отправила ему письмо. Скорее всего, письмо перехватила его мать. Потом она написала еще, но и это письмо не дошло до адресата. Когда она отправила третье письмо, мой папа был уже в деревне. В 1979-м Ван Лухань приехала в Цзинань, ей рассказали, что папа поступил в университет и женился. Она ничуть не удивилась, словно и ожидала таких новостей. Накануне отъезда она отправилась к нему в общежитие. День был дождливый, и по дороге к общежитию она успела насквозь промокнуть. Сосед по комнате сказал, что Ли Муюань уехал домой на выходные. Узнав, что они старые друзья, сосед вручил Ван Лухань журнал, который издавало поэтическое общество. Уходя, она взяла папин зонтик. Шагала под зонтом по лужайкам и аллеям кампуса,

мимо столовой и стадиона. Остановилась под козырьком учебного корпуса, раскрыла журнал, прочла несколько его стихотворений. Дождь стих, она сложила зонтик и направилась к выходу из кампуса.

Через год она вышла замуж за однокашника своего брата. В университете он учил французский, потом тоже распределился в министерство иностранных дел, был старше ее на восемь лет. Еще через год она уехала с мужем в Африку. Сначала в Алжир, потом в Сенегал. Для живших там иностранцев она была супругой дипломата, сдержанной, чопорной китайкой. Никто не знал, что она дочь преступника. Она выходила в сад при посольстве и смотрела, как чернокожие женщины, взобравшись на дерево, собирают манго, солнечные лучи струились сквозь листву, и она подставляла им лицо. Мрачные, но счастливые времена остались далеко-далеко, словно корабль, скрывшийся за горизонтом. Она вышла из тени прошлого.

Пусть Ван Лухань немного жалела, что у них с мужем не получается завести ребенка, жилось им весело. Порой муж больше напоминал ей товарища по путешествиям. Они постоянно кочевали с места на место. Стоило им обжить очередной дом в чужой стране, пропитать его своими запахами, как опять наступала пора уезжать. Они подхватывали чемоданы и прощались с теми, кто все это время о них заботился. Наступало Рождество, время отправлять открытки, и лица старых друзей снова всплывали перед глазами. Раз в году они вспоминали этих людей, представляли, какие перемены случились в их жизни. Переезжая с места на место, человек постепенно черствеет от частых расставаний. Они сознавали, что все привязанности конечны, поэтому умели правильно расставаться и понимали, что любому хорошему началу требуется хорошее завершение. Ван Лухань ценила мужа за это холодное благоразумие и надеялась однажды стать такой же, как он.

Когда жизнь безмятежна, время лишено часов и минут, – не успела она оглянуться, как прошло двенадцать лет. На память о них осталась стопка фотографий, и если бы не подписи в правом нижнем углу, она ни за что не смогла бы расположить их по порядку. Всегда палящее лето, она в платье, на шее жемчужное ожерелье, с улыбкой она стоит или сидит возле мужа.

Ван Лухань говорила, что никогда бы не подумала о разводе, если бы не новая встреча с моим папой. Но на том банкете в толпе мельтешащих людей она с первого взгляда узнала старого друга, с которым не виделась двадцать лет, голова у нее закружилась, по телу словно пропустили ток, и она очнулась от долгого сна. Она шла к нему, и двенадцать лет безмятежной жизни с грохотом рушились за спиной. Счастье, в которое она поверила, обернулось химерой. Пути назад больше не было.

На следующей неделе она должна была ехать с мужем в очередную за границу, но вместо этого отправилась с моим папой в Москву. В поезде они крепко прижались друг к другу. За окном проплывали пустынные холмы и укрытое снегом озеро. Глядя ей в глаза, он сказал: с тобой моя жизнь снова обрела смысл. Ее сердце сжалось. По сравнению с подростком, которого она знала, этот мужчина казался несчастным и одиноким, в сиявших некогда глазах осел пепел. Она сжала его руку и сказала: я всегда буду с тобой и каждый наш день наполнится радостью. Он кивнул – конечно, мы обязательно будем счастливы.

Вернувшись из Москвы, Ван Лухань попросила у мужа развод. Он был не готов к таким новостям, но держался по-прежнему достойно. Молча взглянул на нее сквозь маленькие круглые очки в золоченой оправе и спросил: тебе нужно время, чтобы хорошенько все обдумать? Нет, ответила Ван Лухань. Ладно, сказал муж. В конце месяца у меня командировка во Францию, лучше, если мы покончим со всеми формальностями до моего отъезда. После она видела его только по телевизору, к тому времени он уже был послом в одной из африканских стран, рядом сдержанно улыбалась женщина с жемчужным ожерельем на шее.

Мой папа попросил развод почти одновременно с Ван Лухань. Мама не

соглашалась, но это был всего лишь вопрос времени. Потом папа и Ван Лухань стали жить вместе. Это была очень счастливая пора. Такая жизнь казалась им знакомой и родной, они будто вернулись в прошлое, в две темные комнатки ее старой квартиры. И намеренно воссоздавали декорации своей юности: с утра до вечера сидели дома, плотно задернув шторы. Он читал ей вслух, они вместе готовили, стояли у окна и ели одно яблоко на двоих. Эти занятия в любую минуту могло прервать нахлынувшее желание. Постель заменила им язык, стала их главным способом общения. Но даже в этом безудержном счастье Ван Лухань все время преследовал страх. Ей чудилось, будто что-то может внезапно их разлучить. Она никогда не заговаривала об этом с моим папой: многие слова, будучи сказанными, превращаются в камни и остаются вечно висеть между людьми. К тому же ей хотелось верить, что ее страх – всего лишь тень, не изжитая временем, и мало-помалу она исчезнет.

Поэтому, узнав о болезни брата, она не могла не подумать, что переезд матушки Цинь станет угрозой для их брака. Хотя время и сгладило память о боли, Ван Лухань помнила тогдашнее свое бессилие перед приступами матери. Откровенно говоря, все эти годы за границей она почти о ней не вспоминала. Знала, что за матерью ухаживают, что живется ей хорошо, и этого было достаточно. Иногда Ван Лухань целыми месяцами не звонила домой. Материн голос рождал в ней тревогу, казалось, в следующую секунду он треснет и взорвется. Она пряталась больше десяти лет, дальше прятаться было невозможно.

Но мой папа воспринял новость очень спокойно, он считал, что мать должна жить с ними. Говорил, что в той временной семье много лет назад их было трое – он, она и матушка Цинь. Уверял, что часто ее вспоминает и считает родным человеком. Тогда они были еще детьми, потому и чувствовали себя так беспомощно. А сейчас он – взрослый сильный мужчина, он сможет обеспечить матушке Цинь хорошую жизнь. Но говорил он это уже в подпитии, а пьяницы – известные оптимисты. Он не отказался от алкоголя, как обещал Ван Лухань. А когда они перевезли к себе ее мать, стал пить только больше. Начались ссоры и обиды.

Се Тяньчэн спросил ее: как ты думаешь, если бы мать жила отдельно, сложилось бы у вас с Ли Муюанем?

Нет никаких “если”, сказала Ван Лухань. Ли Муюань говорил правду – с самого начала нас было трое. И моя мать всегда стояла между нами. Она загасила последнюю сигарету и вдавила окурочек в полную красных сердец пепельницу. Начинался новый вечер, из-за закрытой двери слышалось:

– Небо усыпано звездами, небо усыпано звездами...

В следующую нашу встречу зашел разговор о гвозде. Я спросила Се Тяньчэна, не рассказывала ли Ван Лухань, почему ее отец и мой дедушка решили погубить Чэн Шоуи. Он ответил, что нет, Ван Лухань ничего об этом не рассказывала, но Чэн Шоуи был их начальником, постоянно тиранил, они его на дух не переносили. Правда, если верить Ван Лухань, ее отец был добрым человеком, он бы не стал так жестоко мстить. Скорее всего, идея принадлежала Ли Цзишэну. Кто их разберет, в то время зло творили и негодяи, и порядочные люди, теперь не дознаешься. Но Ван Лянчэн умер, поэтому всю вину возложили на него. Я сказала, что, возможно, он и повесился, потому что хотел взять вину на себя. Се Тяньчэн рассмеялся: Цзяци, ты слишком хорошо думаешь о людях. Я сказала: я многое видела и слышала, образ Ван Лянчэна постепенно сложился в цельную картину, думаю, таким он и был. Се Тяньчэн спросил: тогда каким был твой дедушка? Помолчав, я ответила: не знаю, он с каждым годом все больше скрывается в тумане.

Се Тяньчэн сказал: я видел его на похоронах твоего папы. Держался он строго, был хмурый, но не проронил ни слезинки. Когда церемония закончилась, все потянулись к Ван Лухань, а он вышел из зала. Я хотел угостить его сигаретой, он ответил: не курю, спасибо. Я закурил, спросил, как долго он пробудет в Пекине. Он

сказал: сегодня вечером уезжаю. Я принес соболезнования, он вежливо поблагодарил, сосредоточенно глядя куда-то перед собой. Почему-то мне показалось, что он – справедливый и честный человек, и я проникся к нему невольным уважением, он был совсем не похож на коварного лицемера, которого рисовала Ван Лухань. Когда все разошлись, он подошел к Ван Лухань и сказал: мать Ли Муюаня сломала ногу и не смогла приехать, но просила передать, чтобы ты обращалась к нам, если что-то понадобится. Ван Лухань молчала, опустив голову. Он вручил ей пухлый конверт, надел кепку и ушел.

Я спросила: как ты думаешь, Ван Лухань простила моего дедушку? Се Тяньчэн ответил: это уже не важно. Важно, что она тоже чувствовала себя виновной. Словно кто-то все время должен нести эту вину. Твой папа умер, и она подхватила ношу.

Мы с Се Тяньчэном сидели под зонтиком в летнем кафе. Была уже весна, капал дождик, пахло травой. Я сказала: спасибо, ты столько мне рассказал. Он ответил: мне нравятся наши встречи, хотелось бы растянуть историю, но больше я ничего не знаю. Я сказала: я помню все, что ты говорил. На каждую годовщину папиной смерти оборачиваю гвозди красной бумагой, потом сажусь и начинаю ждать. Он сказал: и пей кофе, тогда не заснешь. Да, не засну, ответила я.

40'17"

“ДОБРОЕ СЕРДЦЕ И ДОБРЫЕ РУКИ – ЗНАКОМСТВО С АКАДЕМИКОМ ЛИ ЦЗИШЭНОМ”

Мужчина лет пятидесяти снимает хирургический халат и выходит из операционной. Пересекает коридор, садится в лифт, заходит в кабинет, все это время камера следует за ним. Стол у окна, на подоконнике горшок с золотистым плющом.

Титр:

У Тяньюй – пожалуй, один из самых успешных учеников Ли Цзишэна. Сейчас он работает заведующим кардиологическим отделением в одной из пекинских больниц. Он унаследовал от Ли Цзишэна строгий, академичный подход. Имея богатейший клинический опыт, у Тяньюй смело предлагает новые идеи, постоянно совершенствует протоколы операций, повышая коэффициент успеха. В быту он также похож на своего учителя: живет просто и скромно, не стремясь к материальным благам.

У Тяньюй садится, берет со стола рукопись и начинает ее перелистывать.

Титр:

Это черновик моей докторской диссертации. Пометки на полях – комментарии учителя, он подчеркнул каждое предложение, нуждавшееся, по его мнению, в правке, отметил даже погрешности в грамматике. Позже по материалам диссертации вышла книга, и я преподнес экземпляр учителю. Спустя пару дней он вернул мне его с пометками – подчеркнул еще несколько недочетов, чтобы я исправил их в следующем издании.

Смена кадра. У Тяньюй смотрит в камеру.

Титр:

Учитель Ли много раз повторял, что в хирургии недопустима небрежность, во время операции нужно всегда иметь в виду худший исход. Он своими глазами видел, что такое преступная халатность врача. Скорее всего, это случилось в первый год “культурной революции”, учителя подвергли гонениям и не допускали к операциям, он вынужден был ассистировать врачу, который ничего не смыслил в хирургии. Тот хирург легкомысленно подошел к операции, не оценил в полной мере ее сложность, в результате пациент потерял много крови. Ли Цзишэн взял скальпель и сделал все возможное для спасения жизни, но было уже поздно, дыхание пациента прервалось. Эта трагедия очень повлияла на учителя Ли, он возненавидел неумелых врачей, которые либо бездействуют, либо попросту вредят пациентам. Но и себя не мог простить, считал, что несет ответственность за тот

СЛУЧАЙ, И ЧАСТО ПОВТОРЯЛ: “ТЯНЬЮЙ, ПОЖАЛУЙ, О ТОЙ ОПЕРАЦИИ Я
ЖАЛЕЮ БОЛЬШЕ ВСЕГО В СВОЕЙ ЖИЗНИ...”

Чэн Гун

Ты удивишься, если я скажу, что видел Ван Лухань? Ни за что не угадаешь, где мы встретились. В триста семнадцатой палате. Эта палата была маленьким театром, где то и дело разыгрывался какой-нибудь спектакль. Между мной и тобой, между тетей и Сяо Таном... Наверное, от дедушки исходил какой-то магнетизм – ему неизменно удавалось заманить нас в палату и посмотреть очередное представление.

Я зашел в триста семнадцатую палату вскоре после твоего перевода в другую школу. Постоял немного у кровати, глядя на дедушку, потом взял устройство для связи с душой, которому никогда не суждено было увидеть свет, сложил его в коробку, обмотал скотчем и затолкал под кровать. Вышел из палаты и затворил дверь.

Все воспоминания о тебе я оставил за этой дверью. И не появлялся в триста семнадцатой палате еще целый год. Только однажды, пока ждал тетю у больничных ворот, задрал голову и посмотрел на крайнее к востоку окно стационарного корпуса. Пара серых голубей вдруг резко взлетела с карниза.

Мне показалось, что кто-то стоит за окном и смотрит на улицу сквозь грязное стекло. Скорее всего, обман зрения – кроме медсестры, которая каждый день заходила в палату на десять минут, чтобы покормить дедушку, там никого больше быть не могло.

Подошла тетя, я показал ей на окно и спросил, видит ли она человека в палате. Она посмотрела мельком, сказала, что никого не видит, и повела меня прочь. А на полпути к дому я заметил у нее слезы. Спросил, что случилось, – оказалось, в триста семнадцатой палате она встречалась с Сяо Таном. Была уже осень, холодало, но они продолжали каждый день бегать в рощицу, пока однажды тетю не озарило (она именно так и сказала): вспомнив о триста семнадцатой палате, она немедленно отвела туда Сяо Тана. С тех пор они стали бывать там каждый день. Но я все равно не могу представить, как тетя и Сяо Тан целуются у дедушкиной кровати. На этот раз его беспокойные круглые глазки стали свидетелями их чистой любви.

На второй год после твоего отъезда в больнице началось строительство нового корпуса. Его построили в северной части микрорайона – помнишь, там раньше был пустырь? Говорили, что при закладке котлована из земли выкопали гнездо белых змеек, мы бегали посмотреть, никаких змеек не увидели, но передавали этот слух дальше. В новом восьмизэтажном корпусе было достаточно коек, и после его открытия старый корпус, где находилась триста семнадцатая палата, отвели под пациентов, которые годами не покидали больницу, – это были лежащие с полным и односторонним параличом, старики, страдавшие деменцией, которых поместили в стационар за деньги или по блату, и теперь от них было не избавиться... Большинству требовалось уже не лечение, а уход. Их держали в стационаре только для того, чтобы обеспечить работой бесполезных сотрудников больницы. Уволить их директор не мог, поэтому сослал в старый корпус работать санитарками и медсестрами. Тетя тогда очень боялась, что ее тоже отправят в старый корпус, целыми днями плакала, но, вопреки ожиданиям, за ней сохранили должность в аптеке.

Теперь в старом корпусе работали только женщины под пятьдесят, из-за климакса все вздорные и жестокие, как на подбор. Кормили и давали лекарства не по расписанию, постельное белье меняли когда им заблагорассудится, с пациентами обращались из рук вон плохо, постоянно кричали на больных с недержанием. Некоторые родственники ходили жаловаться, но руководство ограничивалось воспитательными беседами, а проку от таких бесед было мало. Директор больницы предпочитал посвящать себя заботам о строительстве нового корпуса да медицинским премиям. Он понимал, что даже если возьмется за старый корпус и приведет его в порядок, на продвижение по службе это никак не повлияет, и

смотрел на творящееся там сквозь пальцы: никого пока в могилу не свели, и ладно.

Старый корпус прозвали стационаром с фуриями. Мы с тетей знали, что эти фурии отвратительно “ухаживают” за дедушкой. Ведь пожаловаться он все равно не может. Они ни за что не будут терпеливо переворачивать дедушку, обтирать его по расписанию, менять подгузники. У него появятся пролежни, плоть начнет гноиться, мышцы полностью атрофируются, это может привести к остановке сердца... Но ни я, ни тетя не заходили к нему в палату и не рассказывали о новых порядках бабушке – боялись, что она побежит ругаться со склочными медсестрами из стационара. Правда, бабушка и сама жила в Наньюане, а вокруг всегда хватало любительниц посплетничать, могла ли она ничего не знать? Скорее всего, как и мы, бабушка просто закрывала глаза на правду. Ведь “узнай” она, что творится в старом корпусе, пришлось бы устраивать настоящий скандал, чтобы сохранить за собой славу человека, которым нельзя помыкать. Но бабушка постарела, теперь склоки давались ей труднее, да и повод был нестойкий. Проживет дедушка на пару лет меньше, и что с того? Между нами как будто появился негласный договор – не вспоминать о дедушке и триста семнадцатой палате. Наверное, мы ждали, что однажды настанет день, когда из больницы позвонят и скажут, что дедушка умер.

Но никто не звонил. А осенью 1995 года я снова оказался в триста семнадцатой палате. Я тогда страшно поругался с бабушкой. Скоро мне должно было исполниться четырнадцать, а я по-прежнему делил одну комнату с тетей. Мне это очень надоело, я хотел, чтобы тетя перебралась в гостиную к бабушке, дряхлые сундуки можно было передвинуть, освободить немного места и поставить туда новую кровать. Но бабушка не хотела трогать сундуки и жалела денег на кровать. Тетя оказалась меж двух огней и, судя по всему, затаила на меня обиду. Мое законное требование она расценила как желание от нее избавиться.

Я разозлился и решил сбежать из дома. На другой день была суббота, с утра пораньше я упаковал рюкзак и ушел. Приехал на автовокзал и принялся оцепенело разглядывать маршрутные таблички с незнакомыми названиями городов, а автобусы один за другим исчезали в облаках пыли. Я пробыл там до полудня, но так и не смог разбудить в себе тягу к дальним странствиям, только больше поддавался страху. Внутренний голос, к которому примешивались голод и усталость, звал меня домой. Но сразу вернуться не позволяло самолюбие, я должен был хотя бы переночевать не дома, иначе это не побег. Куда же пойти? И тут перед глазами возникло дедушкино лицо, подобное лику бодхисатвы.

На исходе дня я поднялся на третий этаж стационарного корпуса и направился к дальней по коридору палате. Дверь была приоткрыта, тень на полу напоминала незаконченный женский портрет. Я обошел ее и заглянул внутрь. В палате действительно была женщина, она сидела на краю кровати и обтирала дедушку. Закатав на нем кофту, влажным полотенцем обтерла грудь и живот, потом повернула его на бок и прошлась полотенцем по спине. Опустила кофту, расправила складки. Затем приподняла дедушку за поясницу и спустила мешковатые белые подштанники до самых лодыжек. Сняла со спинки кровати полотенце и провела им по дедушкиной ноге, от голени и вверх. Отделенная слоем ткани, ее ладонь скользила по его бедру. Дедушкина нога давно была мертва, но я почти видел, как она дрожит. Женщина прервалась, отошла к подоконнику, взяла термос, затем присела на корточки, и в воздухе за клубился белый пар. Наверное, она долила в таз горячей воды и полоскала в ней полотенце. Мне было не видно, кровать загораживала обзор, и я очень разволновался – женщина вдруг исчезла, а вода журчала так дразняще. Наконец она встала и расправила горячее полотенце. Закатные лучи лились в окно за ее спиной, струились по плечам и падали на белую ткань, искажая цвет. Полотенце отливало пурпурным, утопало в мягком облаке пара. Женщина свернула его, перебросила из левой руки в правую, потом обратно в левую, и так несколько раз, пока оно не остыло. И снова взялась за дело. Наклонилась, провела тканью по дедушкиному паху, по внутренней стороне его бедер. Приподняла его обвисшие гениталии и нежно их обтерла, влажные пальцы касались иссиня-коричневой кожи, скользили по изголодавшимся складкам. Она медленно опустила дедушкин пенис, и он снова прикорнул в бледных зарослях. Я

почти тонул в своем лихорадочном дыхании, сердце как будто билось не во мне. А в ее руках. Она вынула из-под подушки тюбик с целебной мазью и натерла ей дедушкины ягодицы. А потом держала их на весу, пока мазь не впиталась.

Я не первый раз видел, как женщина обтирает моего дедушку. Это делали все медсестры, которые за ним присматривали. Но совсем иначе. Они обтирали его второпях, небрежно, им хотелось одного – поскорее закончить свою работу. А эта женщина была невероятно терпелива, казалось, она старается работать как можно медленнее, растягивает каждый шаг. Даже не заметила меня, хотя сидела лицом к двери. Она была так сосредоточена, поглощена своим занятием, словно нет на свете ничего важнее, чем обтирать моего дедушку.

Закончив, она поставила термос на подоконник и приоткрыла окно. Только тут я заметил, что оно было закрыто, – наверное, женщина боялась, что дедушку продует, пока она будет его обтирать. Прислонившись к подоконнику, она достала из кармана брюк сигареты и закурила. С карниза, хлопая крыльями, слетел голубь, она оглянулась и посмотрела в окно.

Наконец я смог успокоиться и внимательно ее изучить. Пожалуй, она была тетиной ровесницей, уже не очень молода, но ее кукольное личико больше подошло бы юной девушке. Рассеянный взгляд, впалые щеки и опущенные уголки рта на этом личике казались чужими, на них было невозможно смотреть без боли, хотелось отмотать время назад и увидеть ее молодой. Волосы женщины были наспех собраны в пучок на затылке, но по бокам свисало несколько длинных прядей, доходивших до плеч. Одета она была в синюю рубашку из плотной ткани, длинную и широкую, с небрежно закатанными рукавами.

Белого халата на ней не было – вряд ли она штатная медсестра. Да я и не поверил бы, что в старом корпусе есть такие ласковые сестры. Тогда кто она такая? Сердобольная женщина, решившая поработать волонтером? Добрая монахиня из соседней церкви? Я строил разные догадки, но на самом деле не очень хотел знать ответ. Перед глазами до сих пор стояли ее руки, обтирающие дедушку, я вспоминал каждое ее движение и то, как оно отдавалось в моем теле.

Когда она затушила сигарету, я развернулся и ушел. Потому что женщина явно собиралась домой, а я не хотел, чтобы она меня увидела, тогда пришлось бы объяснять, что человек на больничной койке – мой дедушка. Узнав, что этого больного навещают родственники, она может подумать, что о нем есть кому позаботиться, и перестанет приходить. Я должен был уйти, чтобы потом снова ее увидеть. Но далеко я не ушел, спрятался у фруктовой лавки рядом с воротами больницы и наблюдал оттуда, как она в одиночестве выходит на улицу, медленно пересекает дорогу и идет к автобусной остановке. Приехал одиннадцатый автобус и увез ее с собой. На остановке появились новые люди, один человек топтался там, где только что стояла она. Я подождал еще немного и пошел домой. Увижу ли я ее снова? Сердце изнывало от неизвестности. Только у подъезда я неожиданно вспомнил, зачем ходил в триста семнадцатую палату, вспомнил, что решил сбежать из дома, вспомнил про отдельную комнату. Но все это было уже неважно. Меня переполняли такие возвышенные чувства, что все обиды и огорчения казались пустыми.

Она приходила каждый день. В четыре часа пополудни. Проводила в палате примерно полтора часа. Обтирала дедушку, кормила его через трубку в носу, меняла одежду и подгузники, делала всю работу санитарки. Какое-то время я наблюдал за ней, прячась за дверью, потом перемещался к фруктовой лавке и стоял там, пока одиннадцатый автобус не исчезал из виду. Примерно через две недели я оказался в больнице раньше обычного и мы столкнулись в коридоре – она вышла из палаты набрать воды в термос. Я растерялся, стал сбивчиво объяснять, что человек в палате – мой дедушка. Она сказала: Чэн Шоуи чувствует себя хорошо, ступай домой. Я попросил: можно мне побыть тут немного, я давно его не видел. Она сказала: да ты ведь вчера приходил. Тут я прикусил язык. Мальчик, сделай мне одолжение, сказала женщина. Сходи набери воды. Я взял термос и сказал: меня зовут Чэн Гун. Она кивнула: понятно. Но когда я вернулся, снова

назвала меня мальчиком и велела поставить термос рядом с тазом. Я поспешно налил в таз горячей воды и сразу схватился за полотенце – боялся, что иначе она меня прогонит. Потом она обтирала дедушку, а я стоял рядом и смотрел. Теперь я находился совсем близко к ней, к ее рукам, от вида которых сердце мое тонуло в тепле. Я сказал: моего дедушку изувечили злодеи, раньше он служил в Освободительной армии, был искусным снайпером, в честном поединке он бы им ни за что не уступил. И во сне он учил меня стрелять из ружья, мог подстрелить любую птицу в небе. Еще я рассказал ей о разных дедушкиных подвигах, о том, как он в одиночку бил японских чертей; некоторые истории были весьма далеки от правды, но рассказывал я убедительно. Я старался изобразить дедушку настоящим героем – может быть, тогда она согласится ухаживать за ним и дальше. Но женщина за все время ни слова не проронила, только, склонив голову, хлопотала над дедушкой, даже не знаю, слушала она или нет. Перед уходом сказала: никому не говори, что я здесь бываю. Я кивнул: понятно, добрые дела нужно держать в тайне.

С тех пор я стал каждый день приходить к ней в триста семнадцатую палату. Прогуливал два последних урока по самоподготовке, приносил домашнюю работу в палату и занимался там. Переделав все дела, женщина ненадолго задерживалась в палате, стояла у окна и смотрела на улицу. Я очень ценил эти минуты, тихонько подходил к ней и вставал рядом. На самом деле мне ужасно хотелось с ней поговорить, но я был рад и молчанию. Иногда она доставала яблоко и принималась его чистить: большой палец ложился на спинку ножичка, толкая его, ровная прозрачная лента кожуры кольцами опадала с яблока и никогда не рвалась. Женщина пристально смотрела на свои руки, ей явно нравилось это занятие. Потом разрезала яблоко, протягивала половинку мне. И каждый раз спрашивала: сладкое? Как будто сама не знала, что у него за вкус. Сладкое, отвечал я. С тех пор я полюбил яблоки.

Провожая ее однажды вечером до остановки, я не выдержал и спросил: где вы живете? Она ответила: далеко. Я сказал: дома вас, наверное, ждут на ужин. Она покачала головой. Я хотел еще что-нибудь спросить, но подошел автобус. В тот день на ней было драповое пальто в красно-зеленую клетку, очень красивое, но у меня все равно защемило сердце, такой сиротливой она выглядела в толпе.

В начале весны дедушка заболел, мы не знали, что с ним, у него постоянно держалась высокая температура, которую не удавалось сбить никакими лекарствами. Он впал в забытие и бился в судорогах, лицо стало фиолетовым, а изо рта шла пена. Женщина сказала: я останусь с ним на ночь, главное – миновать кризис, и он пойдет на поправку. Домашним ничего не говори. Я ответил: хорошо. Я и не собирался рассказывать бабушке с тетей. Не хотел, чтобы они пришли в палату. К тому же они могли потребовать у директора больницы, чтобы дедушку перевели в новый корпус. Там медсестер было много, и этой женщине не дали бы ничего сделать. Почему-то я очень ей доверял, был уверен, что она спасет дедушку. Хотя она просто делала ему компрессы со льдом да обтирала смоченными в спирте ватными шариками. Вечером температура быстро поднималась, и каждые полчаса ей приходилось обтирать дедушку с головы до ног, несколько ночей она провела без сна. Я тоже оставался в палате допоздна, пропускал все уроки во вторую смену, носил горячую воду, бегал за едой, а проходя мимо фруктовой лавки, всегда покупал для нее яблоко. Через неделю жар отступил, и дедушка каким-то чудом выздоровел. Но теперь она сама заболела и два дня не появлялась в палате. Два бесконечных вечера я ходил по палате из угла в угол, оказалось, я даже ее телефона не знаю. А если она больше не придет, где я буду искать? Когда на третий день она появилась в дверях палаты, в глазах у меня засвербело, я едва не бросился ее обнимать. Но вместо этого только пожал ей руку. Высвободив свою ледяную ладонь, она сказала: скорее неси горячую воду, иначе снова придется стоять в длиннющей очереди.

В конце марта медуниверситет сделал важное и радостное объявление: твой дедушка удостоился почетного звания академика медицинских наук. Газетный стенд в кампусе был увешан поздравлениями. На фотографии твой дедушка сурово

сжимал губы, твердый взгляд был устремлен вперед. Я налепил ему на лоб жвачку. Университет устраивал торжественную церемонию в его честь. Уроки во вторую смену отменили, школьников повели смотреть церемонию. Там был весь класс, кроме меня. А я отправился напрямик в триста семнадцатую палату и стал ждать ее. Она пришла и первым делом сказала: сегодня в больнице так тихо, я хотела попросить новую резиновую трубку, а дверь в сестринскую закрыта. Я объяснил, что все ушли в университетский зал собраний. Она спросила, что там за торжество. Один профессор... Я не хотел называть его имя. Один профессор стал академиком, и университет устроил церемонию в его честь. Вот как, сказала она, подтыкая дедушке одеяло. Повозилась еще немного с одеялом, потом прервалась и спросила: а как зовут этого профессора? Ли Цзишэн, ответил я. Она застыла. Помолчав, сказала: академик, это замечательно.

В тот день она больше не проронила ни слова, занималась привычными делами, но не так сосредоточенно, как обычно. Я принес горячей воды, к тому времени она уже покормила дедушку через трубку, но забыла вытащить трубку из носа. И задумчиво смотрела на дедушку, как будто не помнила, что делать дальше. Кипятка в тазик налила слишком много, я предупредил, но она не послушала, сунула руку и обожглась. Я хотел помочь – не позволила.

Переделав все дела, женщина подошла к окну и устало привалилась к подоконнику. Но не зажгла сигарету, как обычно, вместо этого пристально вгляделась в какую-то далекую точку за окном. Я спросил, на что она смотрит. Она сказала: наверное, церемония уже закончилась? Люди так и валят на улицу. Я посмотрел в сторону кампуса, но зал собраний было не разглядеть, вдали виднелись только серые жилые дома, слипшиеся из-за сумерек в сплошное пятно. Темнело, обычно в это время она уже стояла на остановке и ждала автобус. Ее взгляд не отрывался от окна, плечи подрагивали. Я даже подумал, что она сейчас заплачет.

Когда на улице стало совсем ничего не разглядеть, она отошла от подоконника и надела пальто. У двери замешкалась: мальчик, сделаешь мне одно одолжение? Я поспешно кивнул. Но она снова замолчала, а потом наконец сказала: сбегай к Ли Цзишэну, передай, что Ван Лухань хочет с ним увидеться, пусть приходит в эту палату. Завтра или послезавтра, в любое время после полудня.

Я проводил ее и пошел в рощицу. Деревья походили на черную тучу, обкусанную ветром и повисшую в огромном ночном небе. Я чувствовал, как повязка, все это время закрывавшая мне глаза, медленно ползет вниз. Кто она, почему ходит в эту палату? Мне до сих пор не хотелось искать ответы на эти вопросы, а ведь они появились в ту самую секунду, как я увидел Ван Лухань. Я не мог не уловить исходивший от нее подозрительный запах, ведь я всегда отличался чутьем на тайны. Но моментально отключил это чутье и не разрешал себе доискиваться, кто она такая. Ответ на этот вопрос мог многое разрушить. А я бережно хранил свои чувства к Ван Лухань, ограждая их от опасностей. Этому я научился от тебя. Твой уход заставил меня резко повзреть.

Тайны несут в себе разрушение, потому их и держат за семью печатями. Наверное, именно любовь к разрушению толкала нас разведывать чужие тайны. Трудно сказать, что помешало развиваться нашему созидательному началу. Но раз уж сотворить мы ничего не могли, оставался один выход – разрушать. А может быть, в нашей стране разрушение всегда ценилось как высочайшее творчество. В какой восторг нас приводила сама возможность поджечь фитиль тайны и пробить в мире дыру. Тайна с грохотом взрывалась, а мы вкушали неземное блаженство. Я пристрастился к нему, и пусть в тот раз тайна оказалась совсем близко, она была закопана прямо между нами, я все равно ее взорвал. Последовала вспышка наслаждения, словно я кому-то отомстил. А потом я понял, что стою посреди развалин. Тебя вырвали из моей жизни, со стороны это казалось простым совпадением, но только я знал, что сам во всем виноват. Я не уберег нашу дружбу.

На поляне с лютиками, что позади библиотеки, ты однажды спросила меня, как пахнет тайна. Я сказал: сладко, как переспелая дыня.

Этим весенним вечером я действительно почувствовал запах тайны. Опасный и древний запах, наводивший на мысли о магме и метеоритах. Но никак не сладкий. Захотелось побежать и рассказать тебе, но я тут же понял, что уже никогда не смогу этого сделать.

На следующий день я пришел к кабинету твоего дедушки. Ему выделили кабинет в новой административной высотке, на одном этаже с ним сидели только ректор и проректоры. Я застал его на месте, но у двери собралась настоящая толпа, стояли штативы с камерами, велись съемки. Работали журналисты с двух каналов, одни брали у него интервью, другие готовились снимать короткометражный документальный фильм "Один день из жизни академика". И я ушел, сжимая в кулаке записку: "Приходите завтра после обеда в палату № 317 старого стационарного корпуса, Ван Лухань хочет с вами увидеться".

В конце концов пришлось идти к нему домой. Я очень боялся, что откроет твоя бабушка. Ван Лухань не говорила прямо, но я чувствовал, что ей хотелось бы сохранить все в тайне. Когда тем вечером я подошел к вашему дому, из одного окна доносилась музыкальная заставка к выпуску новостей. Я пристроил велосипед напротив подъезда и стал возиться со звонком на руле. Когда на знакомом мне старом велосипеде подъехал твой дедушка, я последовал за ним в подъезд, сунул ему в руку записку и сбежал. Думаю, он даже не успел меня разглядеть, а я не успел посмотреть, какое у него сделалось лицо, когда я вручил записку.

Назавтра было пасмурно. Утренний туман рассеялся только к вечеру, когда начало темнеть. Небо было серым, как крыло голубя, словно его выкрасили в голубиный камуфляж. Здания мышиного цвета с третьего этажа выглядели плоскими, как на плохом эскизе. Мы с Ван Лухань хотели посушить одеяло на солнце, но этот план пришлось отложить до лучших времен. Отопление в палате еще не отключили, жар бил в лицо, навевая дремоту. Я приоткрыл окно и дверь, чтобы немного проветрить, а Ван Лухань молча хлопотала вокруг дедушки. На ней был темно-зеленый свитер, который я раньше не видел, и когда она случайно касалась ткани, та трескуче искрилась.

Ветер ворвался в окно и пролетел через палату. Дверь дважды скрипнула. Я вскочил на ноги, Ван Лухань резко обернулась. Мы впились взглядом в дверь. Казалось, в следующую секунду она распахнется и он шагнет внутрь.

Но он не появился. И на второй день тоже. И на третий, и на четвертый...

Целую неделю над городом висел туман, потом наконец распогодилось. Мы выбрались на террасу, поставили сушилку для белья и расстелили одеяло, а про прищепки забыли. Пока Ван Лухань ходила за ними в палату, я залез под сложенное квадратом одеяло, только руки торчали наружу. Услышав шаги, я стал размахивать ими, как неуклюжий робот. Кажется, она засмеялась, – сидя под душным одеялом, я представил, как улыбка собрала две мелкие складочки в уголках ее рта. Она наступила мне на ногу, велела прекращать баловаться. Но я все размахивал руками. А потом почувствовал, как что-то коснулось моей правой ладони. Деревянная прищепка. Она зажала указательный палец, но совсем не больно – ее рука придерживала прищепку за другой конец. Она то осторожно сжимала прищепку, то отпускала, палец нежно сдавливалось, а мое сердце как будто угодило в тиски. В темноте я представлял, как соприкасаются наши рыхлые от солнца тени и та малая часть, где они накладываются друг на друга, легонько дрожит. Наверное, я вспотел – прищепка обмякла и лежала на пальце влажными губами.

А потом исчезла.

Ладно, поиграли, и хватит, сказала Ван Лухань, вытаскивая меня из-под одеяла. Вручила мне половину прищепок и велела скорее приниматься за дело.

От слепящего солнца в глазах поплыли круги. Я сощурился и улыбнулся,

осторожно пряча в карман руку с остатками тепла.

Мы закрепили одеяло прищепками, чтобы его не унесло, – ветер той весной был страшный. Одна прищепка осталась, и Ван Лухань приколола ее у виска, забрав непослушные прядки, которые постоянно лезли ей в лицо, мешая работать. И я увидел ее ухо. Маленькое ушко, оно пряталось в волосах и выглядело таким бледным. Узкая тонкая мочка отливала голубым, посередине была дырочка для серьги. Бабушкины уши тоже были проколоты, но отверстия в ее мочках больше, глубже и чернее. Ни бабушка, ни Ван Лухань серег не носили, но бабушкины уши выглядели обыкновенно, а от вида этой дырочки в ухе Ван Лухань сердце пустело, как пересохший колодец.

Ван Лухань похлопала по одеялу: идем, сегодня много дел, пока хорошая погода, надо перестелить и выстирать постельное белье. Время словно вернулось на неделю назад, Ван Лухань снова казалась сосредоточенной и немного нервной, как будто нет на свете ничего важнее ее мелких забот. Я пошел за ней, перескакивая через ступеньку, по сердцу растекалась радость. Недоверие к Ван Лухань рассеялось, словно туча в небе, и я бы хотел, чтобы оно никогда больше не возвращалось. Я вдруг испугался, что дедушка умрет. Это он соединил меня с Ван Лухань, благодаря ему мы так много времени проводили вместе. Если его не станет, мы превратимся в двух чужих друг другу людей, которым совершенно незачем встречаться. Я стоял у кровати, поддерживая дедушку за ягодицы, пока Ван Лухань выдергивала из-под него простыню. Под дедушкиными припухшими веками перекачивались блестящие глаза, на губах играла незаметная улыбка. Я давно его не разглядывал, но дедушка всегда знал, как привлечь мое внимание и напомнить о себе, и тут я подумал, что в этом запертом на замок теле заключена неведомая сила. И тяжелая плоть – не помеха ее могуществу. Если как следует вспомнить, окажется, что в нашей семье кто-то всегда был заинтересован в том, чтобы дедушка жил. Папа – чтобы больница продолжала выплачивать компенсацию. Бабушка – чтобы переехать в квартиру побольше. Тетя – чтобы остаться работать в аптеке. А я – чтобы видиться с Ван Лухань. Наверное, дедушка умел притягивать то, в чем мы нуждались, чтобы в обмен на это мы искренне молились за его жизнь. Не знаю, был ли прок от наших молитв, но дедушка выглядел здоровее всех в семье, казалось, он будет жить вечно и в конце концов превратится в живое ископаемое.

Тот год пролетел очень быстро. Не успел я глазом моргнуть, как наступило Рождество – в последние пару лет этот заморский праздник устроил массовое наступление на сердца детей, атаковал их рождественскими открытками, красными колпаками с белыми помпонами и хрустальными шарами, в которых сыпал снег, стоило их немного встряхнуть. Некоторые дети покупали сразу по тридцать открыток, писали на них одинаковые поздравления и потом раздавали одноклассникам, как будто это игральные карты. Так делал и Большой Бинь. Из тридцати человек в классе двадцать с ним ни разу даже словом не перекинулись, но Большому Биню нравилось радовать людей своими подарками, доволен он был вне зависимости от реакции. И за неделю до Рождества потащил меня выбирать подарки на рынок Дунмэнь. Рынок был забит, дети пачками скупали рождественские открытки – оказалось, Большой Бинь совсем не одинок в своем желании творить добро. Не обращая внимания на шум, он раскрывал очередную звуковую открытку и прикладывал ее к уху, чтобы послушать рождественскую мелодию. Я стоял за его спиной, разглядывая соседний прилавок со сверкающими безделушками. Потом подошел и взял в руки сиреневую заколку для волос в виде продолговатого листочка с прожилками, усыпанными крошечными самоцветами. Конечно, сейчас я понимаю, что это были всего-навсего пластмассовые осколки, но в детстве все блестящие камушки кажутся самоцветами. Я представил эту заколку в волосах Ван Лухань и стал рассматривать выставленные на прилавке серьги. Мой взгляд скользнул по сияющим кольцам, по длинным висюлькам с пайетками и остановился на серьгах, висевших у самого края, – две идеально круглые жемчужины не больше ноготка на мизинце, полные молочно-белого света.

Я никак не мог выбрать между сиреневым листиком и жемчужными серьгами.

Наверное, Ван Лухань больше нужна заколка. Может быть, она не хочет носить серьги. Но потом я вспомнил пересохшие дырочки в ее ушах, они как будто сигнализировали об отчаянии, испепелявшем ее сердце. Вдруг серьги ее хоть немного развеселят? Я совсем не был в этом уверен, но не мог противостоять страстному желанию увидеть их на ней. Я заплатил, продавец снял серьги со стойки и упаковал их в розовый целлофановый пакетик. Когда я вернулся к Большому Биню, он все еще копался в открытках. То раскрывал их одну за другой, то снова закрывал, терпеливо проверял заряд в батарейке. Мне вдруг стало его жалко: Большой Бинь так придирчиво выбирал подарки, но дарить-то их ему на самом деле некому.

Я сунул пакетик в карман брюк. На следующее утро брюки куда-то пропали.

– А, так я их постирала, – вскинула брови тетя. Редкое рвение с ее стороны. Пришлось спросить про серьги – тетя имела привычку рыться у меня в карманах.

– Сережки? Какие сережки? – Она заморгала, потом как будто резко вспомнила. – Посмотри на подоконнике.

Я подошел к окну, заглянул в розовый пакетик – жемчужные серьги лежали там, целые и невредимые. Тетя шагнула ко мне и спросила:

– Кому подаришь?

– У одноклассницы день рождения. – Я крепко сжал пакетик в руке.

Тетя ткнула меня в бок:

– У которой? Я ее знаю?

– Не знаешь, она новенькая.

– А я, представляешь, подумала, что твоя мама вернулась. Я ведь тебе рассказывала, однажды она купила на свою заначку облигации, а в тот день среди покупателей разыгрывали лотерею, и ей достался третий приз. Вот такие же в точности сережки. Но у нее они крепились клипсами к мочке, прокалывать было не нужно. Она все боялась их потерять, поэтому почти не носила.

Я положил пакетик в потайной отдел рюкзака, застегнул его на молнию.

– У одноклассницы уши уже проколоты? Такая маленькая, и как ей родители разрешили? – Тетя смотрела на меня с улыбкой.

Я схватил рюкзак и вышел в подъезд.

Очевидно, с сережками я промахнулся. Любому было ясно, что это подарок взрослой женщине, а что еще хуже – жемчужные серьги навели тетю на мысли о моей маме. Прошло столько лет, и пусть мама давно исчезла из нашей жизни, тетя не могла избавиться от этой воображаемой соперницы (что показывает: моя тетя – очень постоянный человек). Потом она говорила, что в ту ночь не сомкнула глаз. Серьги были очень похожи на украшения, которые носила моя мама, кому же еще их дарить? Тетя не могла представить, что в моей жизни есть другая взрослая женщина, о которой она не знает. И пришла к выводу, что я до сих пор поддерживаю связь с мамой. Всю ночь она ворочалась с боку на бок, внося коррективы в этот вывод, и к рассвету накрепко поверила: моя мама вернулась, мы с ней часто видимся, очень может быть, что она увезет меня с собой.

В канун Рождества я проводил Ван Лухань на автобусную остановку, выдыхая пар, мы сказали друг другу “До завтра!”, я вытащил из кармана розовый пакетик, сунул ей в руку, развернулся и бросился бежать, на бегу столкнулся с подходившим к остановке мужчиной, и пока он соображал, что к чему, меня уже след простыл.

На другой день волосы Ван Лухань по-прежнему плотно закрывали уши. Мне

хотелось убрать их и посмотреть, надела ли она сережки. Я начал жалеть, что не купил заодно и заколку, – так хоть одно ухо показалось бы из-под волос. Обтирая дедушку, Ван Лухань наклонилась прополоскать полотенце, прядь с правой стороны ее лица качнулась, разделившись надвое, и я увидел половинку уха. Мочка была голой, никакой сережки. Ван Лухань наверняка заметила мое разочарование, но объяснять ничего не стала. Вместо этого сказала: набери воды, а на обратном пути зайди в сестринскую, передай им, что задвижка на окне сломалась. Я ответил: они и слушать не станут. И к задвижке ведь приделали проводок. Ван Лухань кивнула, подошла к окну, дернула за проводок и сказала, что вечером ветер переменится на северный, проводок может не выдержать. Она как заведенная терла ладони тыльными сторонами, раньше я был очарован этой нервностью, но теперь едва не взбесился. Неужели она ничего не видит вокруг, кроме сломанной задвижки? Я сердито схватил термос и вышел в коридор.

В очереди за водой я все еще злился. Не из-за сережек, просто она совсем меня не замечала. Что бы я ни сделал. Возвращаться в палату совсем не хотелось. Ведь ей все равно, есть я или нет. Я представил, как она хлопчет вокруг дедушки, каждый вечер выполняет одни и те же операции, словно автомат. Представил ее худую руку, выглядывающую из широкого рукава, как она стирает пыль с прикроватной тумбочки, берет термос и медленно спускается на первый этаж. Представил, как она стоит у окна со сморщенным яблоком в руке, как с яблока падает длинная змейка кожи. Без меня никто не скажет ей, что яблоко сладкое. Но это неважно, ведь она все равно не может почувствовать сладость. Я представил, как она будет откручивать проводок с задвижки, чтобы открыть окно, а потом прикручивать его на место, виток за витком, как будто это заводная пружина в ее теле. Белый пластик постепенно сотрется с поверхности проводка, останется только голая проволока. А потом проводок заменят. С наступлением сумерек она сунет руки в карманы пальто, выйдет из больницы, пересечет дорогу, постоит на остановке и запрыгнет в одиннадцатый автобус. Казалось, она провалилась в одну из щелей этого мира, и никто ее не замечает, кроме меня. Шестым чувством я понимал, что она очень одинока. У нее нет ни семьи, ни друзей. Возможно, в целом мире я – единственный, с кем у нее осталась хоть какая-то связь. Единственный – тебе не понять, какой роковой соблазн таился в этом слове. Когда-то я считал единственной маму, но по ночам ею владел папа, а позже, солнечными вечерами, ею стал владеть лакричный дядюшка. И в конце концов она стала его полной собственностью. Когда я считал единственной тебя, ты без умолку рассказывала о своем папе, о чертовой Москве и Сибири. И потом все-таки уехала за ним в Пекин. Даже тетя едва не оставила меня ради Сяо Тана. Всем вам было на что опереться, помимо меня. В конце концов эти опоры оказывались сильнее и вы бросали меня одного. Я ненавидел соперничество, ненавидел жить в постоянном страхе потери. Но с Ван Лухань было иначе. В ее душе не нашлось места ни для меня, ни для кого бы то ни было. Никто не мог ее у меня отнять. Вверяя ей свое сердце, я не чувствовал опасности.

Я шел обратно с полным термосом и уже не злился, решил, что завтра же придумаю, как починить задвижку на окне.

На другой день я взял в школу домашний ящик с инструментами. После уроков сбегал в ближайший скобяной магазин. Все задвижки и шпингалеты были похожи друг на друга, я забыл прихватить с собой сломанную, чтобы сравнить, и пришлось покупать две штуки, одну побольше, другую поменьше. Когда я бежал, они звонко бренчали в кармане.

Поднявшись на третий этаж, я увидел, что дверь в палату распахнута, а на полу у входа распласталась чья-то тень. Изнутри доносились резкие крики. И среди них я различил знакомый турачий клекот. Я вздрогнул, но взял себя в руки и зашагал дальше.

Подошел к двери и увидел в палате бабушку с тетей. Они меня не заметили – стояли лицом к окну, глядя на Ван Лухань.

– Хватит притворяться, Ван Лухань, я сразу тебя узнала! – кричала бабушка.

- Что ты здесь рыщешь, что тебе нужно? - Тетю как будто подменили, ее голос звучал чересчур возбужденно.

Ван Лухань молчала, стиснув губы.

- Что ты задумала? - Тетя шагнула вперед и толкнула Ван Лухань.

- Не дает тебе покоя, что наш старик до сих пор живой? Решила за папку отомстить? Не успокоишься, пока и этого в могилу не сведешь? Вот что я скажу: за такой страшный грех вся ваша семья передохнет, и то будет мало... - Бабушка сорвалась на визг.

Тетя еще дважды толкнула Ван Лухань:

- Говори, кто тебя подослал?

Ван Лухань пошатнулась и ухватилась за подоконник.

- Бог велел мне прийти. - Она твердо смотрела куда-то вперед, сквозь них.

- Кто, ну-ка повтори? - переспросила бабушка.

- Бог.

Тетя с бабушкой переглянулись.

- Бог привел меня сюда, даровал мне возможность искупить грех.

- Искупить грех? Брала бы пример с отца, веревку на шею, да в петлю! - проорала бабушка.

Ван Лухань покачала головой:

- Вы ошибаетесь, самоубийство не искупает, а только умножает наши грехи.

- Тьфу, помри ты хоть сто раз, все равно будет мало! - Бабушка плюнула в лицо Ван Лухань. - Гляжу, ты головой повредила, да неслабо. Это у вас семейное! Катись отсюда, живо!

- Вы не можете меня прогнать, Бог поручил его мне, я должна о нем заботиться.

- Заткнись и сейчас же катись отсюда.

- Не слышала? Уходи, и чтобы духу твоего здесь больше не было! - Тетя выкрутила запястье Ван Лухань, толкая ее к двери. Она была похожа на злобного карлика из сказки. Ван Лухань высвободила руку и вцепилась в спинку кровати.

- Вы не имеете права так поступать, Богу угодно, чтобы я осталась...

- Вздор! Ты просто хочешь совесть свою успокоить. - Бабушка усмехнулась. - А я тебе не дам! Ты в эту палату зайдешь только через мой труп!

- Почему вы у него не спросите? - Ван Лухань указала на дедушку. - Он все знает, его душа еще там, она просит меня остаться...

- Ты мне тут зубы не заговаривай! - Бабушка вцепилась в волосы Ван Лухань. А тетя схватила ее за руку и потащила к двери.

Но Ван Лухань крепко держалась за спинку кровати. Железная кровать бешено раскачивалась и скрипела, казалось, еще немного - и она развалится на части. А дедушка хранил безмятежность. С трубкой в носу он напоминал аквариумную рыбку, живущую под невидимым стеклянным колпаком. Он действительно наблюдает за нами? И все понимает? Я с сомнением смотрел на дедушку, его глаза по-прежнему перекатывались из стороны в сторону, на губах играла неясная

улыбка.

Его душа еще там. Слова Ван Лухань напомнили мне о тебе. Стоя почти на том же самом месте, ты сказала те же самые слова. Из-за них и появилось устройство для связи с душой. Нелепейшее изобретение. Я вспомнил свой грандиозный замысел по спасению рода Чэн, и сердце обожгло холодом.

Я понял, что вы с Ван Лухань очень похожи. Вы обе – потомки моих врагов, от вас веет тайной и опасностью. Вы подходите ближе и ближе, очаровываете, берете в плен. А потом крушите мои мечты и показываете, какой жизнью я на самом деле живу. Жалкой и ничтожной.

Глядя на свару в палате, я вдруг почувствовал тошноту, развернулся и без оглядки побежал прочь. Металлические шпингалеты с лязганьем бились друг о друга в кармане. У ворот больницы я вытащил их и бросил в урну.

На следующее утро бабушка отправилась к старшей медсестре старого корпуса, чтобы выяснить, кто разрешил Ван Лухань ухаживать за моим дедушкой. Старшей сестре было за сорок, все звали ее тетушкой Юнь. Покричать тетушка Юнь умела – я видел, как она распекает в коридоре других сестер, еще старше. У тетушки Юнь было длинное лицо, а длиннее всего казался желобок под носом, – судя по всему, она должна была прожить по крайней мере лет сто. Бабушка устроила ей настоящий разнос, но тетушка Юнь и не подумала извиниться. Ответила, что ухаживать за моим дедушкой никому не хочется, а Ван Лухань вызвалась делать это на добровольных началах, и нареканий к ее работе нет, значит, она может остаться, больничные правила не запрещают использовать труд волонтеров. Мне все равно, что у вас там за вражда, так или иначе, старик лежит в палате целый и невредимый, ни один волосок с него не упал. Бабушка потребовала сменить замок на двери в триста семнадцатую палату, но тетушка Юнь отказала. Тогда уж заберите его домой, сказала она. И ставьте хоть замок, хоть пять железных дверей, чтобы и муха не залетела. Бабушка даже притопнула от злости, но поделаться ничего не могла. С полудня и до самого вечера она сидела в палате, а когда пришла Ван Лухань, накинулась на нее с приготовленной на этот случай метлой. Потом сбегала домой, наспех поужинала и понеслась обратно в больницу, но на этот раз прихватила с собой старую деревянную рейку с гвоздями. Как и следовало ожидать, Ван Лухань опять явилась в палату. Последовала новая драка. Говорили, бабушка рассекла ей лоб, было много крови.

В тот день я не пошел в больницу. Тетя стерегла меня дома. Она сказала: бабушка обещает переломать тебе ноги, если посмеешь тайком от нас видаться с Ван Лухань. Потом вздохнула, привлекла меня к себе: знаешь, как это называется? Ты продался врагу. Увидел, что она заботится о дедушке, и поверил в ее доброту. Дети такие наивные, да разве бывает на свете, чтобы люди бескорыстно делали добро? Еще и ухаживал за ней... Тетя опустила голову, пожевала губы: мне ты сережек никогда не покупал... Я молча сбросил ее руку, убежал в комнату и вскарабкался на свою кровать.

На следующий день бабушка привела в больницу слесаря, чтобы тот поставил замок на дверь триста семнадцатой палаты, ключи были только у нее и у тети. Потом бабушка пошла к директору больницы и объявила, что Ван Лухань только называется волонтером, а на самом деле замыслила убить моего дедушку, больница должна ее прогнать, а к дедушке приставить другую медсестру. Директор был по горло сыт этими разговорами и велел тетушке Юнь сменить медсестру в триста семнадцатой палате. Бабушка отдала ключ лично в руки новой темнолицей медсестре и много раз повторила, что его ни в коем случае нельзя передавать посторонним. Но и после этого не успокоилась, что ни день прибегала в палату проверить. Однажды она застала у больницы Ван Лухань, та неприкаянно бродила под окнами стационарного корпуса, но, увидев бабушку, тотчас же ушла.

В те дни я приходил домой сразу после школы, ел и быстро ложился спать. Если не мог уснуть, лежал и слушал музыку, кассеты в плеере у меня были заслушаны до дыр. Я ни о чем не разрешал себе думать, стоило начать думать, и я увеличивал

громкость в плеере, музыка била в барабанные перепонки, кожа на голове немела. Это очень действенный способ, много лет спустя я посоветовал его Большому Биню, когда от него ушла жена. Он в тот раз едва не оглох. Так прошло больше недели, однажды утром я сел на кровати, в пустой голове билась единственная голая мысль: наверное, я никогда больше не увижу Ван Лухань. Хвататься за наушники было поздно. Мы больше года провели бок о бок, день за днем проживали в неизменных декорациях, выполняя одну и ту же работу, и теперь эти дни наложились друг на друга, слились в единый образ, вместивший в себя все до последних мелочей. Заторможенный, холодный взгляд Ван Лухань, ее механические, жесткие движения – толстый слой льда на зимнем озере. Возможно, это самообман, но мне казалось, что я подобрался к ней совсем близко, что я вот-вот сломаю ее лед и прикоснусь к теплой воде. Наверное, Ван Лухань так и ходит под окнами больницы. Я должен пойти к ней, нельзя дать ей исчезнуть, нельзя, чтобы она растворилась в толпе.

На другой день я пропустил уроки во вторую смену и до вечера бродил вокруг больницы. Но она не пришла. Потом была суббота, я хотел с самого утра отправиться к стационару и ждать ее там. Но не успел я утром выйти из дома, как зазвонил телефон и тетю срочно вызвали в больницу: дедушка пропал.

Я прибежал в палату вслед за бабушкой и тетей. Медсестра, которую приставили к дедушке, сказала, что пришла утром на работу и увидела выломанный замок и пустую койку. Бабушку так и трясло от ярости, она схватилась за спинку кровати, потом немного успокоилась и выскочила в коридор. Тетя следом. А я застыл на месте. Палата выглядела очень странно. Впервые я пришел сюда маленьким мальчиком и с тех пор ни разу не видел, чтобы кровать пустовала. Летом и зимой, днем и ночью дедушка лежал там, как будто его вмонтировали в стену вместе с кроватью, как будто он – часть палаты. И эта часть была связана со мной, из-за нее палата была для меня родной, я считал ее своим вторым домом. А теперь он исчез. И триста семнадцатая превратилась в самую обычную палату, заурядную до неузнаваемости. Все знакомые предметы сделались чужими – и я вновь испытал этот холодящий спину ужас.

Я смотрел на кровать. Простыни стали клейкими от грязи, кое-где на них отпечатались огромные дедушкины тела. Я попытался представить, как Ван Лухань выносит его из палаты, но перед глазами стояло только ее непреклонное лицо. Она поступила так, потому что услышала зов, ее направили, ей разрешили. Вера Ван Лухань была под стать силе ее духа. Ее ничто не могло остановить.

Я подумал, что где-то на свете есть комната, куда она будет возвращаться каждый вечер, наливать в тазик горячую воду, споласкивать полотенце, раздевать дедушку и обтирать его с ног до головы. Ее руки будут сосредоточенно кружить в клубах белого пара. Мое сердце обдало жаром, из глаз закапали слезы. Я понимал, что больше никогда ее не увижу.

В больнице началось долгое расследование, даже полицейские приходили. Главный вопрос состоял в том, как злоумышленнику удалось переправить дедушку за территорию больницы. В больницу можно попасть только через главный и запасной входы, но уже в девять часов вечера они были закрыты на ключ, и охранники утверждали, что ничего подозрительного не заметили. Правда, еще из здания можно выйти через морг, но там тоже было закрыто. Всех сотрудников, имевших ключи, опросили, но безрезультатно. По одной из версий, преступник просто перелез через ограду – с северной стороны больничная стена довольно низкая. Но даже если у него нашелся сообщник среди персонала, без лестницы им было не обойтись, однако на земле у ограды никаких следов не обнаружили. Конечно же, полицейские сосредоточились на поисках Ван Лухань, главной подозреваемой. Однако последним следом, который оставила Ван Лухань, оказалась подпись на свидетельстве о смерти ее мужа, Ли Муюаня, сделанная в 1993 году. Поиски ни к чему не привели, дело не двигалось с места, и в конце концов его пришлось закрыть.

Мой дедушка стал настоящей легендой – он оказался жертвой сразу двух

удивительных преступлений, ни одно из которых не удалось раскрыть. И заодно побил новый рекорд – среди пропавших без вести в нашем городе до сих пор ни разу не числился человек в вегетативном состоянии; думаю, этот рекорд еще долго будет оставаться за ним. Бабушка загодя купила ему место на кладбище, но сама уже много лет как умерла, а дедушкино место до сих пор пустует. Труп так и не нашли, поэтому приходится считать его живым. Если дедушка действительно до сих пор жив, он будет чемпионом по долгожительству среди вегетативных больных во всем мире.

Бабушке снова выплатили компенсацию, потом она еще долго жаловалась, что мало попросила. Раньше она постоянно ворчала, что дедушка зажился, повторяла, что ей все равно, на том он свете или на этом. Но теперь поняла, что разница все-таки есть. Пока он лежал в палате, его можно было увидеть и пощупать, больница волей-неволей несла ответственность перед нашей семьей. А сейчас дедушка пропал, и в спорах с больничным начальством бабушка чувствовала себя уже не так уверенно. А скоро и начальство сменилось, новые руководители приехали из других городов и про моего дедушку никогда даже не слышали. Так и закрылась его страница. Вспоминая об этом, бабушка принималась бранить больницу, но чаще проклятия летели в адрес нового врага – Ван Лухань. Бабушка много лет не дарила свою ненависть одному-единственному человеку и теперь была во власти боевого куража. Обещала, что перевернет Цзинань вверх дном, но эту мерзавку отыщет и доставит дедушку назад. В полиции считали маловероятным, что Ван Лухань уехала из Цзинаня, – они проверяли все машины на выезде из города. Бабушка купила карту, разделила ее на секторы и начала прочесывать город улица за улицей. Первым делом отправлялась в жилкомитет – заходила туда и справлялась, какие квартиры в округе сдаются в аренду и заселялись ли в последнее время новые жильцы. Круг поисков постепенно сужался, в конце она намечала несколько подозрительных квартир и поджидала жильцов у подъезда либо отправляла почтальона постучать в дверь. В поисках бабушка провела несколько месяцев, но так никого и не нашла. Ко всему прочему, на улицах, которые она недавно обыскала, успели снести все старые дома и построить новые, многие квартиры там сдавались. В том году Цзинань представлял собой одну большую стройку, и бабушке было явно за ним не угнаться. А в начале июля случился сильный ливень, низинные районы в северной части города затопило, погибло много людей. В тот день бабушка как раз собиралась отправиться туда на поиски, но утром решила остаться дома, сославшись на больные ноги, и лень спасла бабушке жизнь. После при одной мысли о наводнении ее охватывал страх, и пару недель она вообще не выходила на улицу. Погода давно наладилась, но бабушка уже забросила поиски. Только скрежетала зубами: мерзавка Ван Лухань, рано или поздно я до тебя доберусь.

После исчезновения Ван Лухань я больше не появлялся ни в триста семнадцатой палате, ни в больнице. Я вообще никуда не ходил, бывал только в школе и дома. Видеть никого не хотелось. Бабушка с тетей окружили меня заботой – наверное, выглядел я и правда пугающе. Тетя то и дело предлагала сходить куда-нибудь погулять, но я отказывался. Потом она придумала, как меня порадовать, – передвинула сундуки в бабушкиной комнате и перенесла туда свои вещи. Но я привык спать на верхней полке и чувствовал себя спокойнее, когда потолок был на расстоянии вытянутой руки. Тогда я впервые помастурбировал. Было уже лето, давление стояло низкое, жаркий воздух стелился по комнате, я вытер сперму с ладони и крепко уснул. Когда открыл глаза, сон еще не успел растаять, я как будто стоял на террасе, ветер полоскал длинный ряд простыней, и они напоминали паруса отплывающих кораблей. Может, дело было в ярком солнце, но их белизна слепила. Я сел на край кровати, глаза до сих пор болели, из уголков выкатилось несколько слезинок.

Я впервые осознал, что вся жизнь может пройти без капли надежды, с пеплом на месте сердца.

В первый день летних каникул я пошел в школу забрать вещи и вернулся еще до обеда. Оказалось, ключи я забыл дома, к тете идти не хотелось, я посидел немного

на лестнице в подъезде и решил прогуляться. День был жаркий, не для прогулок. Такая жара похожа на застрявший в голове топор: человек продолжает ходить с топором в голове, но мозг уже не работает. Я бездумно бродил по улицам и незаметно завернул в кампус медуниверситета, обогнул библиотеку и оказался у белой галереи, увитой густым девичьим виноградом. Внутри было темно, как в пещере. Избавившись от солнца над макушкой, я немного пришел в себя, хотелось выпить газировки, но было неохота снова возвращаться на солнцепек, и я остался сидеть в галерее. Пот высох, в голове прояснилось. Я вспомнил, как мы играли здесь в прятки, как забирались с тобой в заросли бамбука позади библиотеки. Твою ладонь, влажную, как гриб после дождя, твой пронзительный визг. Все это осталось так далеко, от того времени отделяло множество событий. Событий, из-за которых я повзрослел. Опустив голову, я смотрел на свои пальцы. Я не мог ни схватить ничего, ни удержать, мои руки были пусты, две бесполезные клешни. Я понял, что нужно скорее возвращаться под солнце, иначе эти мысли не прекратятся. И тут услышал шаги в дальнем конце галереи. С той стороны находилась сводчатая дверь, пользовались ею часто, но шаги вдруг стихли. Вошедший явно меня разглядывал. Я неохотно поднял голову. Это была Шаша, в широком белом платье она походила на воздушного змея. Выпустившись из начальной школы, я ее больше не видел. Мы оба учились в средней школе для детей сотрудников университета, но я даже не знал, в каком она классе.

- Чего уставилась? - сказал я.

- Что с тобой? - Шаша осторожно приблизилась.

- Тебе какое дело, иди отсюда!

Шаша остановилась в трех шагах. Она сильно вытянулась, волосы отросли, жидкие пряди свисали по плечам, как будто их прилепили к голове клеем. Платье напоминало мешок из-под муки, проймы были такие глубокие, что виднелись ребра. Вся одежда на Шаше казалась с чужого плеча, у нее не было ничего своего, но она этого даже не замечала. Ее тупое лицо выводило меня из себя. Я наклонился вперед и решил больше не обращать на нее внимания. Снова накатила жажда, горячий воздух скользил по иссушенной коже, казалось, я вот-вот загорюсь.

- Хочешь газировки? - спросил я, подняв голову.

Она не ответила.

Я встал и двинулся к выходу из галереи. Она тащилась за мной. Мы прошли через сад за библиотекой. Обогнув гигантскую смоковницу, я подошел к стене и провел рукой по бамбуковым стволам. Листья заплескались, точно вода.

- Иди сюда, - сказал я. Но она так и стояла в трех шагах от меня, не двигаясь с места.

Я подошел, взял ее за руку и завел в бамбук. Толкнул, она села на землю. Хотела закричать, но я схватил ее за шею. Какая тонкая шея - крутани посильнее, и ломаешь. Эта мысль немного меня отвлекла. Я отпустил ее шею и задрал платье. Она замерла и уже не кричала. Спустив шорты, я врезался в ее тело. Ее узкое сухое влагилице было похоже на орудие пыток. Меня зажало в тиски, кровь со всего тела устремилась в одну точку, руки крепко сжимали ее лодыжки. Острое наслаждение выплеснулось наружу. Я стоял на коленях, чувствуя, как плоть понемногу сдувается и обвисает.

Вот и все, подумал я про себя. Даже эта радость совсем не радует. Шаша смотрела на меня, распахнув свои тупые глаза. Мне стало стыдно, я закрыл ей лицо подолом платья и отодвинулся.

В небе перекатывались огромные грязные тучи, молния мелькнула и ударила прямо в чашу, озарив все темные уголки. Белизна раскинутых девичьих ног слепила, на лодыжке повисли розовые тусы.

Я ткнул ее ногой в бедро:

– Вставай.

Она сидела не шевелясь.

Я снова ткнул ее ногой, но она не шелохнулась. Я завязал шорты, развернулся и пошел прочь. Когда был уже у самого дома, хлынул ливень.

Тот дождь шел трое суток без перерыва. Он затопил наш низинный город, целые кварталы уходили под воду, дома рушились, провода высоковольтных линий плавали в воде.

По телевизору передавали: вода хлынула в подземный торговый центр и, пока люди пробирались наружу, затопила все до самого потолка. Когда наконец приехали спасатели, один из сотрудников торгового центра, оседлав надувной матрас, отчаянно греб к выходу. О судьбе многих пропавших пока ничего не известно, работы по откачке воды еще не закончены.

На экране телевизора появилась площадь у торгового центра, залитая мутной водой, в которой плавал пластмассовый манекен. Белое обнаженное тело, раскачивающееся в кадре, так и било в глаза.

Мы с тетей сидели за столом и ели арбуз. К счастью, еще до потопа мы успели запастись арбузами, теперь-то холодильник почти опустел, но тетя боялась воды и не выходила из дома даже за продуктами, меня тоже никуда не пускала.

Новости закончились, она отложила арбузную корку и вздохнула:

– Как тут не вспомнить семьдесят шестой год. Тоже был июль, это же самое время, сначала землетрясение, потом ливень. А потом председатель Мао умер. Хорошо, что в этом году восьмой месяц не високосный.

– А что хорошего?

– Седьмой грозит да пугает – восьмой ножом убивает.

Тетя снова вздохнула, собрала со стола арбузные корки и выбросила в ведро. Ей опять захотелось спать, и она решила прилечь. Я сидел за столом, телевизор выключил. Свет в комнате не горел, стены пахли сыростью и плесенью, шум дождя отдавался эхом в ушах. Я смотрел на разлившуюся грязную реку за окном – высокая полынь ушла под воду и качалась там, словно беспомощные водоросли. Я был на корабле, и мой корабль тонул.

Все три дня я ждал, ждал, что придет папа Шаши или полицейские. Что они сунут мне в лицо ее розовые трусы, скажут, что у меня нечистое сердце.

Но за дверью было тихо. Как будто всех жителей земного шара смыло водой.

Дождь прекратился на третью ночь. С утра я проснулся и увидел высоко в небе солнце, его лучи падали на землю, по-прежнему пыльные, словно и не собирались с нами прощаться. Так закончился июль.

Ли Цзяци

Пожалуй, самый большой долг в этой жизни у меня перед мамой. Мой побег расстроил их свадьбу. А ведь свадьба была для мамы возможностью вернуть себе гордость, любовь и безбедную жизнь. Да, из-за меня она вновь потеряла все, что едва успела обрести.

Я всегда считала маму тщеславной женщиной, думала, что она торопится выскочить за дядюшку Линя, чтобы доказать бывшему свекру и всем остальным, что ей удалось хорошо устроиться. Но я ошибалась. Во всяком случае, по сравнению с любовью ко мне ее тщеславие оказалось сущим пустяком. Мой побег вверг ее в настоящую панику, мама искала меня повсюду как ненормальная, ей было уже не до свадьбы. Она попросила отложить церемонию. Разумеется, семейству дядюшки Линя это очень не понравилось: во-первых, отменяется оплаченный банкет на двадцать столов, но главное – непонятно, как все объяснить друзьям и родне. Сказать, что дочь невесты сбежала из дома? Они очень дорожили своей репутацией, а такое признание нанесло бы ей огромный урон. И потом, переносить свадьбу – дурной знак.

Скоро Се Тяньчэн доставил меня в Цзинань, но мой отсутствующий вид всех очень перепугал. Я ничего не говорила, отказывалась от еды, целыми днями сидела в комнате и смотрела в одну точку. Мама все время находилась рядом, боялась на шаг от меня отойти. Мы с ней жили не в той квартире, куда они с дядюшкой Линем собирались переехать после свадьбы, а у маминой сестры – наверное, мама понимала, что мне у дядюшки Линя не нравится. Поначалу он часто заходил меня проводить и под нажимом родни заводил разговоры о свадьбе. Но мама неизменно отказывала. Она твердо решила, что я сбежала из дома в знак протеста против их свадьбы, и не хотела подвергать меня новым потрясениям. Поэтому откладывала все разговоры о свадьбе до моего выздоровления. Скорее всего, дядюшка Линь понял, что даже после выздоровления от меня будут сплошные проблемы. У них случилась ссора, правда, не при мне, но мама несколько дней прорыдала, а дядюшка Линь с тех пор больше у нас не появлялся.

Мама не отходила от меня целых три месяца, и наконец я пошла на поправку. Говорила по-прежнему мало, но стала нормально есть, съедала все подчистую. Немного повеселела, по вечерам выходила прогуляться в садик у дома. Спустя еще какое-то время я почти полностью пришла в себя, и тогда мама повела меня подавать документы в новую школу.

В моей памяти на месте тех месяцев зияет пустота. Когда слушаю мамины рассказы, кажется, это было не со мной. Я совершенно не помню, как жила и что делала. Воспоминания начинаются только с мая, когда мы с мамой пошли в гости к дядюшке Линю.

Весна в том году запаздывала, целыми днями шли дожди, тепло наступило только в мае, и мы наконец попрощались со свитерами и кофтами. Мама надела новое платье. Фасон взяла из журнала: нежная жоржетовая ткань с коричневыми горошинами, рассыпанными по пыльно-зеленому фону, широкие, с напуском, рукава, собранные в манжеты на запястьях, от воротника отходят две ленты, из которых завязывается большой бант. Перед выходом мама долго провозилась с этим бантом, ей не нравилось, что он висит на груди, как увядший цветок, от этого она и сама выглядела уныло. Мама закрепила бант двумя булавками, но теперь он торчал колом. Она убрала булавки, перевязала бант, снова распустила, еще раз перевязала, наконец вздохнула и решила оставить как есть. Прическа ее тоже не вполне устраивала: волосы после химии лежали жестко и совсем не женственно, завитки воинственно топорщились на макушке. Но даже так мама все равно была очень красива.

Я тоже оделась в новое платье, все старые были мне малы. Раньше я слышала, что после прихода месячных девочки прекращают расти, но за зиму я порядочно вытянулась. Новое пышное платье из жесткого сукна в красно-черную клетку было

нарочито нарядным и неудобным, надевать его следовало для других, смесовая ткань колола ноги даже сквозь шелковые колготки. Волосы я распустила и надела темно-красный ободок, получилось довольно мило. Мы с мамой словно готовились к торжественному выходу на сцену, и от этого выхода зависела наша судьба.

С фруктовой корзиной и набором укрепляющих витаминов мы пришли в гости к родителям дядюшки Линя. Открыла его мать, мы звонили заранее, поэтому она совершенно точно знала, что мы придем, но вид приняла крайне изумленный:

– И зачем было понапрасну мотаться, я же говорила, это ни к чему...

– Мы вас не разбудили? Наверное, вы прилегли после обеда? – улыбаясь, сказала мама. – Мы вышли сразу, как поели, но еще прогулялись тут немного, чтобы не тревожить ваш сон.

Мать дядюшки Линя не стала продолжать этот обмен любезностями, на секунду замялась, но потом все же впустила нас.

Дядюшка Линь вышел из комнаты, кивнул нам, затем добавил к кивку слабую улыбку. Его отец мельком взглянул на нас с балкона и снова принялся кормить своих птиц. Мама отдала подарки матери дядюшки Линя, та даже не попыталась отказать, просто поставила их на пол:

– У нас все есть, зачем было тратиться понапрасну?

Дядюшка Линь налил нам по стакану воды, принес стул и сел в дальнем конце комнаты. Его мать расположилась чуть впереди, как будто собралась выступить от его имени. Мы с мамой сидели, утонув в подушках низенького дивана, оттуда казалось, что хозяева дома восседают на вершине горы.

Мама задрала голову и, улыбаясь, сказала:

– Я привела Цзяци извиниться... Ребенок с детства избалованный, сбежала из дома, ни слова не сказав, а взрослые ее повсюду ищут. Наделала бед, бестолковая девочка... – Мама замолчала, но хозяева оставались совершенно безучастны, и она добавила: – Я до того извелась, что больше и думать ни о чем не могла, забыла о таком важном деле, и вы через меня пострадали...

Мать дядюшки Линя нахмурилась, словно ей пришлось заново погрузиться в эти неприятные воспоминания, открыла было рот, чтобы пристыдить нас, но сдержалась. Все-таки воспитанный человек, а была бы на ее месте какая-нибудь хабалка, давно бы осыпала нас бранью. Жаль, что воспитание не смягчает сердце. Из-за прекрасных манер ледяное лицо этой женщины казалось еще беспощаднее.

Мама набралась смелости и сказала:

– Я очень виновата, что со свадьбой так вышло, но сейчас Цзяци поправилась...

Мать дядюшки Линя махнула рукой и холодно проговорила:

– Да что там, столько времени прошло, зачем ворошить старое?

Мама испуганно посмотрела на дядюшку Линя. Он тихо разглядывал не то свой тапок, не то пятнышко на полу и как будто отодвинулся еще дальше, словно этот разговор вовсе его не касается.

И тут я услышала свой громкий голос:

– Извините! Это я виновата!

Все даже вздрогнули от неожиданности. Отец дядюшки Линя обернулся. Мать дядюшки Линя слабо вздохнула:

– Тут нет виноватых или правых, просто судьба распорядилась иначе. Не нужно

больше спорить с судьбой. – Она договорила, и в комнате повисла тишина.

Мама поняла, что дело ее проиграно, и бессильно откинулась на спинку дивана. Опустив голову, я увидела, как дрожат коричневые горошины на ее платье, – еще миг, и они со стуком покатаются по полу.

Потом мы поднялись с дивана и стали прощаться. Дядюшка Линь сказал, что проводит нас. Я ждала маму во дворе, пока они с дядюшкой Линем стояли под козырьком подъезда и тихо прощались. Обменялись всего парой фраз, а небо уже потемнело, точно знало, чем кончится эта пьеса, и нетерпеливо опускало занавес, торопя финал. Я обернулась, мама спешила ко мне, ее зеленое платье вымокло в густых сумерках, очертания размылись; она приближалась, но силуэт с каждым шагом становился меньше, казалось, еще немного – и он совсем растает в небе. И само небо будто налилось горечью.

Но дядюшку Линя я видела хорошо, он стоял на месте и махал мне рукой. Я тоже ему махнула, особой привязанности между нами никогда не было, но мысль о том, что больше мы никогда не увидимся, все-таки немного огорчала. Мама была уже рядом, и дядюшка Линь скрылся в подъезде.

– Идем, – сказала мама, по ее лицу катились слезы.

Мы молча шли к автобусной остановке. Поднялся ветер, и бант на мамином платье вдруг оживился, ленты заплясали языками пламени, взвились к маминому лицу. Мы встали у маршрутной таблички, люди вокруг удивленно нас разглядывали – для платьев и правда было еще рановато. Я дрожала от холода. Мамино платье было совсем тоненьким, но она даже не замечала, что мерзнет. Я тихо взяла ее повисшую руку. Пустая, голая ладонь, которая ничего не смогла удержать.

Сердце у меня упало, я вдруг поняла, что вся любовь, отведенная маме в этой жизни, иссякла.

Я торопливо выдернула руку, захотелось убежать, и чем дальше от мамы, тем лучше, я была как преступник, который спешит скрыться с места преступления. Но ее безвольная слабая рука вдруг шевельнулась и из последних сил схватила меня за запястье. Едва не закричав, я испуганно вскинула голову.

– Автобус приехал, – глядя куда-то перед собой, пробормотала мама и потащила меня в толпу.

Действительно, дядюшку Линя я больше не встречала, но некоторые новости о нем до меня доходили: вскоре он женился, невеста работала учительницей музыки в начальной школе, на другой год у них родился сын. Как все и предсказывали, карьера дядюшки Линя складывалась успешно, в конце концов он дослужился до начальника департамента образования. Люди, приносившие маме эти новости, невольно вздыхали: если бы ты тогда за него вышла... Но мама отвечала: увы, судьба распорядилась иначе. Слова матери дядюшки Линя крепко засели в ее голове и казались ей вполне разумным объяснением.

Потом мама еще однажды встречалась с дядюшкой Линем, ходила к нему на поклон, чтобы похлопотать за племянницу, которую нужно было устроить в университет. Все те годы мы с мамой жили у тети. Тетя была маминой старшей сестрой, она вышла замуж за военного и переехала в Цзинань через два года после мамы. Из всей семьи только они вдвоем и смогли осесть в городе, так что тетин дом стал для нас единственным пристанищем. Тетина дочь была на два года старше меня, лицо ее покрывала россыпь прыщей, особых талантов за ней не водилось, и все свои силы она отдавала учебе, но училась все равно неважно. За неимением другого выхода тетя упросила маму использовать былую дружбу с дядюшкой Линем. Мама согласилась.

Они пошли к дядюшке Линю вдвоем, принесли ему свиток с каллиграфией известного мастера и две бутылки красного бордо. Мама не стала подбирать специальный наряд, надела простой костюм, в котором ходила на работу, перед

выходом пригладила взлохмаченные волосы. Ради встречи с ним она больше не считала нужным наряжаться в платье не по сезону. После они с тетей еще несколько дней обсуждали дядюшку Линя. Тетя была недовольна, что он корчит из себя большого чиновника, но маму это не смутило, зато она удивлялась его полноте: отрастил себе живот, как у Будды Майтрейи, сам на себя не похож. Мама так смаковала эти подробности, словно ее утешало, что в дядюшке Лине нашелся какой-то изъян.

Она начала быстро стареть. Заметив это, испугалась и побежала в салон на татуаж бровей и век. Дома поняла свою ошибку, но снова и снова подходила к зеркалу, пытаясь оправдать себя и успокоить:

– Я уже не девушка, за красотой давно не гонюсь, просто хочется выглядеть немного энергичней.

Чтобы густо-черные брови и глаза не так выделялись на лице, ей приходилось каждый день краситься. Вечером она смывала макияж, и ее лицо становилось тусклым и желтым, как мутное бронзовое зеркало, только выбитые иголкой жирные линии издали бросались в глаза, наводя страх на всех, кто их видел.

Пару дней мама погрузила, но потом краска постепенно вылиняла, впиталась в кожу, мама привыкла к своему отражению и перестала краситься. А скоро принялась уговаривать сделать татуаж тетю и приятельниц на работе. Она поступала так от чистого сердца, а вовсе не из желания затянуть их в свою яму. Тетя в конце концов согласилась, результат, естественно, был удручающий, но маму она не винила, а спустя какое-то время тоже привыкла.

В те годы татуаж был кошмарным поветрием среди немолодых женщин – предпринимая обреченные попытки улучшить себя, жертвы тешили себя иллюзией, будто шагают в ногу со временем. Они не знали, что уже оступились и летят в пропасть, что время навсегда оставило их позади. Черные линии становились клеймом, которое выбила на их лице ушедшая молодость, эти женщины напоминали просроченные векселя, которые никогда уже не попадут в обращение.

Но мама не теряла аппетита к жизни, в автобусе сражалась за удобное место, на рынке выбирала самую свежую зелень, у телевизора комментировала судьбы героев сериала... Больше всего они с тетей любили смотреть и обсуждать конкурсы талантов.

– Вот увидишь, я права, пятый номер отсеется, она недотягивает до остальных, совсем другой уровень. – Мама проворно лущила грецкие орехи, в этом мастерстве ей не было равных, маме удавалось достать ядрышко даже из самых неудобных уголков, при этом скорлупа оставалась почти целой.

– Удивительно, как ее с таким голосом вообще пустили на сцену. – Из-за плохих зубов тетя не могла есть орехи и налегала на засахаренные фрукты. Она знала, что от них толстеют, но мама постоянно грызла то орехи, то семечки, и тете тоже хотелось занять чем-нибудь свой рот.

– Наверняка по благу.

– А что толку, все равно благу за нее не выйдет и не споет. Голосок дрожит, сама без конца моргает. Я в первый же ее выход поняла, что не потянет.

– Следующим наверняка отправят девятый номер.

– Либо девятый, либо тринадцатый, оба слабоваты.

– Ай, Цзяци, садись, посмотри с нами.

Старшую школу я выбрала с общежитием. В шестнадцать лет у меня случился первый секс – раньше, чем у остальных одноклассниц, но мне тем не менее

казалось, что это произошло слишком поздно.

Тот мальчик был на пару лет старше, он провалил выпускные экзамены, взял себе дополнительный год для подготовки и снимал квартиру неподалеку от школы, чтобы не тратить время на транспорт. Окна в его квартире выходили на север, их всегда закрывали плотные шторы – он прятался от света, солнце делало его вялым и сонливым. Квартирка была узенькая, как кувшин, он целыми днями мариновался в темноте, желание сочилось из его тела и оседало на коже бледным пушком.

Я толкала закрытую дверь, разувалась у порога и тихо входила. На цыпочках перешагивала через разбросанные учебники и грязные футболки, стараясь не наступить на упаковки из-под лапши быстрого приготовления, выеденные половинки арбуза с торчащими из них ложками и две его единственные игрушки: головоломку с девятью кольцами, за которую он хватался, когда не мог решить задачку, и зачитанную до дыр мангу – на страницах с завернутыми уголками красовались голые большегрудые девушки, помогавшие ему утилизировать избыток сил.

Я тихо подходила сзади, закрывала ему глаза и вырывала ручку у него из пальцев.

– Ты как будто не знаешь! Я и так ничего не успеваю, нет времени! – ревел он, опрокидывая меня на кровать, тут же стягивал шорты и наваливался сверху. На самом деле это была даже не кровать, а пружинный матрас, застеленный постельным бельем. Он так и не снял с матраса пластиковую пленку, простыня постоянно соскальзывала, и пленка липла к потной спине.

Мне было очень хорошо, но моя радость по большей части носила умозрительный характер. То есть я знала, что должна испытывать радость, потому что секс – это очень важно. Гораздо важнее, чем прогулки по магазинам, чтение и учеба. Только во время секса я не чувствовала, что зря теряю время и растрачиваю молодость на пустяки. Я выходила из мрачной комнаты на улицу, ветерок трепал мою пожеванную юбку, измятые ноги мало-помалу собирались вместе, и я чувствовала себя полной до краев.

Скоро мне опротивели выходные, не хотелось возвращаться домой, я боялась увидеть маму. Ее лицо уже пошло бурыми пятнышками, живот выпирал, она могла подойти ко мне с лифчиком в руке и спросить:

– Будешь еще носить? Смотрю, лежит у тебя в шкафу, ты даже пару раз не надела.

– Он мне мал, – отвечала я.

– Ничего, я переставлю крючки, станет впору. Так ты будешь носить или я заберу?

– Почему ты не купишь себе по размеру, они ведь недорогие?

– Жалко, что лежит бесхозный, а под кофтой все равно не видно.

Мама надевала лифчики только на выход, а дома обходилась без них. И ее обвисшая грудь свободно болталась под майкой, терлась о грубую ткань, но мама этого как будто не замечала.

– Как хочешь, – ответила я.

Она радостно унесла лифчик к себе. На следующий день под облегающей трикотажной кофтой виднелись две глубокие борозды, пояс и бретельки лифчика впивались в кожу, разрезая мамину спину на кусочки.

Мое тело только начало раскрываться, впереди меня ждала бесконечная череда занятий любовью, а мама любовью уже отзанималась, и ее наглухо закрытое тело превратилось в заброшенный сад. Иногда я задумывалась, что после тридцати шести лет у мамы не было ни одного мужчины, не было секса, и эта мысль меня ужасала. Мне даже казалось, что я лишила ее права быть женщиной, что

пользуюсь наслаждениями, которые положены ей. Тогда же я вспомнила, что мои первые эротические фантазии были связаны с папой и в детстве я страстно мечтала выгнать маму и занять ее место.

Я мягко убеждала ее найти себе мужчину, обещала, что не буду возражать. Но маму такие разговоры только тревожили, она спрашивала: боишься, что придется за мной ухаживать, когда состарюсь? Она не могла понять мои мотивы. А я просто хотела вернуть в ее жизнь мужчину. Иногда мне даже приходили преступные мысли: хорошо бы у мамы закрутилось что-нибудь с тетиным мужем. Но дядя никакого интереса к маме не проявлял, наверное, она слишком напоминала ему тетю. Они и правда становились все больше похожи. Летом, в самую жару, садились рядышком за стол и уписывали лапшу, а когда поднимали дряблые руки, из-под одинаковых хлопковых маек под мышками виднелись волосы, напоминавшие клочки серой ваты. Ели они одинаково быстро, на носках у обеих выступали мелкие капельки пота. Одна брала кастрюлю и подкладывала лапшу в чашку себе и сестре, они понимали друг друга без слов, им даже не нужно было спрашивать, сколько положить добавки. После еды наступало время дневного сна, и если одна из сестер отправлялась мыть посуду, вторая ждала ее на кровати. Они боялись застудить суставы кондиционером и обмахивались веерами, зажигали спираль от комаров, ложились на циновки и засыпали за разговорами. Они превращались в сиамских близнецов, вместе ходили за продуктами, вместе платили за электричество. Конечно, случались у них и ссоры, но наутро все забывалось.

Впрочем, тетиному мужу очень нравилось, что мама столько времени проводит с его женой, это развязывало ему руки, он мог приходить с банкетов как угодно поздно, и тетя его не отчитывала. Дядя был директором на государственном предприятии, под его началом работало несколько сотен человек, нраву он был крутого, в плохом настроении мог сорваться и на мою маму. Выпив немного, становился невыносим, говорил, что без него мы все окажемся на улице и передохнем от голода. В те годы дела на его предприятии пошли в гору, дядя возомнил о себе невесть что, и характер у него совсем испортился. Завел себе любовницу, а когда тетя узнала, просто съехал из дома. Тетя рвала и метала, но поделаться ничего не могла – как-никак он содержал всю нашу семью.

Во время этих событий мама и познакомилась с Лао Ци. Он не был дядиным водителем, только халтурил для него в свободное время, а так возил грузы для другой компании, и график часто позволял ему подрабатывать. Дядя переехал к любовнице, а чтобы о переезде не узнали на предприятии, отправил за вещами Лао Ци. Тетя к тому времени уже дымилась от злости, начала орать на Лао Ци, швырять в него дядиными вещами. К счастью, мама вовремя подроспела на помощь, и Лао Ци благополучно убрался. Потом она снесла ему вниз все дядины вещи, даже вспотела от натуги. В благодарность Лао Ци пригласил ее посидеть в соседнем ресторанчике. Рассказал, что его жена пять лет назад умерла от рака, сын толком не учился и после средней школы пошел искать работу, устроился консультантом в магазин электроники, но тратит все равно больше, чем получает, и вечно просит у Лао Ци денег. Дома мама пересказала это тете и вздохнула, что Лао Ци тоже несладко приходится одному. Но тетя была наслышана об этом Лао Ци от дяди, говорили, он вылетел с работы на междугородней линии, потому что был нечист на руку и присвоил себе казенные деньги. Тетя предостерегла маму: держись от него подальше.

Обычно мама слушалась сестру. Но не в этот раз. Тетя всю жизнь кичилась своим удачным замужеством и любила покритиковать чужие браки, никакие мужчины, кроме собственного мужа, не могли ей угодить. Но теперь в ее жизни наступили перемены, а мама начала тайком жаловаться на тетю, мол, сама в мужчинах не разбирается, а туда же, рвется давать советы. Я заметила в маме подбострастие перед сильными: она безусловно принимала покровительство людей счастливых и успешных, но стоило такому человеку попасть в беду, и ее преданность исчезала без следа. С другой стороны, она должна была позаботиться о своем положении. Тете отошла бы какая-то часть имущества после развода, но трудно сказать, смогла

бы она и дальше помогать нам, лишившись стабильного источника дохода.

Тайком от тети мама еще два раза встретилась с Лао Ци. Но следующие несколько недель, когда я приезжала на выходные, она больше никуда не ходила и сама о нем не заговаривала. На мой вопрос коротко ответила, что они больше не общаются.

– Ты еще маленькая, тебе этого не понять.

Мамина жизнь снова стала как болотная вода, и мало-помалу к ней вернулась преданность тете.

В очередную субботу я отправилась на поиски Лао Ци. Я помнила, в каком он живет дворе, но точный адрес дома не знала. Благо во дворе стоял белый микроавтобус, я уселась на крыльцо рядом и стала ждать. Пригrelась на солнце, опустила голову на колени и скоро уснула. Проснувшись, увидела, что какой-то мужчина возит тряпкой по микроавтобусу, подошла и встала у него за спиной. Обернувшись, он едва не подпрыгнул от испуга. Я тоже испугалась, его крепкий мужской запах вызвал во мне необъяснимый страх.

Мы встречались всего однажды, и в тот раз он показался мне симпатичнее – наверное, я стояла дальше и толком его не рассмотрела. А теперь увидела его лицо – россыпь неприятных черных родинок, беспокойные глаза, спрятанные под опухшими веками. Светло-желтую рубашку поло Лао Ци заправлял в широкие брюки, и пряжка ремня величиной со спичечный коробок сияла сдобным золотым светом.

– Мы с твоей мамой друг другу не подходим. – Лао Ци вынул мокрую тряпку из ведра, побрызгал водой на стекло, отжал тряпку и снова взялся протирать кузов.

– Почему?

– Ей нужен надежный мужчина для брака.

– А вы не хотите жениться?

– Сначала надо присмотреться друг к другу, попробовать, а иначе как поймешь, твой это человек или нет? – Он улыбнулся: – Ты не думай, я знаю, что у нее на уме. Пока личико смазливое, торопится найти себе мужика, чтобы содержал до самой старости, разве не так?

– Я буду сама ее содержать, когда начну зарабатывать. Об этом не беспокойтесь.

– А чего мне беспокоиться? Это она беспокоится. – Лао Ци бросил тряпку в ведро, вытер ладони о брюки и достал из кармана сигареты. – Мама тебя прислала?

– Она не знает, что я здесь.

Лао Ци выпустил колечко дыма и прищурился, глядя на меня:

– Хочешь, чтобы мы с твоей мамойладили?

Я молчала, закусив губу.

– Так мечтаешь об отчине? – Лао Ци осклабился, подошел и потрепал меня по голове. Улыбка привела в движение родинки на его лице, и они стали похожи на копошащихся под микроскопом бактерий. Он вылил воду, убрал ведро в кузов. – Мне на работу пора, давай в машине договорим.

Секунду поколебавшись, я запрыгнула в его микроавтобус.

Вел он очень быстро, с пассажирского сиденья казалось, что улицы и дома вот-вот ворвутся в кабину.

– А ты совсем не похожа на маму. – Лао Ци обернулся и посмотрел на меня. – Ни

лицом, ни характером.

– А откуда вы знаете, какой у меня характер?

– Я это сразу вижу, с тобой легче поладить, ты человек понятливый. А она упрямая, такой характер не сахар.

– Вы поругались? – спросила я.

Он остановился на светофоре, откинулся назад и закурил.

– Мы с ней поужинали, время позднее, я уставший, да и ресторан недалеко от моего дома. Я и говорю: чего тебе ездить, переночуешь у меня. А она ни в какую, плачет, кричит. Как будто я ее ограбить задумал. – Лао Ци с силой дернул рычаг коробки передач, прядь волос упала ему на лоб. – Вот и рассуди, кому такое понравится? Ведет себя как двадцатилетняя девушка, возомнила, будто этим делом может меня нагнуть, да куда ей! У мужчины с женщиной все так и так к одному сводится, и если она этого не понимает, значит, ума до сих пор не нажила.

Сделав пару затяжек, он раздраженно выбросил окурок в окно. Помолчав немного, спросил:

– Парень-то есть?

– Нет.

– Нет? А я гляжу, ты уже поспела. – Он захихикал. – И этим делом не занималась?

– Нет.

Он хохотнул:

– У тебя все в порядке, мужчины будут в обморок падать. У меня глаз на женщин наметанный, сразу вижу, какая она в постели.

Скорее всего, лицо у меня залило краской, и я поспешно отвернулась к окну.

Он пошел разгружать машину, велел мне ждать в кабине. Я включила магнитола, заиграла песня Ян Юйинь, кассета была пиратская, и пленку постоянно заедало. Скоро Лао Ци вернулся и спросил, не хочу ли я мороженого. Предложил поехать на площадь: из кафе у катка видно, как народ на коньках рассекает, ребятишкам такое нравится. Но я сказала, что спешу на дополнительные занятия, и попросила отвезти меня к школе.

– Я не знаю, где твоя школа. – Он немного сник.

– Ничего, я покажу.

Когда мы проезжали мимо площади Цюаньчэн, он снова заговорил о кафе, но я притворилась, будто не слышу, и сказала, что дальше нужно свернуть налево.

– Приехали, я здесь выйду, – сказала я.

Лао Ци припарковался, выглянул в окно:

– Ворота закрыты, внутри ни души, что это за дополнительные занятия?

– Мы просто рано приехали, я тут подожду. – Я открыла дверь и обернулась: – Скажу маме, чтобы она вам позвонила.

Он махнул рукой:

– Как хочешь, я навязываться не люблю.

Когда микроавтобус уехал, я перешла дорогу и нырнула в жилой дом напротив

школы. Поднялась по убогой лестнице, толкнула дверь – мой второгодник решал задачки. Я прошла по разбросанным по полу книгам и прижалась к его спине. Крепко обхватила его за шею. Он с силой оттолкнул меня и проревел:

– Опять ты?!

Рывком опрокинул меня на матрас, набросился сверху и принялся увлеченно меня обсасывать, постанывая и рыча, как дикий зверь:

– Ты рушишь мою жизнь, понимаешь или нет?

Я улыбнулась в темноте. Его острый пенис вонзился в меня, начал пробираться в глубину. Он был таким крошечным, а внутри меня зияла огромная бездонная черная дыра.

Я заговорила с мамой о Лао Ци спустя две недели. Был уже июль, второгодник сидел в экзаменационном зале, в очередной раз сражаясь с судьбой. После обеда я вдруг сказала, что хочу пройтись по магазинам, и спросила маму, не составит ли она мне компанию. Ее такое предложение удивило и обрадовало, мы уже много лет не ходили вместе за покупками.

До сих пор помню, какая в тот день стояла погода. Небо заволокло тучами, в воздухе висела душная предгрозовая влажность. Стрекозы летали низко, чиркая крыльями по волосам. Мы зашли в открывшийся недавно торговый центр и купили себе по обновке, которыми остались не очень довольны. Маме не понравился молодежный фасон ее платья, но я все равно уговорила ее купить и там же в него переодеться. А мое платье было немного старомодным, но мама его нахваливала и обещала, что возьмет себе, если я не стану носить. Она очень развеселилась, заглядывала во все витрины, любуясь собой в новом платье. Я предложила зайти в ресторан неподалеку и, когда принесли еду, будто бы между делом заговорила о Лао Ци.

– Что у вас все-таки случилось?

– Ничего. – Мама поспешно опустила голову.

– Наверное, какое-то недоразумение?

– Нет.

– Может, он совсем не такой, как ты думаешь. Мне кажется, вам надо поговорить.

– Я все это знаю. – Мама кивнула и тут же взяла тон, которым всегда со мной разговаривала: – Ты думай лучше о своих делах, а мне и одной прекрасно живется. Через два года поступишь в университет, и я стану совершенно свободна, буду делать что захочу. А о мужчине заботиться придется, это такая морока.

Я пошла искать туалет. Официантка сказала, что нужно выйти на улицу и свернуть направо. Шел дождь, от грязных капель оставались серые отметины на теле. Влажная пыль несла запах вождения.

Я вернулась за столик, мама взглянула на мои мокрые волосы:

– Там дождь пошел?

– Да, настоящий ливень. Я позвонила Лао Ци, чтобы он нас забрал. Заодно и поговорите.

– Откуда у тебя его телефон? – удивленно уставилась на меня мама.

– Встретила его как-то раз у подъезда, он дал мне свой номер. Выйди и сама посмотри, там целая толпа ждет автобус, мы еще два часа отсюда не уедем.

Мама была немного сердита, что я с ней не посоветовалась. Мы оплатили счет, вышли из ресторана и спрятались под козырек – на улице лило как из ведра. Мама явно беспокоилась, сжимала губы и неотрывно глядела на дорогу.

Лао Ци припарковался у обочины. Схватив маму за руку, я выбежала под дождь.

– Отвезите меня домой, а потом сядьте где-нибудь и поговорите. – Я взглянула на Лао Ци через зеркало заднего вида.

– Куда же ехать в такой дождь? – проворчал Лао Ци. – Может, ко мне?

– Тоже вариант, – ответила я за маму. – А как наговоритесь, привезете маму обратно.

– Это и так ясно, – подмигнул мне Лао Ци.

Когда я собралась выходить, мама вдруг разволновалась, вцепилась в мою руку:

– Поговорим в другой раз, я пойду с тобой...

– Ты что, мы ведь решили! – сказала я.

Мама дрожала и цеплялась за меня, как беззащитная девочка.

Не дожидаясь, когда машина припаркуется, я встала, и она подскочила следом за мной.

– Я пойду, а вы беседуйте.

Сбросив ее руку, я выпрыгнула на улицу. Мама смотрела на меня через мокрое стекло, похожая на животное, отловленное работниками зоопарка. Я махнула ей и побежала под дождем. Машина сорвалась с места, подняла облако брызг и умчалась.

Последний мамин взгляд рвал сердце на куски, это был взгляд перепуганной девственницы. А я, как беспощадная бандерша, толкнула ее к клиенту: потерпи немного, так надо... Надо ли? Этот вопрос застал меня врасплох. Я вдруг забыла, зачем хотела свести маму и Лао Ци. Наверное, я поступила так вовсе не из желания возместить маме утраченное, мне просто хотелось затащить ее на свою сторону, на сторону разврата и распада. Словно сам дьявол возложил на меня эту миссию.

Рано утром я проснулась и вышла в гостиную, мама сидела на диване, обсыхая после душа. На ней была забракованная мной ночнушка, стирка с джинсами расцветила нарисованную на груди физиономию Гарфилда лиловыми синяками. Капли воды с маминых волос падали Гарфилду на глаза. Ее взгляд висел в воздухе, невесомый, как пыль.

На моей памяти мама очень редко мылась по утрам.

Я раздернула занавески, утренние лучи брызнули в комнату и упали на маму. Не в силах вынести яркий свет, она подалась вперед и уперлась локтями в колени, спрятала лицо в ладонях.

– Я тебя вчера ждала, но потом не выдержала и заснула... – сказала я как ни в чем не бывало. – Вы хорошо поговорили?

Мама молчала. Слезы ползли по ее пальцам и со стуком падали на пол, в гостиной с утра было так тихо, что этот звук напоминал дробь барабана муюй в буддийском храме.

Я растерянно стояла посреди комнаты, понимая, что довела маму до беды. Меня потрясла ее боль. Ведь они с Лао Ци всего-навсего занимались любовью. Непонятно, что нанесло ей такую травму, казалось, маму опозорили и искалечили.

Но никто ее не калечил, она сидела на диване, целая и невредимая. Я думала, что любовь принесет ей радость. Безграничную, бездонную радость. Мне просто хотелось вернуть ей это чувство. Но мамино тело оказалось заперто, оно утратило способность чувствовать. Наверное, оно никогда и не открывалось, никогда не знало радости. Для мамы занятия любовью всегда означали обиду и унижение.

Она заболела и еще долго не могла оправиться, как будто лишилась чего-то жизненно важного. Но тете ничего не сказала, ночь с Лао Ци так и осталась нашим секретом. И мама не винила меня, она не сомневалась, что я действовала из добрых побуждений. Так и было. Мне хотелось загладить вину, ведь я разрушила последнее мамино счастье. Но скоро я поняла, что чем больше стараюсь, тем делаю только хуже, что добавляю новых страданий. Наверное, единственное, что я могла сделать, это оставить маму в покое и разрешить ей быть одной.

С тех пор мама стала панически бояться мужчин. Если сантехник, чинивший трубы, задерживался чуть дольше положенного и просил у нее стакан воды, мама была уверена, что перед ней злодей. Заметив, что охранник у ворот квартала улыбается ей чуть шире обычного, подозревала, что он замышляет дурное. Однажды тетя уехала проводить дочь в Гуанчжоу, и всю неделю мама просидела дома одна, боялась даже к двери подойти, если кто-то стучал, а по вечерам перестала гулять в парке. А хуже всего – у нее появилась навязчивая идея, будто Лао Ци до сих пор ее осаждает. На самом деле после того вечера он исчез и больше не появлялся. Но в каждом белом микроавтобусе маме мерещился Лао Ци, она твердила, что он за ней следит. Однажды заметила белый микроавтобус у входа в супермаркет и пряталась там до самого закрытия. Боялась проходить мимо дома Лао Ци, была уверена, что он в любой момент может выскочить из засады и утащить ее к себе.

– Ты не понимаешь, негодяи вроде него так просто не отступаются, – уверяла меня мама.

Еще она постоянно твердила, что я должна найти себе порядочного мужчину, когда подрасту. Я не спрашивала, какой мужчина считается порядочным, – наверное, который не полезет под юбку до первой брачной ночи.

В конце каникул у входа в торговый центр я столкнулась со своим второгодником. Мы впервые встретились при свете дня и чувствовали себя очень скованно. Его зачислили в какой-то второразрядный институт, он рассчитывал на большее, но все-таки был доволен и порядочно растолстел. Мы пошли в кафе у катка, съели мороженое, а потом побежали в гостиницу. На этот раз он вел себя куда приличней, неспешно занимался со мной любовью, был предельно терпелив и внимателен. Во время затянувшихся ласк я почувствовала, что засыпаю. Он меня совсем не привлекал. Опасное и резкое желание, одолевавшее в той темной комнатке, куда-то исчезло. Все было слишком спокойно, слишком буднично.

Но он выглядел счастливым, а после долго меня обнимал, словно не мог поверить, что в его жизни наконец началась светлая полоса. Обещал, что загладит все обиды и будет любить меня по-настоящему. Но я хотела совсем другого. И у него больше не было того, что я хотела.

Прощаясь, мы договорились увидеться снова через два дня. Но когда я развернулась и двинулась прочь, внутренний голос объявил, что это была наша последняя встреча. И я подумала, что надо бы рассмотреть его получше, ведь в каком-то смысле он был моим первым мужчиной. Хотя бы из-за этого нужно запомнить его черты, оставить фото в архиве памяти. Я обернулась, однако он уже исчез. Я озиралась, глаза скользили по лицам, но не могли различить его в толпе.

Наконец я вошла в возраст, когда можно встречаться с парнями, но сверстники меня уже не интересовали. Все они действовали по одному шаблону: приглашали девушку в кино или на ролики, а потом, дождавшись темноты, тискали ее дрожащими руками где-нибудь на лавочке да застенчиво пожевывали ей губы. И это, вероятно, было нормально, а я разочаровалась именно потому, что это было

слишком нормально. Закончив два скоротечных романа, я решила больше не тратить на них время. В предпоследнем классе старшей школы я оказалась одной из немногих девушек, которые ни с кем не встречались, дни напролет проводила в одиночестве, равнодушная ко всему. Курила, слушала готик-рок, смотрела жестокие фильмы о взрослении, сделала пирсинг... Я пыталась выразить владевший мной распад, но выбирала слишком глупые способы, ни одно из этих занятий меня по-настоящему не увлекало. Я ничем не могла заинтересоваться, в голове будто зияла пещера, я даже слышала плеск воды. Я выходила под солнце, зеленые блики разрастались перед глазами, на несколько секунд все вокруг погружалось в темноту, а потом снова вспыхивал свет, как после перезагрузки компьютера.

Позже, когда возник интерес к поэзии, эти симптомы прошли. В старом журнале из городской библиотеки я отыскала несколько папиных стихотворений и снова обрела с ним связь. Я тоже пробовала сочинять стихи, чтобы приблизиться к нему, каждое мое стихотворение становилось адресованным ему письмом, это были очень одинокие письма, без надежды на ответ. Но однажды ответ все-таки пришел, его прислала редакция одного поэтического журнала. Вообще-то я не собиралась отправлять им свои стихи, но в честь семнадцатого дня рождения решила сделать что-то необычное и по дороге домой бросила свежее стихотворение в почтовый ящик. Скоро пришел ответ, если быть точной, его написал все же не редактор, а поэт, который вел в том журнале одну из рубрик, его звали Инь Чжэн. Наверное, известный поэт – по крайней мере, я слышала это имя. Он писал: вы очень талантливы, в стихах чувствуется свобода, некоторые строчки привели меня в большое волнение. В этот раз мы не можем вас опубликовать, но надеемся увидеть ваши новые рукописи. В ночь миллениума наш журнал устраивает поэтический вечер, будем вас ждать, надеюсь пообщаться при встрече. Письмо было написано от руки, в конце он указал место и время, на которое был назначен вечер. Я решила, что это стандартная отписка всем авторам, чьи стихи не приняли в журнал, сложила письмо и бросила его в ящик стола.

Но о поэтическом вечере не забыла. И с приближением новогодней ночи ждала его все сильнее. В последний день 1999 года я достала письмо из стола и переписала адрес в блокнот. Поужинала, вышла из дома, села в автобус. Зал, где устраивали вечер, находился в западной части города, за дюжину остановок от дома. Стемнело, но на улицах было полно людей, школьники и студенты с неоновыми палочками в руках и светящимися заячьими ушами на макушках стекались к центру города. Старик, сидевший рядом со мной, держал в руках радиоприемник, из которого лился прочувствованный женский голос: наверняка у каждого из нас назначена встреча на ночь миллениума, встреча с любимыми, с друзьями, с родными; пусть рядом окажутся самые важные люди, чтобы вы провели эту незабываемую ночь вместе с ними... Автобус проехал мимо площади Цюаньчэн, она была черна от людских голов. Толпа валила к восточной части площади, там установили большой экран с обратным отсчетом, цифры были такие огромные, что даже дух захватывало. Почти все пассажиры вышли из автобуса, остались только мы со стариком. Кажется, он заснул – приемник едва не выскальзывал у него из рук. Автобус притормозил на пустой остановке и уже было поехал дальше, но я вскочила с места и бросилась к дверям. Надо предупреждать, что выходите, пробурчал водитель. Я выпрыгнула, накинула на голову капюшон и быстро зашагала вперед. Было очень холодно, в ушах бешено завывал ветер, но я слышала и голоса.

– Ты веришь?

– Во что?

– В конец света тридцать первого декабря тысяча девятьсот девяносто девятого года.

– Не знаю... Хорошо, если это правда, тогда не надо будет поступать в институт.

– Я одного не понимаю. На планете живет столько людей, как нам хватит места,

если мы разом переселимся в загробный мир?

– Думаю, не всех туда заберут. Мы должны держаться вместе, все равно, заберут нас или оставят.

– Мне нужно будет отыскать папу, чтобы он тоже был рядом...

– Можем вдвоем поехать в Пекин. Да он, наверное, и сам вернется, все-таки конец света, какой уж там бизнес.

– Да, тогда я съезжу за ним в Пекин, а потом мы встретимся с тобой. А куда мы пойдем, когда наступит конец света?

– Туда, где больше всего людей.

– Почему?

– Люди неслучайно собираются в одном месте, значит, там безопаснее.

Я вышла на площадь. С запада толпа уже затопила проезжую часть. Впереди было ничего не разглядеть, оттуда доносились только волны визга. Крашенная под блондинку девушка сидела у кого-то на плечах, размахивая руками. На меня напирала сзади, мы постепенно продвигались к экрану, и вот я уже поравнялась с центром площади. Какой-то мужчина залез на синюю скульптуру в виде иероглифа “источник” и поливал себя пивом из бутылки. Его окружила толпа зевак, поток замер и долго стоял на месте. Когда я оглянулась, мужчины на скульптуре уже не было – вероятно, прыгнул вниз. Но толпа вокруг стала еще гуще, грудь прижимало к спинам людей впереди, приходилось дышать животом. И я не знала, куда иду, просто шагала вперед вместе со всеми, а когда подняла голову, оказалось, экран уже надо мной. В скачущих цифрах слышалась поступь нового века. Кто-то пел, кто-то визжал, площадь тонула в праздничном угаре.

5-4-3-2-1... Люди обнимались, в небо взлетали воздушные шары, запрокинув голову, я смотрела вверх. Черное, как чугунная ширма, небо. В загробном мире, что прячется за этой ширмой, сейчас так же весело и шумно? Нет, скорее, там тишина. Потому что там вообще нет времени.

Никого не забрали. Ничего не изменилось. Люди даже не вспомнили о конце света. Но я до последней секунды надеялась, что сейчас грянет гром и воцарится темнота. И два мира сольются воедино. Если те же мысли пришли и тебе, наверняка ты стоял на площади и, пока велся обратный отсчет, так же бегал глазами по незнакомым лицам, растерянно отыскивая среди них знакомое.

Надо держаться вместе, все равно, заберут нас или оставят.

– Да, – в последнюю секунду отозвался голос внутри.

Чэн Гун

Вино скоро кончится, а я трезвый как стеклышко. Если бы не отъезд, так бы и пил дальше, пьянел, снова трезвел, потом снова пьянел и снова трезвел.

Мужчина, поливавший себя пивом на скульптуре в форме источника, слез не сам, его стащил оттуда полицейский. Видимо, я был одним из тех зевак, о которых ты говорила. Цзыфэн и Большой Бинь непременно хотели подойти поближе, надеялись, что тот чудака выкинет какой-нибудь опасный трюк, будет интересно. К сожалению, ничего интересного мы не увидели, это был обычный веселый пьяница, полицейский ухватил его за ноги и стащил вниз. А пьянчужка повалился на землю и отказывался вставать – наверное, решил прикорнуть прямо в толчее. Большой Бинь испугался, что беднягу затопчут, присел рядом и уговаривал его подняться. Так и сидел, пока Цзыфэн не проорал: скоро полночь! И мы поспешили к большому экрану.

Это я предложил пойти на площадь. Вообще-то после боулинга мы собирались в клуб на концерт: известная певица посетила наш захолустный город, и мы были перед ней в долгу. Большой Бинь заранее забронировал столик у сцены и купил ей букет цветов. Тем вечером игра шла хорошо, я каждый раз выбивал страйк. Потом заскучал и сел в сторонке выпить пива. Алюминиевое кольцо у банки сломалось, пиво лилось через маленькое отверстие, и чтобы вытряхнуть в рот последние капли, пришлось запрокинуть голову. Потолочные лампы горели слишком ярко, я закрыл глаза, ощущая, как капли пива разбиваются о язык. Медленнее, еще медленнее, вот и все. Я сидел в темноте, стук шаров на дорожках смолк, наступила такая тишина, как будто я оказался в самом конце пути. И тогда я вспомнил о конце света. А потом о тебе. Я часто думал о тебе, но обычно эти мысли приходили в связке с другими – о родовой вражде, о предательстве и тайне. А в этот раз я думал только о тебе. О девочке, которая все знала, которая всегда убегала вперед. У самого уха раздался визг, и я поспешил зажать тебе рот, как тогда, в бамбуковой роще за библиотекой. Огляделся, оказалось, это девушка с соседней дорожки радуется броску своего парня. Я снова закрыл глаза.

Большой Бинь отказывался идти на площадь. А куда деть цветы, спрашивал он. Я сказал: подаришь самой красивой девушке на площади. Мы всегда ходим только туда, куда ты хочешь, проворчал Большой Бинь. Тогда идите в клуб, а после где-нибудь встретимся, предложил я. Большой Бинь переглянулся с Цзыфэном и вздохнул.

Боулинг был недалеко от площади, минут пятнадцать пешком. Большой Бинь с цветами плелся в хвосте. Скоро он сердито объявил, что всучит букет первому встречному, потому что выглядит с ним дурак дураком. Но мы дошли до площади, а букет по-прежнему был у него, Большой Бинь так и шагнул с ним в новый век.

В полночь мы протолкались к экрану, но толпа оттеснила нас от Большого Биня, и он пропал из виду. Поднявшись на цыпочки, мы с Цзыфэном оглядывались по сторонам. Я бездумно водил глазами по лицам, все быстрее и быстрее, пока не закружилась голова. Кого я ищу? Люди вокруг начали выкрикивать цифры, и эти цифры неуклонно уменьшались.

5-4-3-2-1... Вверх полетели воздушные шары. Я запрокинул голову. Надо мной висело безмолвное равнодушное небо. Этот день тоже прошел, ничего не изменилось.

Толпа начала редеть. Откуда-то выскочил Большой Бинь. Угадайте, кого я видел? Он потер покрасневший от холода нос. Ли Пэйсюань! Цзыфэн хмыкнул: да ладно, она же в Америке. Большой Бинь ответил: я тоже так подумал, но очень похожа... Цзыфэн спросил: и с таким же огромным шрамом? Большой Бинь осекся и замолчал. После площади домой возвращаться не хотелось, и мы все-таки отправились в тот клуб. Концерт закончился, певица давно уехала, публика почти разошлась. Официантка расставляла стулья, Большой Бинь сказал: мы

бронировали столик у сцены. Она вскинула на него глаза: садитесь где хотите. Принесли пиво, мы подняли кружки и поздравили друг друга с наступлением нового века. Вдруг Большой Бинь сказал: я сейчас принял одно решение. Что за решение? – спросил Цзыфэн. Когда приеду в Америку, обязательно разыщу там Ли Пэйсюань, ответил Большой Бинь. Родители оформляли ему документы для поездки в Штаты, и при хорошем раскладе в начале выпускного класса он мог бы уже уехать. Большой Бинь постоянно повторял, что не хочет в Америку, что придумает, как бы остаться. В тот вечер он впервые признал, что уедет. Цзыфэн сказал: скорее всего, она даже не вспомнит, кто ты такой. Ничего, ответил Большой Бинь. Мы снова познакомимся. Кто сказал, что знакомиться можно только однажды? Потом перевел взгляд на меня: Чэн Гун, ты всегда знаешь, как поступить. Посоветуй, что сказать ей при встрече? Как дать ей понять, что мне неважен ее шрам? И если она тогда в самом деле повстречала какого-то негодяя и он над ней надругался, это тоже неважно... В глазах Большого Биня блеснули слезы. Я раздраженно смахнул со стола пустую бутылку: слушай, может, хватит? Твою мать, ты кем себя возомнил? Спасителем Иисусом Христом? Большой Бинь смотрел на меня, и его глаза постепенно гасли. Ты прав, я болтун, чучело. Куда мне до нее... Он сжал кулак и дважды треснул им по столу: я больше так не могу! Потом алкоголь немного его развеселил, и Большой Бинь стал строить новые планы. Придумал открыть на папины деньги свой бизнес в Америке. Что это будет за бизнес, он пока не знал, но рассуждал так: иностранцы поголовно верят в китайскую медицину, можно открыть клинику, торговать китайскими лекарствами, ставить иголки, делать прижигания. Цзыфэну такой план очень понравился, он тут же решил войти в долю. Они все больше загорались этой идеей, обсуждали детали, и скоро Большой Бинь был готов немедленно отправляться в Штаты. И поминутно спрашивал мое мнение, как будто оно что-то значило. Я только изредка кивал, но почти ничего не говорил. Во-первых, мне действительно казалось, что эти мечты не имеют ко мне ни малейшего отношения. А во-вторых, я очень устал. Я ничего не делал, но чувствовал глубокую усталость и скуку. И при этом знал, что нуждаюсь в успехе куда сильнее Большого Биня или Цзыфэна. Но также знал, что не хочу ни с кем делиться своей нуждой. Страсть к успеху была так тяжела, что мне даже хотелось ненадолго от нее избавиться.

Большой Бинь тряхнул меня: давай выпьем за новый год, новое начало!

Я взял бутылку и залпом опустошил ее. Да, новое начало. Ушедший день был последним шансом установить с тобой связь. В новом веке никаких знаков от тебя уже не будет. Возможно, это хорошо, так я смогу окончательно избавиться от твоей тени. Но мне все равно было очень грустно. Последнее прощание. Наверное, я пришел на площадь, чтобы еще раз с тобой проститься.

Прощай, Ли Цзяци.

Я и забыл, ведь ты не знаешь, что семья Большого Биня разбогатела. Помнишь, как мы ходили играть в их маленький дворик рядом со столовой? Кроме выводка щенков, там всегда можно было застать старика, который сидел в тени у дерева, обмахиваясь тростниковым веером. Еще тот старик любил растолочь всякую всячину в порошок и сушить этот порошок на солнце во дворе. Однажды к нему пришел человек с шишкой на лице, и старик дал ему пузырек с красной микстурой. Большой Бинь рассказал, что его дедушка – потомственный лекарь, практикующий традиционную китайскую медицину. Он способен вылечить даже самую сложную болезнь. Я спросил: а моего дедушку он сможет вылечить? Большой Бинь смущенно ответил: твой дедушка – особый случай... Он может вылечить всех, кроме него. Ты тогда покачала головой: моя бабушка говорит, что такие врачи – шарлатаны. Действительно, в Наньюане жили одни сотрудики медуниверситета да их семьи, вряд ли хоть кто-то здесь верил в традиционную медицину. Ко всему прочему, дедушка Большого Биня был “босоногим лекарем” – не умел ни читать ни писать. И этот самый дедушка вместе с отцом и дядей Большого Биня основал знаменитую корпорацию “Фармацевтика Уфу”, мы тогда учились в средней школе первой ступени. Чудесный “Бальзам Уфу”

себестоимостью восемь фэней получался из трех видов бактерий, перебродивших в чашке Петри. Заявлялось, что это средство способно исцелить даже раковых больных, а здоровым полезно для укрепления иммунитета. Скоро “Бальзам Уфу” стал известен на всю страну, о нем знали в каждом доме. Ты наверняка помнишь те годы, когда в моду вошли разные бальзамы и микстуры, в ларьках напротив больницы теперь торговали не фруктами, а бальзамами, и посетители считали своим долгом прихватить больному пару пузырьков.

Пустырь за восточными воротами университета огородили, и скоро там выросла гряда серых высоток. Фабрика, столовая, общежитие, бассейн и теннисный корт... настоящий мини-город, не хуже кампуса медуниверситета. Только кампус к тому времени постарел и обветшал, а городок “Фармацевтики Уфу” стоял новехонький. Большой Бинь водил нас на экскурсию в сверкающий цех, мы обедали в большой трехэтажной столовой, лица облаченных в голубые спецовки рабочих сияли от счастья. Перед уходом Большой Бинь выдал нам по стопке талонов в бассейн. Вода там была неправдоподобно синей, сквозь стеклянную крышу ее подсвечивали солнечные лучи, как на открытке с фотографией Гавайев. Через месяц дядюшка Ли, наш сосед сверху, ушел со ставки профессора медуниверситета и устроился в “Фармацевтику Уфу” на должность начальника отдела с высоким окладом. Потом преподаватели и врачи стали один за другим увольняться из университета и переходить в серые здания напротив. “Фармацевтика Уфу” непрерывно расширяла свои владения, скоро она захватила всю восточную окраину Цзинаня, а рекламу “Уфу” крутили по телевизору перед выпуском новостей. Шел 1995 год, я помню, что в том году дедушку Большого Биня как главу совета директоров “Фармацевтики Уфу” пригласили на новогодний концерт в Пекин, а твой дедушка, удостоившись звания академика, переехал в специальный особнячок, выделенный ему медицинским университетом. В детстве вы с Большим Бинем были моими самыми близкими друзьями, поэтому мне казалось, что эти победы совсем рядом, на расстоянии вытянутой руки. И когда тихая жизнь Наньюаня взорвалась от сенсационных новостей, когда все вокруг начали взволнованно их обсуждать, мне страшно хотелось нырнуть в этот успех с головой и забыть, что мой дедушка пропал без вести, что он сейчас где-то по-прежнему лежит на кровати, в той же позе, что и двадцать лет назад.

В выпускном классе Большой Бинь в Америку все-таки не уехал. Его документы уже лежали в посольстве, но тут случилось 11 сентября, и почти всем отказали в визах. От этого желание Большого Биня уехать только окрепло: “Ничто не помешает мне встретиться с Ли Пэйсюань!” Год он проболтался дома, почти каждый вечер приезжал в мой занюханый университет, мы играли в баскетбол, пили пиво. Он часто вспоминал Ли Пэйсюань, порой речь заходила и о тебе. Большой Бинь был по-прежнему уверен, что я в тебя влюблен, хотя я никогда с этим не соглашался. Он постоянно уговаривал меня “отыскать Ли Цзяци”, считал, что я просто не могу перебороть свою гордость, чтобы признаться тебе в любви. А гордость была сущей мелочью по сравнению с той преградой, которая стояла между ним и Пэйсюань. Напившись, он начинал нести один и тот же вздор, фантазировал, как Ли Пэйсюань ответит согласием на его ухаживания, а я наконец отыщу тебя. Его глаза блестели, он стучал палочками по столу: мы сыграем общую свадьбу, найдем в Америке церковь, сестрички оденутся в белые платья, а потом мы четвером махнем куда-нибудь на медовый месяц, сядем в кабриолет, проедем с восточного побережья до западного...

Следующей зимой Большому Биню одобрили визу. Какое-то время я не мог привыкнуть к тому, что он уехал, но новых друзей завести не пытался. Мой университет стоял в глуши, у подножия гор Наньшань, и иной раз я по две-три недели не бывал дома. Потом привозил постирать грязную одежду, ужинал с бабушкой и тетей. Проходя мимо больницы, смотрел издали на старый корпус, где когда-то лежал дедушка, вспоминал все, что там случилось, и мне казалось, что это было в прошлой жизни.

Весной 2003 года разразилась эпидемия атипичной пневмонии, Цзыфэн сбежал из Пекина в Цзинань, поначалу карантинный контроль был не очень строгим, и его не

изолировали. Я пригласил Цзыфэна в ресторанчик рядом с Наньюанем, а он решил позвать туда Шашу. Цзыфэн всегда очень беспокоился о Шаше, даже уговаривал ее найти себе парня. В тот раз мы выпили много пива и разошлись только под утро. А к вечеру у Цзыфэна поднялась температура, анализы подтвердили атипичную пневмонию. И меня, и Шашу нужно было поместить в карантин. Нас привезли в старый корпус, теперь там лежали пациенты с подозрением на атипичную пневмонию, а всех остальных больных переселили в новое здание. Карантин не пустовал, первый и второй этажи были уже заполнены, и сестра отвела нас на третий этаж. Спустила столько лет я снова поднимался по этой сумрачной лестнице – непередаваемое ощущение. Верно, я связан с этим зданием судьбой, раз проклятье, которое каждые пару лет заставляет меня возвращаться, до сих пор не разрушено.

Нас с Шашей поместили в одну палату, раз в два часа медсестра приносила нам градусник. Сначала мы еще могли прогуливаться по зданию, но к обеду одного из пациентов с подтвердившимся диагнозом отвезли со второго этажа в отделение неотложной терапии, после этого весь корпус притих от испуга, и люди уже не решались выходить в коридор. Наша палата была просторнее триста семнадцатой, там стояло четыре кровати. Я включил телевизор и устроился с пультом на койке у окна. Шаша сначала села на кровать у входа, потом передвинулась ближе ко мне. Она то смотрела в телевизор, то переводила взгляд на меня, как будто хотела что-то сказать. Я не отрывал глаз от экрана, там крутили рекламу минералки: мужчина сначала долго бежит, потом хватается бутылку с водой и принимается шумно пить. Сверкающие солнечные лучи бьют по иссушенной земле, и кадр наполняется летним зноем.

С событий в бамбуковой роще прошло уже шесть лет. Все это время я старался избегать встречи с Шашей. Но она время от времени появлялась то тут, то там. Если я покупал пампушки в столовой, Шаша оказывалась в той же очереди; если шел к воротам, чтобы забрать газету, она стояла у прилавка с фруктами, выбирая арбуз. Случалось и так, что я видел ее на остановке, когда ехал из центра города домой. Она бесшумно проплывала у меня перед глазами, как привидение – то появится, то снова исчезнет. Словно хотела напомнить, что и она живет на этом свете.

Окончив среднюю школу первой ступени, Шаша поступила в медицинский колледж на сестринское дело. Колледж был далеко от дома, ей пришлось переехать в общежитие, и в Наньюане она почти не появлялась. Несколько раз мы с Большим Бинем и Цзыфэном собирались поужинать вместе, за ужином они вспоминали, что давно не видели Шашу, звонили ей и приглашали присоединиться. Где бы Шаша ни была, приезжала она всегда очень быстро, а со мной держалась так естественно, будто ничего и не произошло. Она похорошела, стала наряжаться и пользоваться косметикой, но все равно казалась какой-то несурзной. Тесная джинсовая жилетка, яркая плиссированная мини-юбка, обкусанный красный лак на ногтях. Вкуса у Шаши не было, она просто копировала своих однокурсниц. У нее появились подруги, настоящие оторвы, могу себе представить, как они командовали Шашей, гоняли ее туда-сюда. А она и не возражала, ее вообще было очень трудно задеть. Шаша все повторяла за своими новыми подругами, научилась курить и играть в бильярд. Цзыфэн говорил: они все встречаются с парнями, почему же у тебя никого нет? Шаша только хихикала и снова утыкалась в свою тарелку. Как и в детстве, она очень любила поесть, могла жевать весь вечер, пока мы не вставали из-за стола. Потом мы расходились по домам, Цзыфэн и Большой Бинь жили недалеко от ресторана, и оставшуюся часть пути я был вынужден делить с Шашей. Я ускорял шаг, чтобы поскорее оказаться у ее дома, но Шаша не сворачивала к подъезду, а продолжала идти за мной. Приходилось шагать еще быстрее, я едва не бежал. А она, пыхтя, трусила следом, останавливалась у моего дома и смотрела, как я захожу в подъезд. И так каждый раз – Шаша доводила меня до подъезда и только после этого возвращалась домой. Идти было недалеко, дорогой мы всегда молчали, но мне такие прогулки все равно были в тягость. Я стал придумывать отговорки, чтобы не приходиться на очередные посиделки с Большим Бинем и Цзыфэном, если знал, что там будет Шаша. А потом

она окончила свой колледж, папа через знакомых устроил ее работать в психиатрическую лечебницу, ту самую, которую мы так часто поминали в детстве: да ты больной, пора в психушку на конечной восемнадцатого автобуса! Я слышал, что Шаша хорошо ладит с пациентами, в психиатрической лечебнице ее заторможенность оказалась даже плюсом. Единственный недостаток такой работы заключался в том, что больничные правила запрещали сотрудникам принимать пищу на глазах у пациентов, и Шаше с ее пакетиками приходилось прятаться куда-нибудь во время дневного перерыва. Потом один из пациентов полюбил рвать подушки, по всей клинике летал утиный пух, в итоге у Шаши случился рецидив астмы, и ее увезли на “скорой” в больницу. Она уволилась и снова вернулась в Наньюань. К счастью, я тогда уже поступил в университет, а Большой Бинь с Цзыфэном уехали из города, так что мы с Шашей больше не встречались. Я думал, что больше ее и не увижу.

Не меняя позы, я до самого вечера смотрел в палате телевизор. Когда нервы взвинчены, сохранять сосредоточенный вид – занятие непростое, так что к вечеру я был совершенно измотан и позвонил тете, чтобы она принесла пива, когда придет меня навестить. Скоро в палату с обходом явилась какая-то женщина, по виду старшая медсестра. Над белой маской нависали узкие холодные глаза. Они остановились на мне, и женщина сняла маску.

– Тетушка Юнь? – воскликнул я.

Она совсем не постарела, только лишилась последних женских примет, а вытянутое лицо стало еще суровей. Я спросил ее, все ли в порядке с Цзыфэном, оказалось, она не знает. За день в больнице скончались два пациента, вряд ли он был одним из них. Я взмолился, чтобы тетушка Юнь отпустила меня домой. Она ответила, что раньше из карантина выписывали после двух дней наблюдения, но позавчера у одного мужчины диагноз подтвердился почти сразу после выписки, так что теперь без приказа от руководства никого из больницы не выпускают. Ты думаешь, нам хочется вас держать? Со мной на весь корпус всего три сестры, мы ничего не успеваем. Я вышел за ней из палаты. В коридоре было темно, пол пах антисептиком. Глядя ей в глаза, я сказал: при желании вы бы придумали, как выпустить нас отсюда. Она озадаченно на меня уставилась. Я улыбнулся: разве нет? Вы даже парализованного смогли отсюда вытащить. Она покачала головой: я не понимаю, о чем ты говоришь. Развернулась, чтобы уйти, но навстречу шла моя тетя.

– Так и работаете без отпуска? – спросила тетя.

– И вы тоже? Вчера видела вас в аптеке, – ответила тетушка Юнь.

– Я не могу уйти, девчонки новые еле шевелятся, не знают даже, где цефтрадин стоит.

– И у меня то же самое, разве на молодых можно положиться? Случись что, сразу паника, все инструкции забывают.

Глядя друг на друга, женщины невольно улыбнулись. Старая вражда как будто забылась. Я заметил, что они очень похожи. Обе много лет жили одни, и не то одиночество сделало их чудачками, не то они с самого начала были чудачками, потому и выбрали одиночество. Но в итоге обе отдавались любимой работе с пылом, который больше некуда было приложить.

– Надеюсь, вы поможете Чэн Гуну, – сказала тетя. – Дедушку нашего потеряли, так парня сберегите.

– Что на меня надеяться, надейтесь на Бога. Он всех видит, всех бережет. – Тетушка Юнь надела маску и ушла.

Тетя поставила пиво на стол и протянула Шаше огромный плетеный мешок:

– Твоего папу в больницу не пускают, он попросил передать это тебе.

Шаша проворно вытащила из мешка шоколадку, сорвала обертку и принялась жевать. В судке, который принесла мне тетя, оказались жареные свиные ребрышки и корни лотоса. Я оглядел еду: недурно, напоминает последний ужин смертника перед казнью. Тетины глаза покраснели: Чэн Гун, не пугай меня так. Я похлопал ее по плечу: попроси тетюшку Юнь, чтобы она поскорее выпустила меня отсюда. Я взаперти без всякой пневмонии с ума сойду. Тетя ответила, что постарается. А перед уходом почему-то сказала Шаше: вы с Чэн Гуном должны заботиться друг о друге.

Я открыл пиво, сел на кровать. Дикторша перечисляла, сколько новых жертв унесла атипичная пневмония в каждой провинции, она говорила очень медленно, как будто пересчитывала людей по головам. Я сжимал пульт, мечтая включить перемотку. И заодно перемотать вперед весь сегодняшний вечер. В конце концов решил пораньше лечь спать, выключил телевизор и свет, лег в постель. Стоило мне закрыть глаза, как шорох стих, а Шаша прекратила жевать. Вокруг повисла тишина, я не слышал даже дыхания. Но чувствовал, как Шаша сидит в темноте, уперев в меня зеленые кошачьи глаза. Перевернулся на другой бок, лег лицом к стене. Тишина в палате продолжала раздуваться, как воздушный шар, я надеялся, что Шаша пошевелится или кашляет, пусть она сделает что угодно, только бы этот шар лопнул. И тут зазвонил телефон. Я вскочил.

– Угадай, где я! – крикнул в трубку Большой Бинь.

– Лучше ты угадай, где я.

– Я в Чикаго, скоро у меня обед с Ли Пэйсюань. Не думал, что она согласится... Я уже до смерти извелся, не знаю, что ей сказать. Как думаешь, можно прямо спросить, есть ли у нее парень?

Я подошел к столу, открыл пиво.

– Приготовил небольшой подарок, не знаю, понравится ли ей... Как думаешь, лучше сразу его вручить или в конце? Не молчи, у меня сердце стучит как ненормальное...

– Лучше так, чем если бы совсем не стучало.

– Ты что?

– Цзыфэн в реанимации.

– Что случилось?

– Атипичная пневмония, нас тоже поместили в карантин. – Мне не хотелось произносить вслух имя Шаши.

– Как же так...

– Знаю, что не должен был портить тебе настроение. Но... кто знает, жизнь такая хрупкая. – Я дал отбой и допил пиво.

Шаша с ничего не выражающим лицом сидела на своей кровати. Вдруг она сказала:

– Мы умрем, да?

Вместо ответа я открыл новую банку пива. На улице поднялся ветер, окно закрипело. Не у нас, а в соседней палате. Интересно, починили они задвижку в триста семнадцатой? Эта палата много всего повидала, и как ни старался я от нее отделаться, в конце концов все равно оказался заперт по соседству, слушаю, как скрипит знакомая оконная рама. Ко всему прочему я заперт здесь вместе с Шашей. Жизнь – скучнейшая штука. Шаша так и глядела на меня со своей кровати, пакет с чипсами по-прежнему лежал у нее на коленях, но она к нему не притронулась.

Почему она не ест? Она ведь только это и умеет. Наверное, Шаша даже отдаленно не представляет, что такое горе или безнадежность. Живет как в бреду и никогда не теряет аппетита к жизни.

Я влил в себя последнее пиво и с головой залез под одеяло. Тело горело, губы пересохли, вероятно, у меня начался жар, я все-таки заразился. Вот и хорошо, теперь меня уже ничто не удивляло.

Я скорбно уснул и даже видел сон, там было много людей, кажется, они пришли меня навестить. А я чувствовал, как на меня что-то давит, и сонно размышлял, что это демон явился по мою душу. Потом что-то мокрое залезло мне в рот и стало там копошиться. Я резко проснулся, открыл глаза. Надо мной нависало лицо Шаши, глаза ее блестели в темноте. Потом она нырнула вниз и зарылась лицом у меня между ног, хвостик на ее затылке заскакал вверх-вниз, словно взбесившийся кролик. Я с трудом приподнялся на локтях, дыхание мое все учащалось. Шаша оседлала меня, руками стиснула меня за бока. От скачки резинка с волос у нее слетела, и они рассыпались по плечам, она что-то безостановочно бормотала, будто заклинание читала. Не в силах сдерживаться, я кончил. И в ту же секунду понял, что она бормочет: скоро умрем, скоро умрем, мы скоро умрем. Она улеглась рядом, обдавая меня густым горячим дыханием. Вали на свою кровать, тихо прорычал я. Она лишь прижалась теснее. Я оттолкнул ее, но она снова притиснулась.

Скоро умрем, скоро умрем, мы скоро умрем – вжимаясь в меня, повторяла, точно в бреду Шаша. В ней ощущалась одержимость, она была словно зверь, который чувствует надвигающееся землетрясение или потоп. И я вдруг испугался: ведь мы действительно в большой беде. Очень может быть, что патогенные бактерии распространились по всему зданию. И никому отсюда не уйти. Почему иначе сестры так долго не заглядывают в нашу палату? Они просто бросили все и сбежали, оставив нас погибать. Наверное, бактерии уже проникли в мое тело и пожирают здоровые клетки. Я смутно почувствовал, как что-то сдавило мне горло, дыхание становилось все слабее. Как догорающая свеча, которая в любую секунду может погаснуть. Смерть явится совсем скоро, не придется ждать даже утра. Я с силой вдохнул и прижал к себе Шашу. Она растерялась, но тут же крепко меня обняла, сплела свои ноги с моими и больше не шевелилась, как будто решила умереть в этой позе. Ее сердце билось об меня в темноте, удар, еще удар – наверное, это последние звуки, которые уготовил мне мир.

Я тоже закрыл глаза. Все было уже неважно. Наверное, это трудно представить, но в ту минуту, несмотря на ужас, я чувствовал небывалое облегчение. Все кончено.

За ночь я несколько раз просыпался. Но Шаша до самого утра лежала не шевелясь. Когда начало светать, я расцепил ее руки и сел в постели. В сизых лучах рассветного солнца ее лицо казалось почти счастливым. Я вышел в коридор и закурил. Девичий виноград заползал со стены на окно, и с одного угла стекло отливало зеленью. В небе пролетели два голубя. Да, я и забыл, что здесь еще водятся голуби. Серые, взмывающие в небо с резким хлопаньем крыльев.

Из другого конца коридора пришла пропадавшая целую вечность сестра. Закатила глаза: кто разрешал вам выходить? Да еще курите, немедленно потушите. Я даже немного растрогался, глядя в ее свирепое лицо, – кажется, мир снова стал нормальным. Хотел вернуться в палату, но тут увидел в дверях Шашу, она влюбленно смотрела на меня, как новобрачная перед первой ночью. Все оставшееся утро ее глаза парой улиток ползали по моему телу. Если я взглядывал на нее ненароком, Шашино застывшее лицо оживало, точно самопроизвольно пришедшая в движение кукла-марионетка. Она потеряла интерес к еде, не притронулась к чипсам, не доела обед, только сидела и тупо меня разглядывала.

После обеда снова пришла сестра, я схватил ее за рукав и взмолился: переведите меня в другую палату, я привык жить один, и я очень громко храплю. Медсестра вскинула глаза: в какую еще палату, вас выписывают. Я спросил: серьезно? Она протянула мне градусник: если температура нормальная, можете собираться. Я взял градусник. Она объяснила, что после обеда из другой больницы привезут

новую партию пациентов, нужно освободить палаты. Все равно вы оба живете в Наньюане, вот дома и устройте себе карантин. Старайтесь не выходить на улицу, поменьше контактируйте с родственниками. Все ясно?

Я позвонил тете. Она сказала, что Цзыфэн уже вне опасности, его понаблюдают еще несколько дней и отпустят домой. Я развеселился, позвонил своей тогдашней девушке и сказал, что меня выписывают. Она тоже обрадовалась, но, услышав, что я хочу сегодня же с ней увидеться, замялась: куда нам спешить, полежи еще пару дней дома. Пока я говорил, Шаша неторопливо собирала вещи, рядом разрывался ее телефон. Наконец она взяла трубку, звонил ее папа, он громогласно спросил, почему Шаша до сих пор не спустилась, он битый час ждет ее у больничных ворот. Она неохотно забросила рюкзак за спину, у двери замерла и взглянула на меня, как будто ждала, что я что-то скажу. Я поспешно отвернулся.

Наконец она ушла. Я облегченно вздохнул и стал собираться, хотелось как можно скорее оказаться на воле. Вышел в коридор и увидел тетушку Юнь, она стояла у окна. По стеклу шла рябь, начался дождь. Она обернулась:

– У тебя есть зонт?

Я покачал головой.

– Тогда дам тебе свой, лежит у меня в кабинете, – сказала она.

Следом за ней я пошел к кабинету у лестницы.

– В этом здании ты и родился, я помню тот день, – сказала тетушка Юнь.

– Правда?

– Я тогда работала медсестрой в акушерском отделении, искупала тебя после родов. Помню твою маму, она была очень красивая.

– Она обрадовалась? Ну, когда вы меня принесли.

– Чуть не умерла от счастья, – ответила тетушка Юнь.

– Вот как, – кивнул я.

– Нужно еще кое-что тебе отдать.

Она открыла дверь и из завешенного шторой угла вытащила картонную коробку.

– Нашли под кроватью, когда делали уборку в триста семнадцатой. Чуть было не выбросили. Все хотела позвать тебя и отдать. Этот корпус скоро снесут, я уйду на пенсию, если сейчас не заберешь, боюсь, ее и правда выбросят.

Я открыл коробку и уставился на то, что лежало внутри. Оно оказалось совсем не таким, как я запомнил, напоминало убогую, низкопробную игрушку, которой можно одурачить разве что трехлетнего ребенка.

– Сестры все гадали, что это за странная штука.

– Устройство для связи с душой. – Я провел пальцем по электродным пластинам. – Так оно называлось.

– Ничего себе! – Она вскинула брови. – Я уже тридцать лет в больнице, но впервые вижу такой продвинутый прибор.

– Это точно, я надеялся получить за него Нобелевскую премию, – улыбнулся я.

– Да, тут еще кое-что. – Из угла коробки она вытащила розовый бархатный мешочек. – Нашли в тумбочке. Скорее всего, Ван Лухань оставила...

Я взял мешочек, развязал шнурок и вытряхнул на ладонь пару жемчужных сережек.

– Нет, это мое.

Она немного удивилась:

– Вот и отлично, вернутся законному владельцу.

Я поднес находку к глазам. Жемчуг был фальшивый. Но серьги идеально круглые и блестящие, как что-то вечное. Наверное, все вечное фальшиво. Время не властно над чужеродными веществами.

– Ван Лухань, – с трудом проговорил я, – как у нее дела?

– Мы не поддерживаем отношений. – Тетушка Юнь посмотрела на меня: – Что, не веришь?

– Верю. – Я спрятал сережки. – Но вы близко дружили в детстве?

– В детстве я ни с кем не дружила. Думаю, она тоже. Тогда иметь друзей было опасно – случись что, сам попадешь в беду. Так что мы просто жили по соседству.

– Какой она была?

– Немного мечтательной, любила петь и рисовать. Несколько раз моих родителей уводили на “борьбу и критику”, и я пряталась дома одна. В такие дни Ван Лухань забирала меня обедать к себе. Книжные полки у них стояли пустые, и скрипку они продали, но в воздухе все равно витало что-то мелкобуржуазное. Потом я поняла: просто ее родители очень любили друг друга. Они вместе стояли у плиты, разговаривали, смеялись, мать вытирала отцу лоб носовым платком. Отец называл ее зайчонком, потому что она обожала морковь. А за столом подкладывал ей еду и чистил кровати. Вообще-то посторонний рядом с ними должен был почувствовать неловкость, а мне было хорошо, они так обо мне заботились, словно я – член их семьи. Но скоро папа Ван Лухань повесился. Как такой хороший человек мог вогнать гвоздь в череп своему дедушке? До сих пор не верится. Лухань осталась вдвоем с матерью, твой папа с друзьями часто устраивал у них погромы, мать Ван Лухань рыдала от страха, пряталась в платяном шкафу и скоро повредила рассудком. Мне очень хотелось помочь им, но папа не разрешал, говорил, что они утянут нас за собой. Скорее всего, люди вокруг думали точно так же, обходили Ван Лухань стороной. Она тогда порядочно натерпелась, но в конце концов брат увез их из города. И когда они уезжали, я даже не пошла проводить...

– И вы из чувства вины разрешили ей ухаживать за дедушкой, а потом дали вынести его из больницы? – спросил я. – Верно?

Она отвернулась:

– Нет.

– Не беспокойтесь, я не стану докучать вам вопросами. Понимаю, вы все равно не скажете правды, да это сейчас и неважно.

– Мы действительно не поддерживаем отношений. Она стала очень странной, тоже немного повредила рассудком.

– Как вы думаете, может ли дедушка до сих пор быть жив?

– Нет. В то время его организм уже угасал.

– Гм.

– Ты надеешься, что он еще жив?

- Ван Лухань живет ради него, не знаю, что с ней будет, если он умрет.

Помолчав, тетушка Юнь сказала:

- Разное здесь случается. Я давно работаю в больнице и не очень-то верю в чудеса. Но если поразмыслить, на целую жизнь человека все-таки может выпасть пара чудес, как ты считаешь?

Мы вышли из кабинета.

- Забыла про зонтик. Где-то он у меня был... - Тетушка Юнь велела мне подождать и вернулась в кабинет.

С картонной коробкой в руках я стоял в коридоре. Было темно, воздух пах дождем. Стук капель в другом конце коридора словно барабанил мне по ребрам. Внутри растекалась едкая влажная боль. Я медленно пошел на стук. Сверкающие капли дождя залетали в дальнее по коридору окно и шлепались на подоконник. Кто-то открыл форточку? Наверное. Нет, окно разбито. В стекле зияет огромная дыра, если выглянуть наружу, увидишь террасу. Помню, как в хорошую погоду на бельевых веревках террасы висели нагретые солнцем одеяла и белые простыни развевались на сухом ветру.

Та дверь была закрыта. Триста семнадцатая. Узенькая дверь, приютившаяся сбоку от окна. Половица перед дверью намокла от дождя, это была та самая половица, которую раньше всегда заливало светом, по которой прыгали оранжевые послеполуденные солнечные зайчики, ты еще говорила, что они похожи на хрустящие леденцы.

Я подошел к двери и шагнул в лужу. Стук дождя отдавался даже в костях, но я все равно слышал доносившийся из палаты шум. Сонное бормотание, шелест сновидений, залиvistый детский смех. И еще слышал, как душа расхаживает по шатру своего тела.

Капли дождя падали на мои ботинки. Я прислушивался к звукам в палате. Я ждал. Ждал, когда дверь распахнется и оттуда выскочит мальчик. Как всегда по вечерам, он закинет рюкзак за спину и побежит домой.

Эй, подожди, крикну я. И протяну ему коробку.

Ли Цзяци

Вино кончилось, но меня совсем не тянет в сон. Снег еще идет? Вроде бы перестал. Небо за окном посветлело, но свет не похож на утренний. Наверное, утро еще не наступило, это мерцает снег. Такие бледно-серые лучи исходят не от солнца, а от крошечных ледяных кристаллов.

Весной 2000 года я познакомилась с Инь Чжэном, тем самым поэтом, который приглашал меня на новогодний вечер. В новом году я купила сборник его стихов и даже загнула уголки на некоторых страницах. А увидев в газете анонс его автограф-сессии, побежала в книжный магазин, пропустив вечернюю самоподготовку. Шел дождь, людей в книжном магазине было немного. Инь Чжэн выступил с небольшой лекцией, поделился своими взглядами на поэзию, выразил беспокойство по поводу состояния современной литературы. Он вспоминал поэтические общества и журналы своих студенческих времен, сокрушался, что это был золотой век литературы. Я и подумать не могла, что они с папой учились вместе. Он был лет на пять младше и выглядел очень молодо. Я забыла, что сразу после восстановления системы единых экзаменов на первый курс поступали абитуриенты самых разных возрастов. Разумеется, Инь Чжэн не упоминал о моем папе, но мне казалось, что каждое его слово было о нем. Я взволнованно сцепила пальцы, как будто в любую секунду в зале может прозвучать папино имя. В конце подошла к Инь Чжэну подписать книгу, он взглянул на меня и спросил, в каком университете я учусь. Я ответила, что еще не окончила школу. Он сказал: у школьников большая нагрузка, спасибо, что пришли. Потом спросил, не хочу ли я к ним присоединиться, пропустить стаканчик в соседнем баре. Я промолчала, и он добавил: вы можете взять себе сок.

Всего собралось человек семь или восемь, мы раскрыли зонтики и отправились в ближайший бар. Остальные в компании были студентами Инь Чжэна. Все заказали пиво, я тоже решила не отставать. Кто-то из студентов предложил по очереди читать стихи. Я выбрала стихотворение из того самого сборника, Инь Чжэн сказал, что читатели редко замечают это стихотворение, но сам он его очень любит. Добавил, что много лет назад посвятил его одной студентке, которую встретил, когда преподавал в американском колледже. Все стали наперебой упрашивать его рассказать подробности. Он ответил, что она была американкой, глаза всегда подводила черным карандашом, а руки у нее были в татуировках. В старших классах девушка подседала на героин и несколько лет провела в реабилитационном центре, в двадцать четыре года снова взялась за учебу, но казалась по-прежнему надломленной, на занятиях держалась отстраненно, словно находится где-то не здесь. Инь Чжэн сказал, что на лекциях всегда невольно искал ее взглядом, его это очень успокаивало. Стихотворение он сочинил прямо в аудитории, в тот день студенты сдавали письменный экзамен и у него было достаточно времени, чтобы ее изучить. Он сказал: почему-то иногда опасные вещи дарят нам тепло, это удивительное ощущение. Договорив, улыбнулся. Какой-то парень спросил, не думал ли профессор тогда же объясниться ей в любви, другая девушка поинтересовалась, сохранилась ли фотография той студентки – всем очень хочется на нее посмотреть. Я впервые наблюдала, как мужчина возраста моего папы делится с кем-то своими переживаниями. Интересно, папа тоже практиковал такие разговоры со студентами? Я сказала: нужно отправить ей ваше стихотворение, ведь в каждом стихотворении зашифровано письмо. А это письмо принадлежит ей. Он улыбнулся: с тех пор много воды утекло, если бы не стихи, я бы о ней и не вспомнил. Увидев, как я огорчилась, добавил: я знаю, юным особенно сложно с этим смириться, но все неизбежно проходит. Ни одно сильное чувство не длится долго, вспомни уроки химии: некоторые вещества образуются в результате бурной реакции, но спустя короткое время распадаются, превращаясь в другие вещества. Я смотрела на него, и мне очень хотелось сказать, что мои чувства к папе подчиняются совсем иным законам.

Время от времени студенты собирались расходиться, но Инь Чжэну хотелось посидеть еще немного. Выпил он порядочно, глаза так и блестели. Мы просидели в баре до самого закрытия, было уже три часа ночи, накрапывал дождик. Инь Чжэн

вызвался меня проводить – оказалось, он живет недалеко от моей школы. Такси нигде не было, пришлось идти пешком. У меня был с собой зонтик, но я так его и не раскрыла. Холод пробирал до костей, мелкие капельки падали на лицо, как слабые разряды тока. Инь Чжэн легкой походкой шагал справа от меня, высокий и худой. Увидев закрытые ворота общежития, он понял, что я собираюсь дожидаться утра на улице, отказался оставлять меня одну и сел рядом. Но все сильнее холодало, и скоро мы тряслись в своих легких пальтишках. Посидев немного, он поднялся со словами “так не годится, вставай, переждешь ночь у меня дома”.

Но пошли мы не домой к Инь Чжэну, а в его мастерскую. Это была маленькая двухкомнатная мансарда, в одной комнате все стены были заставлены книжными шкафами, в другой стоял письменный стол и узкая кровать. Он налил мне горячей воды, спросил: у тебя не будет проблем? Из школы позвонят родителям? Я ответила, что сама не знаю. Он спросил: неужели тебе все равно? Наверное, родители не строгие? Я сказала: неважно, сегодняшний вечер того стоил. Он ответил: я тоже очень доволен, выход сборника – большое событие, сейчас мало кто читает стихи. Подлил мне еще воды, сказал: может, поспишь? Я часто работаю по ночам, уже привык, а у тебя после бессонной ночи разве будут силы на учебу? Я сказала, что не хочу спать, а потом спросила, может ли он научить меня писать стихи. Он ответил: хорошо, приноси мне, что получится, я похвалю. Я добавила: мои стихи – это письма, в них я могу сказать то, что не удастся выразить иначе. И без мыслей об адресате написать ничего не получается. Он спросил: и кто же твой адресат? Я сказала: папа. Папа? Он улыбнулся: я думал, мальчик, с которым дружишь. Я сказала, что не интересуюсь сверстниками, они мне кажутся детьми. Глядя на меня, он заметил: раннее взросление не всегда идет на пользу. Я пожала плечами и ответила, что мне все равно.

За окном вдруг посветлело, солнечные лучи пробивались в комнату сквозь маленькое окошко, было видно, как в воздухе медленно кружится пыль. Комнату заполнил густой запах старых книг, и я вспомнила свои давние походы в библиотеку, как папа водил меня за подшивкой “Детской литературы”. Стоило вспомнить о папе, и его образ стал неумолимо разрастаться в памяти, пока в конце концов не заполнил собой все. Свет и запах в той комнате навели меня на мысль, что я должна позвать его к нам. И тогда я сказала: моего папу звали Ли Муюань, наверное, вы были знакомы. Инь Чжэн изумленно на меня уставился, забормотал: конечно, конечно! Я спросила: вы хорошо его знали? А как же. В университете учились в одной группе, потом вместе поступили в аспирантуру, после выпуска оба остались преподавать, работали на одной кафедре. Инь Чжэн пошел налить воды, но на полпути обернулся: он бы очень обрадовался, что ты тоже пишешь стихи.

Я засыпала его вопросами. Например, каким был мой папа в университете, часто ли они читали друг другу свои стихи. Меня обрадовало, что Инь Чжэн высоко ценил папин талант, считал его отличным поэтом. Потом он попросил: расскажи о себе, как вы живете с мамой? Я сказала только, что мы живем у тети, там всегда толпятся родственники, и я редко навещаюсь домой. Он ответил: теперь понятно, почему ты так рано повзрослела.

За окном все светлело, и я начала клевать носом. Отяжелевшие веки так и слипались. Инь Чжэн сказал: приляг, когда будет пора выходить, я тебя разбужу. Я пыталась бороться со сном, но глаза уже закрылись. Уснула я сразу, как только легла, сны были какие-то путанные. Проснувшись под одеялом, Инь Чжэн сидел рядом на стуле и читал. Я растерянно села, солнце ярко било в глаза, его лицо против света было похоже на глубокий колодец. Пора в школу, ласково сказал Инь Чжэн.

На прощанье он вручил мне пакет с ломтиками хлеба и двумя книгами. Сказал: возьми вместо завтрака, у меня здесь больше ничего нет. Я взглянула на книги, это были сборники поэтических переводов, очень старые, с библиотечными наклейками на корешках. Смотри не потеряй, предупредил Инь Чжэн. Вряд ли у нас их переиздадут.

На выходных я переписала все стихи из сборников и побежала в мансарду, чтобы

их вернуть. Инь Чжэн говорил, что вечера всегда проводит в мастерской, и я решила, что это приглашение в гости. Он действительно был там, сочинял письмо другу, на столе лежала стопка исписанной бумаги. День выдался холодный, Инь Чжэн встретил меня в вязаном жилете, рукава рубашки были подвернуты, открывая предплечья, густо поросшие волосами. Он очень мне обрадовался, достал из-под стола большой мешок с разными сладостями, как будто заранее знал, что я приду. Я дала ему прочитать свои стихи, и он вспомнил те, что я посылала в журнал. Сказал: ты должна была прийти на поэтический вечер и прочесть их перед публикой. Еще сказал, что у меня есть прогресс, спросил, почему я перестала посылать им рукописи, велел мне больше писать и ни в коем случае не останавливаться.

Мы сидели там, пока не стемнело, потом ему кто-то позвонил. Договорив по телефону, Инь Чжэн сказал: мне пора на ужин с женой, присоединяйся к нам. Все равно сегодня выходной, в школе тебя не покормят. По дороге он рассказал, что его жена, Мэн Цзин, когда-то была танцовщицей, но из-за травмы ей пришлось оставить сцену. И лучше при ней о танцах не заговаривать.

Мэн Цзин уже сидела за столиком. Она явно знала, что я приду, скорее всего, Инь Чжэн предупредил ее по телефону. Наверное, он все ей рассказал, даже о моей ночевке в мастерской. Но казалось, она совсем не возражает, видимо, в их семье этому не придавали особого значения. Пока я шла к столику, Мэн Цзин внимательно меня разглядывала, а потом сказала: ты немного сутулишься, надо поработать над походкой, это придаст тебе уверенности. Я ответила, что и так чувствую себя уверенно, но на самом деле хотела сказать: какая разница, я ведь не собираюсь становиться танцовщицей. Ресторан был с европейской кухней, сумрачный зал, белые свечи в канделябрах, сверкающая серебряная посуда. Я заказала салат "Цезарь" и филе трески. Официант разлил вино, Инь Чжэн предложил выпить за прекрасные выходные. И сказал, что они почти каждые выходные ужинают в ресторанах, Мэн Цзин прекрасно умеет выбрать место. Я тогда впервые попробовала вино, оно показалось мне кислятиной.

Я очень странно чувствовала себя рядом с Инь Чжэном и Мэн Цзин, это было что-то вроде дежавю, как будто раньше я уже сидела так с папой и Ван Лухань. Порой наши самые страстные желания превращаются в воспоминания о несбывшемся. И я помнила, как в 1993 году приехала в Пекин и папа с Ван Лухань повели меня в знаменитый ресторан "Максим", потом мы гуляли по Шичахаю и Запретному городу, нам было очень весело, мы постоянно фотографировались. Когда я очнулась, Мэн Цзин уже отодвинула свою тарелку и сказала, что сыта, к стейку она почти не притронулась. Наверное, плохой аппетит считается признаком аристократизма? А мне до того хотелось есть, что я готова была наброситься и на ее стейк. Мэн Цзин со скучающим видом смотрела, как я жую, потом вдруг спросила: сколько тебе было лет, когда умер папа? Я ответила: одиннадцать. Авария? Да, сел пьяным за руль и врезался в грузовик. Она сказала: некоторые говорят, что это было самоубийство, а ты как думаешь? На секунду я застыла, потом подняла голову. Мэн Цзин! – одернул ее Инь Чжэн. Но она продолжала выжидающе меня разглядывать. Я сказала: нет. Значит, не самоубийство, сказала она. Да, мне тоже так кажется. Ведь твой папа ненавидел проигрывать... Мэн Цзин! Замолчи, пожалуйста, сказал Инь Чжэн. Потом подозвал официанта и заказал нам десерт.

Я сказала, что мне нужно в туалет, вышла из ресторана и сразу расплакалась. Заливаясь слезами, побежала в соседний магазинчик и попросила сигарет. Хозяин смерил меня взглядом, каким обычно смотрят на падших девиц. С сигаретой в зубах я вышла на улицу, но как ни чиркала зажигалкой, все было без толку. У дверей ресторана налетела на Инь Чжэна, растерянно посмотрела на него и уткнулась лицом ему в грудь. Я тебя повсюду искал, сказал Инь Чжэн, поглаживая меня по спине. Не знаю, что тому виной, наверное, одиночество, но в ту секунду мне вдруг остро захотелось завоевать любовь этого мужчины. А точнее, отнять ее у Мэн Цзин. Сцена за столиком в полумраке ресторана перенесла меня на поле боя, где я воевала много лет назад. Тогда я хотела отнять папину любовь у Ван Лухань,

но с его смертью бой прервался. И теперь у меня появилась возможность доиграть незаконченную партию.

Когда Инь Чжэн познакомился с Мэн Цзин, она была блестящей танцовщицей, вокруг нее увивались толпы поклонников. Инь Чжэн был одним из них и провел в этой роли немало лет, прежде чем она согласилась выйти за него замуж. Но и после свадьбы он все равно чувствовал себя поклонником, ему приходилось постоянно завоевывать ее расположение. Покупать цветы, дарить подарки, возить ее в путешествия. Мэн Цзин любила романтическую и яркую жизнь, была очень придирчива по части еды, одежды, жилья, сорила деньгами направо и налево. Чтобы содержать ее, Инь Чжэну приходилось мотаться с лекциями по иностранным университетам и снизойти до работы консультантом в какой-то фирме, занимавшейся культурными связями. Все это он печально поведал мне однажды вечером. Он говорил: она вечно таскает меня по вечеринкам, думает, что толпы пьяных незнакомых людей, отплясывающих в тесном зале, вселят в меня вдохновение. Смех, да и только. Потом Инь Чжэн спросил: ты слышала когда-нибудь о Фицджеральде? Был такой американский писатель. Я покачала головой. Он сказал: Мэн Цзин очень похожа на жену Фицджеральда, она во что бы то ни стало хотела сломать ему жизнь.

Я спросила, что случилось с этим Фицджеральдом, Инь Чжэн ответил, что он спился и умер. Я вспомнила о папе и загрустила. А Инь Чжэн сказал: поэтому я попросил сестру разрешить мне пользоваться мансардой, мне требуется личное пространство. Я спросила: наверное, я вам здесь мешаю? Он сказал: нет, тебе я всегда рад.

Я приходила к нему по субботам, мы вместе ужинали. Без Мэн Цзин. Не знаю, что он ей сказал, но в субботние вечера она больше не звонила. Правда, мы часто о ней заговаривали. Инь Чжэну некому было излить душу, кроме меня, на публике они привыкли разыгрывать идеальную пару. Я спросила: вы не думали с ней расстаться? Он сказал: без меня она не выживет. Да и я уже не в том возрасте, чтобы искать новую любовь. Скорее так: я утратил способность любить, с годами это случается. Я сказала: мне кажется, я тоже ее утратила. Он улыбнулся: глупая девочка, ты еще такая маленькая. Мне нравилось, когда он называл меня глупой девочкой, в этих словах чувствовалась забота и нежность. В одном из стихотворений того периода он называл меня "своим самым необычным другом". Тогда я учила стихи наизусть и была уверена, что это стихотворение до конца жизни не забуду, поэтому решила не переписывать. Но сейчас помню только самое начало. У Инь Чжэна были стихи и лучше, но главное – он снова начал писать, а за целый год до этого не написал и строчки. Он в шутку называл меня своей музой. Иногда по вечерам он работал за столом, а я сидела на кровати с книжкой, а устав от чтения, засыпала. Сквозь тонкий слой сна я слышала, как скрипит его ручка, как шуршат черновики, как он берет чашку и ставит обратно на стол. Эти звуки охраняли меня, навевали покой. Когда я просыпалась, комната тонула в светло-голубых лучах, и я не знала, сумерки это или рассвет. Хорошо бы рассвет. Тогда не придется возвращаться в общежитие и оставаться наедине с бесконечной ночью.

Каждая суббота была праздником. А в остальные дни я держала данное ему обещание – прилежно училась, все свободное время посвящала занятиям. Я сказала, что хочу поступить в университет, где он преподает, на факультет китайской словесности, стать его студенткой. Он ответил: нет, ты поступишь в лучший университет. Пришла зима; не успела я оглянуться, а первый год нового века уже был на исходе. Тридцать первое декабря выпало не на субботу, но уроков у нас не было, на новогодний концерт идти не хотелось, и я отправилась в мансарду к Инь Чжэну. Он собирался уходить, друзья Мэн Цзин позвали их вместе встречать Новый год. Я стояла в дверях, смотрела, как он убирает чашку со стола, как надевает пальто. Потупившись, спросила: вы можете туда не ходить? Он сказал: мы давно условились об этой встрече, я должен. Шагнул к двери, похлопал меня по плечу. Но я стояла на месте как вкопанная. Вы вернетесь сюда, когда все закончится? Он сказал: посмотрим. Я выпалила, что буду ждать его здесь, даже ночью. Инь Чжэн вздохнул: если я не приду до закрытия общежития, не жди меня,

ладно? В итоге общежитие давно закрылось, а я все сидела у его мансарды. Я не знала, вернется он или нет, но идти все равно никуда не хотелось. Инь Чжэн нашел меня спящей на лестнице, я почувствовала только, как он гладит меня по голове, как от макушки по всему телу разливается тепло. Он поднял меня на ноги, поцеловал в лоб и прошептал: глупая девочка. Я заплакала. Он провел меня в комнату, налил горячей воды, достал из пакета купленные по дороге фрукты и кремовое пирожное.

Приближалась полночь, в небо один за другим взмывали фейерверки. Мы стояли у окошка и глядели на улицу. Я сказала: поцелуйте меня, пожалуйста, еще раз. Вместо новогоднего подарка. На какую-то секунду он замешкался, потом наклонился ко мне и поцеловал. Пляшущие по стеклу огни окрасили этот поцелуй в красный, потом в зеленый, потом в белый, он дробился на всполохи, рассыпался искрами. Искры мигнули и погасли. Инь Чжэн оторвался от меня и повернулся к окну. Я сказала: хочу быть твоей. Он молча отошел от окна и сел за стол. Я не отставала: можно? Он ответил: иди сюда, сядь. Я замотала головой и не двинулась с места. Думаю, выглядела я как одно огромное недоразумение. Но в ту минуту гордость казалась сущим пустяком по сравнению с разыгравшейся в сердце жаждой. Я спросила: это потому что я дочь твоего однокашника? Он сказал: нет, просто ты еще маленькая и говоришь одни глупости. Мне уже есть восемнадцать. Все равно ты еще совсем ребенок. Он подошел, взял меня за руку и усадил на кровать.

Цзяци, хрипло сказал он. Ты такая чистая, наивная... Мне даже стыдно. Конечно, ты мне нравишься, ведь ты милая, умная девочка. Но что я могу тебе дать? Я уже старею, скоро окончательно превращусь в скучного ворчуна. Порой мне даже доставляют удовольствие ругань и перебранки с Мэн Цзин. Творческую силу я давно утратил, от моих стихов несет разложением, я знаю, что думаю обо мне молодые поэты: этот старый дурень отжил свой век, да только сам об этом не знает, все пыжится, пытается сочинять. Смех, да и только. Твой отец умер очень рано, но если вдуматься, тут не о чем жалеть, ведь он был настоящим бойцом... Инь Чжэн смотрел на свои руки, словно хотел проверить, могут ли они еще хоть что-то удержать. Потом вышел из задумчивости, вскинул голову: Цзяци, ты похожа на него, ты тоже боец. Но я надеюсь, что ты сможешь себя сберечь, что не надломишь свое оружие, не причинишь себе боли. Хотя я знаю, что боль помогает взрослеть. Наверное, она будет тебе даже полезна. Я спросила: как сейчас? Верно. Он смотрел на стену за моим плечом и бормотал: так и есть, я ранил тебя, я сделал тебе больно.

Последним моим воспоминанием о той ночи были прорезавшие комнату рассветные лучи, бледные, прозрачные, как дым от потухшего костра. Они и пахли жжеными листьями. На секунду я представила, как Инь Чжэн много лет спустя будет умирать в этой комнате. Вот он лежит на кровати – синие запавшие глазницы, приоткрытый рот, одна рука на груди, как будто еще касается того места, которое называлось сердцем.

Больше я к нему не ходила. Наступило дождливое лето. С каждым днем я просыпалась все раньше, оказалось, на рассвете даже в сильный ливень можно услышать звонкое пение птиц. Как будто дождь над ними не властен. Я сидела в постели, читала Фицджеральда. Больше всего мне нравилась “Ночь нежна”.

Из университета пришло письмо о зачислении, и на следующий день мы с компанией одноклассников поехали в Циндао. Разожгли костер на пляже и жарили мясо. Я насадила чахлую голубиную тушку на шампур, и металл с заворачивающим звуком прошел через тугое мясо. С моря подул ветер, одноклассники включили *Coldplay*, стали танцевать и трясти головами, притворяясь обкуренными. Они довольно забавно имитировали боль и безумие. В них совсем не чувствовалось растерянности, все они знали, куда идут, какими людьми хотят стать. Наверное, этим мы больше всего и отличались.

Однажды вечером я пошла на море поплавать. Темнело, дул сильный ветер. В воде было всего несколько человек, все они возвращались к берегу. Я поплыла на

глубину. Знала, что там нет ничего особенного, но отчего-то хотела доплыть и посмотреть. Как в тот раз в парке, когда папа задумал дойти до противоположного берега озера. Волны били в лицо, швыряли меня в разные стороны, я собиралась с силами, находила нужное направление и продолжала плыть. Суставы ныли от холода, ноги начали неметь и с каждым разом толкались все хуже. Я попробовала закрыть глаза и прислушаться к своему дыханию, оно было частое и судорожное. Ночь растворялась в океане, звезды погасли. Я ждала, когда меня накроет по-настоящему большая волна, когда соленая вода хлынет в горло. Когда исчезнут и сознание, и страх.

Где-то вдали раздался гудок отплывающего парохода, он звучал как тихий шепот, как глухой и жалобный зов. Он тянулся и тянулся, постепенно надвигаясь на меня, будто брошенная, раскручивающаяся в воздухе веревка. Я собрала последние силы, вынырнула из-под воды и схватила ее. А потом попробовала повернуть назад. Вокруг была одна тьма, я не могла понять, где берег, но лихорадочно работала руками, снова и снова выталкивая себя из-под воды. Силы скоро иссякли, тело ничего не чувствовало, я ждала, что вот-вот оно откажет, но упрямо продолжала плыть. До берега я добралась в полном изнеможении, упала на песок и лежала, не в силах пошевелиться.

В сентябре я уехала в Пекин. Он оказался даже больше, чем в прошлый мой приезд, улицы стали еще шире. Но, несмотря на происшедшие с ним перемены, я не чувствовала этот город чужим. Разлука с отцом скрепила возникшую между нами связь. Я говорила себе: наконец я вернулась в Пекин. Этот город больше напоминал мне родные места, чем Цзинань, в котором я прожила восемнадцать лет.

Моя одноклассница поступила на поток, который вел Инь Чжэн, и регулярно о нем рассказывала. На третьем курсе я узнала, что Инь Чжэн сошелся со студенткой из их группы. Мать девушки устроила в деканате скандал, и об их связи узнал весь факультет. В следующем семестре Инь Чжэн в университете не появился, говорили, его хотят куда-то перевести. Она красивая? Я не удержалась и задала этот пошлейший вопрос. Обычная, сказала моя одноклассница. Просто временное помешательство. Весь следующий месяц я почти не появлялась на занятиях, сидела в общежитии, слушала музыку, смотрела в одну точку, а по щекам медленно катились слезы. Никогда еще я не была себе так противна. Мне казалось, что я недостойна любви, не могу вызвать даже "временного помешательства". Однажды вечером я достала со дна чемодана толстую пачку листов со стихами, которые писала последние два года, набросила пальто и вышла на улицу. Встала на пустыре за общежитием, чиркнула спичкой. Как я ни рылась в стопке, пытаюсь сохранить стихи, посвященные папе, все было бесполезно – оказалось, я уже не помню, что писала папе, а что Инь Чжэну. Они слились в одного человека, которому и были посвящены все мои стихи. Я бросала их в огонь, листы стремительно сжигались, иероглифы кривились, а в последний миг перед смертью срывались с бумаги и повисали в воздухе. Сквозь пляшущее пламя я увидела, что на той стороне костра стоит человек. Дождавшись, когда огонь погаснет, он подошел и сказал: послушай, тут нельзя разводить костры. Я молча развернулась и ушла.

Это был Тан Хуэй. Мы уже виделись раньше, моя соседка по комнате встречалась с его соседом, однажды у нас стала подтекать труба в туалете, и сосед Тан Хуэй попросил его принести плоскогубцы. Он пришел, посидел немного на моей кровати, полистал книгу, которую я оставила на столе.

С того вечера на пустыре Тан Хуэй стал приглашать меня в кино вместе с его соседом и моей соседкой. И каждый вечер звал меня на пробежку. Признаюсь, в то время его ухаживания спасли последние крохи моей растоптанной гордости. Но, немного оправившись, я поняла, что нам надо объясниться. Я рассказала ему про Инь Чжэна и попросила оставить меня в покое. Он ответил: глупышка, это была не любовь. Взял мою руку и прижал к своей груди: вот – любовь, слышишь? Наверное, ты пока не можешь разделить ее со мной, но настанет день, когда ты почувствуешь ко мне то же самое.

Кажется, это случилось только после ухода Тан Хуэя. Тем вечером я стояла в дверях, глядя, как он собирает чемоданы, и вспоминала день, когда от нас ушел папа, как весь мир с грохотом рухнул после его ухода. Я услышала рваный треск и поняла, что прощаюсь с частью себя.

Когда встречи с Се Тяньчэном закончились, Тан Хуэй сказал: теперь ты выяснила о своем папе все, что хотела, так что прекрати путаться с этими личностями из прошлого. Повторять я не буду, надеюсь на твое уважение. Если это случится еще раз, я уйду. Наверное, Тан Хуэй растерял весь свой оптимизм и действительно готовился к тому, что это случится “еще раз”. Но вряд ли он мог подумать, что очередной личностью из прошлого окажется Инь Чжэн. Как сказал сам Инь Чжэн, сделав большой круг, мы снова вернулись к началу.

Тот вечер назывался “Ошибки и примирения”, это была последняя встреча с авторами в рамках летней Недели поэзии. На черном фоне напечатали фотографии двух гостей. Я стояла у входа в книжный магазин, изучая фотографию справа. Крупные синеватые мешки под глазами, в улыбке угадывается самоирония. Да, он постарел. Наверное, я просто хотела в этом удостовериться. Но вдруг ощутила острую грусть. Как будто бросила его, предоставила пройти этот жестокий путь в одиночестве. Злость и обида отступили, осталась только нежность. Я зашла в книжный магазин и села в последнем ряду. Сказала себе: я просто хочу его увидеть.

Беседу он вел азартно и довольно агрессивно, постоянно перебивая второго гостя. Спешил высказать свою точку зрения по самым разным вопросам и не выпускал из рук микрофон. Потом рассеянно скользнул взглядом по аудитории и вдруг осекся на полуслове, затем быстро свернул монолог и передал микрофон второму гостю. Почти все оставшееся время он молчал, с суровым видом разглядывая пол, на вопросы из зала отвечал неохотно. Ведущий почувствовал перемену в его настроении и вскоре закруглил встречу. Несколько читателей подошли за автографом, а я подхватила сумку и направилась к выходу. И услышала за спиной: Цзяци. Сделала еще пару шагов и обернулась. Он улыбался: Цзяци, вот мы и встретились. Открыл свой новый сборник, написал: “В подарок Ли Цзяци”, внизу поставил дату и подпись.

Тем вечером мы пошли с ним на “Ночь поэзии”. Стояли у высокого столика в самом углу, смотрели на лужайку за окном. Наверное, днем там играли свадьбу, цветочную арку на лужайке до сих пор не разобрали, и в сумерках вокруг нее носились двое детей. Какие-то люди то и дело подходили к Инь Чжэну, чокались с ним, заводили разговор. Когда никого не было, мы молча стояли и смотрели друг на друга. Инь Чжэн сказал: можешь не верить, но у меня все это время было ощущение, что ты в Пекине. Поэтому, приезжая сюда в командировку, я каждый раз надеялся где-нибудь тебя увидеть. Он улыбнулся, взглянул на меня: как ты поживаешь, Цзяци? До чего быстро летит время, в моих воспоминаниях ты все та же девочка в школьной форме. Подошел какой-то мужчина, сказал, что хочет познакомиться Инь Чжэна с двумя своими друзьями. Инь Чжэн последовал за ним, потом вернулся и попросил: не уходи, дождись меня, ладно? И отошел, только когда я кивнула.

В зале стало тесно, люди вокруг увлеченно о чем-то беседовали. Какой-то паренек студенческого вида долго меня разглядывал, потом опасливо подошел и спросил: вы тоже поэт? Я покачала головой. Когда он ушел, я толкнула стеклянную дверь и вышла на воздух. Почти стемнело, лужайка тускло мерцала после полива. Цветочную арку начали разбирать, все розы сняли, и проволочный каркас голо торчал в ночи. Наверное, Тан Хуэй сейчас дома, планирует нашу поездку в Киото в следующем месяце. Но какое мне дело до прекрасных храмов и улочек Киото? Пройдет немного времени, и я их забуду. Зато буду помнить эту ночь, пусть мы с Инь Чжэном так ничего друг другу и не сказали. Я буду помнить, как стояла здесь, вдыхала запах политой травы, смешанный с ароматом роз, и смотрела, как по высокому летнему ночному небу летят облака. Моя печаль была почти такой же острой, как в восемнадцать лет, но на этот раз ее возвращение казалось милостью. Я поняла, что ощущаю себя по-настоящему живой только в редкие минуты, когда

что-то трогает мое сердце. А все остальное время пребываю в скуке и пустоте, ожидая возвращения этих минут, когда над головой загорится прожектор и выдернет меня из сумрака.

Подошел Инь Чжэн, встал рядом. Мы смотрели на лужайку. Как хорошо в Пекине летом, вздохнул он. А ведь мне этот город никогда не нравился, как разберусь с делами, так сразу и уезжаю. Почему, спросила я. Наверное, слишком большой и суматошный, ответил Инь Чжэн. Лет десять назад я собирался сменить университет и едва не выбрал Пекин, но все-таки передумал. Он взглянул на часы: Цзяци, пойдем отсюда. Тебе не надо домой? Если нет, давай где-нибудь посидим? Он предложил летнюю веранду в баре на первом этаже его отеля, туда можно было идти пешком. Мы шли по пустынной улочке посольского квартала. По обе ее стороны росли высокие тенистые платаны, мягкое сияние фонарей сливалось с лунным светом. Он спросил: ты еще пишешь стихи? Нет, ответила я. Он сказал: да, я тоже. Я спросила: все время отнимают мемуары? А ты откуда знаешь? Он удивленно посмотрел на меня, потом кивнул: да, я ведь сам говорил на сегодняшней встрече. Годы берут свое, сил все меньше, написал несколько строчек и уже устал. Хотел закончить книгу в этом году, но, видимо, придется отложить до следующего. Я спросила: что там будет? Он сказал: детство, "культурная революция", студенчество, вся моя жизнь. Нудная писанина, вряд ли кто-то захочет такое читать, но для меня эта книга очень важна. Инь Чжэн многозначительно на меня посмотрел: когда она выйдет, подарю тебе авторский экземпляр. Мы подошли к широкому перекрестку, остановились у светофора. Он повернулся ко мне и сказал: помню нашу первую встречу, как мы сидели у ворот твоей школы. Прошел дождь, мы страшно замерзли, кажется, была осень. На самом деле была весна, но я не стала его поправлять. Наверное, в его памяти та ночь уже неотделима от осени.

Летняя веранда была полна народу, мы заняли последний свободный столик. Снова взглянув на часы, Инь Чжэн сказал, что должен позвонить. Отошел к барной стойке и стоял там, с улыбкой прижимая к уху телефон. Я отпила белого вина и написала Тан Хуэю, что встретила друга, немного задержусь, ложись без меня. Спустя несколько минут пришел односложный ответ: хорошо. Инь Чжэн вернулся за столик, мы чокнулись и молча выпили. Он объяснил, что звонил дочери, она отказывается засыпать, если не услышит его голос. Это было неожиданно. Он сказал: несколько лет назад Мэн Цзин вдруг передумала и захотела ребенка. Мы попробовали ЭКО, в конце концов получилось. Девочка? Девочка, пять лет. Как хорошо, ответила я. Мэн Цзин может научить ее танцевать. Он кивнул: она оказалась отличной мамой, кто бы мог подумать.

Ночной ветерок зашуршал бамбуком у стены. Цзяци, ты еще винишь меня? – спросил Инь Чжэн. Я взглянула на него, переспросила: что? Нет, ничего. Я подлила себе вина. Притормози немного, сказал Инь Чжэн. Но я не послушалась, тогда он тоже выпил. Надеюсь, я тебя не ранил. Ты знаешь, я очень переживал. Я кивнула и выпила еще. Инь Чжэн крикнул, чтобы нам принесли новую бутылку. Пришел официант, выкрутил пробку, разлил вино по бокалам и удалился. Глядя ему в спину, я качнула головой и процедила: я одно не пойму, почему же с той девушкой ты не переживал? Инь Чжэн смотрел на меня, по его лицу растекалась странная усмешка. Я все-таки бросилась в атаку и швырнула ему этот засевший в сердце вопрос. Он отнюдь не утратил своей мощи и вышиб землю у меня из-под ног, едва я успела договорить. Гордость снова разорвало на мелкие кусочки. Я ждала, когда Инь Чжэн что-нибудь скажет, меня спасли бы любые слова. Но он разглядывал бамбук, пил вино и молчал.

Мы долго сидели в тишине, и когда я решила, что этот вечер так и закончится молчанием, Инь Чжэн выпрямился, положил руки на стол и заговорил: Цзяци, кое о чем я тебе не рассказывал. Мы с твоим папой были не друзьями, а скорее врагами. Когда создавалось поэтическое общество, мы с ним сражались за пост председателя, оба молодые, амбициозные, с огромным самомнением, и ни один из нас не хотел уступать. Некоторые студенты поддерживали его, другие меня, наши группировки вели непримиримую борьбу. В конце концов эта борьба меня всерьез

утомила и я решил выйти из общества. Твой папа стал председателем, у него была настоящая страсть к лидерству и собственная философия, которую он насаждал среди остальных членов. Стихи стали своего рода властью, чем-то вроде религии. Инь Чжэн глубоко вздохнул: я не должен судить твоего папу, ведь ты уважаешь его как никого другого. Я тоже его уважал, иначе не испытал бы такого разочарования. Мне было немного грустно, когда он бросил писать. Дело даже не в том, что я лишился достойного соперника, просто я понимал, как ему больно, ведь он во всем стремился быть первым. Никто не знал, что произошло, но талант дается человеку Богом, и Бог в любой момент может его забрать. Конечно, твой папа с этим бы не согласился, он говорил, что у него просто пропала охота писать, что это занятие кажется ему бессмысленным. Оставшись работать в университете, он все силы отдавал преподаванию и науке. Должен признать, он был очень талантлив, преуспел и в научных занятиях, наш руководитель, профессор Сунь, всегда его выделял, считал своим преемником. Но и профессор Сунь оказался жестоко разочарован: его любимый ученик предпочел науке продвижение по служебной лестнице. Твой папа считал, что его последняя публикация не получила должного признания, а окончательно его подкосила сорвавшаяся поездка в Штаты по научному обмену. Он стал помогать декану в административной работе, и тот решил сделать его своим заместителем. Судя по всему, твой папа не умел бороться с неудачами, быстро опускал руки, бросал намеченную цель и брался за что-нибудь новое. Вскоре из-за ссоры с деканом он и на карьере махнул рукой. В то время он отличался весьма радикальными взглядами. Узнав о них, декан был очень недоволен, и, естественно, пост заместителя ему не доверили. Вскоре твой папа уволился. Вот так этот яркий, амбициозный, талантливый человек исчез из нашего круга. Потом мне говорили, что он уехал в Пекин, стал заниматься бизнесом, разбогател. Я ни капельки не удивился, правда. Мне казалось, у него будет получаться все, за что бы он ни взялся. А потом я узнал о той аварии... Я был потрясен, долго не мог поверить. Когда он уезжал из Цзинаня, я чувствовал, что наши счета не кончены и однажды мы еще увидимся. Поэтому, встретив тебя, я подумал: надо же... Я не собирался тебя обманывать, просто считал нужным умолчать о некоторых некрасивых эпизодах, скрыть их от тебя.

Я сказала: ты не хотел говорить, что только один из вас был хорошим человеком, боялся поставить меня перед жестоким выбором? Он покачал головой: нет, просто мы оба не были хорошими людьми, вот и вся жестокость. И на свете вообще нет так называемых хороших людей. Он взял мои сигареты и закурил.

Бар закрывался, посетители постепенно расходились, уличные фонари погасли. Глядя на белую свечу, догоравшую в стакане, он тихо проговорил: я написал анонимный донос, перечислил в нем кое-какие разговоры, которые твой папа вел с молодежью. Мне рассказал о них один из студентов, я велел ему молчать – иначе навредишь учителю Ли. Сам тоже молчал, так все и замялось. Однажды вечером, через месяц после того разговора, я остался на кафедре один, подготовил лекции на следующую неделю, решил немного передохнуть и заварил себе чаю. Было пасмурно, собирался дождь, небо заволочло тучами. В кабинете стояла гнетущая духота. Я открыл ящик стола, взял пачку бумаги, снял с авторучки колпачок и в один присест написал это письмо. Даже перечитывать не стал, вложил его в конверт, спустился и бросил конверт в почтовый ящик нашего декана. Встретил кого-то из коллег, мы поздоровались. Вернулся в кабинет, порвал верхние листы, на которых отпечатались иероглифы из письма, сунул клочки в карман, потом сел и допил чай, он еще не успел остыть. Стало капать, капли звонко бились о карниз. На лбу у меня выступила испарина, но я был совершенно спокоен, словно проделал какую-то заурядную физическую работу. Это спокойствие сопровождало меня и дальше, и увольнение твоего отца его ничуть не поколебало. Перед уходом он зашел на кафедру собрать вещи. Мы столкнулись в дверях. Он мне кивнул. Я тоже кивнул ему и сказал: антология современной прозы выйдет в следующем году, прислать вам экземпляры? Пришлите, ответил он, потом закрыл за собой дверь и ушел. До этого мы много лет не разговаривали, а на совещаниях, где вынуждены были присутствовать, чтобы подготовить эту антологию, делали вид, что не замечаем друг друга. Через год антология была издана, я отдал сигнальные экземпляры сослуживцу, который поддерживал с ним связь. А потом мне сказали,

что твой отец попал в аварию, поговаривали даже о самоубийстве. Тем вечером я допоздна сидел на террасе, много курил. В конце концов убедил себя, что судьбу человека определяет его характер, окружающие мало на что могут повлиять. И считал этот вывод довольно прочным, пока не появилась ты. С первой же встречи мне показалось, что я виновен в твоей тоске. Разумеется, ты вызывала у меня сложные чувства – и симпатию, и жалость, и раскаяние. Под твоим взрослым взглядом я невольно втягивал голову в плечи, ты словно видела меня насквозь. Ощущение не из приятных, но я был не в силах тебе противостоять. Утешал себя мыслями, что нужен тебе, что могу научить тебя чему-то хорошему, могу вырвать из отчаяния и распада. Но иногда терялся – порой мне казалось, что не я тебя спасаю, а ты меня. Об этом было невозможно думать без стыда. В ту последнюю ночь у меня разрывалось сердце от твоей чистоты и искренности. Я отказал отчасти из-за семьи, отчасти потому, что ты была еще ребенком, но главное – твое чувство с самого начала выросло на обмане, ты полюбила не того... Прости, что не признался во всем сразу, наверное, это могло облегчить твою боль, но могло обернуться и крахом целого мира. Он замолчал, качнул головой и тихо добавил: пожалуй, это всего лишь отговорки, я просто не мог поговорить с тобой начистоту, был еще не готов. Цзяци, ты простишь меня? Я вытерла слезы, сказала: а теперь стал готов? Он ответил: в мемуарах я описал все, что случилось между мной и твоим папой, написал и про донос. Это не слиявшая исповедь, я пытаюсь отстраниться и как можно более объективно взглянуть на себя и свои ошибки. У каждого из нас в душе найдутся неприглядные грязные уголки, они сосуществуют с прекрасными и достойными чертами, одно неотделимо от другого. Возможно, единственный способ очиститься от этой грязи – посмотреть на нее со стороны. Я говорил, что пишу мемуары для себя, но та малая ценность, которую они несут читателю, состоит в опыте принятия своих грехов. За все это я должен благодарить тебя, Цзяци. Без тебя эта книга никогда бы не появилась. После твоего ухода настали тоскливые времена, тогда-то мне и пришла в голову мысль о мемуарах. Но что самое смешное, осмысливая прошлые ошибки, я успел надеть новых – я о той истории со студенткой. Конечно же, это было ошибкой, разумеется... Он опустил голову, забарабанил пальцами по столу: наверное, в том и хитрость человеческой натуры, что признание собственных грехов – отнюдь не панацея; пока ты еще жив и пока дышишь, жизнь будет подбрасывать новые испытания, и однажды ты все равно дашь слабину...

Налетевший ветер зашелестел бамбуком, пламя свечи запрыгало. Я сказала: иногда мне снится папа, но у него твое лицо. Он говорит с твоими интонациями и даже молчит похоже. Может, всему виной долгая разлука и я уже не помню, каким он был. Или память постепенно слила вас в одно целое. Наверное, теперь я смогу снова вас разделить. Он горько усмехнулся: надеюсь, после этого у тебя останутся ко мне хоть какие-то чувства. Цзяци, позвал он меня, будто сквозь сон. Можно тебя обнять? Я шла к нему и понимала, что меня качает. Новость действовала не сразу, то ли вино дало такую отсрочку, то ли что-то еще. Он обнял меня, и я спрятала лицо у него на груди. Сердце Инь Чжэна глухо билось в мои барабанные перепонки. А потом все звуки постепенно смолкли. Осталась только тишина, теплый и влажный воздух. Накатила усталость, я как будто прошла огромный путь и могла наконец остановиться. На секунду мне даже показалось, что я заснула. Я видела, как в черном небе распускаются и гаснут фейерверки. Потом открыла глаза и подняла к нему лицо. Уверена, он плакал. Я поцеловала его в губы. Он ответил. Когда я отстранилась, его руки соскользнули, повисли вдоль тела. Теперь я знала: отсрочку дало не вино, а само время. Спустя пару минут мы снова посмотрели друг на друга. Начинало светать, где-то наверху послышался птичий щебет.

Нагревавшийся воздух пах летней сухостью. Свеча в стакане еще горела, и ее огонек напоминал затихающий голос, который продолжает свой грустный рассказ. Я слышала себя словно сквозь толщу времени, как будто другая я ведет разговор с другим Инь Чжэном. Все эти годы я хотела выяснить, каким человеком был мой папа, и чем больше я узнавала, тем сильнее расплывался его образ, каждый новый шаг к нему был прощанием.

Мы вышли из бара. Улица была тиха, проезжая часть как будто расширилась, и влажный асфальт отливал на солнце стальным блеском. На прощанье он сказал:

– Наверное, в моей жизни больше не будет таких важных ночей. Прощай, Цзяци.

Когда я вернулась домой, Тан Хуэй крепко спал. Я долго сидела на краю кровати и ждала, пока он проснется, но потом сдалась и легла. Проснувшись, услышала раскаты грома – за окном шел дождь. Стоя ко мне спиной, Тан Хуэй доставал вещи из шкафа. Я взяла с тумбочки будильник, был уже час дня. Возле будильника лежала моя сумка, а рядом с сумкой – сборник стихов Инь Чжэна.

Я подошла к Тан Хуэю:

– Прости меня. Но ничего не было.

– Я не рылся в твоих вещах, – сказал Тан Хуэй. – Сумка упала, все рассыпалось по полу. Да какая разница. Я должен держать слово. – Он открыл комод, достал оттуда свитер. Из ящика выпал нафталиновый шарик, резкий запах выветрился, разлетелся по ушедшим будням, но мы так его и не выбрасывали. Тан Хуэй подобрал шарик и швырнул в мусорную корзину.

– Ты ведь говорил, что никогда меня не оставишь. А теперь отказываешься от своих слов, – тихо сказала я.

– Да. Отказываюсь. Пока не поздно. Ведь еще не поздно? Даже не знаю.

– Я так и знала, что ты от них откажешься.

– Да, ты знала. Я верю тебе, вчера ночью ничего не было. Но и этого слишком много. Даже хорошо, что ты видишь во всем только темную сторону, теперь наш разрыв не стал для тебя неожиданностью.

Он застегнул чемодан и поставил его у стены.

– Что, историй о папе больше не осталось и ты решила обойти старых знакомых по второму кругу?

– Нет. С сегодняшнего дня с этим покончено.

– Только рядом с ними ты по-настоящему оживаешь, да? А в остальное время чувствуешь себя мертвой и бесполезной?

– Не надо, прошу тебя. Все уже в прошлом, Тан Хуэй.

– Ли Цзяци, хочешь узнать, что я думаю о твоей жизни? Ты мечтаешь вклиниться в чужое прошлое, чтобы найти там убежище от страха и беспомощности, которые охватывают тебя при столкновении с реальной жизнью. Ты не видишь ценности собственного существования и убегаешь от реальности во времена, когда жил твой папа, паразитируешь на гнойниках и язвах того поколения, точно стервятник, клюющий падаль. Ты обходишь так называемых очевидцев, блуждаешь по руинам прошлого, как призрак, пытаешься собрать осколки событий, которые когда-то имели отношение к твоему отцу, составить из этих осколков историю любви между ним и Ван Лухань. Боже, как это трогательно! Вот только ты все это выдумала, нафантазировала, чтобы заполнить чем-то собственную нужду в любви. Ты через слово поминаешь любовь, как будто она всему причиной. Ли Цзяци, ты хоть знаешь, что такое любовь?

Я стояла не шевелясь, ощущая, как холод сочится в тело через подошвы.

– Ничего ты не знаешь. – Он покачал головой, взял зонтик и выкатил чемодан в подъезд. Окно с треском захлопнулось, в комнате снова воцарилась тишина.

– И что такое любовь? Объясни мне! Что такое любовь? – Я выскочила в подъезд и яростно кричала в закрытые двери лифта: – Что такое любовь, объясни!

Потом вернулась в квартиру, захлопнула дверь. Увидев меня, пес попятился к своей подстилке. Я стояла посреди комнаты, в окно рвался стук дождя. Обросший шипами воздух царапал легкие.

И что такое любовь? Что такое любовь? Что такое любовь? Эхо заполнило комнату, как расплывшиеся микробы. Я и минуты не могла там оставаться, стала судорожно собирать вещи, мне хотелось немедленно сбежать. Но что взять с собой? Стаканы и чашки, которые мы вместе выбирали, цветы, которые вместе выращивали, или подушку, которую он подарил мне на день рождения? Полароидные снимки выпали из блокнота и рассыпались по полу, тыча в глаза мгновениями, которые я предпочитала не замечать. Тан Хуэй был единственным человеком, который пытался научить меня любви, но он бросил эту затею и разжал державшую меня руку. Я почувствовала, как становлюсь невесомой. И лечу вниз, ниже и ниже, в самую бездну. Я упала на колени, прижала руки к груди. Наверное, никогда еще я не была так близка к пониманию того, что такое любовь.

Я быстро съехала с той квартиры, собаку пристроила, мебель увезла на пригородный склад. Чтобы урезать траты, поселилась у подруги и продолжала писать статьи. Журналы тогда переживали не лучшие времена и один за другим закрывались. Я начала искать работу. Тогда же у меня случилось несколько скоротечных романов. Тем мужчинам я наверняка казалась очень странной. Они растерянно смотрели на меня и спрашивали: чего ты все-таки хочешь?

Потом приехала Пэйсюань, и я перебралась в ее квартиру. Дедушка стал появляться и в наших разговорах, и даже в молчании. Еще два месяца после отъезда Пэйсюань я жила в ее квартире. Часто звонила мама, заговаривала о белом особнячке, звала меня в Цзинань. Их голоса сливались в единый зов, и он с каждым днем звучал все отчетливей. Стало ясно, что маршрут, которым я следовала за отцом, близится к концу. Что я должна вернуться сюда и встретиться с дедушкой.

Правду ли говорил Инь Чжэн, что признание вины очищает душу? Не знаю. Но как бы призрачна ни была надежда, дедушке все равно стоит попытаться. Правда, этот выбор касается только его, здесь не сработает ни принуждение, ни помощь. Поэтому мне остается роль простого очевидца. Я могу только ждать.

Увидев тебя вчера, я вдруг поняла, что конечной точкой моего маршрута была встреча с тобой, а вовсе не с дедушкой. Эта встреча многому положит конец. Но она же станет началом. И после смерти дедушки наша связь не прервется, она останется навсегда и всегда будет такой же близкой. И с сегодняшнего дня она только в наших руках.

Чэн Гун

Скоро рассвет, мне пора отправляться в путь. Мы немало выпили, но впервые за последние годы я чувствую себя таким трезвым. Должен тебя поблагодарить, спасибо за эту встречу, теперь я уеду со спокойной душой. Не знаю, куда меня забросит, может, в жаркий южный город, где вместо тумана каждый день светит палящее солнце, а зной гонит из головы все мысли. Там я начну новую жизнь, ведь еще не слишком поздно? Знаю, ты хочешь спросить, почему я должен уехать. Да, почему? Попробую ответить, этой ночью можно ничего не скрывать.

Пожалуй, придется начать с 2008 года, та осень была очень непростой. Сначала меня бросила Сяо Кэ, потом тетя вышла на пенсию. На самом деле ей давно было пора на покой, но она все не хотела уходить. Работа в больнице значила для нее слишком много, наверно, это было единственное наследство, доставшееся ей от бабушки, и тетя истово берегла свое место в аптеке, как берегла бы родовое имение. Руководство больницы провело с ней несколько бесед, потом их терпение лопнуло, и ее принудительно отправили на покой. Каждое утро ровно в восемь аккуратно одетая и причесанная тетя садилась на диван и принималась смотреть в одну точку. За все годы она ни разу не опоздала на службу, была пунктуальна, как звонарь на колокольне. Помнила, как расставлены лекарства по полкам, могла с закрытыми глазами отыскать нужный пузырек. Чтобы не утратить этот навык, дома она постоянно тренировалась. Где стоит амоксициллин? Что там слева? Я забыла, забыла! Тетя рыдала и в панике расхаживала по комнате, потом хваталась за швабру и долго оттирала пол. А я уже несколько месяцев сидел без работы. Сытый по горло выходками безмозглого самонадеянного начальника, я ушел из рекламного агентства и решил открыть свое дело. У меня имелась пара неплохих идей, я составил подробный бизнес-план, разослал его инвесторам, но ответа не получил. Сбережения заканчивались, я говорил себе, что должен найти работу, но по-прежнему целые дни просиживал дома, растерянно переглядываясь с тетей. Тяжелее всего было по вечерам, когда начинало темнеть, в это время я всегда старался сбежать из дома, отговорившись попойкой с друзьями. На самом деле я даже из подъезда не выходил, просто поднимался на третий этаж. В квартире, где раньше жила Сяо Кэ, меня поджидала Шаша.

Пора рассказать о нас с Шашей. После эпидемии атипичной пневмонии и выписки из стационара я снова стал повсюду на нее наткаться. Каждую субботу приезжал домой из общежития и видел ее у ворот Наньюаня. Но Шаша теперь не притворялась, будто оказалась там случайно, а смело шагала мне навстречу: вот и ты! Голодный? С собой у нее всегда был пестрый пластиковый пакет, Шаша шла за мной до самого подъезда, совала в руки пакет и убегала. Внутри лежали немислимой формы печенья, некоторые пригорели и крошились, видимо, она пекла это сама. Я выбрасывал печенье в мусор, вместе с пакетом. Так продолжалось пару месяцев. Потом я несколько недель не показывался дома: тяжело переживал расставание с девушкой, с утра до вечера сидел в общежитии и рубился в игры. Как-то вечером спустился купить еды, вышел на улицу и увидел под фонарем Шашу. Она сказала: ты целый день просидел в общежитии, голодный? И помахала пакетом. На этот раз там были капкейки, я действительно очень проголодался и решил попробовать. Внутри меня ждал комок непропеченного теста, но я слишком торопился и не успел его выплюнуть. Спросил, как она меня нашла, оказалось, Шаша знала, что я учусь в Институте журналистики, пошла в деканат и выяснила, где меня искать. Я сказал: а ты не промах. Она ответила: я дала той женщине из деканата два капкейка, вообще-то их было восемь. Я решил поговорить с ней, но у общежития всегда толпилось много народу, однокурсники могли увидеть Шашу и подумать, что это моя новая девушка. Поэтому я повел ее в забегаловку за кампусом, заказал пиво и мясо на шампурах. Говорю: больше сюда не приезжай, у нас с тобой ничего не получится, понимаешь? Она опустила глаза, помолчала немного и сказала: я понимаю, мне тоже кажется, что Ли Цзяци однажды вернется. Я вздохнул: Ли Цзяци здесь ни при чем. Но она тебе нравилась. Я ответил: жизнь длинная, человеку много кто нравится, ты это понимаешь? Она промолчала. А через неделю объявилась снова. Дожидалась меня на том же месте, вручила пакет и ушла. Я даже заглядывать в него не стал, сразу выбросил. Теперь

она приезжала почти каждую неделю, иногда содержимое пакета менялось, там мог оказаться шарф или страшенькая шапка. Но печенье и пирожные были непременно, Шашин кулинарный талант часто давал сбой, однако если тесто не выглядело горелым, я относил пакет соседу по комнате, он любил сладкое. Потом у меня появилась новая девушка, как-то раз она тоже пришла встретиться со мной у общежития, и Шаша увидела, как я беру за руку другую. Она оставила пакет у комендантши, и я несколько дней забывал его забрать, кремовые пирожные успели зарости плесенью. Но ничего, скоро меня поджидал новый пакет. Шаша по-прежнему приезжала каждую неделю. Однажды она явилась с загипсованной рукой на перевязи. Объяснила, что упала со стремянки, когда расставляла товар. Так я узнал, что она уже целый год работает в супермаркете.

После выпуска я вернулся домой. Теперь Шаша раз в пару дней приходила к воротам Наньюаня и поджидала меня после работы. Потом молча шла за мной до подъезда и отдавала пакет. За это время я успел сменить несколько девушек, Шаша всех их видела. Между нами будто существовала молчаливая договоренность: если я был не один, пусть даже с тетей, Шаша к нам не приближалась. Уволившись, я перестал выходить на улицу по расписанию и какое-то время ее не встречал. Потом Сяо Кэ поселилась в квартире на третьем этаже, однажды я вышел от нее и увидел на лестнице Шашу. Она удивилась, что я спускаюсь с третьего этажа, спросила: ты переехал? Я сказал: нет, но больше не стал ничего объяснять. Уезжал в командировку? Я ответил, что уволился. Вот как, она кивнула и вытащила пакет. Я подумал, что Сяо Кэ может однажды увидеть ее здесь, и сказал Шаше: давай договоримся – встречаемся у входа в наньюаньский магазинчик, каждую субботу в двенадцать часов дня. Больше сюда не приходи. И она в самом деле перестала ходить ко мне домой, но я часто забывал о нашем договоре, а иногда попросту ленился выйти на улицу. Потом умерла бабушка, Сяо Кэ ушла, и я несколько недель не появлялся у магазинчика. Но как-то вечером вышел выбросить мусор, а Шаша тут как тут, выглядывает меня с площадки третьего этажа. Сразу пустилась объяснять: я ждала тебя на улице, но там дождь, пришлось заскочить в подъезд. Она промокла до нитки, с волос лилась вода. Протянула мне пакет, улыбнулась: ну, не буду тебя задерживать, только подожду здесь, пока дождь стихнет. Я закурил, голова немного кружилась со сна, засыпал я тогда на рассвете. Докурил, но все еще медлил уходить, хотелось подышать немного влажным воздухом с улицы. Тем временем дома тетя закончила плакать и взялась скоблить стол. Был понедельник, я собирался пойти на собеседование, но проснулся перед самыми сумерками. Еще одного дня как не бывало. Шаша спросила: ты ел? Тетя могла услышать наш разговор, и я жестом велел ей идти за мной. Мы поднялись на третий этаж, я прислонился к двери и снова закурил. Раньше здесь жила Сяо Кэ, перед дверью лежал коврик, который она купила. Я поддел его ногой, раздался слабый металлический звон. Это был ключ. Увидев, как он серебрится в пыли, я почти почувствовал решимость Сяо Кэ забыть все, что связано с этой квартирой. Хотел пнуть ключ, но почему-то наклонился и подобрал его. А потом услышал, как говорю: может, зайдешь, посидим немного?

Я отпер дверь, и мы зашли в квартиру. Матрас не выглядел таким уж огромным, а мне помнилось, что он занимал едва ли не всю комнату. Натянутая простыня была покрыта толстым слоем пыли, но все равно выглядела белоснежной. Я сел, потом запрокинул голову и медленно растянулся на матрасе. Шаша легла рядом. Дождь барабанил по стеклам, как будто лето вернулось. Глядя в потолок, я протянул руку и растегнул ее сырую кофту, стиснул грудь. Кожа у Шаши была мокрой от дождя, сосок напоминал заледеневшую шахматную фигурку. Я погрузил пальцы внутрь ее тела, чувствуя льющееся оттуда тепло. Она дрожала, в комнате было холодно, по потолку шла трещина. Тепло становилось гуще, обволакивало пальцы. Я ощутил, как в тело мало-помалу возвращается желание. Набухшая, пылающая, абсолютно бессмысленная, но по-настоящему жадная воля к жизни. Я перевернул ее на живот, вошел сзади и кончил.

С тех пор Шаша каждый вечер поджидала меня на площадке второго этажа, а когда начались холода, я отдал ей ключ Сяо Кэ. Кроме пакетов с печеньем, она приносила пиво – запомнила мою любимую марку и всегда покупала только ее, а

если не могла найти нужное пиво в ближайшем супермаркете, отправлялась на поиски в дальние магазины. Иногда пила со мной, но совсем чуть-чуть – боялась, что алкоголь вызовет приступ астмы. Почти каждый день мы занимались любовью. Я допивал пиво, выключал свет и представлял, что лежу на деревянном плоту, а потом входил в ее тело. Сначала я думал, что просто пытаюсь воскресить в памяти времена, когда Сяо Кэ была рядом, пока однажды не понял, что давно одолел этот рубеж и оказался в каком-то новом месте. Не знаю, с чего это началось, но я заметил, что Шаша изменилась, стала более отзывчивой, влажной. За ограниченным темным разумом скрывались талант и пугающая сила. Наверное, именно ограниченность и отсутствие склонности размышлять позволяли ей так глубоко окунаться в собственное тело, улавливая даже мельчайшие оттенки ощущений. Она жадно впитывала все наслаждение до последней капли, старалась растянуть его как можно дольше. Скоро я понял, что она подчинила меня своей воле, она чувствовала ритмы моего тела, знала все его нужды. Пугающий опыт. Поэтому не то в наказание, не то в попытке ее обуздать порой я прибегал к насилию. Но для нее это было скорее наградой, в грубости она находила лишь новое наслаждение. Шаша не знала стыда и самолюбия, и ее бесстрашная натура толкала нас взламывать новые и новые границы.

За всплеском удовольствия всегда приходило опустошение. С вершины я летел в пропасть, это случалось после каждой нашей близости. Я лежал на матрасе, обводя глазами пустую комнату, наблюдая, как эта чужая мне женщина встает, ходит вокруг. Сначала впадал в ступор, а потом осознавал, что продолжаю жить старой жизнью и вырваться из нее невозможно. От этой обреченности хотелось немедленно сбежать обратно в наслаждение, иногда я так и делал и, растеряв последние силы, чувствовал еще большую пустоту. Пытаясь вырваться из замкнутого круга, я решил, что Шаша должна уходить сразу после секса. Случалось, я действительно гнал ее вон. А потом сидел и пил один в пустой квартире. Слой за слоем наползало одиночество, сминало меня под своим весом, тогда я вскакивал, бежал на нетвердых ногах домой и садился за стол напротив тети, заставляя себя говорить с ней и отвечать на ее вопросы. В своей длинной унылой биографии тетя отыскивала два вопроса, которые давали пищу для бесконечных размышлений, заполнявших все ее время. Первый: счастливо ли сложилась судьба Сяо Тана? Отсюда вытекал следующий: правильно ли она поступила, отказавшись с ним уехать? Размышляя над этим, тетя начинала досадовать на меня, а если я говорил, что каждый человек о чем-то жалеет в своей жизни, отвечала: лучше полюбуйся, кем ты стал! Дальше следовала ужасная перепалка. А второй вопрос был таким: где сейчас дедушка, жив ли он? Этот вопрос не давал тете покоя, она даже собиралась купить карту и начать обходить квартиры, как в свое время бабушка. Это еще не конец, говорила тетя. Даже если он мертв, я должна отыскать его прах.

Потом я стал приходить домой поздно ночью, когда тетя уже спала. И Шашу больше не прогонял, разрешал ей сидеть рядом, пока я допиваю пиво. Она вытаскивала из рюкзака пакеты с чипсами и медленно их опустошала. Наступила зима, год приближался к концу. Как-то вечером пошел снег, я напился и сидел под окном, прислонившись спиной к батарее. Тепло навевало дремоту, и я приоткрыл окно. На волосы мелкой крошкой посыпались снежинки. В комнате стояла тишина, которую нарушал только мерный хруст картофельных чипсов. По моим щекам текли слезы. Что с тобой? Шаша отложила чипсы, подошла ко мне и опустилась на колени: все хорошо, почему ты плачешь? Слезы неудержимо катились из глаз. Она прижала мою голову к своей груди: не расстраивайся, ведь все хорошо. Шашина грудь пахла прогорклым попкорном. Но я ее не оттолкнул, и мы сидели у окна, пока снег не засыпал мне плечи.

Большой Бинь объявился в начале января. К тому времени мы с ним давно не общались. Сначала он часто звонил из Штатов, рассказывал новости. Он полюбил регби, научился дайвингу, видел в Голливуде Брэда Питта. Я всегда отвечал: это замечательно. Наверное, он ждал от меня более восторженной реакции, звонки становились реже, потом вовсе сошли на нет. В последний раз он звонил больше года назад, сказал, что собирается вернуться в Китай. Это замечательно, ответил я.

Он сказал: совсем скоро мы встретимся и отметим мое возвращение. Ты рад? Конечно.

Большой Бинь назначил мне встречу во вращающемся ресторане на крыше отеля “Софитель”. Волосы он теперь гладко зачесывал назад, на носу сидели небольшие очки в круглой оправе, запонки на его манжетах позвякивали о край тарелки. А ты совсем не изменился, сказал Большой Бинь. Я решил, что такая оценка дорогого стоит, большая удача, что перед ужином я успел постричься. Доев горячее, он отложил салфетку, посмотрел на меня и сказал: ты не думал поработать в компании моего отца? Добавил, что окончил магистратуру и вернулся, чтобы взять на себя кое-какие дела в корпорации. Я сказал: значит, ты хочешь мне помочь. Нет, ответил Большой Бинь. Я хочу завоевать этот мир вместе с лучшим другом, ты ведь помнишь наш уговор? Я ответил: помню, спасибо тебе. Он поднял бокал, чокнулся со мной и сказал: я давно ждал этого дня.

Я давно ждал этого дня. Наверное, эти слова должен был сказать я? Большой Бинь никогда не узнает, что на каникулах после первого класса старшей школы я заполнил анкету соискателя в “Фармацевтике Уфу” и получил работу разносчика буклетов. Каждый разносчик отвечал за свой сектор, мы должны были обходить жилые дома, оставляя по буклету у каждой двери. Стояла самая жаркая пора лета, под ярким послеполуденным солнцем я садился на велосипед, груженный толстой кипой буклетов, и ехал в жилые районы на окраине. Сначала бежал вверх, на шестой этаж, потом спускался до первого, ладони быстро становились алыми от дешевой типографской краски. Многие разносчики поднимались только до третьего этажа, а оставшиеся буклеты выбрасывали, но я работал честно. Устав, садился передохнуть на лестнице, читал рекламные слоганы. С каждого буклета на меня смотрел дедушка Большого Биня, в белом традиционном халате он напоминал даоса Чжан Чжэньжэня из романов Цзинь Юна. Я заканчивал работу с заходом солнца, ехал в офис, и менеджер выдавал мне деньги – за каждые сто буклетов я получал восемь юаней. Но я работал вовсе не ради денег, мне просто хотелось проложить свой путь к этой корпорации, стать ее частью, я видел в этом свой первый шаг к настоящему успеху.

В январе я начал работать в “Фармацевтике Уфу” как помощник Большого Биня. За день до выхода на службу я предупредил Шашу: больше не приходи, я устроился на работу. Она потупилась: и как теперь отдавать тебе печенье? Я сказал: ешь сама. В тот день мы не занимались любовью, и к пиву я не притронулся. Выпроводив ее за дверь, прибрался в квартире, выбросил пустые бутылки и пакеты с недоеденными чипсами. Вместе с начатой пачкой презервативов.

Я с головой ушел в работу. Большой Бинь высоко меня ценил, приходил советоваться и по важным вопросам, и по мелочам. Скоро я понял, что “Фармацевтика Уфу” мало похожа на ту волшебную индустриальную империю, которую я помнил. Когда бальзамы и микстуры приелись на рынке, корпорация стала вкладывать деньги наугад, и единственным успешным вложением оказалась недвижимость, прочие инвестиции не окупились. Но самое страшное, “Фармацевтика Уфу” оставалась семейным бизнесом, лишенным внятной структуры, на все должности отец Большого Биня пристраивал родственников и друзей, толковых работников можно было по пальцам пересчитать. Этот гигант был обречен, через пять лет от него ничего не останется, но интуиция нашептывала, что я могу его спасти.

Я спросил Большого Биня: слышал историю об исходе евреев? Ты должен стать Моисеем, провести нас через Красное море. Он спросил, что я имею в виду. Я предложил ему зарегистрировать новую компанию, которая будет специализироваться на разработке оздоровительных продуктов. Большой Бинь даже в ладоши хлопал от радости: ему надоело ходить по струнке и каждый день отчитываться перед отцом и дядей. Я давно это знал, взволнованно говорил он. В тебе есть коммерческая жилка! Мы быстро зарегистрировали новую фирму, все шло как по маслу. Но потом Большой Бинь увлекся телеведущей по имени Ду Хань и потерял интерес к работе. Я слышал, что ведущая немного смахивает на Ли Пэйсюань. В Америке Большой Бинь каждые пару месяцев навещал Пэйсюань,

обедал с ней в ресторане недалеко от университета, но так и не спросил, есть ли у нее парень. Снисходительная вежливость Пэйсюань была как непробиваемый щит, не позволявший к ней подступиться. А ведущая, хоть и выглядела недотрогой, вполне отзывалась на его ухаживания. Каждый вечер Большой Бинь с букетом цветов ждал ее у телецентра, потом вез на прогулку и в ресторан. Скоро он стал проводить с ней все время, мог целый день проторчать в студии, пока шла запись. И все дела в компании легли на мои плечи. Я работал без выходных, каждый вечер допоздна задерживался в офисе. Наши продукты один за другим поступали на рынок, получали хорошие отзывы, за год мы добились впечатляющих показателей. Правление было нами довольны, меня повысили до заместителя генерального директора.

На следующий Новый год Большой Бинь и ведущая поженились. Я был шафером. На свадьбе он напился, обнимал меня и плакал: ты мой лучший друг, как же мне повезло иметь такого друга. Заблевал весь пол в туалете, поскользнулся на собственной рвоте и рассек бровь, врачи наложили пять швов. Ко всему прочему, бывший воздыхатель Ду Хань явился на свадьбу и попробовал устроить скандал, охранники вдвоем выволакивали его из зала. Вышла не свадьба, а бардак. Наконец, проведя последних гостей, едва держась на ногах, я вышел из ресторана и увидел на ступеньках Шашу. Она тоже была в списке приглашенных, но я не заметил ее в толпе. Ты уехал из Наньюаня? – спросила Шаша. Я кивнул, остановил подвернувшуюся машину, открыл дверцу и сел. Шаша сунула мне огромный пакет. Такси тронулось, а она все стояла на месте и махала мне вслед. В пакете оказалось восемь банок, заполненных печеньем, точно сухой паек в дальнюю дорогу.

С тех пор как я устроился на работу, Шаша снова взяла обыкновение встречать меня у ворот Наньюаня. Но работал я всегда допоздна, иногда уезжал в командировки, так что ей редко удавалось меня встретить. Потом я снял квартиру недалеко от офиса. Тетя переезжать отказалась, и несколько раз в неделю я ее навещал, обычно по вечерам, Шашу почти не видел. Если бы не эта встреча на свадьбе, я решил бы, что окончательно от нее отделался.

Большой Бинь вернулся из медового месяца, и я немедленно посвятил его в план наших дальнейших действий. Я считал, что мы должны присоединить к себе дочернюю компанию “Фармацевтики Уфу”. Генеральным директором там был двоюродный брат Большого Биня, фирма долгие годы работала в убыток. Всего таких “дочек” было пять, в ближайшие годы я собирался по очереди поглотить их, усилить наши производственные мощности, а потом организовать слияние с материнской компанией. Большой Бинь одобрил мой план, сказал, что “Фармацевтика Уфу” станет тем самым миром, который мы вместе завоюем.

Два месяца я потратил на сбор данных и подготовку материалов, отражавших положение дел в дочерней компании. Кроме того, я доказал, что их продукция дублируется с разработанной нами линейкой, поэтому слияние выглядело логичным и обоснованным. Но на совете директоров Большой Бинь струсил и не представил мои материалы правлению. Сказал: у меня просто рука не поднялась, ведь брата уберут с поста директора, а мы все-таки росли вместе. Я сказал, что братец его тянет корпорацию на дно, “Фармацевтика Уфу” – детище трех поколений твоей семьи, неужели ты не можешь расставить приоритеты? Поколебавшись, Большой Бинь покачал головой: я не хочу никому причинять боль.

Недели через две я пришел утром в офис и обнаружил там Шашу. Она сидела за столом у стены, увидев меня, вскочила на ноги и едва не запнулась о пакет. Секретарша доложила, что это новая сотрудница, которую нанял генеральный директор. Я бросился в свой кабинет и набрал номер Большого Биня. Заспанный голос в трубке спросил, что стряслось. Я сказал: устраивая Шашу, ты не думал поинтересоваться моим мнением? Он ответил: понимаешь, она попросила взять ее на работу, я и согласился. Тогда объясни, какую работу она в состоянии выполнять? Он ответил: пусть мельтешит на подхвате, распечатывает документы, платить ей будем немного. Я сказал: у нас тут не богадельня, это принципиальный вопрос. И повесил трубку. Весь день я почти не выходил из своего кабинета. Но Шаша маячила за стеклянной дверью, то и дело заглядывая внутрь.

Она изменилась, стала как будто проворнее, научилась ладить с людьми. Я вдруг понял, что Шаша вовсе не такая наивная дурочка, какой кажется, что у нее имеется свой расчет.

Большой Бинь объявился ближе к вечеру, вызвал водителя, и мы поехали в ресторанчик, где раньше бывали с Цзыфэном и Шашей. Мы так давно не устраивали дружеских попоек, сказал Большой Бинь. Чокнулся со мной и выпил залпом. Сказал: признаю свою ошибку, я должен был с тобой посоветоваться. Просто не думал, что ты станешь возражать. Подлил мне еще и продолжил: согласен, это действительно противоречит правилам компании. Но мы ведь росли вместе с Шашей, и если ей нужна помощь, как не помочь? Я сказал: да, с теми же мыслями ты нанимал и меня. Большой Бинь подумал немного и сказал: давай так, я ведь могу взять себе помощника? Беру на это место Шашу, платить ей буду из своего кармана. Я ответил: это твой бизнес, тебе решать. Большой Бинь возразил: нет, это наш общий бизнес. Обнял меня за плечи: ладно, не сердись! Давай выпьем!

Тем вечером мы оба изрядно набрались, плохо помню, о чем говорили дальше. На обратном пути лицо обдувало прохладным ветром, я открыл глаза и понял, что сижу в машине Большого Биня, шофер уже отвез его домой. Я прижался к окну, алкогольный жар отступил, в голове прояснилось. За год я вложил в наш бизнес много сил, успел кое-чего добиться. Но все мои успехи оказались замками на песке, достаточно одного решения Большого Биня, чтобы их разрушить. Я понял, что в действительности ничего не контролирую. А на другой день пришел в офис и, разумеется, увидел на столе знакомый пакет. Вскинул голову – Шаша стояла за дверью и улыбалась мне из-за жалюзи.

В воскресенье я встретился с Цзян Фэем. Помнишь, я о нем рассказывал – парнишка, с которым мы много лет назад познакомились в бильярдной, когда я прогуливал уроки. Потом он приходил ко мне в школу, хотел занять денег. Денег я не дал, но он не обиделся, мы постояли немного у школьных ворот, поговорили, и он ушел. После Цзян Фэй еще несколько раз меня навещал, денег больше не просил, мы просто разговаривали или играли в бильярд. Когда я перешел в старшую школу, он на три года исчез. Кажется, попал в колонию для несовершеннолетних за вымогательство. Освободившись, снова меня разыскал, иногда мы выпивали вместе. Он быстро пьянел, принимался рассказывать о своей жизни, говорил, что ссужает деньги под высокий процент, звал меня войти в долю, но я эту тему сворачивал. Пока я сидел без работы, Цзян Фэй пару раз звонил, но я не брал трубку. Мне было немного страшно с ним встречаться, я боялся, что алкоголь расслабит мою волю, я сверну на кривую дорожку и в конце концов стану таким же, как мой отец. Но почему я вообще поддерживал это знакомство, если понимал его опасность? Впервые такой вопрос пришел мне в голову только на пути домой после разговора с Цзян Фэем, а раньше я никогда об этом не задумывался. И в тот день снова выпил и уже не мог разобрать, тянет ли меня вниз некая темная сила или я сам вцепился в эту силу, не желая размыкать объятия. Помню только, что испугался. И без конца повторял Цзян Фэю: ты должен делать все, как я скажу, во всем следовать моим инструкциям, понял?

Мы зарегистрировали новую компанию. Формально руководил всем Цзян Фэй. Как представителя этой новой компании я отправил его на переговоры с поставщиком сырья: Цзян Фэй поможет им получить большой контракт от “Фармацевтики Уфу”, а они откатят нам десять процентов. Дальше в дело вступал я, все контракты в корпорации приходили мне на подпись. Но я затеял это не для того, чтобы подзаработать на откатах, здесь мы с Цзян Фэем расходились, он не видел ничего дальше собственного носа. А я рассчитывал узнать секретную рецептуру препаратов, изготавливаемых в “Фармацевтике Уфу”, усовершенствовать ее и открыть производство под новым брендом. Кроме того, у меня была база контактов с выходами на все каналы сбыта, так что совсем скоро наша продукция должна была уничтожить “Фармацевтику Уфу” и захватить рынок. Но на Цзян Фэя рассчитывать не приходилось, и я стал переманивать к нам талантливых управленцев из других компаний. Цзян Фэю это очень не нравилось, он подозревал,

что однажды кто-то из новичков сядет в его кресло. Одного сотрудника я назначил заместителем генерального директора, после чего Цзян Фэй стал придирается к каждому его слову. В каком-то вопросе тот сотрудник пошел наперекор генеральному директору, Цзян Фэй в бешенстве позвонил мне и потребовал уволить своего зама, но я отказался. Тогда он явился ко мне в офис “Фармацевтики Уфу”. Мы договаривались, что будем встречаться только в заранее условленных местах. Пришлось прервать совещание, спуститься вниз и отвести Цзян Фэя в одно укромное место у цветника. Он был взвинчен, угрожал донести, если мы вздумаем от него избавиться. Я насилу его успокоил, сказал: возвращайся в офис, я тебе позвоню, обо всем можно договориться. Но если ты так и будешь пороть горячку, до добра это не доведет. Он уже понял, что сделал глупость, но продолжал упрямиться: ты меня не запугивай, самое позднее завтра жду от тебя звонка. И сердито ушел. Была осень, ветер гонял по улицам опавшие листья, но меня бросило в пот, я снял пиджак, вытащил из кармана зажигалку и закурил. Краем глаза заметил в стороне алый силуэт. Обернувшись, увидел замершую на месте Шашу. Я отвернулся и докурил сигарету, чувствуя, как пот мало-помалу остывает.

Я позвонил Цзян Фэю только два дня спустя, пришлось пойти на некоторые уступки. Зама я отстоял, но теперь во всех важных вопросах он должен был заручаться согласием генерального директора. Еще я сказал Цзян Фэю, что не люблю, когда мне угрожают. Больше так не делай. Он ответил: понял. Я ему не верил, но пока не стал ничего предпринимать. Компания должна была крепко встать на ноги, чтобы отказаться от ресурсов “Фармацевтики Уфу”, тогда я мог уволиться, объяснить, что нашел другую работу, и официально перейти на новое место.

Скоро наступил Праздник середины осени. Накануне компания устроила корпоратив, но мне надо было доделать кое-какую работу, и я на него не пошел. Шаша тоже осталась в офисе, я видел ее сквозь жалюзи на двери. Дождавшись, когда все разойдутся, я вышел из кабинета, она тут же подскочила и протянула мне очередной пакет. На этот раз там были лунные пряники. Я достал один пряник, помял его в руке: что, там золото внутри, почему такой тяжелый? Шаша смутилась: я боялась, что не пропечется, вот и подержала подольше. Я взял у нее пакет, сказал, что еду в Наньюань, предложил подвезти. Пока вел машину, она сидела рядом, то и дело на меня поглядывая. У дома резко выпрямилась и с силой вцепилась в свою сумку. Приехали, сказал я. Она спросила: подождешь здесь немного? Утром я испекла еще одну партию пряников, они должны быть мягче. Я отстегнул ремень и выбрался из машины. Она спросила: может, поднимешься ко мне? Просто на улице холодно, если хочешь, можно посидеть у меня. И я поднялся за ней по лестнице. Ее дом был не такой старый, но подъезд очень напоминал наш, те же ржавые перила, выбитые окна и знакомый запах паутины. В памяти всплыла длинная вереница зимних вечеров, когда мы с Шашей вот так же поднимались друг за другом по лестнице.

Вспомнилась обреченность, сгущавшаяся вокруг кромешной тьмой, гасившая последний огонек. Оказалось, она совсем близко, я по-прежнему ей окутан. Но я ее даже ждал, ведь эта обреченность сулила и величайший на свете восторг. Наверное, такой восторг дается только в обмен на полное отчаяние, поэтому они вечно идут рука об руку.

Шашина спальня очень напоминала пустую комнату на третьем этаже. Посередине стояла кровать, застеленная белыми простынями, свет был потушен. Она наклонилась вперед, подставила мне свой зад и яростно затряслась, хлеща по простыне распущенными волосами. Я не видел ее лица, но все равно закрыл глаза. И понял, что не могу представить на ее месте другую женщину, эти оргазмы было ни с чем не спутать. В конце Шаша вдруг перевернулась и крепко прижала меня к себе, как будто хотела, чтобы я видел – это только она и никто другой. Я оттолкнул ее и сел. Окруженная пустотой кровать слегка покачивалась в свете луны. Я снова вернулся на свой деревянный плот.

Набросив рубашку, она убежала на кухню за лунными пряниками. Новая партия была ничуть не мягче, Шаша надела хлопковые перчатки, вытащила противень из

духовки и проткнула пряник зубочисткой. В раковине лежало еще семь или восемь пустых противней, а вся кухня была заставлена разнокалиберными банками с печеньем. Я спросил: куда тебе столько? Раньше выпечка часто не удавалась, ответила Шаша, я решила докупить противней и банок, а теперь не могу смотреть, как они пустуют, все время хочется их заполнить. Улыбнулась: мне нравится запах выпечки в доме. На кухне было тесно, зато прочие комнаты стояли пустыми. Ее отец сошелся с какой-то женщиной и переехал, забрав с собой часть мебели. В гостиной осталась только пара складных стульев. И перевернутый деревянный сундук, на котором лежали лекарства и грелка.

Тогда я как раз начал встречаться с новой девушкой. Она была из хорошей семьи, слегка высокомерная, долго отказывалась со мной спать, как будто пыталась посадить меня на крючок. После встречи с Шашей я усилил наступление и наконец заманил ее в постель. Разумеется, в итоге был несколько разочарован, хотя и не придавал этому значения, чтобы скорее окунуться в новую любовь. Но теперь Шаша каждый вечер ждала в офисе, пока я закончу работу, и если я был один, молча спускалась за мной на улицу, смотрела, как я сажусь в машину и уезжаю. Однажды я не выдержал и снова предложил ее подвезти. А потом случился и второй, и третий раз. Поднимаясь по лестнице в ее квартиру, я всегда чувствовал возвращение той обреченности, съеживался под ее мощным лучом. В такие минуты я понимал, что судьба действительно существует, беги от нее хоть всю жизнь, все равно не сбежишь.

Прошлой зимой я расстался с той девушкой из хорошей семьи. На самом деле было сразу понятно, что мы не подходим друг другу, но я никак не решался это закончить, она была чем-то вроде ширмы, за которой я мог ненадолго спрятаться. После расставания я стал чаще бывать у Шаши. Однажды кто-то из сотрудников увидел, как она садится ко мне в машину. Я догадывался, что весь офис шепчется о нашей связи, возможно, и Большой Бинь о ней знает.

В тот день случился сильный снегопад, я хотел ехать домой, но машина отказывалась заводиться. Долго с ней провозился, в конце концов махнул рукой. Шаша все это время стояла рядом и наблюдала. Ехать к ней не хотелось, но снег распугал всех таксистов, я насилу поймал машину и усадил Шашу в салон. Думал завезти ее в Наньюань, а потом уехать к себе, но водитель сказал, что из Наньюаня поедет в гараж. Озябший и голодный, я поднялся в ее квартиру и съел миску домашней лапши. Лапша была так себе, но я все равно доел и открыл пиво. Шаша хранила большой запас пива той самой марки, на подоконнике стояла целая шеренга банок. Она унесла тарелки, повозилась немного на кухне, затем пришла и объявила, что поставила в духовку шифоновый кекс, еще сказала, что снег за окном так и валит, – видимо, пыталась намекнуть, что мне придется немного задержаться. Потом уселась на стул рядом и радостно протянула мне стакан: можно я тоже выпью? Хочется немного пива.

Она выпила залпом целый стакан, глаза заблестели. Говорит: я записалась на подготовительные курсы, в следующем году хочу попробовать сдать экзамены. Подумала немного и добавила: курсы по вечерам, работе это не помешает. Я молчал. В квартире было жарко, алкоголь проникал в голову. Тело начало гореть, захотелось немедленно завалить ее на кровать. Но другая часть сознания стремилась побороть этот позыв, хоть однажды одержать над ним верх. Шаша тянула пиво, весело на меня поглядывая, как будто наблюдала за творившейся во мне переменой. Потом сказала, что пора проверить кекс на кухне, и наконец ушла. Я взял пульт, у нее не было кабельного, и телевизор показывал всего десять каналов, везде шли новости. “Ливанская долина Бекаа, беженки из Сирии выкапывают траву для еды, с ними трудятся их малолетние дети. Из-за недостатка финансирования десять дней назад ООН прекратила поставки гуманитарной помощи. Люди идут на все, чтобы выжить”. В кухне что-то громко упало. Я отставил пиво. И снова наступила тишина. Из телевизора лилась мелодия, сопровождавшая прогноз погоды, ведущая рассказывала о распределении снега по регионам страны. Я поглядел еще немного в экран, потом встал и пошел на кухню. Шаша, скорчившись, лежала на полу и жадно хватала воздух широко раскрытым

ртом. Ее лицо побагровело, казалось, сосуды вот-вот лопнут. Она извивалась от боли, хваталась за шею, из горла рвался сиплый плач. Я присел, снова встал, огляделся, вспомнил о лекарствах на сундуке в гостиной, наверное, это от астмы. Но не двинулся с места, так и застыл у двери. Стоял и смотрел, как она изо всех сил тянет руки, пытаясь до меня дотронуться. Постепенно ее фигура стала расплываться перед глазами. Сердце наполнилось покоем, я словно вознесся на вершину горы и смотрел оттуда вниз, с такой высоты Шаша казалась всего лишь крошечным комочком, копошащимся на земле. Какая ничтожная и бессмысленная жизнь, раздави ее, как червяка, даже следа не останется. Самое время ее раздавить, чтобы больше не докучала. Я всего лишь пользуюсь своим правом, я вправе ее уничтожить. Перед глазами появилось лицо твоего дедушки. Фотография, которую напечатали на поздравлениях с газетного стенда. Кто из них держал в руках гвоздь, глядя на тело под ногами? Тот человек по имени Чэн Шоуи не представлял никакой ценности для мира, да еще стоял на пути у других людей, не давая им показать свою ценность. А раз так, почему его не убрать? Ведь мир станет только лучше. Одни жизни ценятся выше других, одни люди вершат судьбы других, таковы законы нашего мира. Эти мысли белыми молниями проносились в мозг, озаряя все темные уголки. Голова кружилась, но я чувствовал небывалый подъем.

Когда в глазах прояснилось, Шаша уже не каталась по полу, только корчилась в судорогах, расширенные зрачки уперты в пустоту. Духовка тикала, как бомба с часовым механизмом. По кухне сладким газом плыл запах кекса. Я выглянул на улицу через кухонное окно, обдумывая свои дальнейшие действия. Унести окурки и пустые банки из-под пива, вытереть следы на полу. И еще протереть пульт.

Шаша вдруг дернулась и переползла чуть ближе ко мне. Я решил, что брежу, и отступил на два шага. Она полежала немного и снова зашевелилась. Перевернулась на живот, проползла еще полметра. Немного отдохнула и двинулась дальше, мимо меня, извиваясь в судорогах, как выброшенная на берег рыба. Казалось, Шашу толкает вперед какая-то неведомая сила, в конце концов она пересекла гостиную и доползла до сундука. Приподнялась и схватила один из пузырьков. Дрожа, открутила крышку, опрокинула в себя лекарство. И легла на спину. Судороги постепенно затихли. Тяжело дыша, она медленно перевернулась на бок, подняла голову и посмотрела на меня. Выпученные глаза в запавших глазницах горели, словно вечный огонь на площади. На минуту я застыл от ужаса, потом схватил пальто и выбежал из квартиры.

Метель не прекращалась, ветер лупил по щекам. На нетвердых ногах я брел, хватая ртом воздух. Снег обжигал горло, ее взгляд раз за разом раскатывал сердце катком, точно раскаленный утюг. Я пришел к тете, закрылся в своей комнате и рухнул на кровать. Потом спрятался с головой под одеяло и провалился в кошмары. Многослойные кошмары, из одного выскакивал другой, из другого третий. Помню только, что видел Башню мертвецов. Бассейн с формалином, в нем лицом вниз плавает женщина. Я тянусь к ней, но женщину относит в сторону, дальше и дальше, как листик на ветру. Я слышу ехидный смех, он звучит все громче, колотится в барабанные перепонки. Ха-ха. Ха-ха-ха. Потолок вращается, бесконечно широкий потолок, нет, это вращается небо, но откуда на нем трещина? Я сел в постели. Еще не рассвело, но в комнату проникал слабый свет, морозно-белый, словно отраженный от снега. Я долго смотрел в окно, из которого лился этот свет, пока не убедил себя, что Шаша не умерла. Слез с кровати, зашел в туалет и взглянул на свое отражение в зеркале. За ночь отросла щетина. Вернулся в комнату, закурил. Иссохшая комната медленно наполнялась светом. С сосулек за окном падали капли. Я шагнул к подоконнику, задрал голову и увидел солнце – яркое, огромное, идеально круглое.

В офис я приехал после обеда, все меня ждали. Невольно посмотрел в угол, где сидела Шаша, – никого, и на столе пусто.

Все совещание я таращился в бумаги. Иероглифы скакали перед глазами, подсказывая разные варианты прочтения. Но я не мог уловить их смысл. Взял ручку и проткнул верхний лист бумаги, как будто хотел поймать острой шуструю

рыбу. А рыбы только множились и расплывались в разные стороны. Я бросил ручку на стол, подчиненные разом вскинули головы. Подбежала секретарша, поставила на место упавший стакан, промокнула лужу на столе. Я сказал: мне нужно еще раз обдумать то, о чем мы сегодня говорили. Собрание окончено.

Я решил вздремнуть и улегся грудью на стол. Не знаю, сколько прошло времени, но дверь вдруг скрипнула, и по моим волосам пробежал ветер. Было очень тихо. Только вода продолжала мерно капать со стола. Я обернулся и увидел в дверях Шашу. Ее лицо было наполовину в тени, словно скрытое за железной маской. Мне сразу вспомнилась та собака. Как она тянула голову из канавы. Маска стала медленно приближаться. Клянусь, эту сцену я никогда не забуду, что бы ни случилось дальше. Маска надвигалась на меня сквозь облако густого черного света, неумолимо увеличивалась, черный свет накрывал меня колпаком, не давая пошевелиться. Наконец она подошла ко мне, остановилась, и мое сердце остановилось вместе с ней. Но я по-прежнему слышал тиканье капель – бомба заканчивала обратный отсчет. Я ждал, когда бомба взорвется. И вдруг густой черный свет резко рассеялся. Маска исчезла. Потолочные лампы выхватили ее лицо. Она улыбалась. Не спи так, простудишься. Взмахнула пакетом: принесла тебе вчерашний шифоновый кекс.

Она отодвинула стул, села, достала из пакета шифоновый кекс и отрезала кусочек пластиковым ножом. Протянула мне, а крошки собрала и бросила в рот. Ну как? Шифоновый кекс так трудно готовить! Я сунул в рот кусок целиком, горло склеила мягкая сладость. Шаша спросила: ты починил машину? Нет. Она кивнула и сказала: завтра начинаются курсы, как ты думаешь, я там не усну? Я бездумно покачал головой. Она распахнула глаза: правда? Я очень волнуюсь, так долго ничему не училась. Вдохнув, опустила плечи и спросила: не хочешь запить? Налью тебе воды. Попыталась встать, но я схватил ее за руку и усадил на место. Она замерла на секунду и сразу улыбнулась. Стараясь не смотреть ей в глаза, я пододвинул к себе остатки кекса. Не думала, что тебе так понравится, сказала Шаша. Тогда я испеку еще, шифоновый кекс надо есть сразу, иначе он засохнет. Я судорожно заталкивал в себя сладкое тесто. Она собрала пальцем еще несколько крошек у моего рукава и сказала: пройдет несколько лет, я открою свою кондитерскую, отнесу туда все противни из дома, куплю духовку побольше. Как думаешь, я справлюсь? Справлюсь? Из уголка глаза у меня выкатилась слеза, я потер веки, пытаюсь загнать ее обратно. И ответил: справишься. Она широко улыбнулась: ты всегда сможешь зайти и угоститься свежим кексом. А еще там будут печенья, я куплю много формочек, напеку пандочек из теста, это несложно. А глазки будут из какао. Это как снеговички из нашего детства, помнишь? Такие, с колпачками. Я втянул в себя воздух и сказал: иди домой. Она растерянно на меня уставилась: что? Я сказал: очень спать хочется, пойду домой и прилягу. Да, завтра суббота, как раз выспишься, согласилась Шаша. Но сначала не забудь поужинать.

Когда я вышел из офиса, было уже темно, но фонари не горели. Ветер острым клювом впивался в уголки глаз, где еще сохранилась влага. Поднятый ветром снег летал между небом и землей, словно хотел еще раз выпасть и укрыть все собой. Кто-то позади окликнул меня. Я остановился – Шаша подбежала и протянула мне пальто. Удивилась: неужели тебе не холодно? И, как обычно, встала в сторонке, провожая меня взглядом. Машина тронулась, она шагнула следом и помахала мне рукой. Случившееся накануне казалось всего лишь одним из моих кошмаров. Стоит мне в это поверить, и кошмар исчезнет, будто и не было. Но смогу ли я в это поверить?

Я взял отпуск, повалялся несколько дней под пальмами. Белый песок был похож на сахар, распушившийся на солнце, приятно пах сладостями. Я зарывался в него, как под толстое ватное одеяло, которым меня накрывали при простуде. Выступал пот, и одеяло рассыпалось. Я заслонял раскаленное лицо рукой, солнце лилось сквозь пальцы, и под его лучами рука казалась совсем белой, а по краям прозрачной. Официантка из летнего кафе улыбнулась мне и сказала, что играет ее любимая песня. У автомата с напитками незнакомая женщина одолжила мне монетку. Вечером на пляже меня догнал мальчуган: эй, ты сломал мою крепость. Но ничего,

я построю новую, поможешь? Я чувствовал, что этот мир как будто стал немного другим. И, кажется, он был ко мне очень добр.

Жизнь изменчива, но какие-то вещи остаются постоянными. Я должен верить в них и вставать на их защиту. Эта убежденность оказалась сильнее всего остального, сильнее даже моего честолюбия и упрямой жажды успеха. Всю ночь просидев на открытой веранде того иностранного отеля, я многое успел обдумать. Решил уволиться из “Фармацевтики Уфу”, закончить двойную игру и прекратить обманывать Большого Биня. А накануне отъезда он позвонил. Сказал: я все знаю. Сердце у меня упало: что знаешь? У Ду Хань действительно роман с директором их телецентра, я застал их вместе. И что будешь делать? – спросил я. Принеси еще выпить, бросил он официанту и снова заговорил в телефон: знаешь, наверное, на свете есть много девушек, похожих на Ли Пэйсюань, но это все равно не она. Ли Пэйсюань неповторима. Поперхнулся, закашлялся и продолжал: это я виноват, не сдержал своего обещания. Какого обещания? – спросил я. Уезжая из Штатов, я пообещал себе, что налажу собственное дело, а потом снова приеду к Ли Пэйсюань. Я знаю, ей нравятся люди, которые смогли чего-то добиться. А я слабак, не устоял перед соблазном... Но у меня есть ты, есть наша компания. С завтрашнего дня я начну усердно работать, мы с тобой возьмемся за дело и завоюем рынок. Теперь я все понял, ведь еще не поздно? Я ответил: нет... Что ты решил с Ду Хань? Он ответил: разведусь.

Большой Бинь не развелся с Ду Хань, наоборот, потратил уйму сил, чтобы спасти брак. Снова отвез ее в Париж на медовый месяц, скупил для нее весь ассортимент магазина “Шанель”, а на мосту Искусств они оставили замочек со своими именами. Вернувшись, он закатил настоящий пир в честь ее дня рождения. Но вскоре обнаружил, что жена продолжает встречаться с директором телецентра. Он снова выслушал ее объяснения, но с тех пор стал очень подозрительным, каждый день разыскивал новые доказательства ее неверности. Это отнимало почти все его силы, какое-то время Большой Бинь держал обещание и каждый день приходил в офис, но скоро снова пропал. Сначала я просто не мог сказать ему об увольнении, ведь он твердил, что у него осталась только работа, что сейчас мы как следует возьмемся за дело. Потом Большой Бинь стал при каждой встрече изливать мне душу, перечислять новые и новые доказательства неверности Ду Хань, в те дни он был на грани нервного срыва. Я решил сказать все, когда черная полоса в его жизни закончится. С другой стороны на меня наседали Цзян Фэй: впереди маячило несколько больших контрактов, разумеется, он не соглашался выйти из дела, при любых разногласиях начинал угрожать, что донесет на меня, что если я от него избавлюсь, всей фирме придет конец. Так прошел почти год.

За этот год я успел перебраться обратно в Наньюань. Здоровье тети ослабло, она каждую ночь мучилась бессонницей и уже не могла обойтись без меня, но ни в какую не соглашалась уезжать из старой квартиры. Пришлось мне вернуться обратно. Шаша каждый день ждала меня после работы, и когда все сотрудники расходились по домам, она садилась ко мне в машину, и мы ехали в Наньюань. Раз в неделю я бывал у нее в гостях. В такие дни она пропускала уроки на вечерних курсах. Радовалась, словно это какой-то праздник, называла меня своим спасителем. На курсы она проходила год с перерывами, но не сдала ни одного экзамена и решила взять еще год. Я купил письменный стол, чтобы она могла учиться дома. Когда стол привезли, мы занялись на нем любовью. Перед этим у нас долго не было близости. Я чувствовал к ней глубокое уважение и понимал, что не должен вести себя так, как раньше. От стола шел острый запах лака, Шаша раскинула руки и схватилась за края столешницы. Свет от настольной лампы падал ей на лицо, поблескивал пот. Что-то изменилось. Свирепое наслаждение исчезло, меня наполняла нежность, мягкая, как песок, оставшийся на берегу после отлива. На том столе я впервые ее поцеловал. Сначала она растерялась, а потом скользнула языком мне в рот. Я закрыл глаза, Шаша была единственным безопасным пятачком посреди минного поля моей жизни.

В конце концов Большой Бинь развелся со своей ведущей. Она сама подала на развод, устав от ежедневных допросов и постоянного контроля. В первые две

недели после развода он каждый день напивался пьяным, страшно похудел. И тогда же ему открылась моя двойная игра. Один из уволенных Цзян Фэем сотрудников решил отомстить и пошел в “Фармацевтику Уфу”, добился встречи с отцом Большого Биня и сообщил ему, что наша компания крадет рецептуру препаратов “Уфу” и берет откаты у их поставщиков. Отец велел Большому Биню провести тщательное расследование и вычислить тех, кто за этим стоит. Спустя несколько дней тот получил материалы расследования, все улики указывали на меня.

На прошлой неделе он позвал меня встретиться в горах к югу от города. Я слышал, месяц назад там нашли изуродованный труп, от подножия гор веяло запахом смерти. Стоял страшный холод, вокруг не было ни души. Я поднимался на вершину вслед за Большим Бинем, по дороге мы оба молчали. Наконец, взмокнув и запыхавшись, забрались наверх и сели в беседку. Голая скала за беседкой отвесной стеной падала вниз.

Он заговорил: помнишь, в начальной школе нас возили сюда на весеннюю прогулку? Вы с Ли Цзяци куда-то убежали и отбились от группы, мы тогда облазили все горы, чтобы вас найти. Я молча достал сигареты, зажигалку. Он продолжал: ты с детства был странным, и Ли Цзяци тоже. Вы оба были немного странные, отличались от остальных детей, в вас чувствовался какой-то таинственный яд. И хотя вам нравилось казаться плохими, на самом деле вы были очень добрые. Я понимал, что вы умнее, и никогда не мог за вами угнаться, но все равно не боялся с вами играть, я был уверен, что вы не сделаете мне ничего плохого. Он глубоко вдохнул и спрятал лицо в ладонях. Посидел так немного, потом поднял голову и продолжал: помнишь нашу банду двоечников? Мы собирались после уроков и играли в разные сумасшедшие игры, которые вы придумали вместе с Ли Цзяци. Счастливого было время. Но скоро Цзяци перевели в другую школу, потом Цзыфэн ушел в армию, остались только мы втроем. Наверное, Шаша для тебя пустое место, но я с самого начала считал ее одной из нас, потому и решил оставить в компании. Мне всегда казалось, что друзья – это на всю жизнь. Наверное, я слишком наивен и сентиментален, много треплю языком. Но я действительно считал тебя своим лучшим другом... Он заплакал: почему ты так со мной поступил? Я хмыкнул, не сводя глаз с торчавшего из расщелины пучка сухой травы. Почему ты молчишь? Я хочу выслушать твои оправдания, скажи, что всему виной обстоятельства, о которых ты не мог рассказать. Я покачал головой: не было никаких обстоятельств, просто я видел, что рано или поздно “Фармацевтике Уфу” придет конец и никакими стараниями ее не спасти. Он спросил: а как же я? Получается, меня ты ни во что не ставишь, я для тебя только средство, инструмент? Захотел – взял, захотел – выбросил? Я щелкнул зажигалкой, пламя выскочило и сразу погасло, попробовал еще раз – снова погасло. Я сказал: наверное, я слишком много о себе возомнил, но мне всегда казалось, что я рожден для больших свершений, и ради своей цели я готов был забыть обо всем, в итоге свернул не туда. Ты можешь не верить, но весь последний год мне очень хотелось вернуться обратно. Я взглянул на него: но какой прок об этом говорить? Что ты думаешь со мной делать? Помолчав, он сказал: уезжай. Я на несколько дней придержу у себя материалы расследования. За это время тебе нужно найти надежное место и уехать. Я сказал: спасибо. Запрокинув голову, он смотрел на небо: но мы больше не друзья, считай, что я тебя не знаю. Катая в пальцах так и не зажженную сигарету, я кивнул: может быть, потом, то есть когда-нибудь, не скоро, я вернусь сюда и позову тебя выпить, мы сможем заново познакомиться. Помнишь, ты сам говорил, что никто не запрещает людям знакомиться во второй раз. Когда я замолчал, небо вдруг резко потемнело. Мы посидели немного в тишине и вышли из беседки.

Вообще-то я хотел сказать тете, что уезжаю. Но вечером она первым делом объявила, что ездила в северный пригород на поиски Ван Лухань и действительно видела там очень похожую женщину. Женщина была в маске, но глаза точь-в-точь как у Ван Лухань. К сожалению, она ехала на велосипеде – промчалась мимо, только ее и видели. Но тетя решила завтра же снова отправиться на поиски в этот район. Замечательно, ответил я, поезжай. Тетино лицо светилось ликованием, в ее

жизни снова появилась цель, и меня это очень утешало. Как знать, вдруг та женщина действительно Ван Лухань. Вдруг при встрече они смогут забыть старую вражду и мирно поговорить о прошлом. Всей душой надеюсь, что однажды так и случится, иначе тетя никогда не поверит, что эта история окончена.

А что до Шаши – я долго думал, но в конце концов решил сказать ей об отъезде, иначе она стала бы повсюду меня разыскивать. Я сказал: мне нужно будет на какое-то время уехать. Не пропускай курсы и постарайся сдать экзамены в следующем году. Она спросила: это надолго? Сможешь приехать к следующей весне? Весной у меня экзамены. Я сказал: наверное. Она кивнула и спросила, когда я уезжаю, сказала, что приготовит мне в дорогу печенье. Сегодня днем после твоего ухода я собрал чемодан и вышел в аптеку за лекарствами для тети. На обратной дороге решил заглянуть к Шаше. Она пекла печенье, все банки были уже заполнены. Говорит: мне показалось, ты совсем скоро уедешь, вот я и решила напечь побольше, будет запас. Я открыл пиво, сел. Она спросила: ты в последнее время не появлялся на работе, что-то случилось? Нет. Ты ведь сегодня уезжаешь? Я промолчал. Она снова заговорила: я подумала, курсы можно и отложить, экзамены проходят каждый год. Давай я поеду с тобой? В дороге вдвоем веселее. Я покачал головой, но Шаша не отставала: со мной не будет никаких проблем, обещаю. Одно твоё слово, и я сразу уеду. Договорились? Она сняла фартук, отряхнула муку и объявила: пойду собирать вещи. Я не стал спорить, не хотелось ее расстраивать. Конечно, она все равно расстроится, но мне нравилось видеть ее счастливой. За все эти годы я принес ей так мало счастья, пусть хоть немного порадует. Я открыл пузырек с тетиным снотворным и бросил несколько зернышек ей в стакан. С огромной дорожной сумкой на плече Шаша выбежала из спальни: ну что, едем? Я ответил: не спеши, давай посидим немного. Она сказала: тогда я помою противни, а то тараканы заведутся. Я сказал: сядь сюда, посиди со мной немного. Она охнула и опустилась на стул. Говорю: давай с тобой чокнемся, я пивом, а ты водой. У тебя астма, никогда больше не пей спиртного. Запрокинув голову, она выпила и сказала: забыла тебя спросить, мы едем на юг или на север? Я ответил: на юг. Она захлопала в ладоши: так я и знала, смотри, я и теплую одежду не стала укладывать. Взглянула на меня и добавила: хотя можно и на север, в крайнем случае, одежду купим на месте. Я спросил: ты не устала? От чего? Столько лет печь мне печенье. Шаша воскликнула: ой, печенье! Забыла собрать печенье! Убежала на кухню, вернулась вся в поту, спросила: который час? Почему так спать хочется? Я предложил: давай поспим, а там уж поедем. Ты тоже поспишь? Да, я тоже. Мы зашли в комнату, легли на кровать. Она повернулась, взяла меня за руку: я чутко сплю, просто потряси меня, как будет пора выходить. Хорошо, спи, сказал я. Шаша смотрела на меня, продолжая улыбаться, ее веки то опускались, то снова поднимались, наконец она закрыла глаза. Я выключил свет, посидел немного в темноте, встал и вышел из комнаты.

Наверное, она еще спит. Пусть поспит подольше, а проснувшись, забудет все, словно сон. Я очень надеюсь, что она сможет начать новую жизнь, желаю ей этого даже больше, чем себе. И если у меня в самом деле начнется новая жизнь, это будет только ее заслуга. Шаша уберегла меня от полного краха и опустошения. Возможно, время уже ушло, но я хочу попробовать, на этот раз я заживу мирной и спокойной жизнью, постепенно избавляясь от той мерзости, что сидит у меня в груди.

Куда бы меня ни забросило, я всегда буду беззвучно молиться за Шашу. Мне бы очень хотелось подарить ей свое везение, как знать, вдруг это хоть немного приблизит ее к счастью.

Часть V

Рассвело, ветер стих, окно неподвижно застыло. Комнату окутало мутно-белым светом. На столе две пустые бутылки и два бокала. Ли Цзяци подошла к окну и выглянула на улицу:

– Снег почти перестал.

– Мне пора, – ответил Чэн Гун, но не двинулся с места.

Ли Цзяци вгляделась вдаль:

– Кажется, я вижу Башню мертвецов.

– Пару лет назад там случился большой пожар, все сгорело дотла.

– Кругом ни одного дерева, как она могла загореться?

– Не знаю, кажется, дети запускали там фейерверки.

Чэн Гун подошел к окну.

– Детям там всегда нравилось, – отозвалась Ли Цзяци.

– От скелетов остался один пепел. Скорее всего, этого они и хотели. Я про мертвых – они бы предпочли уйти, не оставляя следов.

– Да.

Они смотрели в окно. Снег укрыл насыпные горы в Центральном парке, укрыл обрывистую тропинку в горах, терпеливо скругляя все острые углы.

Ли Цзяци повернулась к Чэн Гуну:

– Где теперь твое “Устройство для связи с душой”?

– Не помню, наверное, в каком-нибудь сундуке на балконе. А что?

– Хочу на него взглянуть. Вдруг еще пригодится.

Чэн Гун пожал плечами:

– Оно пока ни разу не пригодилось.

– Помню, когда мы играли в дочки-матери, твой дедушка моргал, стоило мне запеть. Вот бы спеть ему через это устройство...

Человек на кровати пошевелился. Ли Цзяци и Чэн Гун подошли к нему. Человек открыл глаза и пробормотал:

– Вот все и в сборе...

Ли Цзяци взглянула на Чэн Гуна:

– Может, нужно позвать того священника из церкви.

– Он два года как умер. – Чэн Гун отвернулся к окну и нахмурился, словно пытаясь что-то разглядеть, потом опустил плечи и сунул руку в карман: – Выйду покурить.

Ли Цзяци проводила его глазами до двери и снова повернулась к Ли Цзишэну.

– Гвоздь, ты помнишь тот гвоздь? – спросила она.

Человек на кровати смотрел на нее так, будто некая сила тянет его обратно в

загробный мир. Двери этого мира вот-вот закроются. Закроются навсегда. Она мягко погладила его по лбу:

– Ты чувствуешь за собой вину?

Взгляд Ли Цзишэна проходил сквозь нее, растворяясь где-то в нездешней дали.

– Выключи свет, слишком ярко, – попросил он.

Ли Цзяци подошла к стене, коснулась выключателя, но нажимать не стала. Свет и так не горел. В темноте она услышала, как человек на кровати вздохнул. Хотела вернуться к нему, но на полпути остановилась и замерла. Она слушала. Так тихо – и в доме, и за окном. Стены исчезли, комната казалась необъятной. Ли Цзяци опустилась на корточки перед кроватью и уронила голову на постель. Лбом сквозь одеяло она почувствовала очертания его руки. Выпирающие кости, в которых еще таится нерастратенная сила.

Ли Цзяци встала. На экране телевизора появилась грязная деревенская дорога, рисовое поле, на краю поля стоит собака.

Титр внизу экрана:

ЛИ ЦЗИШЭН РОДИЛСЯ В ОДНОЙ ИЗ КРЕСТЬЯНСКИХ СЕМЕЙ ЭТОЙ ДЕРЕВНИ В 1921 ГОДУ. КОГДА ОН ПОЯВИЛСЯ НА СВЕТ, ЕГО МАТЬ УЖЕ ТРИ МЕСЯЦА БЫЛА ВДОВОЙ, МЕСТНЫЕ ПОМНЯТ, ЧТО ОНА НОСИЛА ФАМИЛИЮ ЛЯН.

Собака взглянула в объектив и потрусилась дальше. Казалось, дряхлые дома на черно-белой пленке так и застыли в 1921 году. Ли Цзяци подумала, что за кадром сейчас наверняка звучит крик новорожденного. В могильной тишине комнаты она снова услышала вздох, но это всего лишь ветер прошуршал занавесками на окне.

Она вышла в коридор и увидела там Чэн Гуна, в правой руке он держал незажженную сигарету.

– Все кончено, – сказала Ли Цзяци.

Чэн Гун молча закурил.

– Надо будет позвонить Пэйсюань. Ей все-таки следует приехать, – сказала Ли Цзяци.

– Да. Похороны будут достойные. – Чэн Гун не сводил глаз с сигаретного огонька.

– Пойду закрою окно, – сказала Ли Цзяци.

Вернулась в коридор, прикрыла дверь. Они спустились на первый этаж. Чэн Гун остановился и оглядел пустой зал:

– Здесь они и устраивали балльные танцы?

– Ага.

– Учительница музыки любила сидеть у восточного окна, под боковым светом софита она казалась сошедшей с картины Рембрандта. Скорее всего, она и сама это знала, иначе бы не садилась всегда на одно и то же место.

– Мальчики находили ее очень красивой.

– А девочки?

– Обычной.

– Потом она заболела раком пищевода. В конце я хотел ее навестить, но она никого к себе не пускала.

– Не хотела так прощаться.

– Нет, я думаю, прощанием был каждый вечер, когда мы любовались ею при свете софита в танцевальном зале.

– Все кончено, – сказала Ли Цзяци. – Я ведь уже говорила?

– Да.

Они подошли к входной двери, Ли Цзяци взяла зонтик.

– Тебе вовсе не обязательно меня провожать, – сказал Чэн Гун.

– Хочу немного проветриться, засиделась дома.

За ночь нанесло сугробы, ноги проваливались по щиколотку. Впереди раскинулась безбрежная белая гладь.

– Я подумала, ты можешь какое-то время прятаться в белом особнячке. Никто не догадается, что ты здесь, – сказала Ли Цзяци.

– А ты, какие у тебя планы? Здесь и поселишься?

– Не знаю. Вероятно, уеду, когда все закончится.

– Куда поедешь?

– На юг. – Она улыбнулась: – Туда, где жарко. Ведь ты говорил, там можно ни о чем не думать?

– Точно.

– Ну вот.

Они дошли до перекрестка.

– Хочешь, бросим монетку? – Ли Цзяци достала из кармана монету в пять цзяо и протянула ее Чэн Гуну: – Цифра – едешь на вокзал, цветок – остаешься в белом особнячке, я буду носить тебе еду. Я умею готовить жареный рис с яйцом.

– А что насчет лапши?

– С лапшой не получится. Я ее не люблю.

– Посмотри рецепт с фаршем и сладким соусом, очень просто.

– Согласен? Тогда бросай.

Чэн Гун повертел монетку в руке и подбросил в воздух. Она беззвучно упала в снег. Ли Цзяци и Чэн Гун переглянулись. Издалека к ним бежала красная фигурка. Ближе и ближе – это была Шаша. Подбежала к Чэн Гуну, остановилась.

– Ты меня будил? Я спала слишком крепко? – И перескочила взглядом на Ли Цзяци, как будто только что ее заметила. – Ли Цзяци? Ты – Ли Цзяци? – Она растерянно оглядела ее, а потом улыбнулась. – Я так и знала, что ты вернешься.

Шаша вытащила из сумки две банки с печеньем и сунула их Чэн Гуну, отряхнула снег с его пальто, застегнула молнию на сумке, забросила ее на плечо и пошла обратно.

Чэн Гун окликнул ее, вытащил из кармана рецепт:

– Говорят, помогает от астмы, попробуй.

– По-моему, я уже излечилась. – Шаша улыбнулась, махнула им и зашагала дальше.

Чэн Гун повернулся к монетке, но ее было уже не разглядеть, засыпало свежим снегом. Они с Ли Цзяци стояли на месте, прислушиваясь к звукам вдалеке. Звуки начинающегося утра: шум двигателя, собачий лай, веселый детский смех. Чэн Гун уловил в воздухе аромат жареного фарша – густой сладкий соус булькает в котелке, подожди немного, и еще немного, а теперь можно снять лапшу с огня, смешать с огуречной соломкой и выложить в белую, почти прозрачную пиалу.

Послесловие

В 1977 году, простившись с автопарком продовольственного управления, где он тогда работал, паренек впервые переступил порог университета. В тот день мастер, научивший его водить, настоял, что сам отвезет паренька подавать документы. Надел белые перчатки, спецовку и выкатил из автопарка самый новый в бригаде грузовик “Цзефан”. Дорогой мастер молчал, только курил одну сигарету за другой. А уже на подъезде к университету не выдержал и спросил: и чему вас там научат, на этом факультете китайской словесности? Паренек ответил: не знаю, я хочу научиться писать рассказы. И какой прок в твоих рассказах? – спросил мастер. Паренек ответил: просто хочется. От такой хорошей работы отказываешься, вздохнул мастер. Как бы локти не пришлось кусать.

Следующей осенью паренек написал свой первый рассказ и отправил его в один из шанхайских литературных журналов. Рассказ назывался “Гвоздь”, в основе сюжета лежал реальный случай, свидетелем которого он стал в детстве. Тогда семья паренька жила в больничном микрорайоне, и одного доктора из соседнего подъезда увели на митинг борьбы, где кто-то вогнал в его череп гвоздь. Скоро тот доктор не мог уже ни слова сказать, ни пошевелиться, впал в вегетативное состояние и всю оставшуюся жизнь пролежал на больничной койке. Время было беспокойное, вокруг творились разные зверства, но почему-то именно история с гвоздем оставила неизгладимый след в памяти паренька. Через месяц из редакции журнала пришло подтверждение, рассказ обещали опубликовать. Он очень обрадовался, отметил это событие со своей девушкой. Но спустя еще месяц получил письмо от редактора: руководство журнала решило, что рассказ написан в слишком мрачных тонах, так что публикация отменяется. Радость была напрасной. Паренек бросил рукопись в ящик стола и больше о ней не вспоминал. Следующие несколько его рассказов тоже были написаны в мрачных тонах, и ни один журнал ему не ответил. После выпуска паренек остался преподавать в университете, женился на той девушке. Они поселились в тесном преподавательском общежитии коридорного типа, в проходах между комнатами валялись стопки книг и груды капусты, по вечерам все выходило готовить в коридор, и по общежитию расплывались запахи лука и чеснока. Когда родился ребенок, письменный стол унесли, на его место поставили детскую кроватку. С тех пор рассказов он больше не писал. Человека заел быт – вот самое резонное объяснение, которое приходит на ум, если кто-то бросает писать. Но изредка в памяти паренька вдруг всплывали слова мастера: и какой прок в твоих рассказах? Хоть он и бросил писать, со временем решение поступить в университет стало казаться ему все более разумным, и в душе паренек всегда хвалил себя за этот поступок. Так уж устроен этот мир: пока идешь по дороге, забываешь, зачем на нее ступил, сбиваешься с намеченного курса, а потом оглядываешься по сторонам – не так все и плохо, и продолжаешь идти вперед.

А тот рассказ потерялся во время очередного переезда, и сам паренек постепенно забыл, что когда-то его написал. В некотором смысле можно считать, что его вовсе не существовало. И только много лет спустя паренек упомянул в разговоре, что однажды написал рассказ о гвозде, а заодно вспомнил и сам случай. Прележав на дне его памяти, история давно вылиняла и иссохла, от нее почти ничего не осталось. Даже самому рассказчику она показалась неинтересной, все подробности уложились в пару предложений. Спустя еще несколько лет за ужином его дочь обмолвилась, что собирается написать роман о том случае с гвоздем. Он даже не сразу сообразил, что она имеет в виду под “случаем с гвоздем”, а вспомнив, улыбнулся: да о чем там писать? Дочь пропустила его слова мимо ушей и принялась выпрашивать подробности. Он с трудом что-то вспомнил, но большая часть вопросов осталась без ответа. Дочь была явно разочарована и больше о гвозде не заговаривала. Позже он узнал, что она наводила справки в больнице, собирала информацию о вегетативных пациентах. Но тем все и кончилось. Характер у нее всегда был переменчивый, сегодня подавай одно, завтра другое – он давно к этому привык. Дочь не была бунтаркой, но и покладистым ребенком ее назвать язык не поворачивался. В общем, он явно мечтал о другом. Прошло еще несколько лет. Он вышел на пенсию, иногда приезжал погостить к дочери в Пекин.

Однажды увидел у нее дома стопку книг в белых обложках. Это были экземпляры романа, который она недавно закончила, дочь сделала несколько копий, чтобы разослать друзьям перед официальным изданием. Составила список адресов и попросила отца отправить посылки, а сама ушла. Он разложил книги по пакетам, отдал курьеру. Но один экземпляр остался – в списке не был указан телефонный номер получателя. Он вернулся в гостиную и положил книгу на журнальный столик. Поужинав, сел за компьютер, поиграл немного в облавные шашки. Противник попался слабый – понял, что проигрывает, струсил и вышел из сети. Он еще немного посидел у экрана, надеясь, что тот вернется, а потом закрыл ноутбук. В гостиной было тихо, за окном шелестел теплый весенний ветер. Он налил себе чаю, вернулся на диван, посидел немного без дела, и тут его взгляд упал на белую книгу. Он подсел к журнальному столику и раскрыл книгу на первой странице.

После возвращения в Наньюань я две недели выходила только в ближайший супермаркет. Нет, еще в аптеку – купила таблетки от бессонницы. А так все время сидела подле умирающего – в этом громадном доме. Но утром он впал в забытие и не просыпался, как я ни звала. Небо затянуло тучами, давление в комнате упало. Я стояла у кровати и чувствовала, как тени смерти кружат под потолком, словно стая летучих мышей с черными крыльями. Наконец этот день настал. Я вышла из комнаты.

Достала из чемодана толстую вязаную кофту. Отопление здесь всегда работало плохо, а может, просто дом слишком большой. Я долго пыталась уживаться с холодом, сочившимся из-под штукатурки, но сегодня терпеть стало невозможно. Не включая свет, зашла в сумрачную ванную. От холодного синеватого света люминесцентной лампы-трубки стало бы еще зябче. Я умылась над раковиной, размышляя о том, что случится завтра. Завтра, когда он умрет, я заменю все лампы в этом доме. Труба под раковиной протекала, и вода лилась на пол, в темноте она омывала мои ноги, теплая, словно кровь. Я все стояла у раковины и не могла найти в себе силы, чтобы закрыть кран.

Я написала эти строчки в начале 2011 года. Тогда роман был еще безымянным, и у него несколько раз менялось начало. В одной из версий главная героиня сидела на стене, в другой – ехала на поезде. В самом странном варианте первой главы откуда ни возьмись появилась лисица с красным хвостом. Сейчас я уже не помню, зачем мне понадобилась эта лисица, но тогда казалось, что без нее история не сложится. Лисица была чем-то вроде всезнающего персонажа, вот только ее предсказания всегда служили плохую службу. Помню, как она предупреждала главную героиню: тебе лучше признать, что я существую. Появившись однажды, я уже никогда не исчезну. Но и пары недель не прошло, как все следы этой грозной лисицы были стерты из моего вордовского файла. Лишившись такой помощницы, главная героиня поникла и растерялась, словно ее бросили без навигации в открытом океане и она не знает, куда ей плыть. Я тщетно пробовала ее направить, но в конце концов оставила эти попытки и взялась за другие черновики. Тогда наша дружба была еще не такой крепкой, и я не слишком беспокоилась за ее судьбу.

Перед Новым годом я отправилась в Цзинань навестить родителей. Недавно они переехали и теперь снова жили в университетском микрорайоне, где прошло мое детство. Я не была там много лет. Наш старый дом давно снесли, на его месте построили высотку. Поначалу перемены казались разительными. Но в канун Нового года я решила пройтись по кварталу и скоро стала замечать повсюду следы старой жизни. Дерево, барак, мусорная станция. Торговец газетами так и сидит у ворот, девушка, помогавшая отцу во фруктовой лавке, тоже на месте, но успела превратиться в женщину средних лет с тусклыми глазами. Эти картины не показались мне родными, они вызывали скорее ужас. Я уехала, а люди остались жить на старом месте – вот и все, ничего особенного. Но встреча с ними напугала меня, словно я ненароком раскрыла чью-то тайну. А следом пришла тревога: мне казалось, что я бросила их здесь, а сама сбежала. Я стояла и разглядывала кадр,

составленный из знакомых людей и предметов. И как будто чего-то ждала. Ждала, что в следующую секунду в этом кадре появится другая я. Трудно сказать, чем именно мы будем отличаться, но это будет та версия меня, которая никогда отсюда не уезжала, здесь выросла и здесь же состарится, которая живет своими радостями и печалью. Иными словами, детство, оставшееся у нас за спиной, – мир не герметичный и застывший, а беззвучно движущийся параллельно нашему. Тем вечером я долго прождала у ворот, но, разумеется, другая я так и не появилась. Зато облик главного героя, до этого расплывчатый и невнятный, стал постепенно проступать перед глазами. Он должен был стать “вторым я” главной героини, оставшимся жить в параллельном мире ее детства.

Около полуночи фейерверки взлетели в небо, осветив черные окна. Я сидела за столом и записывала нынешний вариант начала первой главы. Позже я поняла, что он не просто задает точку зрения, с которой ведется повествование, но и определяет всю структуру романа. Раньше я безуспешно пыталась придумать, как рассказать эту историю, давно ожидавшую своего часа. Собрала данные, опросила очевидцев, пробуя с разных сторон подступиться к сюжету, но между нами все равно оставался какой-то барьер. А вернувшись в старые места, я с изумлением поняла, что тропинка к сюжету лежит в моем собственном детстве.

История с гвоздем случилась, когда ребенком был мой папа, но я смогла войти в нее через собственное детство; возможно, это говорит о том, что наши с папой детские годы всегда были как-то связаны. Эта история оставила глубокий отпечаток в его памяти, а значит, ее следы непременно должны были проявиться в моем детстве. Сюжеты из прошлого приходят в нашу судьбу вовсе не в тот момент, когда мы замечаем их и признаем их существование. Они всегда где-то рядом.

В те новогодние каникулы я будто снова вернулась в детство, но с папой мы едва ли перебросились и парой слов. Мы всегда были довольно закрыты друг от друга, а теперь разговоры между нами и вовсе сошли на нет. Я старательно их избегала, словно только изоляция поможет окончательно присвоить его сюжет. Но когда половина романа была уже готова, я все равно обнаружила в нем папу. Наверное, мне так и не удалось провести грань между ним и его историей, они оказались неотделимы друг от друга. Папа не превратился в одного из персонажей моей книги, но задавал ей тон. Разочарование, отречение, потеря всякой веры. В нем давно проросли эти черты, они, возможно, и отделяли нас друг от друга. А девочке, переполненной радостью жизни, принять их было особенно трудно. Но только теперь я осознала, что эти качества появились в нем не с рождения, – на папин характер во многом повлияла история его времени. Начиная писать первые рассказы, я сформулировала свою нужду в любви и вместе с тем поняла, что совсем не умею любить, а может быть, частично утратила эту способность. Я невольно поселила папу в своих следующих рассказах и тогда же начала понимать, что многие неудачи в любви связаны с поколением наших родителей. И только эта книга помогла мне по-настоящему осознать, что корень проблемы кроется в опыте, который им пришлось пережить, в историческом фоне, сформировавшем их характеры.

Когда я родилась, пострадавший от гвоздя доктор был еще жив. Он лежал в том же стационарном корпусе, где я появилась на свет. Слышал ли он детский крик, раздавшийся осенним днем в палате по соседству, знал ли, что много лет спустя эта девочка вернется в больницу, чтобы собрать по крупицам все оставшиеся о нем сведения и записать его историю? Пожалуй, ему до этого совсем не было дела. Когда человек стоит за порогом нашего мира, ему уже все равно, в какую форму облечется история его жизни – рассеется в воздухе или будет записана на бумаге. И для папы этот сюжет тоже ничего не значит. Моя писанина не всколыхнет его память, не вызовет того потрясения, которое он испытал ребенком. Может быть, он откроет книгу от нечего делать, но едва ли дочитает ее до конца. Конечно, дело еще и в том, что пишу я довольно скучно, но самое главное – он больше не верит в магию вымысла.

Эта история не нужна никому, кроме меня. Семь лет назад я тронулась в путь, еще не представляя, что за книга получится у меня в конце. Шаг за шагом я

продвигалась вперед, туман постепенно рассеивался, за ним начали проступать контуры будущего романа, они медленно облекались в плоть. С этой книгой мы встретили множество рассветов и закатов, она сопровождала меня на последнем отрезке моей молодости. Я слухавлю, если скажу, что совсем не интересуюсь конечным результатом, но все-таки поиски и открытия на этом пути оказались намного важнее. Ведь, в сущности, смысл литературы в том и состоит, чтобы помочь нам добраться до глубинных слоев жизни и получить опыт, которого у нас никогда прежде не было.

Я часто представляю улыбку того человека из соседней палаты. Едва заметную улыбку, медленно проступившую на его лице осенним днем, когда он услышал плач новорожденного. Пусть мы ни разу не встречались, но я видела его улыбку. И верю, что пока писала эту книгу, кто-то невидимый освещал мой путь.

Примечания

1

Перевод Р. Померанцевой. – *Здесь и далее примеч. перев.*

2

Лувэй – холодные закуски, приготовленные в соевом маринаде.

3

Чаочжоу – городской округ провинции Гуандун на юге Китая.

4

Мацзу – в китайской мифологии богиня-покровительница мореходов.

Цзяочжоу – бухта на южном побережье Шаньдунского полуострова, с 1898 по 1914 г. область Цзяочжоу была оккупирована Германией.

6

Мацзян (или маджонг) – китайская азартная игра для четырех игроков.

Университет Цилу – одно из старейших в Китае высших учебных заведений, располагается в городе Цзинань провинции Шаньдун. В годы войны университет перевезли в город Чэнду, столицу провинции Сычуань.

Сунь Лижэнь – знаменитый военачальник гоминьдановской армии, участник Второй японо-китайской войны и Гражданской войны в Китае.

9

Застольная игра, распространенная в азиатских странах. Играющие одновременно называют число от нуля до двадцати и выкидывают пальцы. Выигрывает тот, чье число равно сумме выкинутых пальцев всех игроков, проигравшие выпивают.

10

Сяо (“маленький”) – префикс, который используется при обращении к младшим по возрасту или положению.

11

Восемь циклических знаков, обозначающих год, месяц, день и час рождения человека. В традиционном Китае считалось, что "восемь знаков" определяют судьбу человека.

Лозунг, провозглашенный Мао Цзэдуном в декабре 1968 года: “Необходимо, чтобы образованная молодежь шла в деревню перевоспитываться у крестьян-бедняков и низших слоев середняков”.

Слова из речи Мао Цзэдуна, сказанной им в 1955 году. Целиком фраза звучит так:
“Деревня – это обширное поле деятельности, где каждый может найти себе применение”.

Концерт для скрипки с оркестром, написанный в 1959 году на сюжет старинной китайской легенды.

Жилищный (квартальный) комитет – низовой уровень административной системы в китайских городах, подчиняется районной администрации.

16

Цзинь – мера веса, около 500 г.

Праздник Юаньсяо (праздник фонарей) – традиционный китайский праздник, отмечается пятнадцатого числа первого лунного месяца.

Задача из древнего математического трактата “Сунь-цзы суань цзин”, до сих пор популярная в Китае: “Всего у животных в клетке тридцать пять голов и девяносто четыре ноги. Сколько там кроликов и сколько цыплят?”

Талант и красавица – образ из средневековой китайской литературы. Проза о “талантах и красавицах” – любовные новеллы, описывающие взаимоотношения одаренного студента и его прекрасной спутницы жизни.

Здесь и далее имеется в виду Новый год по лунному календарю, или Чуньцзе – Праздник весны.

Суньятсеновка – обиходное название темно-синего френча.

“Три горьких года”, или “три года стихийных бедствий” – принятое в Китае название великого голода 1959–1961 годов.

В начальной школе китайские дети проводят шесть лет, затем три года учатся в средней школе первой ступени, после чего переходят в среднюю школу второй ступени (старшую школу).

Хунвэйбины – молодежные революционные отряды.

В бедных семьях старого Китая был распространен обычай отдавать девочку на попечение родителей ее будущего мужа. Обычно такие малолетние невесты становились самыми бесправными членами семьи.

Лао (“уважаемый, пожилой”) – префикс, который используется при обращении к старшим по возрасту или положению.

Вероятно, имеется в виду участие студентов в серии акций протеста на площади Тяньаньмэнь в Пекине, продолжавшихся с 15 апреля по 4 июня 1989 года. 4 июня протестующие были разогнаны танками, погибли сотни людей.

Имеется в виду площадь Тяньаньмэнь.

Тамагояки – блюдо японской кухни, омлет, приготовленный в виде рулета.

“Путешествие на Запад” – один из классических китайских романов, повествует о путешествии монаха Сюаньцзана и его волшебных спутников в Индию за священными книгами.

Скременные мизинцы – детский жест, означающий клятву или обещание.

Пиншу – китайский традиционный прозаический сказ, исполнявшийся профессиональными сказителями.

Цунь – мера длины, около 3 см.

Хутун – традиционный переулок с малоэтажной застройкой.

Путунхуа – официальный нормативный вариант китайского языка.

Фэнь – самая мелкая монета, сотая часть юаня.

37

119 – экстренный номер пожарной службы.

Гортанные (эризованные) окончания – примета столичного выговора.

Ябаолу – торговый район в Пекине, специализирующийся на оптовой торговле с Россией.

Чаншань – традиционная мужская одежда, напоминающая длинный халат, ципао – традиционное женское платье.

“Трижды хороший ученик” – отличник в учебе, в нравственном поведении и в физической подготовке. В каждой школе выбирали несколько самых активных и прилежных учеников, среди которых затем производился отбор “трижды хороших городского уровня”.

“Мама, полюби меня снова” – тайваньская драма 1988 года, режиссер Чэнь Чжухуан. Главный герой во взрослом возрасте находит давно пропавшую мать и узнает, что на самом деле она его очень любила.

Фильм 1950 года режиссера Фэн Байлу, снят по реальным событиям, главная героиня – пятнадцатилетняя коммунистка Лю Хулань, казненная Гоминьданом.

Традиционная китайская игра: в тряпичный мешочек насыпается песок или зерно, затем игроки делятся на две команды; задача – “вышибить” мешочком членов команды противника.

День деревьев (День посадки деревьев) – национальный праздник, отмечается 12 марта.

Филиал знаменитого парижского ресторана, открытый в Пекине в 1983 году.

Бодхисатва Гуанинь – символ любви и сострадания, часто изображается четырехрукой, восьмирукой или тысячерукой.

Янь-ван – в китайской мифологии владыка и верховный судья царства мертвых.

Цзинулу – одна из ведущих начальных школ в Цзинане, основана в 1946 году.

Имеется в виду начало зимы по сельскохозяйственному календарю (лидун), обычно выпадает на 7 или 8 ноября.

Цай Цинь – тайваньская исполнительница, была особенно популярна в девяностые годы.

Ультрамен – главный герой одноименной манги, защищает Землю от вторжения монстров и пришельцев.

Китайская сказка о птичке, которая каждую ночь обещала, что завтра начнет строить гнездо, но наутро снова откладывала работу, пока наконец не погибла от холода.

До начала девяностых в Китае практиковалась система закрепления рабочего места на государственных предприятиях за семьей, и после ухода сотрудника место в штатном расписании предприятия занимал его родственник.

Коровниками во времена “культурной революции” называли места заключения контрреволюционных элементов.

Дацзыбао – рукописные стенгазеты, которые использовались во время “культурной революции” для пропаганды или выражения протеста. Цзаофани (бунтари) – как правило, молодые рабочие или служащие низшего звена, объединявшиеся в отряды, чтобы сместить действующих руководителей предприятий за “правый уклон” или “самоуправство” и занять их место.

Восьмая армия – название Народно-освободительной армии Китая в 1937–1949 годах.

Будда Майтрейя – грядущий Будда, обычно изображается в виде улыбающегося толстяка с огромным животом.

Имеется в виду 1949 год, год основания КНР.

Юаньшэнь – в даосской алхимии “изначальный дух”, выплавляемый из души, он способен выходить из тела и путешествовать по иным мирам.

Байцзю – традиционный китайский алкогольный напиток крепостью от 40 до 70 градусов.

Детская игра, два участника сцепляют петлей черешки от тополиных листьев и тянут каждый на себя, выигрывает тот, чей черешок оказался прочнее.

Сыхэюань – традиционное китайское жилище, замкнутое четырехугольное строение с двориком посередине.

В старых китайских домах (примерно до середины 90-х) не было ванн, мыться ходили в баню, дома имелся только туалет с напольным унитазом, раковиной и шлангом с холодной водой (иногда с душевой лейкой), слив был прямо в полу.

В Китае цвет траура – белый.

Имеется в виду панда Паньпань, талисман проходивших в Пекине Летних Азиатских игр 1990 года.

“Любовь, разрушающая города” – повесть известной писательницы Чжан Айлин (1920-1995).

Строки из песни “Помни страдания от классового гнета”, популярной в годы “культурной революции”.

Хуньтунь – бульон с пельменями-ушками.

Ван Лухань курит тайваньские сигареты “520” (на европейском рынке известны под названием *La Rose*), фильтр каждой сигареты украшен отверстием в виде красного сердца.

В Китае долгое время считалось, что кипячение уксуса помогает дезинфицировать помещение.

72

Чи – мера длины, около 30 см.

Художественный фильм 1979 года, снятый на сюжет революционного романа Цянь Шэ "Герои уезда Тунбай".

“Женщина-призрак” (в российском прокате “Китайская история призраков”) – фильм ужасов, снятый в 1987 году Чэн Сяодуном.

Сюйчжоу – город в провинции Цзянсу, расположен в 309 км от шаньдунского Цзинаня.

Чтобы сократить наплыв автомобилей, в 2011 году власти Пекина установили ограничение на выдачу номерных знаков, в результате машины с пекинскими номерами очень выросли в цене.

Хого – котел с кипящим бульоном, в котором варят овощи, мясо, рыбу. В сычуаньских хого котел делится на девять ячеек, в каждой из которых варится разная закуска.

Шу Ци – знаменитая тайваньская актриса.

Бэйдайхэ – город-курорт на северо-востоке Китая, один из центров зимнего плавания.

Тайань – туристический город в провинции Шаньдун, расположен примерно в 100 км от Цзинаня.

В китайском лунном календаре год делится на двенадцать месяцев, однако каждый третий год является високосным и состоит из тринадцати месяцев, причем один из месяцев удваивается: в високосном 1976 году, о котором говорит тетя Чэн Гуна, за восьмым лунным месяцем снова следовал восьмой.

Ян Юйинь – популярная китайская актриса и певица.

Цюаньчэн (“город источников”) – центральная площадь Цзинаня. Цзинань славится своими источниками и родниками, площадь Цюаньчэн названа в их честь.

Му́юй – деревянный щелевой барабан в форме рыбы, атрибут буддийских храмов.

Уфу – в переводе с китайского “пять видов счастья”, имеются в виду долголетие, богатство, здоровье, добродетель и кончина в преклонные годы.

Чжан Чжэньжэнь (Чжан Саньфэн) – полулегендарный даос, персонаж романов гонконгского писателя Цзинь Юна, одного из самых известных современных авторов приключенческих романов уся.

Праздник середины осени приходится на пятнадцатый день восьмого лунного месяца, в этот день принято любоваться луной, пить вино и есть круглые “лунные” пряники.

Цзяо – десятая часть юаня, на аверсе монеты в пять цзяо изображен цветок лотоса.